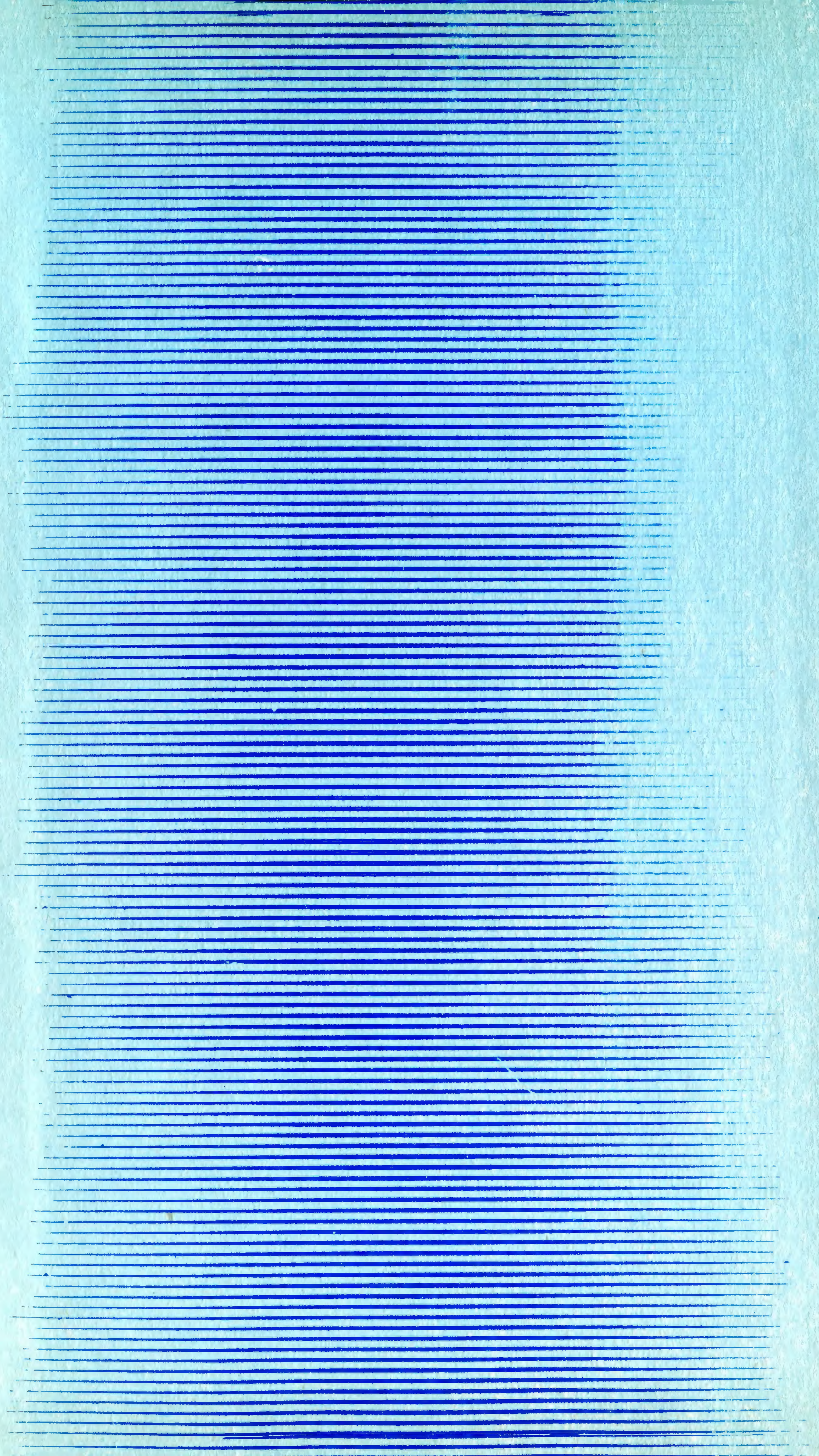


АНАТОМИИ АЛЕКСИИ

АНАТОМИИ АЛЕКСИИ



3

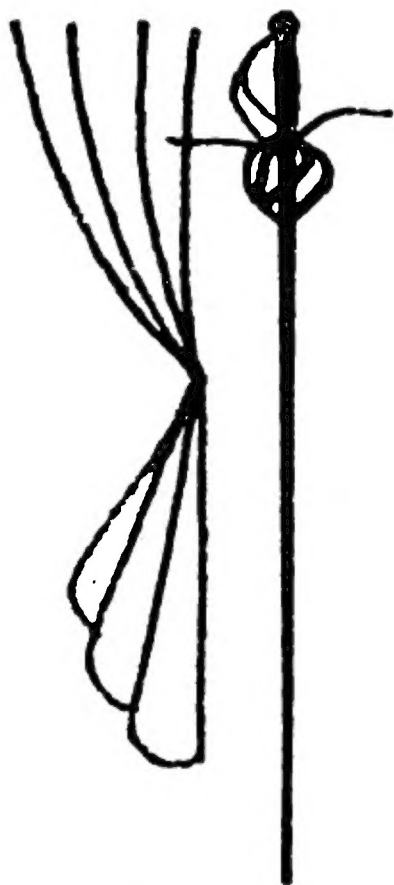


АНАТОЛИЙ АЛЕКСИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ

3



ПОВЕСТИ. ПЬЕСА. ИЗ БЛОКНОТА

Москва

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1981

P2
A48

Оформление
В. Терещенко

Алексин А. Г.

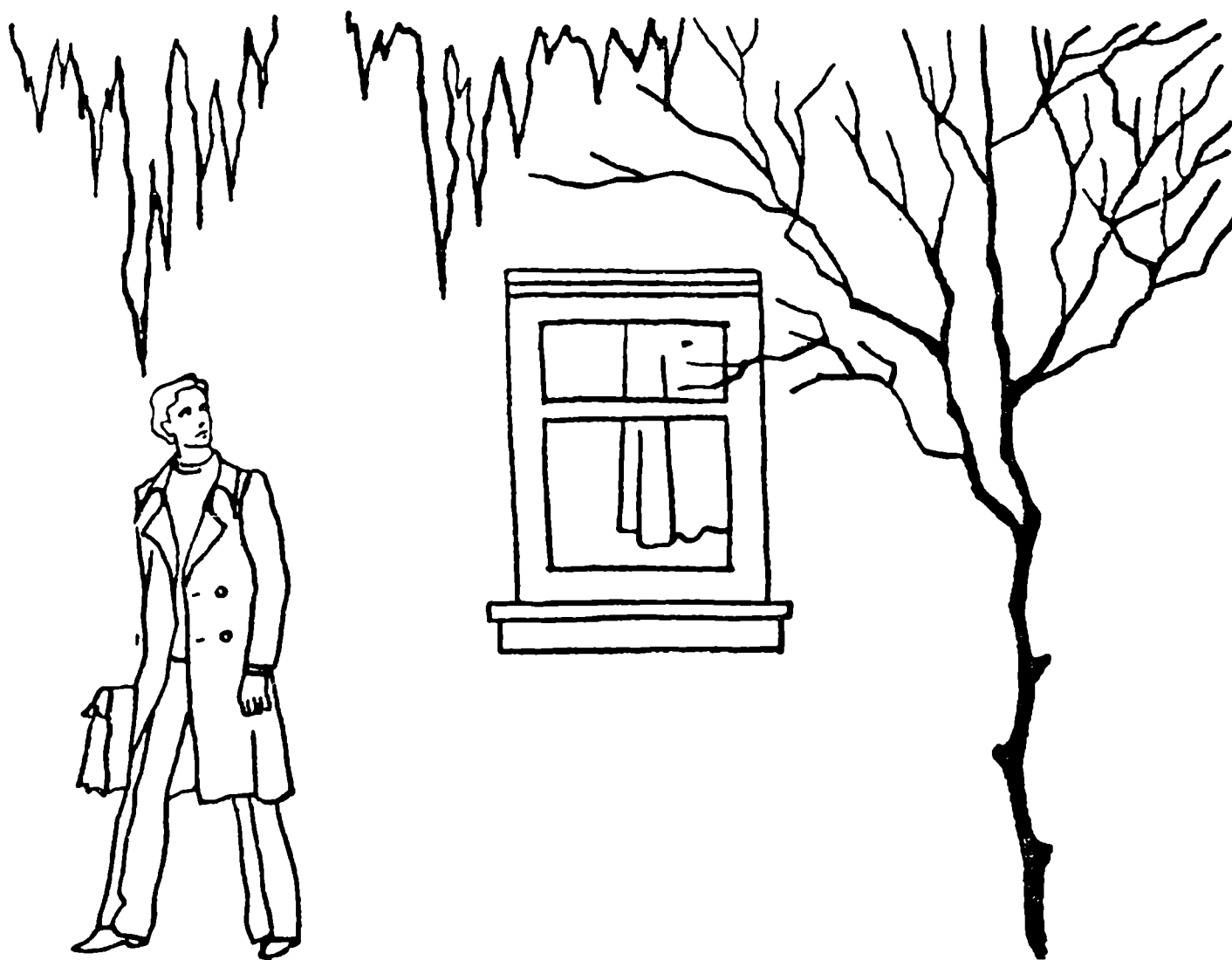
**A48 Собрание сочинений в трех томах.— М.: Дет.
лит., 1979—1981.— Т. 3. Повести, пьеса, из блок-
нота. 1981—464 с., ил. В пер.: 1 р. 20 к.**

В том входят повести: «Домашний совет», «Ивашов», «Дневник жениха», «Коля пишет Оле, Оля пишет Коле», «Говорит седьмой этаж», «Необычайные похождения Севы Котлова», пьеса «Десятиклассники» и «Из блокнота».

A 70803—365
М101(03)81 Подп. изд.

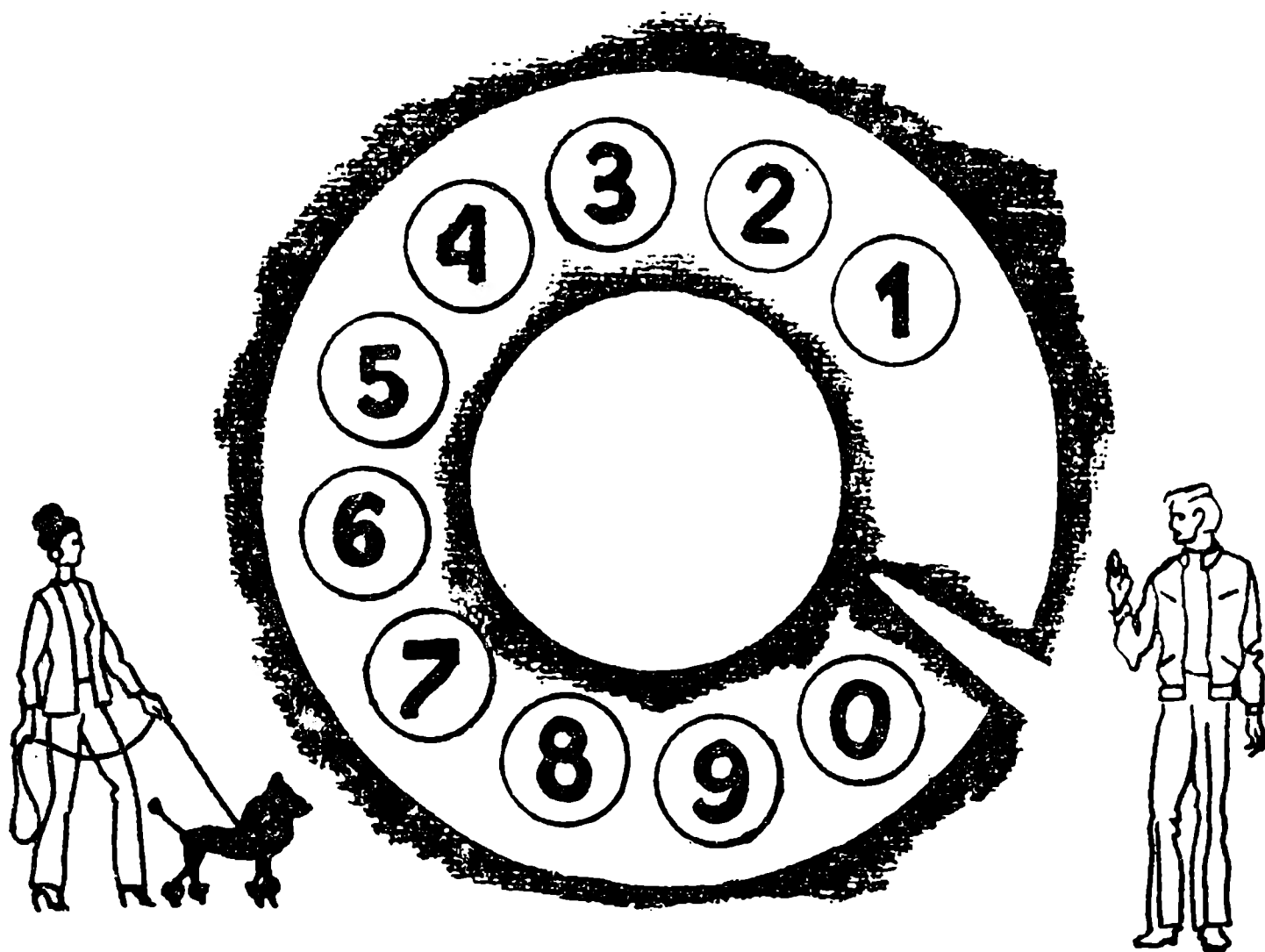
P2

© Состав. Оформление.
Охраняемые произведения отмечены в содержании.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1981 г.



П О В Е С Т И

ДОМАШНИЙ СОВЕТ



Это заседание нашего семейного совета можно было назвать чрезвычайным. В прошлом не могло быть такого заседания. Не могло оно состояться и в будущем, потому что совет, учрежденный мамой, прекращал свое существование.

Прекращал существование... Эти два слова несли в себе трагичную определенность, но и таили неизвестность: «А что дальше?» Мне внушали, что в жизни моей ничего не изменится. Бессмысленность этих заверений лишь обостряла тревогу.

Надежду свою я, покидая последний совет, видел в Ирине. «У нас-то с ней все прояснилось!» — думал я, вливая в себя успокоительное лекарство.



А все прояснилось в тот день, когда меня укусила е е собака по кличке «Лучший друг человека». Черный пудель приревновал Ирину ко мне. Лучший друг человека обладал уникальным нюхом. К тому же у него была золотая медаль, и он имел основание поглядывать на меня свысока, поскольку я, в ту пору девятиклассник, на золотую медаль не рассчитывал.

Кличка у пуделя была чересчур длинной и потому имела сокращенный вариант: ЛДЧ. Уже при упоминании первой буквы своего имени медаленосец пружинисто делал стойку, будто перед ним возникала кошка. Такая у него была сила предвидения!

Затем Ирину приревновал я сам. К своему брату Владиду... Правда, лишь ненадолго.

Мы были близнецами, но Владик появился на свет двумя минутами раньше и потому считал себя старшим братом. Я не возражал: ощущать себя старшим или, точнее сказать, главным было его постоянной потребностью.

Мой брат Ирину хронически раздражал:

— Он хочет соответствовать имени «Владик»: завладеть всем. И даже, представь себе, сердцем. К примеру, моим.

— Твоим? — растерянно переспросил я.

— Пытается завоевать... Но я презираю завоевателей. Передай ему!

Ирина, мне казалось, раз и навсегда определяла для себя, что она любит, а что или кого презирает. В этом я видел не только цельность характера, но и его опасность: безнадежно было подавать апелляцию и надеяться на пересмотр приговора.

— Передай ему: завоевателей презираю! — повторила она.

— Он со мной на э т у тему не разговаривает.

— И со мной он формально беседует на другие темы, но фактически...

— А где он с тобой... беседует?

Я всегда старался защищать своего старшего брата. Но тут впервые не нашел оправдательных слов.

— Ты ревнуешь? — спросила она так прямо и просто, что я ответил:

— Ревную.

И даже расстегнул ворот рубашки, потому что трудно стало дышать.

— Так запомни! Если бы мне, Саня, предложили выбор: остаться навсегда одинокой или быть с твоим братом, я бы, не задумываясь, предпочла судьбу старой девы.

Я снова принялся защищать Владика.

После нашего почти совместного появления на свет мы с братом сразу же ощутили, что такое полное равноправие. Мама нас одинаково одевала и обувала, в одни и те же часы кормила нас и поила, мы спали в одинаковых кроватках и садились на одинаковые горшки. Но оказалось, что все это еще не делает людей одинаковыми.

«Какой рослый мальчик! Сколько ему лет? Всего-то? Не может быть! И какой красивый: копия матери...» — упрямо восторгались мною взрослые, хотя мама взглядами и подмигиваниями умоляла их этого не делать. Случалось, что в ответ они разочарованно продолжали: «А это брат? Близнец? Что вы говорите! Ну ничего общего! В родильном доме не могли перепутать?»

Я ненавидел эти восклицания и вопросы. А Владик ненавидел меня.

Точнее было бы называть нас «двойняшками», поскольку мы и правда были не похожи друг на друга. Но все называли «близнецами».

Мама с пеленок внушала нам, что для мужчин («Уж поверьте мне, женщине!») внешние данные решающего значения не имеют, а главное — это ум и душевные качества. Она сообщала, что многие выдающиеся личности были отнюдь не выдающегося телосложения. Владика она утешала, а меня воспитывала. И мы с ним хорошо понимали это.

Потом она начинала объяснять, что зависть — возбудитель чуть ли не всех пороков и низостей, и если один человек *растет*, другому от этого не может быть хуже, ибо никто на свете не растет за «чужой счет». Тут уж она воспитывала старшего брата. И мы опять с ним все понимали. Мама усиленно пыталась сделать двух братьев *б р а т ь я м и*. И, руководствуясь именно этой целью, учредила семейный совет.

Его открытие состоялось у нас дома на кухне после елочного праздника в детском саду. Мне на том празднике поручили роль доброго *мó*лодца, который должен был не только читать стихи, но и петь, потому что у меня, как назло, еще

и «голос» обнаружился. Я сказал, что отказываюсь петь и читать, если в представлении не будет участвовать Владик. Ему доверили бессловесную роль ежа.

— Он создан для этой роли, — тихо сказала музыкальная руководительница.

Но я услышал и возмутился:

— Откуда вы знаете?

Мой вопрос до того восхитил музыкальную руководительницу, что она произнесла перед старшей группой детсада речь на тему: «Человек человеку — брат!»

Владик после этого отказался выступать в роли ежа.

— Заботой, Санечка, можно осчастливить человека, а можно обидеть, — сказала мама, когда мы с ней оказались вдвоем. — Громкое самопожертвование — не добро, а реклама добра!

Она разговаривала с нами, как со взрослыми. И мы, стремясь оправдать доверие, должны были п о н и м а т ь.

Мама обожала нас м ы т ь. Она намыливала своих двойняшек без мочалки, рукой, будто ласкала нас. Заодно она использовала уединение с каждым из сыновей в ванной комнате для индивидуального воспитания. Потом отец бережно, будто в простыню была завернута ценная, легко бьющаяся посуда, относил нас в наши одинаковые кровати.

Родителям очень хотелось, чтобы мы с братом были во всем «абсолютно равны». Борьба за равенство имеет разные приемы и формы... В канун елочного праздника мой костюм «доброго м о л о д ц а» был облит фиолетовыми чернилами.

— Зачем ты это сделал? — спросила Владика мама.

— Я не сделал... Это нечаянно получилось.

Все у него было узкое: лицо, губы, металлические ободки очков, которые он носил, чтобы исправить детскую дальность зрения. Этой болезнью мой брат очень гордился: умный человек и должен быть д а л ь н о з о р к и м.

В то время мы с братом учились писать. Освоив пять первых букв, я ждал, пока их освоит Владик. Уже тогда я начал бояться хоть в чем-нибудь обогнать его. Он становился моим постоянным «ограничителем скорости». Позже, через многие годы, его так назвала Ирина.

— Но зачем тебе понадобилось наполнять чернильницу прямо над стулом, где висел Санин костюм?

— Пусть вешает в шкаф.

Я не знал, да и сейчас не припомню ни единого случая,

когда бы Владик признал себя виноватым. Он всегда и во всем был прав. В этом тоже состоял один из его приемов битвы за равенство.

Я сыграл доброго молодца в обычном костюме.

— Его не надо гримировать, наряжать, — произнесла свою очередную речь музыкальная руководительница. — Он может играть самого себя. Потому что он — добрый и потому что он — молодец!

Зрители осыпали нас серпантином и аплодисментами. Не хлопал только мой старший брат. Мама наклонилась к нему и что-то сказала. Но Владик все равно не захлопал: он боролся за равенство.

Вечером наш семейный совет собрался на первое организационное заседание. Мама сообщила, что отныне мы будем все сложные вопросы решать сообща.

— Мы будем добиваться душевного единогласия.

— Необходимо единогласие? — переспросил отец. И с грустной улыбкой добавил: — Почти как в Совете Безопасности.

— Это и будет совет безопасности... нашей семьи, — пояснила мама. — Семейный или домашний. Можно и так, и так...

Родители ни словом не обмолвились о причине рождения нового органа власти: ничего не сказали о моем костюме, обликом чернилами. Им не хотелось, чтобы совет начинал свою жизнь с конфликта. Деликатность в общении друг с другом и со всеми остальными людьми давно уже стала для них законом, который, как всякий настоящий закон, не был подвластен обстоятельствам.

* * *

Через десятилетие, покидая наш последний домашний совет, я думал о том, что родители мои, по привычке мысленно сговорившись, долго проводили некий эксперимент: хотели доказать, что можно, не напрягаясь, прожить под одной крышей без ссор и скандалов.

Ко всякому дерзкому эксперименту вначале относятся подозрительно. Даже близкие друзья дома настаивали:

— Должны же вы хоть когда-нибудь хлопать дверью, обижаться, не разговаривать!

Это было похоже на утверждение, что человек непременно должен болеть. Хоть изредка, но обязан.

— Одноименные нравственные заряды — и ни малейших отталкиваний! — изумился кто-то из наших соседей.

— Зачем делать правила физики правилами семьи? — с грустной улыбкой ответил отец.

— И все равно... это вызывает здоровую зависть!

— Зависть не бывает здоровой, — мягко возразил отец, который редко вступал в дискуссии. — Как жестокость не может быть доброй. Зависть — это как бы «внутреннее сгорание» без двигателя.

— Интересно, — сказала мама.

— Она, зависть, никого не движет вперед, — продолжал отец. — А сгорание внутри души происходит: бессмысленное, бесцельное.

— Внутреннее сгорание может быть и благородным, — не согласилась мама, — точнее сказать, горение!

— Да, да... Конечно! Только не в данном случае. Не на этом моральном топливе. Ты абсолютно права. — Отец умолк.

* * *

Мы жили в доме научных работников, на первом этаже.

— Почему мы на первом? — спросил я у отца.

— Потому что другие от него отказались.

— И комнаты смежные...

— Плохо вовсе не все, что принято считать плохим. Мы с мамой будем здесь встречать старость. Спокойней встречать ее на первом этаже: не зависишь от лифта. Смежные комнаты... Но разве мы мешаем друг другу?

Искать и находить в отрицательных явлениях плюсы, положительные оттенки — это было отцовским характером. Он отличался от маминого бóльшим спокойствием и, я бы сказал, смирением. Отец, к примеру, не настаивал так непреклонно, как мама, на ежесекундном выполнении всех законов порядочности и равноправия.

Мы не могли сказать по телефону, что мамы нет дома, даже если она спала, — надо было сообщить, что она дома, но устала и прилегла на диван: это отвечало действительности. Нельзя же было осуждать людей, которые приходили к нам в гости: зачем же их тогда приглашать?

Научную лабораторию, в которой работали мама и папа,

возглавлял член-корреспондент Савва Георгиевич — ученый с мировым именем.

— У него и характер мировой! — сказал я однажды. — Предложил мне прокатиться на белой «Волге».

— И ты поехал? — ужаснулась мама.

— Нет... Спешил на урок.

— Молодец! — успокоенно похвалила она.

У члена-корреспондента было два прозвища: «Гигант» и «Мамонт».

— Наш Мамонт! — называли его почти все сотрудники.

А мама с папой говорили:

— Наш Гигант!

По совместительству Савва Георгиевич руководил факультетом, который я видел во сне с тех пор, как только мы начали изучать физику. Владик сказал, что эта мечта настигла его значительно раньше.

Владик был хилым ребенком. А я, к сожалению, никак не мог хоть чем-нибудь заболеть.

В раннем детстве мы то и дело подвергались осмотру врачей.

— Чем ты болел? — спрашивали у Владика.

И он долго, с гордостью излагал:

— Корью, коклюшем, краснухой, свинкой, бронхитом, воспалением легких (два раза) и гриппом (почти каждый год!). И дальноркостью!

Казалось, он перечисляет свои награды.

Слово «дальноркость» звучало в его устах как «дально-видность».

* * *

Покидая последний домашний совет, так странно совпавший с окончанием школы и поступлением в институт, я вспомнил слова Ирины:

— Все, что принадлежит твоему родственнику, это, по его мнению, самое лучшее: рубашка, портфель. Даже очки! Хотя они своей тонкой металлической оправой придают лицу иезуитское выражение. Или не будем в этом винить очки?

Зная, что я вступаюсь за Владика, она прищурила свои зеленые глаза, будто угрожая закрыть для меня какую-то

дорогу. «Ты согласен?» — часто спрашивала Ирина у тех, чье согласие было ей обеспечено. Она вообще предпочитала общаться с представителями мужского пола, которые в ее присутствии замирали. С девчонками ей было так же трудно, как нелегко полководцу, привыкшему повелевать и командовать, переходить на общение со штатскими, не подчиненными ему людьми...

— Недавно у твоего родственника лопнул шнурок, — продолжала Ирина. — Он присел, склонился над своим любимым ботинком и в такой позе начал мне растолковывать: «Крепкий, новый шнурок! И порвался... С кем не случается?!» Восхитительное свойство. Ты согласен? — Зеленый свет в глазах начал исчезать. — И болезни его, ты заметил, носят изысканные имена: ал-лер-ги-я, хо-ле-цис-тит. Хочется заболеть!

— Зачем уж ты... так? — осмелился возразить я. — Раньше у него и свинка была. А сейчас... у моей болезни тоже царственное звучание.

— Какое?

— Нефрит.

* * *

На самом деле нефрит я приобрел более десяти лет назад, распрощавшись с беспечным детсадовским возрастом и готовясь вступить на пожизненный путь забот и ответственности.

Перед первым учебным годом нас обследовали — и тут опять выяснилось, что все болезни мой брат героически взял на себя.

— Хоть бы ты когда-нибудь простудился! — сказал он по пути домой.

Я решил выполнить эту просьбу. Тем более, что накануне я слышал, как он угрюмо жаловался маме:

— Зачем Саньке ходить на школьную медкомиссию?

— Сане, — поправила она.

— З д о р о в ы й... балбес!

После елочного представления в детском саду многие стали называть меня «добрым мóлодцем», а Владик стал называть «балбесом».

Позже я понял, что он, к сожалению, не обладал ни добротой, ни какими-либо способностями. Но ему очень хотелось хоть чем-то существенным обладать — и он выбрал ум, поскольку размеры его с точностью определить сложно. А ря-

дом с мудрецом, оттеняя его достоинства, обязан находиться «балбес».

— Почему ты столь груб? — ужаснулась мама, услышав от Владика мое прозвище.

— Он же здоров как бык!

— И чем это плохо?

Она приготовилась защищать меня и воспитывать Владика (черед воспитываться как раз был е г о!). Но старший брат стал вдруг давиться от плача. Мама затихла.

— Здоров-ов... Он здоров! — истерически повторял Владик.

Я уже привык подстраиваться под него, не делать того, чего не умел делать он. Но изменить ради него свою внешность, укоротить рост? Это было не в моих силах.

После медкомиссии, возвращаясь домой, я придумал все-таки, как успокоить брата.

Мы жили в новом, дальнем районе, по соседству с высокомерным зданием научно-исследовательского института. Старожилы, с испугом и растерянностью оторвавшиеся от земли и взлетевшие из своих избушек на десятые и двенадцатые этажи, рассказывали, что когда-то в нашем районе было много грибов и даже водились лоси.

Грибами уже не пахло, но осталось озеро, которое называли Лесным, хотя наступали на него не березы и сосны, а кирпич и бетонные блоки.

Никто не мог припомнить такого застенчивого, короткого лета: оно началось позже обычного, а угасло раньше. В конце августа уже ходили в пальто. А я решил искупаться.

Взрослые люди, глядя на меня, поеживались и надежней погружались в свои одежды. Трое мальчишек из нашего дома, решив, что вода потеплела, разделись и тоже нырнули. Но сразу, вытолкнутые холодом, в прилипших к телу трусах выскочили на берег. Они долго смотрели на меня с восторгом и дрожью.

— Рисуетя! — громко, чтобы я услышал, сказал Владик, который не умел плавать и боялся глубины.

Я просидел в воде минут двадцать.

А вечером меня наконец-то отправили в больницу.

— Это самоубийство! — в отчаянье прижимая уши ладонями к голове, сказала мама.

— Самоубийство... — прошевелил губами отец, не зная, как оба они были близки к истине.

Мама провела возле меня всю ночь. Я погружался в мокрую, липкую жару, терял сознание, но чувствовал, что она рядом. Плескалось Лесное озеро, мой брат орал с берега: «Он рисуется!» Но все звуки пересиливал мамин шепот:

— Санечка, Санечка...

Вечером пришли отец с Владиком. У мамы был постоянный пропуск в мою палату, а они заходили по одному.

Когда Владик уселся на стул, мама сказала:

— Видишь, Санечка, как он сочувствует тебе! Как он тебя жалеет! Я правду говорю, Владик?

— Правду, — ответил он. И нервно подергал носом.

— А зачем ты стал купаться... в такую погоду? — спросила мама.

— Захотел.

— Но ты ведь должен был представить себе, что будет со мной, с отцом, с Владиком!

Она упорно хотела объединить нашу семью и даже в сочувствии ко мне сделать всех равными.

«Воспаление легких! — говорили врачи. — Но в общем-то, обойдется».

Оказалось, однако, что мои почки вобрали в себя холод Лесного озера навсегда. Это и был нефрит.

Я пролежал в больнице три месяца. «Провалился», как говорил об этом периоде моей жизни Владик.

Поступление в школу пришлось отложить на год.

— Это ничего, — утешала меня мама. — Максим Горький и Джек Лондон были вообще с четырехклассным образованием. Книги могут заменить всё. Они не сделают тебя специалистом, но сделают человеком!

— Разве я... никогда не пойду учиться?

— Что ты! Я просто объясняю, чтобы ты не отчаивался...

Она читала вслух любимые ею с детства сказки, стихи, возвращаясь к ним, как к живым людям.

Улучив момент, когда мы были вдвоем, отец спросил:

— Что тебя потянуло в воду?

— Август был. Я и подумал...

— Ты почему-то решил заболеть? Если я, конечно, не заблуждаюсь.

— Не хотел идти в школу.

Отец потер пальцами лоб. В белом халате он был похож на врача, немного уставшего от чужих болезней.

— Я люблю тебя, Саня.

Мне казалось, он хотел добавить: «Больше, чем Владика». Но он добавил другое:

— Обещай мне не делать никогда... ничего подобного.
— Обещаю.

Мама продолжала бороться за равенство братьев. Поступление в школу Владика было тоже отложено на год. Так решил наш семейный совет, выездное заседание которого состоялось в больничной палате.

— Вы должны начать свой школьный путь в один день и в один час. Сидеть за одной партой! — сказала мама.

Владика раздирали противоречивые чувства: он был не прочь продлить на год беззаботное существование, но, с другой стороны, ему очень хотелось обогнать меня хотя бы на один класс.

Он устроил в палате сцену негодования. Болезнь моя стала привычной, хронической, и он мог уже с ней не считаться.

— Я ждал! Я так ждал. У нас есть закон.

Мама незнакомым мне, острым взглядом усадила его на стул:

— Законы, по которым живет наша семья, рождаются на семейном совете. И никогда не расходятся со справедливостью.

Владик затих: то ли ему все же не хотелось еще идти в школу, то ли он побоялся потерять своего самого надежного защитника в нашем доме.

На этом совет в больничной палате закончился. Но какие бы потом между мною и братом ни возникали конфликты, последним и главным козырем Владика всегда была фраза: «Я потерял из-за тебя целый год жизни!»

Мы стали сидеть за одной партой, словно в одном автомобиле, водителем которого был Владик. Он был облечен и непререкаемой властью ГАИ, ибо сам определял правила движения и собственной безопасности. На уроке я не смел раньше его поднять руку, даже если был в силах ответить на все учительские вопросы. Я не сдавал уже законченные и проверенные контрольные работы, пока не сдавал он. Если меня выдвигали в совет отряда, я требовал, чтобы Владика выдвинули в совет дружины.

Учителя объясняли это «удивительным братством» брать-

ев Томилкиных. На родительском собрании было сказано, что мама и папа должны поделиться опытом воспитания такой «согласованности поступков и чувств». Но все обстояло гораздо проще: я боялся обогнать его хоть на шаг.

* * *

Покидая наш последний домашний совет, я мысленно цитировал высказывания Ирины. Очень способная к физике и математике, она всякий раз как бы доказывала, что и психология должна называться «точной наукой»: оценки людей звучали как физические и математические правила, не подлежащие обсуждению.

— У одного человека походка естественная, у другого придуманная, им самим выработанная, — утверждала она. — И если автор такой походки имеет сильную волю, он заставляет окружающих поверить в нее и даже ей подчиниться.

Я подчинился походке Владика.

* * *

Ирина была права, когда говорила, что восторги моего брата распространялись лишь на то, что было его лич н о й собственностью. Так как природа и люди персонально Владiku не принадлежали, он имел к окружающему миру массу претензий. Чтобы заслужить его хорошее отношение, надо было поспешно стать двоечником, приобрести отталкивающую внешность и жить в тяжелых домашних условиях. Если же моего брата кто-нибудь раздражал, значит, этот человек обладал достоинствами или вещами, которых у Владика не было, но которые он хотел бы заполучить.

Когда мы были в третьем классе, его недовольство обрушилось на сидевшего впереди нас Петю Кравцова. Истинный порок Пети состоял в том, что у него была толстая, многоцветная шариковая ручка, похожая на модель ракеты. Внешне она была золотой и стоила, как с придыханием сообщил Владик, очень дорого. Одна эта ручка магнитом притянула к Пете столько разных изъяснов, что неясно было, как они умещались в его невместительном, хрупком теле, в его белобрысой голове с простодушным, стриженным затылком.

Владик стал самозабвенно копить деньги. Я понял, что он

хочет купить ракетобразную ручку, из боеголовки которой выскакивали разноцветные стержни.

— В ларьке есть почти такая же... но дешевле,— сказал я.

— Дешевое дороже обходится! — оглядевшись по сторонам, открыл мне житейскую тайну Владик.— В магазинах надо покупать, а не в ларьках!

Источником наших нетрудовых доходов были только школьные завтраки. Владик неожиданно стал ласковым и попросил меня немного поголодать. Не в одиночестве, а на равных основаниях с ним... На равных! Мама была бы в восторге.

Пятерку мы наконец скопили. Мне, третьекласснику, она представлялась огромной суммой. Не хватало еще двух рублей.

И надо же было, чтоб как раз в это время исполнилось пятьдесят лет члену-корреспонденту Савве Георгиевичу! Утром, в день юбилея, мама попросила меня по дороге из школы послать телеграмму на адрес научно-исследовательского института. Там вечером устраивали торжественное чествование Саввы Георгиевича.

— Пошлем сами,— сказал отец.

— Она может прибыть первой. Это нескромно. А так придет часам к шести. В семь ее зачитают... У тебя, Санечка, хороший почерк. Напиши поясней, чтобы на почте не перепутали. Вот тебе текст и деньги.

Владик умел заискивать ровно столько времени, сколько ему нужно было для достижения цели. На первой же перемене он попросил:.

— Дай два рубля... И у меня будет ручка. Сегодня! Могут раскупить. Понимаешь? — Он проглотил слюну, будто ручка была съедобной.— Для телеграммы и рубля хватит.

— Откуда тебе известно?

— Балбес ты, Санька! — нежно, так как деньги были еще у меня, упрекнул Владик.— Разве я не знаю, сколько стоит одно простое слово и сколько одно срочное?

Он всегда интересовался «что почем». Если ему приносили подарок, он даже у гостей спрашивал: «Сколько вы заплатили?» В связи с этим мама посвятила один наш семейный совет проблемам этики общения с гостями.

— На рубль знаешь сколько можно высказать разных слов! — донимал меня Владик.

— А сдача?

Он нервно подергал носом:

— Скажем, что в столовой проели. Мама будет очень довольна. Дай, а? Дай два рубля.

— А ты не ошибаешься? Правда, хватит?

— Не веришь м н е?!

Я не верил ему. Но он, как говорил отец, мог и железобетонный столб склонить в свою сторону.

Буквы представляли для меня в ту пору такой же интерес, как руль для начинающего водителя. Я их не писал, а медленно выводил. Они получались круглыми, как затылок у Пети Кравцова. На адрес и звание Саввы Георгиевича у меня ушел почти весь голубой бланк.

— Ты возьми другой бланк. И склей их... Будет телеграмма с продолжением,— посоветовала женщина, умиленно наблюдавшая, как я вырисовываю свои круглые буквы.

Я склеил.

Девушка, принимавшая телеграммы, не отвлекалась на лица, которые возникали в ее окошке. Она общалась только с чернильными строчками. Каждое слово она пронзала своей самопиской. Подведя вверху бланка какой-то итог, она назвала сумму, которую я должен был уплатить. Нетерпеливо коснулась рукой стеклянного блюдечка и, ощутив пустоту, взглянула на меня.

Мой подбородок едва дотянулся до ее строгого взора. Девушка смягчилась и повторила сумму.

— У меня... рубль,— растерянно сообщил я.

Она опять стала как бы насаживать на самописку каждое мое слово.

— На рубль можно передать только адрес, фамилию, имя, отчество... И все, что тут к ним прилагается. Чинов-то у него на три строчки! И вот это можно...— Она подчеркнула: «Поздравляем днем рождения Томилкины».— Как раз тридцать три слова! — сказала девушка.

— «Поздравляем днем рождения»?

— Ну да. А то, что он такой-растакой... на это рубля не хватит.

— Может быть, адрес сократить? — предложил я.

— Не дойдет.

— А если чины?

— Не советую: может обидеться!

— Что же... теперь?

— Как говорится, подсчитали — прослезилась. А родители-то где были? — спросила она.

— Утром на работу ушли.

— Я не в том смысле. В общем, решай... Видишь, очередь!

Женщина, рекомендовавшая склеить два бланка, пожалела меня:

— Ничего, мы не торопимся.

— Что же будем делать?.. — Девушка за стеклом уже постукивала пальцами по моему тексту, который был весь в точках от ее подсчета, словно засиженный мухами. — Ты не расстраивайся, — посоветовала она, — тут все самое важное сказано: «Поздравляем». И с чем поздравляют, ясно. Давай свой рубль.

Я протянул.

— Да не волнуйся: все ясно-понятно.

На улице у меня от чистого весеннего воздуха родилась мысль: пулей домчаться до дому, отобрать у Владика деньги и послать другую телеграмму, в два раза бóльшую. Я стал разбрызгивать мелкие лужи, думая почему-то о том, что вот в такой же беззлобно-дождливый день, пятьдесят лет назад, родился Савва Георгиевич, чины и звания которого не уместаются теперь на трех строчках. Уже тогда я не упускал случая пофилософствовать о жизни и о смерти.

Савва Георгиевич жил в нашем подъезде, на четвертом этаже. Мне было жаль его, всеми почитаемого и обожаемого, потому что за полгода до юбилея, прямо в лифте, умерла от инфаркта его жена. С тех пор Савва Георгиевич в лифте не ездил, а, громко дыша, отдыхая на каждой площадке, поднимался домой пешком. Говорил, что так именно надо тренировать сердце.

Жена Саввы Георгиевича в течение долгих лет предоставляла ему возможность заниматься только наукой. «Она ухаживала за ним, как за ребенком», — говорили в нашем подъезде. Он и напоминал после ее смерти заблудившегося или брошенного ребенка.

Мне казалось, что Савва Георгиевич состоял только из головы: все остальное как-то не имело значения. Я бы даже затруднился сказать, высоким он был или нет. Только голова... Здесь уж все было значительно: глядящие не вокруг, а внутрь, в себя самого, глаза, мятежная шевелюра, в которой перемешались рыжее воспоминание о молодости и седи-

на, лоб, который можно было изучать, как географическую карту.

— Бери его голову — и на постамент! — говорил отец, который был влюблен в Савву Георгиевича. — Вполне годится для памятника под названием «Мысль». Или «Личность».

«Вот в такой же обыкновенный день родилась эта личность!» — думал я, разбрызгивая мелкие лужи.

Что же касается Мамонта, то после несчастья, постигшего Савву Георгиевича, это слово в доме научных работников больше не употреблялось.

Владик открыл мне дверь. Денег у него уже не было — у него была многоцветная самописка, похожая на ракету.

— А что такое? — с наивным недоумением спросил Владик.

— На телеграмму не хватило...

— Ты мог и не давать мне этих двух рублей, — сказал Владик. — Я ведь не заставлял тебя. Я попросил... И ты мне сам дал. Так что не ищи виноватого.

Он думал лишь о том, кто будет прав, а кто виноват, — до отца с мамой и до Саввы Георгиевича ему не было никакого дела.

Потом он нервно подергал носом и предложил:

— Давай ляжем пораньше. Они вернутся часов в двенадцать. А до утра уже все испарится!

Но наши родители вернулись довольно скоро.

— Вечер кончился? — спросил я.

— Для нас — да, — ответила мама.

Поставила на пол в коридоре мокрый зонтик, похожий на присевшую летучую мышь. И тут же созвала внеочередной домашний совет.

— Почему ты не ограничился одним только адресом? — спросила она у меня.

— А что такое? — поинтересовался Владик.

Мама как председатель обратилась к отцу:

— Ты хочешь сказать?

— Пока нет.

— Тогда я расскажу. Саня сегодня просто унизил... я бы даже сказала, опозорил нас всех. Всю нашу семью!

— Где опозорил? — продолжал недоумевать Владик.

— Перед сотнями людей. Перед всем коллективом!

Владик изумился:

— Чем опозорил? Его же там не было!

— Тебе, Владик, и в голову не придет... ты не сможешь себе представить, что случилось на юбилейном вечере.

Владик подпер кулаками голову и с недоуменным любопытством приготовился слушать.

— Ты сам-то ничего не хочешь нам объяснить? — обратилась мама ко мне, соблюдая демократические традиции и давая мне возможность стремительным, чистосердечным признанием хоть немного сгладить вину.

Я этой возможностью не воспользовался.

— Собрался весь институт, — стала излагать мама, — представители академии, министерств и даже гости из других стран. Работы Саввы Георгиевича известны за рубежом! Вступительное слово, приветствия... Ну конечно, цветы, адреса в папках. Наконец директор института стал зачитывать телеграммы... Одни восторгаются, другие тоже восторгаются, но с чувством юмора, третьи пишут до того трогательно, что комок не покидал мое горло. И вдруг: «Поздравляем днем рождения...» — Мама не могла усидеть. Вскочила, зачем-то зажгла плиту. — Все знают, сколько Савва Георгиевич сделал для нас! — Она повернулась ко мне: — Хоть бы ты и фамилию нашу сократил, скрыл бы ее. Так нет, председатель на весь зал объявляет подпись: «Томилкины». Подписались под собственным позорищем. С ума можно сойти!

Мама воздела руки к потолку, потом, вопрошая, протянула их в мою сторону.

Владик погрузился в раздумье.

Мама вновь обратилась к отцу:

— Ты готов?

— Пока нет.

— А когда же?

— Потом.

Мама оттягивала разговор о деньгах: ей трудно было обвинить меня в воровстве. Но и избежать этой темы она не могла.

— У тебя было три рубля. Куда ты их дел? — В ее голосе звучали следовательские нотки.

— А Савва Георгиевич обиделся, да? — попытался увести разговор в сторону Владик.

— Я послала ему записку в президиум: «С телеграммой получилось недоразумение».

— Значит, недоразумения уже нет,— сказал отец.

— А зал? А весь институт? Люди переглянулись...— Мама встала и погасила плиту.— Вместо того чтобы успокаивать меня, ты бы лучше выяснил истину.

Это была наибольшая резкость, которую мама когда-либо позволяла себе по отношению к отцу: значит, мой поступок потряс ее.

Домашний совет на кухне продолжался часа полтора. После очередного маминого обращения к отцу — «Ты, Василий, ничего не хочешь сказать?» — он медленно и твердо, без своей грустной улыбки произнес:

— Я уверен, что Саня ничего дурного не мог сделать... сознательно.— Он повернулся ко мне: — Я уверен в тебе... друг мой.

Иногда отец обращался ко мне с такими словами: «друг мой». И это не звучало высокопарно.

Владик усиленно задергал носом: понимал, что надо сознаться, но не мог преодолеть себя.

В момент этой острой душевной борьбы, разряжая обстановку, подал голос звонок в коридоре.

Владик обрадовался и улизнул с кухни открывать дверь. Мы услышали Савву Георгиевича:

— А где старшее поколение?

— На кухне,— ответил Владик.

По гусарской интонации, которой никогда прежде не было у Саввы Георгиевича, мы поняли, что член-корреспондент выпил.

Он появился в дверях, прижимая к себе обеими руками необъятный букет, который напоминал клумбу, скомбинированную из разных цветов. С плаща и мятежной шевелюры стекала вода.

— На улице все еще дождь? — заботливо и тревожно спросила мама.

— Люблю грозу в конце апреля! — чужим бравым голосом ответил Савва Георгиевич.— Сделал два шага от машины до подъезда — и вот...

— А где подарки, адреса?

— Остались в кабинете. Их привезут.— Он протянул маме свою разностильную клумбу.— Это вам, Валентина Петровна.

— За жуткую телеграмму?! Да что вы!

Мама спрятала руки за спину. Потом сильно, в отчаянье прижала уши ладонями к голове. Волнуясь, она обычно не знала, куда девать свои руки.

— Василий Степанович, уговорите супругу! У меня супруги уже нет, и цветы нести некому. Кстати, насчет телеграммы.

Мама оставила свои уши в покое. А чтобы Савве Георгиевичу было удобнее говорить, приняла от него цветы.

— Почему вы ушли? В своем заключительном слове я, как полагается, всех поблагодарил. Но особенно вашу семью за ту добрейшую телеграмму, которую получил рано утром.

— Но мы... не посылали!

Не отвечая маме, Савва Георгиевич миновал эпизод с телеграммой, а заодно и наш коридор. Он проследовал дальше, в комнату. Там он облегченно вздохнул, чересчур ясно давая понять, что поздравления и признания в любви утомили его: в результате банкета он все делал немного «чересчур».

— А о том, что воспринимаю все, как аванс на будущее, я не сказал. Во-первых, терпеть не могу авансов: они создают фактор обязанности, который отягощает и мешает в работе. Ну, а кроме того, кто знает, на какое будущее он может рассчитывать? Жена была из семьи долгожителей — и я уповал на ее гены. Что в жизни сделано, то сделано, а будущее, авансы...

— Савва Георгиевич, вам всего пятьдесят! — воскликнула мама.

— Это мало или много? Добролюбову бы показалось, что много, а Льву Николаевичу, что мало.

— Ученые живут дольше писателей, — ответила мама. — Как правило...

— В том-то и дело, что нету п р а в и л! Но действительно, живут дольше... Потому что рациональнее!

Наверное, Савва Георгиевич произнес слово, похожее по смыслу, но другое. Иначе бы я, третьеклассник, не понял.

— Не знаю ни одного ученого, который бы погиб на дуэли! — заявил он.

— Снимите плащ, — попросила мама. И стала помогать ему.

Он увернулся:

— Неужели вы предложите мне пить чай? Я сегодня уже напился.

...Конфликт с телеграммой формально был исчерпан. Но психологически нет... Мама не могла успокоиться. Срок давности не приносил мне прощения. Когда мы оставались вдвоем, она испытывала меня долгим вопрошающим взглядом.

— А если бы Савва Георгиевич со свойственной ему тонкостью не спас репутацию нашей семьи? Ты бы тоже молчал? Его находчивость ликвидировала болезнь, но не устранила причин, от которых она возникла. И может возникнуть впредь!

Душевные качества Саввы Георгиевича противопоставлялись моим: он спасал, был благороден, а я подводил, у меня не хватало воли сознаться.

Владик давал мне советы так, будто сам уже не имел к истории с телеграммой ни малейшего отношения:

— Еще немножечко продержись. Люди все забывают. Но постепенно... Уедем в лагерь — и мама будет спрашивать только о том, как нас там кормят.

— А если она будет помнить об этом до шестидесятилетия Саввы Георгиевича?

— Какой ты балбес! Люди всё забывают. Вот у нас с тобой были две бабушки, а теперь их нет. Разве мама и папа продолжают рыдать? А тут какая-то телеграмма... Балбес ты, Санька!

Отец жалел меня:

— Может быть, тебе станет легче, если ты поделись с мамой? Откроешься ей? Хотя я уверен, что ты не мог совершить ничего дурного... сознательно.

— Спасибо.

— Ты сам поселил во мне это доверие. П о с е л и л!

У мамы в душе для такого доверия жилплощади не оказалось: в ней, наоборот, поселились сомнения. С воспитательной целью она давала мне крупные денежные суммы: просила уплатить за квартиру, за свет и газ. Я приносил квитанции. Потом она поручила мне подписаться на газеты и журналы. Я снова принес... Я также не ограбил сберкассу, находившуюся в доме напротив, и не отнес в букинистический магазин многотомные собрания сочинений. Мама начала успокаиваться.

— Вот видишь! — сказал Владик. — Все забывается.

Многоцветной самопишущей ручкой брат дома не пользовался: откуда бы он ее взял? И в школе не пользовался,

чтобы я забыл о ней, поскольку все забывается. В двух ящиках письменного стола, которые близнец запирает на ключ, хранились, словно в копилке, коробки, коробочки, банки. Он и самописку сунул туда.

— Паста высохнет,— предупредил я.

Перед нашим отъездом в лагерь мама, давая мне последние наставления, сказала:

— Пусть этот эпизод останется нераскрытой загадкой. И никогда не будет иметь продолжений! Но считать, что его вообще не было, я, увы, не смогу. Ты знаешь, мы с папой имеем немало претензий к Владику. Но он бы, мне кажется, не мог сделать шаг, угрожающий репутации дома. Ведь правда?

Я промолчал.

— А если бы сделал, не смог бы оставлять нас в неведении. Пощадил бы меня!

Она взглянула мне в глаза с последней надеждой.

Я твердо пообещал, что буду спать днем и не буду далеко заплывать, о чем она тоже просила в то утро.

Когда мы учились в восьмом, появилась Ирина.

Новенькие ведут себя тихо. Но при виде Ирины притих весь класс: мальчишки от волнения, а девочки и Владик от зависти.

— Работает под Кармен,— съехидничал он.

Но ей не нужно было «работать»: сама природа создала ее похожей на героиню литературного произведения, которую почти все знали по произведению музыкальному.

Савва Георгиевич уверял, что «вступать в конфликт с природой не следует». Ирина и не вступала: в ушах у нее были серьги, притягивавшие к себе испуганные взгляды учителей, а к щекам, как в знаменитой опере, прижимались черные, смоляные завитки.

Владик выходил из себя, даже если существа ж е н с к о г о пола хоть чем-нибудь выделялись.

Зеленые глаза Ирины спрашивали нас обоих: «Что, скисли, родственнички?» Впрочем, «родственником» она стала называть только Владика, да и то в разговоре со мной.

Осанка у нее была до того независимой, что классная руководительница, физичка Мария Кондратьевна, сказала:

— За успеваемость я теперь отвечать не могу.

Она сказала это доверительно и только мужской половине, чтобы предупредить ее об опасности. У Марии Кондратьевны был такой метод: говорить все, что она думает. По ее убеждению, учительская откровенность не могла превзойти сообразительности учеников и открыть им что-либо новое. В данном случае ей не хотелось, чтобы каждый из нас постепенно превращался в беднягу Хозе. Но остановить этот процесс классная руководительница оказалась не в силах.

— Не ученики, а вздыхатели, — констатировала она. Исключение, как мне казалось, составлял только Владик. Чужой успех нервировал моего близнеца. Если бы можно было приобрести черные, смоляные завитки на щеках, он бы принялся копить деньги.

Я неожиданно вспомнил о том, что в детском саду меня называли «добрым молодцем». Распрямился, сходил в парикмахерскую.

Ирина первая заговорила со мной:

— Хочешь послушать лекцию о микрочастицах?

— Хочу... А где?

— В университете. Там есть школа начинающих физиков. Можно поступить. Ты согласен?

— Вместе с тобой? Согласен.

— Физика — моя жизнь.

— Скажи об этом Марии Кондратьевне, — посоветовал я. — Порадуй ее!

Нашей классной руководительнице было за шестьдесят, и она говорила, что умрет на уроке. Даже больная, Мария Кондратьевна дотаскивалась до школы: как бы не подумали, что она нетрудоспособна и ей пора отправляться на пенсию!

Мы тоже хотели, чтобы наша классная руководительница преподавала физику до последнего своего дыхания.

Но директор школы относился к старым учителям настороженно.

— Хворают, хворают... — ворчал он на педагогических заседаниях, о чем нам тут же становилось известно.

— Когда-нибудь болезни ему отомстят, — сказала Ирина.

Из эстетической гордости класса Ирина постепенно превращалась и в гордость физико-математическую: ее способности к точным наукам поражали учителей.

Но успеваемость мужской половины нашего коллектива

начала увядать: любовь вдохновляет на подвиги, требующие отваги и безрассудства, но просветлению рассудка и его напряжению она не способствует.

— Завоюй уж ее окончательно! — посоветовала мне Мария Кондратьевна. — Спасешь класс: все будут знать, что она другому отдана, и перестанут отвлекаться. К тому же ты... — она подмигнула, — оставишь позади своего близнеца! Я за вами давно наблюдаю. Подмывал он тебя, подмывал. Не способностями, конечно, а характером. Я бы, например, давно выдвинула тебя на физическую олимпиаду. Но ведь ты потребуешь, чтобы сначала выдвинули его. Уступать очередь надо лишь старикам. Но я и то не люблю, когда уступают...

Вскоре я узнал, что главным кумиром Ирины является Савва Георгиевич.

— Я бы хотела учиться у него. Это — Гигант!

— И бывший Мамонт, — добавил я.

— Откуда ты знаешь об этом прозвище?

— Он живет в нашем подъезде.

— И ты видишь его? Чернобаева?!

— Каждый день.

— Это правда?!

— Честное слово.

— Познакомь меня.

Поскольку Савве Георгиевичу шел пятьдесят шестой год, я согласился.

Я знал, что у члена-корреспондента четыре комнаты. Убирать их приходила какая-то женщина, а мама ею руководила. Возвращаясь из магазина или с рынка, она оставляла одну сумку дома, а с другой поднималась на четвертый этаж.

— Служение таланту никого не может унижить, — объяснял нам с Владиком отец. — Отрывать его от науки на хозяйственные дела — преступление.

Мама знала английский язык и иногда делала для Саввы Георгиевича переводы.

— Он тоже владеет языками, — объяснял отец. — Но ему некогда.

— Мама, хочешь, мы поможем тебе? — спросил я. — Ходить в магазин, убирать его комнаты...

— Это не мужское занятие.

— Нет, не с Владиком, а... с Ириной...

— Савва Георгиевич не позволит. Он крайне стеснителен. Мы — близкие ему люди, поэтому он допускает...

«Хочет, чтобы никто не мешал ей служить таланту», — подумал я.

— Мы с Ириной решили поступать в университет. На мехмат. И он мог бы объяснить...

— А это уж совсем неудобно! — возразила мне мама. — Он может подумать, что заботы нашей семьи о нем... не вполне бескорыстны. Разве я или отец не можем помочь вам? Пожалуйста, любая консультация на дому!

Но Ирина не просила знакомить ее с мамой и папой. Ее кумиром был Чернобаев.

К счастью, приближался наш с Владиком день рождения.

— Пригласи Савву Георгиевича, — попросил я маму.

— «Поздравляем днем рождения...» — сказала она. И взглянула на меня с самой последней надеждой.

Я отвел глаза.

— Хорошо, пригласим его. От вашего с Владиком имени!

А я пригласил Ирину.

Сперва она сомневалась:

— Лучше бы вы со своим родственничком родились как-нибудь... порознь. Ты согласен?

— Это уже трудно исправить.

— К сожалению.

— У нас будет Савва Георгиевич.

— Чернобаев? Почти нереально!

— Ты придешь?

— А родственника твоего тоже надо поздравлять?

— Поздравь маму с отцом, и все.

— Я приду... Будет Чернобаев? Ради одного этого вам стоило родиться! Кстати... — Она приглушила голос. — Почти все старшеклассницы объединились против меня.

— Я не заметил...

— Ты знаешь, что в данном случае содействовало сплочению коллектива?

— Что?

— Они влюблены в тебя, Саня.

Мне было очень приятно, что она так думает.

— Ты ошибаешься, — пролепетал я.

— Все влюблены!

«И ты?» — хотел я спросить. Но она сама подчеркнула:

— Без исключения!

— Не говори Владику.

Это было единственное, о чем я попросил ее.

— А все-таки его зависть поставила тебя на колени! Слушай-ка... Поменяйся с ним умом, внешностью. И я брошусь ему на шею!

Она пошла по школьному коридору походкой человека, который знает, что на него все смотрят, но не обращает на это ни малейшего внимания. Потом замедлила шаг и вернулась:

— Скажи, Савва Георгиевич любит собак?

— Я у него не спрашивал. Но по-моему, их любят все.

Ирина пришла с собакой. Я предупредил, что у пуделя длинноватое имя и что лучше его называть сокращенно: ЛДЧ.

Вначале мама и отец путались, называли его: ЛЧД, ДЛЧ. Но понемногу они приноровились: прежде чем позвать собаку, притормаживали, мысленно произносили: «Лучший друг человека», и тогда буквы выстраивались в нужном порядке.

— ЛДЧ, какая у тебя умная морда! — не претендуя на оригинальность, восклицали они.

Ирина была с пуделем строга, как с мальчишками нашего класса.

— Не мельтеши! Ляг в углу. И молчи: сегодня не твой день рождения!

— Привык быть в центре внимания, — пояснил я родителям.

Это сближало его с хозяйкой.

— Не думала, что ты такая красавица! — сказала мама. И с тревогой оглядела своих «новорожденных».

Я воспринял ее заявление, как воспринимают всем известную истину, до кого-то дошедшую с опозданием. Владик слегка подергал носом.

Отец никаких красавиц, кроме мамы, на свете не признавал.

Все было готово, но мы ждали Савву Георгиевича.

— Не хочется «разрушать» стол, — объяснила мама. — Потерпим немного... Он задержался в университете. Но вот-вот появится.

При слове «университет» Ирина сузила глаза, и даже Лучший друг человека напрягся.

Из коридора в комнату потянулся долгий, непрерывный звонок: Савва Георгиевич, нажав на кнопку, как обычно, о чем-то задумался. Мама, опередив всех, открыла дверь.

Савва Георгиевич никогда не включался с ходу в чужой разговор, а настороженно внимал ему, как если бы в комнате звучал непонятный язык. Он долго постигал суть самой примитивной беседы, потому что мысли его были далеко. «Человек одной страсти! — говорила мама. — Он не просто живет физикой — он с нею не расстается!»

— Мы, как и вы, родились весной, — снайперски точно подметил я.

— Уж лучше бы не вспоминал, — через стол одними губами шепнула мама. И стала наполнять тарелку Саввы Георгиевича.

Я встал и провозгласил тост за маму и отца, которые «подарили нам жизнь». Взрослые выпили шампанского, а мы, уже девятиклассники, воду с дошкольным названием «Буратино».

Владик задергал не носом, а всем телом: я впервые опередил его. Этого не случилось бы, если б между нами не сидела Ирина. Мой близнец хотел сказать что-нибудь более умное, чем сказал я. Он этого так сильно хотел, что ничего придумать не могло.

Савва Георгиевич погрузил пятерню в густую, мятежную шевелюру и, продолжая думать о чем-то своем, рассеянно провозгласил тост за наше с Владиком будущее. Помолчав, он высказал мысль, которая волновала его, ибо я уже был с нею знаком:

— Если б можно было предвидеть, какое у него, у этого грядущего, будет лицо... Никто и никогда не сумеет заложить программу в самую своенравную машину, именуемую личной человеческой жизнью.

Владик все медлил.

Мне очень хотелось, чтобы тост его поскорее родился. Ирина почувствовала это и шепнула мне:

— Ты — раб его зависти.

— Почему?

Вместо ответа она поднялась.

Вилки и ложки за столом онемели: так же, как немели

наши перья, тетрадные страницы, если Ирина выходила к доске.

— Мы в доме научных работников,— сказала она. Дом наш действительно так и назывался.— Пусть это будет доброй приметой — и мы тоже посвятим себя именно ей... Науке!

Ее вдохновляло присутствие члена-корреспондента.

На географическом лбу Саввы Георгиевича увеличилось количество рек и меридианов: он спросил, в чем именно Ирина видит свое призвание.

— В молекулярной физике,— ответила она так спокойно, что все в это поверили.

Владик ничего не видел и не слышал: он придумывал тост.

Савва Георгиевич сказал, что без таких людей, как мама и отец, члены-корреспонденты ничего ровным счетом не стоят. Он не первый раз высказывал эту идею. И всегда мне казалось, что он имел в виду одну только маму, а отца приплюсовывал для приличия.

— Можно позвонить по телефону? — коснувшись губами моего уха, спросила Ирина.

— Телефон на кухне. Я провожу тебя.

— Вы куда? — бдительно осведомилась мама.

— Позвонить,— сказал я.

На кухне я забыл, зачем мы пришли.

— Ирина...

— Что? — спросила она.

Я, содрогаясь от нерешительности, положил руку ей на плечо. И в ту же минуту ощутил боль в ноге. Она была неожиданной и колкой.

Я вскрикнул, обернулся... Лучший друг человека приготовился схватить меня за ногу еще раз.

Ирина отреагировала с мгновенностью опытного шофера, увидевшего опасность: она присела и шлепнула пуделя.

— Не вмешивайся в чужие дела! — Сидя на корточках, она подняла на меня свои изумрудные глаза: — Охраняет от посягательств.

В дверях раздался голос моего близнеца:

— Уединились?

— Не совсем,— ответила Ирина.— С нами Лучший друг человека.

...В старости нелегко отречься от своего возраста и постоянно быть «в форме». Эта чужая форма, как чужая одежда, неудобна, где-то стескивает и жмет. А Марию Кондратьевну, я чувствовал, она могла задушить. Нашей классной руководительнице хотелось под тяжестью лет пригнуться, а она выпрямлялась. Ей хотелось постоять, передохнуть на площадке между этажами, а она преодолевала школьную лестницу одним махом. Преодолевала себя... Чтобы директор не думал, что ей пора расстаться и с этой лестницей, и с этими коридорами, и со всеми нами.

Однажды на уроке ей стало плохо:

— Я посижу.

Мы повскакивали с мест: «Надо вызвать врача! Неотложку!..»

— Посидите и вы,— сказала она.

Ей приходилось болеть тайно, конспиративно. «Но ведь так, конспиративно... можно и умереть,— подумал я.— Чтобы директор не догадался!» Своим ворчанием на педсоветах он вынуждал ее расходовать в неразумно короткие сроки те силы, которые можно было растянуть на годы при медленном, осторожном использовании.

— О возрасте не надо помнить, но и не следует забывать,— со вздохом констатировал у нас дома Савва Георгиевич, стараясь доискаться до причин того, почему его жена умерла в лифте, стоя, с сумками в обеих руках.

К переменке Мария Кондратьевна пришла в себя. Она с опасной стремительностью поднялась и рискованно-твердым шагом направилась в учительскую.

— На пенсию ей пора,— сказал Владик.

Он мог бы со временем заменить директора нашей школы.

— Ты поможешь мне? — спросила Мария Кондратьевна, когда мы с Ириной и Владиком были в десятом классе.

— Вам? Конечно... А в чем?

— Предстоит городская олимпиада начинающих физиков. Я хочу, чтобы ты представлял нашу школу.

— Всю школу... я один?

— Наука и искусство иногда выигрывают, если их представляет кто-то один. Но талантливый!

— А вы считаете?..

— Считаю, Санечка,— перебила она.— Я давно уже это

считаю. Но обратимся к глобальным примерам: с большой высоты все вокруг как-то виднее. Хочешь понять малое, примерь на великое! Ты не слышал об этой истине?

— Пока нет.

— Так услышишь! Королев мог представлять всю космонавтику, Менделеев — химию, Шаляпин — русскую оперную школу... А ты будешь представлять нашу школу номер семнадцать.

— Я думаю, Ирина лучше ее представит.

— Опять не веришь в себя? Подмял тебя близнец. Ох, как подмял!

Она просила, чтобы я помог ей. Но одновременно сама хотела помочь мне... выбраться из-под насевшего на меня близнеца.

— Если ты победишь на этой олимпиаде или займешь там какое-нибудь место... желательно, разумеется, не последнее, можно будет сказать: ученик спас учителя! Или «поддержал». Так будет мягче.

— Когда это?

— В понедельник, но не ближайший, а следующий за ним... В Доме культуры инженера и техника. У тебя есть еще две недели. На самоусовершенствование!

Первую неделю я потратил не на самоусовершенствование, а на «самокопание». Так Ирина называла мои заботы о том, чтобы Владик не отстал от меня и чтобы я его в чем-нибудь не превзошел.

— В любом автомобиле ограничитель скорости действует лишь определенное время. А ты напялил хомут навсегда? — спросила Ирина.

Она также нарекла Владика «шлагбаумом». И предупредила, что шлагбаум не так уж безвреден: из-за него можно не только задержаться в пути, но и вообще опоздать к намеченной цели.

— Что, если мы с Владиком пойдем на олимпиаду вдвоем? — все же спросил я.

— Он окажется там последним, а ты, чтобы не опередить его, захочешь быть еще «последней» последнего. И этим поможешь Марии Кондратьевне?

— А если я вообще не решу задачки?

— Решишь! Хотя родственничек, как моль, ~~насквозь~~ проел твою волю.

— Здесь уж он будет не виноват. Пойди лучше ты.

— Меня не просили. Если Мария Кондратьевна обратилась... ты обязан защитить ее от начальника нашей школы.

— От директора?

— Нет, он начальник: командует, учит. В сыновья ей годится, а учит! Что такое для Марии Кондратьевны пенсия? Конец жизни! Он этого не понимает. Так ты хотя бы пойми.

— Но ведь задачи, наверно, трудные будут. Я могу не решить.

— Один умный человек говорил, я слышала: «Судите о людях не по результатам, а по действиям, ибо результаты не всегда от нас зависят!» Но действовать надо так, будто зависят! Ты согласен?

— Владик обидится.

— Слушай, «мóлодец»... Так тебя звали в детском саду? Стань, наконец, молодцóm. Очень прошу: измени ударение!

— Постараюсь.

— Я пойду с тобой, чтобы вдохновлять своим присутствием. Я могу вдохновлять?

Ирина удлинила свои глаза, сузив их и как бы прицеливаясь. Но она давно уже попала в цель. Если, конечно, я мог быть целью.

В тот же день я начал готовиться к олимпиаде.

Владик с подозрением приглядывался ко мне:

— Чего это ты там зубришь?

Так как молодцóm я стать еще не успел, у меня не хватило духу сознаться, что я выдвинут Марией Кондратьевной на столь ответственное соревнование.

Во время контрольных работ Владик обращался ко мне за помощью. Но получалось так, что я же в ответ должен был испытывать к нему благодарность.

— Что ты думаешь по этому поводу? — шептал он, не поворачиваясь ко мне и не отрываясь от своей тетрадки.

Я понимал, о чем идет речь. И, не успев еще справиться со своей задачей, решал за него. Владик переписывал и покровительственным шепотом поощрял меня:

— Соображаешь!

Потом, как и в момент рождения, я уступал ему очередь и отправлялся к учительскому столу не ранее, чем две минуты спустя после своего близнеца.

Владику было выгодно, чтобы колодец, в который он как бы невзначай опускал ведра, пополнялся свежей водой.

Видя, что я решаю задачки, которые нам в классе не задавали, он будто похлопывал меня по плечу.

— Давай, давай... Скоро в университет поступать!

И удовлетворенно поправил очки в иезуитски тонкой металлической оправе. Если бы от имени братьев Томилкиных мог учиться один из нас, он бы с удовольствием уступил мне эту возможность. А на себя бы взвалил обязанность получать дипломы и аттестаты.

Когда до олимпиады оставалась неделя, Мария Кондратьевна попросила меня задержаться в классе после уроков.

— У тебя есть ко мне какие-нибудь вопросы?

— Есть... Почему вы, устраивая перекличку, не заглядываете в классный журнал?

Это меня всегда поражало.

— Больше у тебя нет вопросов, касающихся физики? Отвечу на этот... Я тренирую память. Кое-кто считает, что она стала ветхой.

Мария Кондратьевна не назвала «начальника школы».

— Вы перечисляете все наши имена и фамилии в алфавитном порядке. На память. Услышал бы...

— Зачем е м у слышать? — перебила она. — Я для с е б я повторяю... Ты к олимпиаде готовишься?

— Может, все же послать кого-то другого?

— Сядь, — попросила она.

Мы оба сели за парту, которой обычно «управлял» Владик.

— Известно, что учитель не должен иметь любимчиков. Ты слышал об этом?

— Слышал.

— И каково твое мнение?

— Я... не знаю.

— Любимчиков иметь нельзя, но л ю б и м ы х учеников можно, — сказала она. Тон у нее всегда был нарочито уверенный, как шаг больного человека, старающегося доказать, что он абсолютно здоров.

Она погладила меня по волосам, по спине, и я понял, что заставляю ее нарушать общепринятые педагогические законы.

— Мой муж погиб на войне почти в твоём возрасте. Я не ошибаюсь, тебе уже семнадцать?

— И шесть месяцев. Я пошел в школу с опозданием.

— А ему был двадцать один год. Это случилось под

Туапсе. Там, где люди отдыхают и веселятся. Я была старше его на три года. Мама не хотела поэтому, чтобы мы поженились. «Сейчас нет разницы, — говорила она, — но когда тебе будет пятьдесят три, а ему пятьдесят...» Проверить, права ли она была, как видишь, не удалось.

— Вы с тех пор... одна?

— Как же о д н а? А вы? Я где-то слышала, что одинокая женщина — не обязательно одинокий человек. В данном случае формула верна. Хотя я не признаю формул и аксиом, применяемых к жизни.

Отец говорил что-то похожее.

— Мне хочется, чтоб ты доказал не своему близнецу, — продолжала Мария Кондратьевна, — а себе — самому себе! — что можешь победить. Нельзя же всю жизнь петь вторым голосом.

— А если у меня не получится... п е р в ы м?

— Что поделаешь! Но ты постарайся. И заодно уж...

— Я понимаю.

— Постарайся, пожалуйста... друг мой, — добавила Мария Кондратьевна, как бы подражая отцу.

Она снова ничего не сказала о «начальнике школы», от которого я должен был ее защитить.

— Итак, у тебя нет вопросов, связанных с физикой?

— Своих детей... у вас не было?

— Не было.

Она и это произнесла бодрым голосом, потому что на другой не имела права. Я представлял себе, что, вернувшись из школы домой, Мария Кондратьевна сразу ложится в постель. И отдыхает, набирается сил, чтобы на следующее утро вновь опровергать свой возраст походкой, голосом, перекличкой без помощи классного журнала.

— Кое-что я подскажу тебе, — предложила она. — Я знаю, какого типа задачки там могут быть. — Она подмигнула, как сообщница. — Надо выработать автоматизм. И убеждай себя в том, что занять первое место необходимо! В спорте это помогает.

— Я слышал.

— Хотя напряжение воли и мышц — не то же самое, что напряжение ума. По Лермонтову, истину можно установить, «как посмотришь с холодным вниманьем вокруг...» С холодным вниманьем! Запомни: это и к физике приложимо. Хотя не следует «поверять алгеброй гармонию», а

«гармонию алгеброй». Конечно, любое дело, как пишут, должно быть творчеством, но все же спорт — это спорт, алгебра — это алгебра, а гармония — это искусство. Я много говорю?

— Нет, Мария Кондратьевна.

— Приду домой — помолчу.

Я воображал, как «начальнику школы» доложат:

«А Мария-то Кондратьевна воспитала ученика, который прославил наш коллектив!»

«Начальник» вытаращит глаза.

«После этого наша классная руководительница некоторое время сможет не преодолевать себя», — мечтал я. Цель была! Оставалось достичь ее.

Я вырабатывал автоматизм... Владик же выполнял свою роль «ограничителя скорости».

— Что это на тебя нашло... все-таки?

— Надо будет поступать в университет. Ты сам сказал.

— Не-ет!.. Хитри-ишь! Тут что-то другое. — Внезапно моего близнеца осенило: — Хочешь использовать е е любовь к точным наукам?

— Кого ты имеешь в виду?

— Мы с тобой имеем в виду одно и то же. Или, скажу прямее, одну и ту же.

— А разве ты ее... тоже имеешь в виду? — неискренне удивился я.

Так как напряжения мышц физическая олимпиада не требовала, я в субботу удрал с урока физкультуры. Вернулся домой и опять погрузился в «типы», вопросительные знаки и цифры.

— Со мной ты можешь быть откровенен? — не то спросил, не то попросил отец.

— Я готовлюсь к олимпиаде... начинающих физиков.

— Тебя выдвинули? Кто?

— Мария Кондратьевна.

— Именно т е б я?

— Но Владик об этом не знает.

Отец от волнения или от гордости закурил.

— Мария Кондратьевна надеется на меня.

— На тебя-то можно надеяться!

Мама старалась не хвалить нас с Владиком поодиночке. Упомянув одного, она тут же называла другого: наше равноправие должно было укрепляться и таким образом. Отец же не подчинялся этой системе.

— Мы — за равенство людей, — сказал он в тот день. — Но не может быть равенства талантов, способностей. Разве можно дарование и отсутствие оно́го причесать под одну гребенку? — Он вытащил вторую сигарету. — Этого я не допущу. Значит, Мария Кондратьевна считает, что ты в масштабах вашей школы... как бы это сказать... Курчатов? У меня есть совет. Предложение!

— По поводу олимпиады?

— Обратись к Савве Георгиевичу. Он подскажет тебе самые простые решения. То есть требующие таланта! Не только в искусстве, но и в науке простота предпочтительней сложности. И к ней гораздо труднее пробиться. На это способны только избранные!

— Савва Георгиевич, например? Он избранный?

— Не подлежит никакому сомнению.

— Вообще бы я не пошел.

— Почему?

— Неудобно. Но ради Марии Кондратьевны...

— Почаще употребляй слово «ради». А после него почаще ставь не свое имя, а какое-нибудь другое. Сострадать себе все умеют, а вот... Если я, конечно, не заблуждаюсь. — Он употреблял эту фразу, когда был уверен, что не заблуждается. — Значит, из вас двоих выбрали тебя?

— Почему из двоих? У нас в десятых классах около ста человек!

В воскресенье, дождавшись, когда мама и отец уехали к друзьям за город, а Владик вытащил из ящика письменного стола свои коробки и принялся что-то подсчитывать, я пошел на четвертый этаж.

Мама ничего не знала о предстоящей олимпиаде. Иначе знал бы и Владик: у братьев, по ее мнению, не могло быть друг от друга секретов.

Савва Георгиевич встретил меня в майке и зеленых спортивных брюках. Я изумленно застрял в дверях.

— Проходи, пожалуйста, — сказал Чернобаев. — Никогда

не занимался гимнастикой. А сейчас заставляют, представь себе.

Кто именно заставляет, он не сказал. На его географическом лбу в тот момент рек и меридианов было немного: видимо, во время гимнастики он «отключался».

— Не обращайтесь на меня внимания, — промямлил я.

— Еще несколько упражнений... Мне сказали, что следует выполнять весь комплекс — от начала и до конца.

Он стал завершать свой комплекс со старательностью неумелого новичка.

Я уловил что-то очень знакомое. Пригляделся... Это были упражнения, которым научила нас с Владиком мама. Они следовали одно за другим в том же порядке, к какому за многие годы привыкли мы с братом.

Гимнастикой Савва Георгиевич занимался на кухне. Пока он со страдальческим видом отбывал эту повинность, я огляделся. И мне почудилось, что я спустился на три этажа вниз: кухня напоминала нашу в такой же степени, как одно произведение художника, имеющего свой почерк, напоминает его другое произведение.

Стол и подоконник были застелены такими же, как наша, светло-зелеными клеенками. Значит, и кое-какие вещи мама приобретала в расчете на две квартиры... Зеленая керамическая посуда на полках тоже напоминала нашу. Мама говорила, что зеленый цвет расковывает «цепи», в которые закована нервная система городских жителей. Природа добивается той же благородной цели с помощью полей и лесов. Про Ирину мама как-то сказала: «У нее зеленые глаза. Хорошо!»

Квартира у члена-корреспондента была огромная. Я до той поры не видел таких квартир. Она была и очень ухоженная... В столовой и в комнате, которую Савва Георгиевич называл гостиной, висели зеленые шторы.

— Вы любите зеленый цвет? — спросил я.

— А где ты увидел? — Савва Георгиевич удивленно пошарил глазами по сторонам.

Стало быть, это не он стремился к успокоению своей нервной системы.

На полках, перед книгами, выстроившимися в тесные ряды, стояли маленькие вазочки с зеленью. Так было и в нашей квартире.

Я знал, что мама помогает Савве Георгиевичу по хозяй-

ству. «Прекрасно, что ты это делаешь,— говорил отец.— Благородно!»

«Вообще, если бы я был женщиной... я бы влюбился в него»,— с детства слышали мы с Владиком.

Быть может, мама прислушалась к совету отца?

В кабинете Саввы Георгиевича я увидел много графиков, диаграмм и портретов его жены: можно было проследить, как она росла и менялась, старела. Здесь же, на тахте, член-корреспондент, вероятно, и спал. Напротив его изголовья я увидел в небольшой овальной рамке... мамину фотографию. Она была ближе всего к Савве Георгиевичу, когда он оставался один. Когда отдыхал или спал.

— Считалась квартирой семьи,— сказал Савва Георгиевич, со вздохом запуская пятерню в свою мятежную шевелюру.— А стала квартирой вдовца... Чем могу быть полезен?

Мне вдруг расхотелось, чтобы он был чем-то полезен.

— Ничего не надо,— ответил я.— Просто мама просила узнать, не нужно ли вам помочь... Они с отцом уехали за город. Вдвоем!

— Она заходила сегодня утром. Я умолял ее подышать свежим воздухом.

«Какое ему дело до воздуха, которым дышит моя мама?» — подумал я.

— Это Валентина... Петровна,— сообщил Савва Георгиевич, словно я мог не узнать.

После имени он запнулся... Потому что отчество произнес для меня. Фотография перед его изголовьем, должно быть, появилась недавно. Иначе бы отец, который, хоть и не часто, но поднимался на четвертый этаж, увидел ее. Впрочем, увидев, он мог подумать, что член-корреспондент испытывает к маме благодарность. И порадовался бы за нашу семью. Я знал характер отца.

* * *

«Человек одной страсти? — думал я о Савве Георгиевиче, покидая последний домашний совет.— Нет, не одной... Не одной!»



Отказавшись от консультации члена-корреспондента, я решил развеять все свои физико-математические сомнения с помощью Марии Кондратьевны.

Однажды я провожал ее из школы. Прощаясь, она повторила то, что я уже слышал от нее:

— Много говорю? Сейчас приду домой — помолчу. Если когда-нибудь захочется навестить меня... первый этаж, квартира три.

— Мы тоже на первом.

Но я ни разу не навестил ее. Мы чаще вспоминаем о человеке, когда он нужен нам, чем когда мы необходимы ему. Особенно если нет громких сигналов бедствия.

Но и на мои сигналы квартира номер три в тот день не ответила. Я долго надеялся, даже кнопка звонка нагрелась. «Может, не слышит?» — думал я. Приложив ухо к замку, я узнал голос радиодиктора, который сообщил, что к вечеру ожидается похолодание. Но шагов не было.

Я поплелся домой. Похолодание уже началось. «Мы будем ощущать все большее охлаждение к нам со стороны природы: человечество это заслужило!» — любил повторять Савва Георгиевич. Его предсказание, кажется, начало сбываться.

«А мама с отцом уехали за город, — вспомнил я. — По просьбе Саввы Георгиевича... Мама заботится о нем, он — о ней. И почему, интересно, перед его изголовьем не висит портрет какого-нибудь знаменитого физика — академика, лауреата? Значит, он хочет, начиная свой день, прежде всего видеть не соратников по общему делу и не умершую в лифте жену, а мою маму? Как я хочу видеть Ирину?..»

Я увидел ее сразу же, стоило мне войти в свой подъезд. Но еще раньше услышал:

— Все погибло! Ты убил Марию Кондратьевну!

— Я?

— Не сомневайся: именно ты!

— Я?!

— А кто же?

Глаза ее до того сузились, что зеленый свет вовсе исчез: путь к взаимопониманию был закрыт.

— Объясни... — все же попросил я.

— Это ты объясни!

Сквозь завесу неожиданности и волнения я сумел разглядеть, что у Ирины в волосах костяной гребень, что на ней платье, которого я раньше не видел, к нему приколоты гвоздика, а в руке целый веер гвоздик. «Если бы я убил Марию Кондратьевну в буквальном смысле этого слова, она бы выбросила цветы», — успокаивал я себя.

— Что это ты сегодня... такая?

— Собралась приветствовать героя олимпиады.

— Она же завтра... в понедельник.

— Что-о?!

Ключ долго не находил своего места в замке. Наконец мы вошли в квартиру. Никого не было дома. Ирина могла не беспокоиться, что ее услышат, и обрушилась на меня с еще большим негодованием:

— Перед такими соревнованиями надо устраивать обследование: у тебя злокачественный склероз!

— Почему ты так... говоришь?

— Потому что тебе дважды передавали, что олимпиада переносится на сегодня.

— На воскресенье?! Кто передавал?

— Один раз Мария Кондратьевна, а потом я.

— Каким образом... передавали?

— Через твоего родственника.

— Через Владика?!

— Ты же сбежал с физкультуры. Это был последний урок... Мария Кондратьевна специально пришла в спортивный зал, позвала твоего родственничка и сообщила ему.

— О чем?

— О том, что начинающие физики будут состязаться не в понедельник, а в воскресенье: это оказалось удобнее для членов жюри и для телевидения.

— Владик мне ничего не сказал.

— Что ты плетешь? Невообразимо! Я же напомнила ему.

— Он не сказал...

— Не передал? Зависть превращает ничтожество в подлеца! Как ты можешь жить с ним под одной крышей? Я же предупредила: «Олимпиада будет сегодня. Разыщи Саню хоть под землей!» Так и сказала. По телефону...

— Когда?

— Часов в десять утра.

— Я был у Саввы Георгиевича.

Зеленый свет пробился наружу.

— Ты был у него?

— Был.

На несколько секунд она забыла про олимпиаду. Затем снова вспомнила:

— И родственничек знал, что ты у него? Наверху?

— Знал. Но может быть, он забыл?

— Ты опять защищаешь подлость?! Она тебе нравится? Ты с ней согласен? Потому что с в о я... так сказать, б р а т с к а я, да?

Она бросила цветы на пол, словно плеснула красной краской или кровью в разные концы коридора.

— Нашей школе засчитали поражение. За твою неявку. Я сказала Марии Кондратьевне: «Пойдемте отсюда!», а она ответила: «Посижу до конца». Я думаю, не могла подняться. Представляешь, какой подарок ты преподнес «начальнику школы»? Скажет: «Естественно! В этом возрасте всё путают, всё забывают».

— Как же быть? — спросил я.

— Неявку не прощают даже заслуженным мастерам спорта и международным гроссмейстерам.

— Но пусть простят Марию Кондратьевну. Я объясню...

— Кому?!

Ожил дверной замок. Вернулись мои родители. Первой вошла мама, надышавшаяся по просьбе Саввы Георгиевича свежим воздухом. На плечах у нее был отцовский пиджак, поскольку на улице похолодало.

Мама, увидев нас в коридоре, вздрогнула. Заметила пятна гвоздик на полу и бдительно осведомилась:

— Вы вдвоем? А где Владик?

Она продолжала бороться за равноправие.

Близнец пришел поздно. Ирина не дождалась его.

— Я голоден, — сказал Владик, обводя недоумевающим взором четыре стула, стоявших вокруг кухонного стола.

Если предстоял ужин, стол не выдвигался на середину кухни, а прижимался к стене, и мы уместались возле него на табуретках. Но во время домашних советов из комнат притаскивались стулья, и все члены семьи усаживались с четырех сторон. «Чтобы смотреть друг другу в глаза!» — говорила мама.

— Садись,— предложила она Владику. И сразу стало ясно, что обвиняемым будет он.

Близнец сел.

— Недавно ушла Ирина. Она рассказала нам, что сегодня в Доме культуры инженера и техника разыгралась ужасная история.

Хоть мама и усадила Владика на стул, хоть она и произнесла слово «ужасная», но голос ее тем не менее был довольно спокоен. Да и руки не метались, как загнанные. «Влияние свежего воздуха!» — решил я.

Но потом понял, что ситуация еще не до конца ясна маме, что она хочет в ней разобраться.

— Тебя предупреждали, что олимпиада, о которой я, кстати, ничего не знала, переносится с понедельника на воскресенье?

Следовательские нотки звучали в мамином голосе, но весьма приглушенно. Это были как бы вариации на тему об олимпиаде начинающих физиков, но еще не само произведение.

Владик задергал носом. Поправил очки в иезуитски тонкой оправе.

— А что такое? — спросил он, выигрывая время для раздумий.

— Повторяю,— сказала мама,— тебя предупреждали о том, что олимпиада переносится?

Следовательская интонация становилась все определеннее.

— Его предупреждали,— с тяжелым спокойствием произнес отец.— Это безусловно.

— Я хочу равноправия! — Мама протянула руки, ожидая, что искомое равноправие положат ей на ладони.— Почему ты, Василий, когда речь идет о Сане, исходишь из того, что он ничего дурного сознательно сделать не может, а в данном случае берешь старт с другой стороны?

Если маме где-нибудь и удалось добиться равноправия, так это на семейных советах: здесь не учитывался ни возраст, ни пол. Мы, школьники, могли спорить с отцом и даже с самой мамой, а они могли наступать друг на друга. Хотя отец ни разу этим правом не воспользовался. Ни разу... до того вечера.

— Ты даже не произнес свое любимое «если я, конечно, не заблуждаюсь», — продолжала мама.

— Это слишком серьезный проступок,— с тяжелой уверенностью возразил ей отец.

— А если проступка нет?

— Я думал, Саня знает, что олимпиаду перенесли,— схватился за соломинку почти утопавший Владик.

— Зачем же тебя просили сообщить ему это? — поинтересовалась мама, сражаясь за абсолютное равноправие.

— Я думал, так... на всякий случай. Чтобы он не забыл.

— И почему ты не передал?

— Ты знала об олимпиаде? — вопросом ответил Владик.

— Нет, я, к сожалению, была не в курсе.

— И я... Зачем же было обнаруживать, что я знаю? Раз он ото всех скрывал!

— Не ото всех,— возразил отец.— Я, например, даже посоветовал проконсультироваться с Саввой Георгиевичем.

— И Саня пошел к нему? — с нервной небрежностью спросила мама.— Ты поднялся?

— Поднялся...— ответил я.

Воцарилось молчание. Владик ничего не понимал. Кроме того, что о нем на время забыли.

— Почему ты ответил мне столь многозначительно? — тихо спросила мама.

Вновь наступила тишина. Мама, приняв какое-то решение, далекое от олимпиады начинающих физиков, встала и, сильно прижав уши ладонями к голове, покинула кухню.

Отец вышел за ней в коридор.

— Сейчас как раз тот момент...— слышался мамин голос.— Я обязана.

— Вероятно. Если я, конечно, не заблуждаюсь.

Они вернулись на кухню.

— Саня и Владик...— начала мама, все еще сжимая голову ладонями.— Отец уже давно знает. А вам я должна сообщить о событии, которое никак не повлияет на вашу жизнь, никак не отразится на ней! — Мама протянула руки вперед, потом спрятала за спину. Она не знала, куда их девать.— Все останется по-прежнему. Фактически мы будем жить одним домом...

Я подумал, что мама иногда говорит чересчур длинно. И что вообще на свете произносится слишком много слов, которые надо вынести за скобки для того, чтобы внутри скобок осталась истина в ее чистом виде.

— Мама и Савва Георгиевич ни в чем перед нами не виноваты,— твердо сказал отец. И повернулся ко мне: — Поверь... друг мой.

— Я верю.

Покинув наш последний домашний совет, я выбежал на улицу, где уже очень резко ощущалось охлаждение природы к провинившемуся перед ней человечеству. Мне всегда казалось, что осень и весна — не вполне самостоятельные, а как бы «переходные» возрасты года: от лета к зиме и наоборот. Май в тот вечер перепутал, забыл, к какому возрасту ему надо держать курс. В пору было надеть пальто или плащ, но мне не хотелось возвращаться.

— Куда ты, Саня? Все будет по-прежнему! — догнал меня из окна мамин голос.

Это были бессмысленные обещания, и я остановился только на углу, у автоматной будки. Позвонил Ирине и попросил ее выйти ко мне на минутку.

Она вышла с собакой. Лучший друг человека ни разу не унизил свою хозяйку в моих глазах: не поднял ногу возле забора, дерева или столба. Обычно он смотрел на нас так, будто собирался принять участие в предстоящем разговоре.

На все возможные случаи жизни и для любых погодных условий у Ирины находилась соответствующая одежда — современная, но не разлучавшая ее с образом знаменитой Кармен. Если бы на город обрушился тайфун, я уверен, она бы и его встретила во всеоружии моды и вкуса.

Сейчас Ирина была в кожаной куртке с поднятым воротничком, на который ниспадали крупные цыганские серьги. Она не ждала моего звонка, но застать ее врасплох было нельзя.

— Ты пришел убеждать меня, что ни в чем не виноват? И что родственник твой — негодяй? Я верю. Но Марии Кондратьевне от этого будет не легче.

— Ты не знаешь самого главного.

— Главного? Для Марии Кондратьевны или для тебя?

— Для меня... Мама с отцом расходятся.

Она остановилась. Лучший друг человека приподнял уши.

— Куда расходятся?

— На разные этажи. Мама поднимается к Савве Георгиевичу. Насовсем.

— К Чернобаеву?! Откуда ты знаешь?

— У нас был домашний совет. Самый последний... Он принял исторические решения.

— Какие?

— Маме разрешено уйти к члену-корреспонденту. Она, отец и мы с Владиком должны думать, что ничего не изменилось, ничего особенного не произошло. Еще совет постановил, что и в этом случае должно быть соблюдено равноправие: один из нас, близнецов, поднимется вместе с мамой, а другой останется на первом этаже.

— И кто же поднимется?

— Отец сказал: «Саня, останься со мной». Я согласился.

— Не может быть!

Когда я сообщил, что мама с отцом расходятся, она этого не воскликнула.

— Почему... не может быть? Я хочу остаться с отцом.

— Права Мария Кондратьевна! — еще убежденней воскликнула она.

— В чем?

— Подмял тебя родственничек. Подмял! Ты и здесь уступил ему. Вернее, и здесь о т с т у п и л!

Круглые серьги плясали по кожаному воротничку, Ирина кричала:

— Какая разница — жить на первом этаже или на четвертом? Ведь это же в одном доме!

— Мама тоже сказала, что наши семьи будут о д н и м домом.

— Она совершенно права!

— Почему же ты... волнуешься? Если нет никакой разницы?

— Потому что ты — балбес! — Впервые она назвала меня так. — Ну и балбес! Я даже не представляла себе, что ты такой страшный балбес!..

Лучшему другу человека это слово не понравилось: он внезапно напрягся, присел на задние лапы и протестующе, зло залаял на свою хозяйку.

— А тебе что? Только тебя не хватало!

Ирина ударила ЛДЧ поводком. Он попался под горячую руку.

— За что... ты?

— Не вмешивайся! Это не твоя собака.

И чтобы доказать, что пудель принадлежит ей, Ирина еще и еще ударила его поводком.

Лучший друг человека умолк. Но не поджал хвост, а продолжал пружинисто опираться на задние лапы, как бы готовый к прыжку.

— Человек во гневе выражает не столько свои убеждения, сколько ощущения. В таких случаях надо переждать, — давно объяснил мне отец.

После сцены возле подъезда Ирины я стал напряженно «пережидать». Она меня не замечала, хоть я все время старался попадаться ей на глаза. Прошло полтора месяца... В школе я уже не мог увидаться с ней: десятилетняя эпопея контрольных, заданий на дом и ответов у доски завершилась. Но впереди было предэкзаменационное собеседование в университете, где нам с ней предстояло встретиться.

Вспомнив, что фотограф однажды сказал мне: «Тебя выгодней всего брать в полупрофиль», я решил чаще поворачиваться к Ирине полупрофилем.

«Встретимся как ни в чем не бывало! — думал я. — Человек во гневе не выражает своих истинных убеждений. К тому же я переждал столько дней...» Я понял, что стоит поступить на мехмат и чего-то достигать в жизни, если Ирина будет свидетельницей этого. Если она это оценит...

Я улизнул из дома рано, почти на рассвете. И один... Чтобы Владик не видел, как я подойду к Ирине, и не слышал, как скажу ей, что очень соскучился.

Долго я курсировал перед громадой университетского здания. Я не думал о собеседовании с кандидатами и доцентами. Я ждал «собеседования» с ней. Это стало главным ожиданием в моей жизни.

И вдруг я увидел Ирину и Владика. Они шли... держась за руки. Заметив меня, она панически вздрогнула и отдалась от него на полшага.

Я, не оборачиваясь, вошел в здание.

Не на всех факультетах устраивают предварительные собеседования. Но Савва Георгиевич считал, что нельзя

превращать школьника в студента, не познакомившись с его кругозором.

— Разумеется, ни о каких поблажках не может быть и речи,— предупредила Владика и меня мама.— Но доброжелательное отношение вам будет обеспечено.

Мама хотела, чтобы наше с Владиком поступление на один факультет содействовало объединению первого и четвертого этажей.

На мраморной лестнице, которая в привычном термине «дворец науки» делала ударение на слове «дворец», Ирина догнала меня. Близнеца рядом не было.

— Ты волнуешься? — извинительно шепнула она.

По лестнице поднимались многие искатели будущей научной судьбы и буднично-спокойные вершители судеб.

Для этого дня у Ирины нашелся элегантный, сверхскромный костюм, который вполне был бы к лицу Софье Перовской и Скловдовска-Кюри. Серег не было. И лишь смоляные завитки да костяной гребень говорили о том, что и Кармен могла бы тянуться к высшему образованию.

— Ты волнуешься? — вновь прошептала Ирина.

— Нет.

Сзади, перепрыгивая через мраморные ступени, нас догнал Владик.

— О чем вы тут шепчетесь? — с игриво-подозрительной интонацией осведомился он.

— Я спросила, не нервничает ли Саня,— принялась объяснять Ирина.— Он сказал, что спокоен. Только об этом и шел разговор.

Она оправдывалась перед Владиком, которого еще недавно презрительно именovala «родственничком». Но теперь этот родственник был полпредом четвертого этажа, на нем был отблеск величия Саввы Георгиевича.

Первым из близнецов Томилкиных на собеседование пригласили меня, потому что имя мое было на букву «А».

В комнате, не обращая внимания на открывшуюся и закрывшуюся дверь, сидели друг против друга два вершителя судеб. Мужчины лет тридцати семи... Один, сидевший почти спиной ко мне, был с холеной д'артаньяновской бородкой. У второго бородка была менее ухоженная. Этот второй говорил о каком-то французском фильме: «Явление! Удивительное явление!...» Первый, разглядывая ногти, ответил:

«Тебя гипнотизирует актер. И больше ничего!» Меня поразило, что вершители судеб были на «ты».

Заметив меня, холеная бородка понизила голос: «А я полностью разочарован».

Без каких-либо переходов ко мне обратился тот, который поддавался гипнозу. Это, наверное, было хорошо. Но для меня безразлично.

— Назовите своих любимых физиков.

— Склифосовский, — ответил я.

Они должны были свалиться со стульев. На это я и рассчитывал. Но они не свалились. «Неужели Савва Георгиевич приказал взять меня на факультет, так сказать, живым или мертвым?» — подумал я.

Вершитель судеб с растрепанной бородкой был более впечатлительным. И поинтересовался:

— Это ты всерьез?

— А что такое? — ответил я фразой Владика.

— Ах так? Тогда скажи, пожалуйста, в каком году состоялся первый в истории разговор по телефону?

— В тысяча восемьсот шестьдесят первом, — ответил я.

— Ты перепутал изобретение телефона с отменой крепостного права, — засвидетельствовал тот, который оценивал свои ногти.

— Значит, по-твоему, Гончаров вполне мог поболтать по телефону с Тургеневым? — спросил более впечатлительный.

— Какие телефонные разговоры? Они терпеть не могли друг друга, — не поднимая головы, сообщил второй. — А ты, как я вижу, физику органически не перевариваешь. Зачем же стремишься на наш факультет?

— Я не стремлюсь.

— Ну, что?! — Ирина подбежала ко мне, выждав, пока Владик скроется в той самой комнате. Ее фамилия была на «У» и ей собеседование еще предстояло.

— Провалился, — ответил я.

— Каким образом?

— Не ответил — и все.

— Ты решил подорвать престиж Саввы Георгиевича?

— Просто я не хочу у него учиться. Хоть он ни в чем абсолютно не виноват...

...Сквозь окна нашего первого этажа я все чаще видел, как Владик с Ириной входили в подъезд, затем слышал, как с дребезжащим металлическим звоном захлопывалась дверь лифта и кабина уплывала на четвертый этаж. «Как ты можешь жить с ним под одной крышей?» — спрашивала она. А теперь стремилась под общую крышу с Владиком.

Мама никогда не проходила мимо своей бывшей квартиры.

— Ну, как вы? — восклицала она с порога гораздо приветливее, чем это бывало прежде. — Я принесла то, что вы любите!

Но плаща не снимала.

Однажды, часов в восемь утра, я увидел Владика с чемоданом. Он стоял, не оборачиваясь на наши окна, словно никогда, ни одного дня не жил в этой квартире.

Подкатила новая «Волга» Саввы Георгиевича — не белая, а зеленая. Быть может, цвет выбирала мама? Член-корреспондент был сам за рулем. На заднем сиденье я увидел Ирину в туристской куртке с капюшоном на спине. Значит, Савва Георгиевич заехал за ней, а потом вернулся к подъезду. «Надо очень любить маму, чтобы так заботиться об одном... из ее сыновей. И о его личном счастье!» — подумал я.

Любопытство, помимо воли, подтолкнуло меня к окну.

— Куда вы? — спросил я у Владика.

— В молодежный лагерь! — Он победно подергал носом.

— Ну да, вы ведь уже студенты.

— А ты?

— Подал в медицинский. Буду лечить свои и чужие почки. Там экзамены в августе.

— Мама мне говорила... Ну, будь!

Он столь же победоносно поправил свои очки в иезуитски тонкой оправе и сел рядом с Ириной.

«Поменяйся с ним умом, внешностью... И я брошусь ему на шею», — говорила она.

Обмена не произошло. Но в лагерь они уезжали вместе.

Савва Георгиевич помахал мне рукой. Мама провожать их в молодежный лагерь не вышла.

Отец на кухне готовил нам двоим завтрак.

«Если бы мне предложили остаться навсегда одинокой или быть с твоим братом, я бы, не задумываясь, предпочла судьбу старой девы!» — вспомнил я еще одну фразу Ирины.

«Не задумываясь...» Нет, она все же задумалась!

...— Неужели выгода может заставить...

— Мама полюбила Савву Георгиевича,— оборвал меня отец, склонившись над газовой плитой.

— Я не о маме.

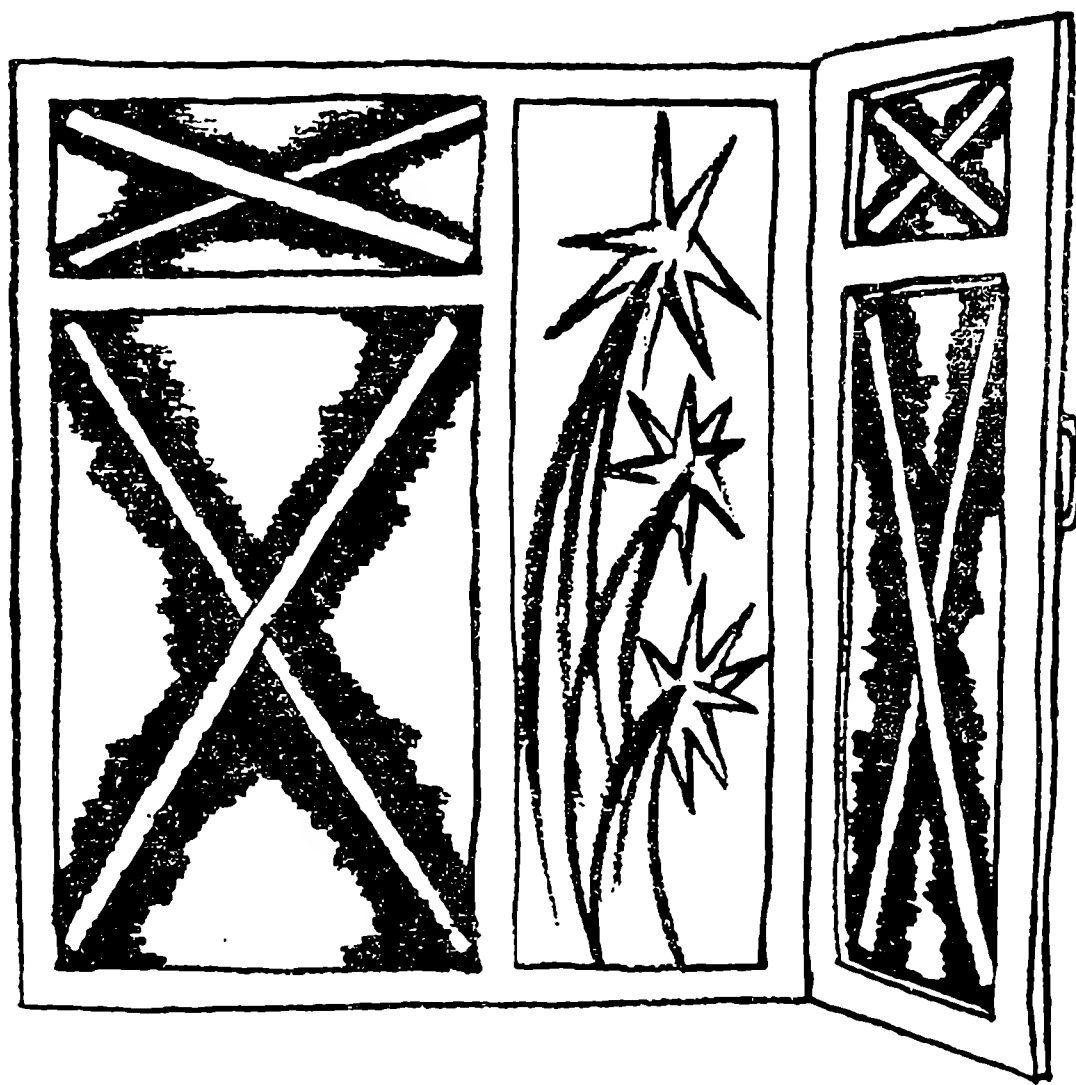
— А о ком?

— О той, которая была собаку. Лучшего друга человека!

— Кто-то не любит собак? — медленно произнес отец.— Разве можно их не любить? Но все-таки, Санечка, лучшим другом человека... должен быть человек. Если я, конечно, не заблуждаюсь.

1979 г.

ИВАШОВ



Мы стали нервно, беспорядочно шарить по многочисленным карманам френча, отглаженного, словно вчера сшитого...

Нашли листок, вырванный из тетради. Мама не обратила внимания, а я прочла вслух:

Невзгоды

между ним и мной...

И годы

между ним и мной.

— Что это? — механически спросила мама с отчаянием, не находя того, что искала...

За окнами продолжался салют. Огромные деревья последний раз вскинули свои огненные ветви, а с ветвей стали осыпаться плоды: красные, зеленые, оранжевые. Два синих

яблока застряли в воздухе, над крышей старого дома, знаменитого тем, что его когда-то передвигали: до войны это казалось научно-технической революцией.

Сколько раз я, помимо воли, отправлялась в прошлое, пока возникающие и исчезающие за окном деревья вскидывали свои огненные ветви! А сколько раз я отправлялась по тому же маршруту «сегодня — недавно — давно», пока спешила сюда, на третий этаж, с авоськой в руках...

Было сказано: еще полгода, годик... А прошло около четырех лет. Но так надо было сказать: мы жаждали обещания, что ужас не вечен.

Мучительно переходить из мира в войну. Но и к миру после четырех лет... надо привыкнуть. Меня охватили не только истеричное ликование, но и растерянность. С прежним страхом я взглянула на лестницу, спускавшуюся в подвал, который мысленно все еще называла «бомбоубежищем».

Оттуда, снизу, цепляясь за перила, как после изнурительной болезни, появилась женщина с таким лицом, будто она всю войну просидела в подвале. Я знала ее. Но откуда?

Человеческая память избирательна: один забывает номера телефонов, но мастак по части имен и фамилий, другой же — наоборот. Моя память отталкивала от себя лица. Человек здоровался, а я не знала, о чем разговаривать, на какую тему: кто он — лечивший меня доктор, управдом или продавец из соседнего магазина.

— Это не болезнь, а особенность, свойство натуры, — объяснил Ивашов, который был для нас с мамой самым авторитетным на земле человеком. — Все молодые сотрудницы в моем представлении — Верочки. Ну и что? Не Валечки и не Галочки... А только вот таким образом.

Ивашов не успокаивал — он, пользуясь собственным опытом, объяснял, что причин для волнений нет. Паники он не выносил. Особенно когда для нее были основания.

— Паника, хоть и криклива, все притупляет, лишает зрения. И погружает во тьму хаоса. Это не я утверждаю, а исторический опыт. Вот таким образом.

Он часто обрывал разговор этой холодной фразой, не желая показаться сентиментальным или велеречивым.

Ивашов знал, конечно, что опыт люди используют в науке, а в личной жизни им чаще всего пренебрегают.

— Этому есть оправдание, — помню, сказал он. — Ведь

теории личной жизни не существует: ничто здесь не подвластно правилам, обобщениям.

Мы с мамой немедленно восприняли его мысль как обобщение и руководство к действию. Опирались на его убеждения было очень удобно: не возникало риска споткнуться, ощутить вакуум.

Женщина, которая появилась из бывшего бомбоубежища, казалось, и не слышала о победе.

— Ивашов-то из эвакуации насовсем вернулся? — мрачно, с подковыркой спросила она.

Я заспешила по давно нематым ступеням.

— Дочь-то его, красавица, говорят, замуж вышла? — догнал меня следующий вопрос. — Там осталась?.. Теперь в двух комнатах один проживать будет?

Я и на это ей не ответила.

«Сейчас увижу Лялю и Машу!» — подумала я о своих лучших подругах, убегая от въедливого, укоряющего голоса.

— А ты расцвела... Выросла! — догнал он меня уже на втором этаже. — Война была, а ты расцвела. Все из эвакуации обратно поползли... Отоварились?

У меня в руках была сумка с продуктами.

Я испытывала благодарность и облегчение, когда люди сами напоминали, кто они и откуда знают меня. Женщина, стало быть, просто видела, как я девчонкой бегала к Ивашовым, — я встречала ее здесь же, в подъезде. Все вспомнилось, но благодарность от этого не возникла.

1

В нашем классе знали, что у Ляли Ивашовой отец большой начальник. Иногда говорили: «Большой человек!» С годами я поняла, что это не обязательно совпадает.

Ивашовы уже тогда, до войны, жили в отдельной квартире. Мама воспринимала это восторженно, потому что у нас было восемь соседей. Она никогда никому не завидовала. Если человек обладал чем-то, для нас недоступным, значит, он заслужил. А раз заслужил, она его уважала. «Завидую только здоровым старикам, — говорила мама. — Идет по улице восьмидесятилетний — и не нуждается в посто-

ронней помощи, в одолжениях, все помнит... Вот об этом мечтаю!»

Я приходила к Ивашовым с праздничным благоговением, как на елку во Дворец культуры. Я бывала у них почти каждый день, но благоговение не покидало меня. Отсутствие соседей тоже было тому причиной. И радиола, которую Ивашов привез откуда-то издалека. И шофер, появлявшийся в дверях с одной и той же фразой: «Я прибыл!» Все это было не меньшим чудом, чем елочные новогодние представления. Но главное заключалось не в шофере и не в радиоле: я, как и мои подруги-старшеклассницы, была влюблена в Ивашова.

От родителей наследуется не только какое-либо душевное качество, но и отсутствие такового: мне тоже неведома зависть. Испытывать это изнуряющее чувство к жене Ивашова было вообще бессмысленно: ее не стало в день рождения дочери. Мама сказала:

— Отправляется в роддом один человек, а приезжает оттуда двое, бывает, даже трое и четверо! Ивашов же туда отвез одного человека и обратно привез о д н о г о. Но другого, нам в ту пору еще незнакомого: Лялю.

Мама дружила с его женой и утверждала, что это была красавица. Иначе быть не могло! И вовсе не потому, что все женщины, по мнению мамы, в той или иной степени хороши. Речь шла о жене И в а ш о в а!

— Хочешь увидеть ее? — говорила мама. — Взгляни на Лялю. Такой она и была. И имя такое же. Мы учились с ней десять лет.

Наша дружба с Лялей была, значит, «доброй традицией».

Ляля-старшая завещания не оставила: в ее записной книжке, спрятанной мамой от Ивашова («Я обязана была его пощадить!»), перечислялись одиннадцать срочных дел, которые предстояли ей после родильного дома. Она не собиралась умирать... Мама выполнила все одиннадцать. Они касались Ляли-маленькой и Ивашова.

Завещания не было... Но мама считала, что подруга могла доверить мужа и дочь только ей. Оба стали ее детьми, но главным ребенком из нас троих мама считала Ивашова.

— Надо его щадить! — повторяла она.

Мама говорила, что именно самые близкие укорачивают нам жизнь.

— Близкие не виноваты, — объяснил Ивашов. — То, что

с ними происходит, вторгается в нас. Иногда помимо их воли. Они, бедные, отбиваются, а мы продолжаем нагружать себя их заботами, результатами их заблуждений. Вот таким образом.

Я подумала, что Ивашов мысленно освобождал нас всех от вины за наши беды, ошибки, страдания, которые незаметно для окружающих вторгались в него.

Уже в первом классе кто-то назвал Лялю «маленькой женщиной», и мы поняли, что быть женщиной очень почетно.

Я хотела перенять ее походку, ее манеру разговаривать, отвечать у доски, но скоро с грустью осознала, что научиться быть женственной невозможно.

Не смогла я научиться и Лялиному таланту быть «хозяйкой» в семье. Вероятно, потому, что моя мама вернулась из родильного дома?

Мне, наоборот, были свойственны мальчишеские замашки, и я быстро выжила из Лялиной отдельной квартиры всех одноклассниц, влюбленных в ее отца. Исключение составляла лишь Маша Завьялова: с ней Ляля и я не могли разлучиться.

Она умела все — рисовать, петь, ходить на руках. Соревноваться с ней было бесцельно, как с Леонардо да Винчи. Ей можно было ставить пятерки, не вызывая к доске. И если учителя вызывали, то лишь для порядка. Она беспощадно экспериментировала на себе самой: то выдумывала прическу, которую, как утверждал Ивашов, вполне можно было выдвинуть на премию по разделу архитектурных сооружений. То изобретала юбку с таким количеством складок, что на ней хотелось сыграть, как на гармонии. Потом она без сожаления все это разрушала, распарывала.

Маша сочиняла стихи и забывала их на тетрадных обложках, на промокашках. Я собирала четверостишия, ставила внизу даты, потом прятала их, сберегая для потомства, а многие помнила наизусть.

С моцартовской легкостью она перелагала свои стихи на музыку и исполняла их под гитару.

Лицо ее было подвижным, как у мима: она и им распоряжалась легко, без натуги. Разочарования, восторг, изумление сменяли друг друга, не оставляя места неопределенности. Отсутствие однообразия и было Машиным образом.

Смуглый цвет ее лица не зависел от времени года. Если кто-нибудь удивленно на этом сосредотачивался, Маша то-

ропливо, успевая предварить вопрос, сообщала: «На юге не была. На пляже не загорала!» Даже при моей неспособности запоминать лица Машу я бы запомнила сразу. Она не приbedнялась, но и цены своей громко не объявляла. Все и так оценивали ее по достоинству.

Никто не считал Машу чемпионкой класса по «многоборью», так как она ни с кем не боролась: ее первенство было бесспорным.

Во всем, кроме женственности: тут первой считалась Ляля.

Лялина жизнь началась с потери. И хоть в первый миг она, разумеется, этого не ощутила, потом все более погружалась в воспоминания о том, чего не могла помнить: стала отрешенной, задумчивой. Красивые женщины даже во сне не забывают, что они красивы. Ляля же в ответ на похвалы оглядывалась, словно та, которой восторгались, скрывалась где-то за ней. Красавицы привыкают к поклонению и уже не могут без него обходиться. Ляля восхищенных взоров не замечала, и они от этого становились еще восхищенные.

Мне самой от поклонников не приходилось обороняться, и я обороняла от них Лялю. Одним словом, под моей защитой находился весь дом Ивашовых.

Мама предпочитала взять этот труд на себя.

— Не живи чужою жизнью! — уговаривала она.

— А сама?

Мама не могла стать иной, чем была. Но поскольку самопожертвование пока что ей счастья не приносило, она не хотела, чтобы и я видела в нем свое жизненное призвание.

Мама считала, что ей тоже не грозят романтические атаки. Возможно, этот диагноз, поставленный еще в молодости, был неточным, поспешным. Но мама действовала согласно ему и в результате наше семейство не имело мужской опоры, а у меня появились мальчишеские повадки.

Маша Завьялова также не подвергалась атакам... По той причине, что подступиться к ней не решались: надо было соответствовать ее уму и разнообразным способностям.

Маше сулили чин академика, Ляле — покорительницы сильного пола и создательницы счастливой семьи, а я просто была их подругой. Мне ничего не сулили.

Я гордилась Лялиной красотой и Машиными талантами более громко, чем гордятся собственными достоинствами,

именно потому, что эти достоинства были все-таки не моими: в нескромности меня обвинить не могли.

— Ты продолжаешь жить чужой жизнью, восторгаться не своими успехами,— констатировала мама.

— Это плохо? — удивилась я.

— Сиять отраженным светом?

Она задумалась и повторила то, что я уже слышала от нее:

— Смотря чьим светом! Но даже самый красивый и яркий меня не согрел.— Мама натянула на плечи платок.— Нет, не согрел. По крайней мере до сей поры.

Значит, она надеялась.

2

Третьего июля сорок первого года, сразу же после утренней речи, вошедшей в историю, мальчишки, которые были на класс старше, побежали в военкомат.

— Может быть, рано? Только что окончили школу...— сказала мама.

Через несколько дней мальчишек побрили. Они смущенно ощупывали свои головы. И от этого казались беззащитными. А уходили на фронт... Предчувствуя, что обратной дороги к дому может не быть, они стали объясняться Ляле в любви. Все подряд. Они не ревновали ее друг к другу. Им важно было успеть высказаться. Я не оттесняла их в сторону, как прежде, а оставляла с Лялей наедине.

И к Маше, как мне стало известно, двое ребят с беззащитно-бритыми головами тоже решили наконец подступить: им предстояли более рискованные атаки.

— Что ты им отвечала? — спросила я у Ляли: мне было интересно.

— Что люблю их. И буду ждать.

— Всех?!

— Всех до одного.

— Правильно сделала. А ты? — обратилась я к Маше.

— Говорила: вы еще поступите в институт. Еще поступите!

— И только?

— Кажется, да.

— Что ж ты? Такая умная...

— Этот агрегат,— она положила руку на сердце,— у Ляли умней. Совершеннее!

Лишь в м о е й женской судьбе даже чрезвычайные военные обстоятельства ничего изменить не смогли.

— Прощай, Дусенька,— говорили мне мальчишки так же, как говорили учителям или соседям по дому.

— До свидания,— поправляла я их.

В середине месяца Ляля сказала мне:

— Папин стройгигант посылают на оборонительные укрепления. Кажется, под Смоленск. Я поеду с отцом.

— Тогда и мы с Машей поедem,— уверенно сказала я.

Машины родители понимали, конечно, к а к а я у них выросла дочь.

— Про нее еще в энциклопедии напишут! — заверила их моя мама.

Они не возразили:

— Спасибо, Тамара Степановна.

Дочь была их единственным достоянием. Но этой драгоценностью они не хвастались, не прятали ее, не запирали на ключ. Да и комнату свою в коммунальной квартире тоже не запирали. Прятать и запирать они были не приучены еще и потому, что жили бедно, хотя, мне казалось, этого не замечали. Маша умела многократно и до неузнаваемости преобразовывать не только одну и ту же юбку — она и мебель постоянно переставляла, умудряясь нарушать незыблемые математические правила: от перестановки слагаемых сумма менялась — и комната каждый раз становилась иной.

Машины родители были доверчивыми и сговорчивыми людьми.

— Никакой опасности нет,— сказала я им.

И они мне поверили.

Мама ее, привыкшая подчиняться, поскольку решающий голос в семье принадлежал все же дочери, спросила:

— Вы одни едете... из всего класса? Только девочки?

— Едет Ивашов!

— Он с а м? Тогда я спокойна.

Но моя мама неожиданно воспротивилась:

— Одних я вас не пущу! — Она, опекавшая два дома, две семьи, за все ощущала как бы удвоенную ответствен-

ность.— На сколько дней вы отправляетесь? И где там жить будете? И кто вас будет кормить?

— С нами Ивашов едет. Ты понимаешь?

— Тем более! (Я изумленно уставилась на нее.) Он тоже не приспособлен...

— О н?!

Мама и Ляля вперегонки заботились об Ивашове. Но как свекровь уверена, что невестка не может заменить сыну мать, так и каждая из них считала, что ее заменить Ивашову полностью не сможет никто.

— Одних я вас не пущу! — еще решительней заявила мама.

— Что значит о д н и х?

— Без меня вы там пропадете!

3

Под Смоленск нас отправили в дачных вагонах. Привычные скамейки, исполосованные стершимися рейками и утратившие определенный цвет; окна, верхняя половина которых, сопротивляясь, с натугой опускалась, нехотя открывая дорогу паровозной гари и ветру,— все это дразнило воспоминаниями о том, что было вот-вот, накануне, но уже стало невозвратимым.

С нами ехал Ивашов, и вагон на военный манер прозвали КП. Казалось, весь состав двигал вперед не паровоз, а этот вагон, находившийся в середине поезда. Спрыгнув на землю, подтянутый, скроенный с безукоризненной пропорциональностью Ивашов все равно поправлял пояс и гимнастерку, подтягивал сапоги. Если ощущал, что каштановое море на голове «слегка разыгралось», приводил его ладонью в порядок. И шел вдоль вагонов. Его окружали, за ним с надеждой семенили по шпалам. Люди боялись удалиться от поезда: а вдруг он тронется!

— Без нас не уедут,— успокаивал Ивашов.— Разомнитесь немного, прогуляйтесь.

— А людей это... не размагнитит? — спросил; я помню, заместитель Ивашова по хозяйству и быту, человек со странной фамилией Делибов.— Надо привыкать к законам военного времени!

— К большим законам не приобщают на мелочах...—

ответил Ивашов. Оглядел закованного во френч Делибова: на открахмаленный воротничок, как молочная каша на края переполненной кастрюли, напознала изнеженная белая шея. — Расстегните верхнюю пуговицу, — вполголоса посоветовал Ивашов. — Пояс распустите немного.

— Есть, — ответил Делибов, чувствовавший себя уже в самом пекле сражений. И, схватившись за поручни, стал подниматься в вагон, чтобы не у всех на виду выполнять указания.

Мы еще не встречались с войною глаза в глаза... Но внезапно увидели развороченные пути и будто исковерканные рукой безжалостного силача рельсы, скелеты вагонов под насыпью. С нашим составом тоже могло случиться такое...

Поняв, что об этом думает каждый, Ивашов объяснил:

— А в мирной жизни? Один, как счастливый состав, проскочил к девяностому «километру», а на других фугаски в середине пути попадали: разрыв сердца, злокачественная опухоль или еще что-нибудь. Об этом нельзя задумываться. Просто бессмысленно. Вот таким образом!

Как ни странно, упоминание о страшных, но «мирных» болезнях нас успокоило: везде человека могут подстеречь неожиданные бомбежки, и заранее ждать их неразумно: это ничего не предотвратит, не изменит. Чем меньше в пору войны остается времени для бездеятельных раздумий о собственной судьбе и ее превратностях, тем лучше. Только действия спасают людей от предчувствий и страха.

Маша, угадав, что пассажиры дачного вагона все же погружаются на дно молчаливых, невеселых самопредсказаний, начала действовать. Она, разумеется, и гадать тоже умела...

— Дайте-ка я взгляну на карту вашей жизни! — говорила она.

Люди протягивали руки как бы для подаяния. Маша изучала линии, глубоко въевшиеся в ладонь, или тончайшие, еле заметные. Разглядывала, как хитроумно, от истока до устья, переплетаются русла высохших рек и речушек...

Потом горестно покачивала головой:

— О-о, у вас было много сложностей! — С ней соглашались: у кого не было сложностей? — Вы не раз болели... — Доверие к Маше росло: кто из нас избежал недугов? — Были ссоры, окружающие не всегда понимали вас. — А кого

из нас всегда понимают? — Сейчас вы хотите заглянуть в свое будущее...

Убедившись, что Маша — провидица, все затихали, внимали ей. И тогда она объявляла:

— Но линия жизни у вас прекрасная! Длиннющая линия жизни... Вы дотянете до седой старости в окружении близких!

Подвижное, как у мима, Машино лицо в этот миг выражало такую уверенность, что люди успокоенно откидывались на спинки истертых скамеек и устремляли взор в полуоткрытое окно беззаботно, словно дачный вагон действительно вез их на дачу.

Маме и нам с Лялей Маша уже давно предсказала долгую и благополучную дорогу в грядущее. И только ладони Ивашова она не коснулась: не решилась положить его руку в свою.

— Вы... не цыганского происхождения? — задавали Маше привычный для нее вопрос.

— К сожалению, нет, — отвечала она.

— Не цыганка? Очень похожи. Такой цвет лица...

— На юге не была. На пляже не загорала.

— У нее от рождения такой цвет, — встревала я в разговор. — И она все на свете умеет!

— Опять ты гордишься чужими достоинствами, — беспокоилась мама. — Постарайся, чтобы восторгались твоими.

Но я знала, что чем больше буду в этом смысле стараться, тем ничемнее окажется результат: безнадежно хотеть быть талантом или назначить себя таковым.

Спали мы сидя... Порой удавалось прилечь на скамейку, тогда между нами и конвейерно-монотонным колесным стуком исчезало всякое расстояние.

— Спать на досках полезно, — сказал Ивашов. — Даже Николай Первый понимал это. Считайте, что обрели царское ложе!

Уборные были таинственно заперты. Ивашов приказал, чтобы после длинных перегонов представители сильного пола спрыгивали в одну сторону — туда, где встречные пути, а представители женского — в другую, где лес и кусты. Он всем пытался облегчить жизнь, но женщинам в первую очередь.

— Тут уж, как говорится, лишь бы успеть. Любой це-

ной! — сказал наш будущий бригадир, молодой человек с круглыми, нежно-розовыми щеками. Он старался, как и Делибов, скрыть свой вид «мирного времени» нагнетанием чрезвычайности, напряжения. — Тут уж... любой ценой! — повторил он.

— Все еще только начинается, а вы поторопились выучить эти слова? — повернулся к нему Ивашов. — Взяли на вооружение? — И добавил: — Дамы ни при каких условиях не должны терять своего достоинства. А мужчины, как вы говорите, «любой ценой» обязаны содействовать этому.

«Почему он заботится обо всех женщинах?» — ревниво подумала я. Мама же сделала вид, что не слышала этого разговора: он входил в противоречие с застенчивостью и романтичностью ее давних чувств к Ивашову.

С конвейерной монотонностью перестукивались колеса, а Ивашов своим глубоким, спокойным баритоном объяснял, как надо копать рвы. Когда он произносил слова «укрепления», «рвы», «танки», «лопаты», никто в вагоне не вздрагивал.

Последний раз я общалась с лопатой в детском саду. А может, это был песочный совок?..

4

Под Смоленском нас поселили в здание школы. Как театр без зрителей, а стадион без спортсменов, так и школа без детей выглядела заброшенной... Ее заполнили взрослые люди. Это было тревожно и ненормально.

— Детей отправили в тыл, подальше, — объявил бригадир.

Мама обняла меня и моих подруг, испугавшись, что троих детей «отправить» забыли.

— В дороге мы отдохнули, — неестественно бодрым голосом сказал бригадир. — Отоспались, можно считать. Утром начнем! Все получают лопаты.

Мы получили их в пять часов. Рассвет только еще проби- вался, а мы уже вышли к своему «фронту работ». Лопаты были тяжелые, с небрежно обструганными, суковатыми ручками. «Четыре метра в ширину и три в глубину... Четыре в ширину и три в глубину!» — это стало нашей главной и единственной целью.

— С непривычки трудно будет, — предупредил бригадир.

— Очень трудно? — спросила мама.

Она, если бы было возможно, ухватила сразу за четыре лопаты.

— Как кому... — сказал бригадир.

И посмотрел на Лялю.

Он был в новенькой спецовке, новых кирзовых сапогах. Казалось, он явился на репетицию строительных работ, а не на сами работы в прифронтовой обстановке.

Уже через полчаса на моих пальцах и ладонях резиновыми пузырьками надулись мозоли. Но это не считалось поводом для передышки. Они лопались, превращаясь в кровавые пяточки.

Природа не расслышала сообщения о войне: лето было умиротворенно-роскошным. Оно разлеглось, блаженно разметалось в необозримых просторах, будто оглохло. Цветы и травы дышали безмятежно, ни о чем не желая знать, ничего не предвидя. Переевшиися шмели с вальяжной неторопливостью кружили над нами.

— В школу бегать не обязательно, — сказал бригадир. — Спать можно прямо в траншее.

Он, подражая природе, не замечал наших мозолей и того, как мы неритмично, через силу, вдыхали и выдыхали воздух, не к месту ароматный, дурманный. Не видел, как мы судорожно, наобум вгоняли лопаты в землю. Мальчишество тянуло его максимально приблизить нашу жизнь к условиям передовой линии или делать вид, что он этого хочет.

Не сговариваясь, мы мечтали, чтобы на помощь пришел Ивашов — и он появился.

Увидев нас, поправил пояс и гимнастерку, которые были в полном порядке.

— Спать решили в траншее, — доложил бригадир.

— Там спят только солдаты, — сказал Ивашов. — Воины! Вы еще до этих званий не дослужились. Отдыхайте под крышей.

И пошел дальше, вдоль противотанковых рвов, успокаивая ладонью каштановое смятение на голове.

— Начальству виднее, — отменил приказ бригадир. Хотя был уверен, что «виднее» ему.

Бригадиру, студенту заочного строительного института, нравилось повелевать нами. У самого себя он пользовался непререкаемым авторитетом. Нежно-розовощекий («Ему бы Керубино играть!» — сказала Маша), он высказывался тоном

умудренного опытом старца. Он точно знал, какими листьями надежней всего укрывать нос и лицо от солнца. Он знал, сколько у Гитлера танков и какие на фронтах предстоят перемены.

Если что-нибудь не сбывалось, он говорил:

— Не торопитесь...

Мы должны были понять, что в конце концов все произойдет согласно его предсказаниям.

— У Гайдна сто десять симфоний,— сообщил он.— Надо же!

— Сто четыре,— возразила Маша.

— Ты не учитываешь шесть недописанных... Они остались в черновиках.

Проверить это в школе под Смоленском было непросто.

Я испытывала непонятное утешение от мысли, что не все немцы сжигали, бомбили, а некоторые... сочиняли поэмы, симфонии.

И австрийцы, как, например, Гайдн. Хотя Гитлер тоже был родом из Австрии.

Обращаясь к Ляле, наш умудренный опытом повелитель на глазах молодедел и терялся.

Машу он невзлюбил, поскольку она знала, сколько симфоний сочинил Гайдн, и была в нашей тройке неназначенным бригадиром.

Четыре метра в ширину и три в глубину, четыре в ширину и три в глубину... Мы продолжали копать.

Маша объясняла, как надо держать лопаты, чтобы они не казались такими тяжелыми, не ранили ладоней и пальцев. Она быстро приноровилась.

Когда наконец бригадир нехотя догадался объявить перерыв до утра, Маша предложила:

— Давайте споем.

— Что-нибудь цыганское! — не успев скрыть пристрастие к неподходящему в тот момент жанру, попросил бригадир.— Ты ведь...

— Не Земфира. К сожалению, нет. И еще сообщаю: на юге не была, на пляже не загорала.

— Ты тоже знаешь столько песен! — подтолкнула меня в бок мама.

— Копать я бы еще смогла, а петь...

Голос, как и руки, дрожал.

Тогда Маша затянула одна, соблюдая мелодию и востор-

женную интонацию: «Кто может сравниться с Еленой моей?!» Бригадир снова помолодел.

— Матильда простит меня. И Петр Ильич тоже: не он ведь сочинял текст,— сказала Маша. И протянула руки в Лялину сторону.

С противоположной стороны слышался гул. Он растягивался, растягивался... Пока не накрыл собою все небо. Мы подняли головы и увидели, что пространство над нами залито асфальтовыми иероглифами. Трудно было вообразить, что там, внутри машин, находились люди.

— На Москву идут,— глухо, впервые утерав свой повелительный, бодряческий тон, сказал бригадир.

— Будут бросать фугаски? — прошептала мама.

— Если прорвутся,— ответил бригадир. И добавил: — А если не прорвутся, они могут весь боезапас на обратном пути... тут раскидать.

— Зачем же предполагать такое? — раздался спокойный глубокий баритон Ивашова.— Мало ли что может случиться? Надо на лучшее рассчитывать... А случай есть случай! Иногда и в ясный день землю начинает бить лихорадка. Или вулкан просыпается... А люди? Живут себе потом на склонах горы, возле кратера, и пепел туристам предлагают в качестве сувенира. Сам однажды купил... Конечно, учитывают вулканьи повадки, но живут! Если нечто произойдет — шанс на это во-от такой! — Ивашов продемонстрировал мизинец своей большой, спокойной руки,— сразу надо в траншею. И не падать на дно, а к стене прижиматься... Запомнили?

— Вы, Иван Прокофьевич... в случае чего, где будете? — спросила мама.

— Посмотрите, какие шмели и пчелы! — вместо ответа воскликнул он.— Того и гляди, ужалят.

Опасности мирного времени, которые, оказывается, тоже были еще возможны, успокоили нас.

— Полностью, Тамара Степановна, землетрясение исключить нельзя,— продолжая любоваться природой, сказал Ивашов.— Значит, будем прижиматься к стене... Вот таким образом.

Когда бригадир убедился, что Ивашов не услышит его, он небрежно прокомментировал:

— А на дно еще лучше... Вернее! И голову лопатой прикрывать надо. Металл все же!

Мама потребовала определенности:

— Так на дно или к стене?

— Руководству виднее, — ответил бригадир, вновь давая понять, что ему-то на самом деле гораздо виднее. Демонстрируя нам и прежде всего Ляле свою независимость от начальства, он добавил: — Трудно под прожекторами работать. Что, я сам не соображу? К чему это шефство?

Фашисты опять летели на Москву. И опять небо залили асфальтовыми иероглифами. Тупое, мертвое равнодушие двигалось в вышине. Лопаты и без того утомились за день, а тут их стук и лязг стали вовсе безвольными, беспорядочными.

Командный пункт расположился далеко от нашего «фронта работ»... Но Ивашов невзначай оказался рядом, с лопатой в руках.

— Задание выполняем. Не считаясь со сложностями! — отрапортовал бригадир.

— Скажите еще: «Не считаясь с потерями!» Со всем этим грех не считаться, — рассердился вслух Ивашов, хотя ему не хотелось в нашем присутствии унижать бригадира.

Тупой, мертвящий гул удалялся... Мы думали: куда на этот раз упадут фугаски? В арбатский переулок? В Замоскворечье? Неопределенную тревогу легче перебороть, чем тревогу конкретную. Беспокойней всего было Маше: рядом с Лялей находился отец, за моей спиной вздыхала мама, а ее родители были там, где сирены, надрываясь, возвещали об опасности — слепой, безрассудной.

Все смотрели на Ивашова: он должен был повернуть «юнкеры» вспять, не пустить их в Москву, уберечь наши дома.

— Организуй что-нибудь... Маша, — неожиданно переложил он ответственность на ее плечи. — Ну, хотя бы концерт.

— Без репетиции?

— На войне всё экспромтом: спасение, ранение, смерть. И концерт! Вот таким образом.

Ни раньше, ни после я не слышала от него слов о смерти. Наверно, даже жестоко контролируя себя, человек не может хоть раз не сорваться. Он, стало быть, считал, что и мы... на войне.

Все побежали в школу. Там был зал со сценой, где раньше устраивались утренники и вечера самодеятельности. Занавеса не было, в углу сцены притулилось старенькое пиани-

но, на котором в прежнюю пору не раз, конечно, исполнялся «собачий вальс» и другие популярные в школах произведения. К стене была приколата кнопками стенгазета. Кого-то корили, кого-то восхваляли за отличную успеваемость. Неужели это недавно... могло волновать людей? Зрители уселись. Маша вышла на сцену.

— Начинаем концерт! Кто хочет выступить?

Позади нас с Лялей устроился розовощекий бригадир.

— Прирожденный затейник,— сказал он о Маше.

— Она — талант! — ответила я.

Мои разъяснения были не нужны бригадиру: он хотел вовлечь в разговор Лялю. Но она женственно, мягко не обращала на него никакого внимания.

— Не хотите? — повторила Маша.— Тогда начну я.

Времени на раздумье у нее не было, и она запела чересчур уверенным от смущения голосом то, что было на самой поверхности памяти: «Любимый город может спать спокойно...» Всем известные слова, приевшиеся, как учебная тревога, звучали заклинанием: нам хотелось, чтоб они обрели силу и непременно сбылись.

Потом по зову Маши и Ляля поднялась на сцену — легко, не заставляя себя упрашивать. Села за пианино. Из-под ее пальцев звуки должны были выплыть задумчиво, медленно, а они вырвались, словно только того и ждали.

Маша стала окантовывать сцену танцем. Она двигалась по самому краю, рискуя упасть... А Ляля играла «сломя голову», до конца топя клавиши и стараясь заглушить наши мысли об улицах и переулках, на которые могли свалиться фугаски.

— Дворжак,— объявил сзади бригадир.— Цыганский танец...

Он тайно тяготел к непринятым тогда цыганским мелодиям.

— Венгерский,— поправила я.— К тому же, простите, Брамс.

Ляли со мной рядом не было, и он не оскорбился, не стал возражать.

По просьбе Маши ей протянули из зала колоду карт: она стала показывать фокусы.

Ляля аккомпанировала ей уже не так оглушительно, а вроде бы издали, из глубины.

Бригадир за моей спиной нудно объяснял, как Маша

производит (он так и сказал: «Производит!») свои фокусы:

— Уж поверьте мне... Она небось и вверх ногами умеет?

— Она все умеет,— ответила я.

Маша невесть как угадав его иронию, прогулялась по сцене на руках.

— Это же очень просто,— начал сзади бригадир.— Уж поверьте мне...

— Встали бы да прошлись! — грубо посоветовала я, потому что в обиду своих подруг не давала.

Я тайком наблюдала за Ивашовым... Я везде делала это: и в его отдельной квартире, и когда он шагал вдоль вагонов или вырытых нами противотанковых рвов.

Он не пел и не аплодировал, а взирал на Машу, как на спасительницу. Мне хотелось, чтобы когда-нибудь... хоть один такой его взгляд упал на меня.

Мужской голос из темноты вернулся к началу концерта и почти истошно завопил: «Любимый город может спать спокойно...» В тот же миг (я помню, что в тот же!) мы опять услышали не страшный, а отупело-безразличный гул в вышине.

— Возвращаются... Не прорвались! — слышалось рядом и впереди меня. Кто-то захлопал... Это было лихорадочное торжество.

А потом сверху к земле потянулся вой.

— На улицу!.. В траншеи! — с напряженной уверенностью приказал Ивашов. И его все слышали.

Опрокидывая стулья, толкаясь, люди бросились к выходу. Вой нарастал, приближаясь ко мне... ко всем нам.

— Ложитесь! — приказал Ивашов.

Мы, как на военных учениях, молниеносно рухнули на пол, на каменные ступени.

Со шрапнельной дробностью и колющим уши звоном вылетели стекла. Где-то, совсем вблизи, кусок земного шара откололся и взлетел в воздух.

— Свет... Погасите свет! — раздался голос Ивашова, не позволивший себе измениться и как бы отвечающий за всех нас, притихших под школьной крышей.

Я поднялась, взяла маму за руку и повела ее в ту сторону, думая, что и Ляля находится там.

— Дуся! Это ты? — перехватил меня Машин голос.— Я чувствовала, что ты... здесь. И Тамара Степановна?

— И мама.

— Замечательно! И Ляля тут. Все собрались! Идите за мной... Чтоб ни на кого не наткнуться!

Она умела видеть во тьме. Она все умела.

— В доме опасно,— шепотом, чтобы не сеять панику, произнесла Маша.— Надо добраться до рва...

Ивашов тоже так думал:

— Все на улицу. И в траншеи!

Мы оказались на школьном крыльце... В меня сверху опять начал ввинчиваться вой. Быть может, это продолжалось всего лишь секунды.

Фугаски, предназначавшиеся арбатским переулком, Замо́скворечью, летели на нас.

— Ложитесь! — скомандовал Ивашов.

Все плашмя, как во время учений, упали в коридоре и на ступени крыльца.

Дьявольской керосинкой повисла в воздухе зеленоватая осветительная ракета.

— Следите, куда я побегу,— негромко сказала Маша.— Запоминайте дорогу! Пока светло... Займу вам места! Запоминайте...

Она побежала напрямую под светом керосиновой лампы, повисшей в воздухе. И скрылась. Провалилась в траншею.

— Кто... это? — спросил Ивашов, который был не рядом, но которого все слышали.— Кто?!

Откололся еще один кусок земного шара. Взлетел, оглушив нас.

Осветительная ракета, не мигая, висела в воздухе.

— В траншеи! — скомандовал Ивашов.

Я схватила маму и Лялю за руки. Мы побежали к Маше, занявшей для нас «места».

Она лежала недвижно... накрыв голову лопатой, как советовал бригадир.

И голова и лопата немного зарылись в землю.

«На юге не была. На пляже не загорала...»

5

Война не дает права сосредоточиваться на личном горе: если бы все стали плакать!..

Горе, как не пролившаяся из раны кровь, образует сгусток, который может впоследствии разорвать человека, уничтожить его. Но о том, что будет впоследствии, думать нельзя.

Некогда... И опасно. Война, решая судьбы веков, внешне живет событиями данного часа, только э т о й минутой.

Уже утром стало известно, что строители под руководством «главного» должны, минуя Москву, отправиться на Урал. Государственный Комитет Оборона так решил.

Ни на чем, случившемся вчера, война задерживаться не разрешала. Был приказ... Но Ивашов нарушил его.

— Я отвезу ее к родителям, — сказал он. — Будет самолет... По пути на Урал приземлится в Москве. Вот таким образом.

— Это не запланировано, — вставил главный инженер.

— Война ничего подобного не планирует... А мы остановимся в Москве. Кто бы ни возражал. Слышите: кто бы! Я отвезу ее к родителям. Только вот таким образом.

— Как же вы сумеете... Иван Прокофьевич? — прошептала мама. — Если бы мне привезли... Это невозможно себе представить!

Когда-то мама была подругой его жены и потому позволила себе сказать:

— Я тоже полечу. Вам одному будет трудно. Вы к этому не приспособлены...

— Она погибла из-за меня, — медленно и твердо произнесла Ляля. — Это я ее сюда... И тебя, Дуся. И вас, Тамара Степановна... Вполне можно было бы не ехать.

— Нет, это я сказала: «Тогда и мы с Машей поедem». Вспомни... И ее маму я уговорила. Не ты, а я! Можно было не ехать?

— Всего, что сейчас происходит, прекрасно было бы не делать, если бы не война! — перебил Ивашов. — Вы не смее приписывать себе ее преступления и кошмары. Так что выбросьте из головы!

Он положил руку на голову дочери, из которой горестная мысль, я это видела, никогда уже уйти не могла.

— Иван Прокофьевич, оперативка ждет, — напомнил главный инженер. С виду он был похож на главного бухгалтера — сутулый, в пенсне (не все штатские успели перестроиться, подтянуться), но по голосу, отрешенному от всего, кроме дел, заданий, приказов, напоминал начальника штаба. — Я должен сообщить по поводу эвакуации коллектива! Составы вот-вот придут.

Война заставляла смотреть только вперед: обернешься — и проглядишь, подставишь затылок.

Уходя, Ивашов сказал:

— Самолет сделает посадку в Москве. Я отвезу ее... домой.

— И я с вами,— повторила мама.— Вы к этому не приспособлены. Вот таким образом.

В решительные минуты она пользовалась фразой Ивашова. Обыкновенные, расхожие слова убеждали маму в ее правоте просто потому, что были его словами.

6

Это был последний Машин полет. Я думаю, он был и первым... Вместе с мамой и Ивашовым она высоко в воздухе обогнала наш эшелон и приземлилась в Москве, чтобы уже ни в каких случаях с нею не расставаться.

Когда мы, минуя столицу, добрались до Урала, Ивашов уже оказался там.

— А где...

— Пока что Тамара Степановна осталась с Машинной мамой,— перебил он меня.— Одну ее оставлять было нельзя. Муж уже на фронте.

— А дальше?

— Может, Тамаре Степановне удастся привезти ее сюда, к нам. Здесь, как на фронте, легче оглушить себя и забыться.

— Так много будет работы?

Удивляясь моей наивности, он обнажил верхние зубы, безукоризненно белые и до того крепко притертые один к другому, что мы раньше, до войны, называли их «Враг не пройдет». Теперь эти слова прозвучали бы кощунственно.

Продолжая мысль о том, что здесь можно забыть обо всем на свете, кроме войны, Ивашов сообщил не мне, а скорей себе самому:

— Невыполнимо! Теоретически то, что нам поручили, невыполнимо. А практически — не выполнить нельзя. Вот таким образом. Парадокс военного времени.

В стройгородке Ивашову тоже предоставили отдельную квартиру. Двухкомнатную... И это ни у кого не вызвало зависти, удивления, хотя даже место в бараке считалось роскошью: многие жили в палатках.

— Когда я увижу тебя? — спросила Ляля отца, собиравшегося в стройуправление.

— Пусть Дуся и Тамара Степановна, когда вернется, живут с нами. Тебе не будет одиноко, — ответил он. И обратился ко мне: — Договорились?

— Если это удобно, — ответила я.

— Было бы неудобно, я бы не предлагал.

Это уже прозвучало приказом.

Машина за окном так резко рванулась, будто оторвалась от земли, и умчала его.

— Я убила Машу, — повторила Ляля. — Она из-за меня поехала... на те оборонительные сооружения. Почему именно она?..

— На войне таких вопросов не задают, — уверенно, потому что это была его, ивашовская, мысль, ответила я. Потом добавила: — Маше хотелось быть рядом с Ивашовым. Как и мне...

Я пыталась снять грех с Лялиной души.

— С ним — это значит со мной.

— Не совсем...

— Что ты хочешь сказать?

— Мы были влюблены в Ивашова. То есть Маша... Вот таким образом. Никуда не денешься, Лялечка.

Мама приехала через полтора месяца о д н а... С попутным эшелоном, проходившим мимо нашей станции: авиационный завод переезжал из Москвы куда-то в Сибирь.

О Машиной маме она виновато сообщила:

— Тоже ушла на фронт. — И с грустной иронией, адресованной себе самой, переиначила слова известной в те годы песни: — Дан приказ ей был на Запад, мне — в другую сторону.

— На фронт?! У нее хронический диабет...

— Кто сейчас помнит об этом?

— Смерть искать... ушла?

— Смерть врагов! — ответила мама, предпочитавшая иногда жесткую определенность.

Она была из тех женщин, которым жизнь еще в школе объяснила, что на мужские плечи они рассчитывать не должны. Мама рассчитывала лишь на себя... И я стала такой, хотя ее плечи с младенчества казались мне по-мужски сильными, от всего способными заслонить.

Ляля не знала своей матери, а я не знала отца. Но вдруг наши семьи вроде бы увеличились: в стройгородке маму приняли за жену Ивашова, а меня стали считать Лялиной сестрой — кто родной, а кто сводной. Я объясняла, что мама всего-навсего подруга покойной жены Ивашова... Но объявить об этом по местному радио или напечатать в многотиражке я не могла.

Маминой профессии примоститься на стройке было решительно негде: в мирную пору она работала ретушером.

— Лакировщица по профессии, — шутил Ивашов. — А в жизни любит определенность. Противоречие!

Свое «ретушерство» мама ценила, потому что в прошлое, довоенное время, она могла склоняться над чужими фотографиями круглые сутки — и вырастить меня без отца.

— Хотите, я возьму вас к себе? Секретарем? — спросил ее Ивашов.

Она, поневоле привыкшая к неожиданностям, все-таки обомлела. Потом обрела силы засомневаться, неуверенно возразить:

— Скажут... семейственность?

— Какая же тут семейственность? Просто живем под одной крышей — и все. — Натыкаясь на бессмысленные препятствия, Ивашов становился неумолимым. — Семейственность? Тогда я решусь на большее: вы будете не секретарем, а моей помощницей! В помощники надо брать того, кто способен помочь. То есть единомышленника! Вы согласны? Скажут: «свой человек»? Но почему мой человек должен быть плох для других? Будете помощницей.

— Есть общепринятые нормы... законы, — продолжала неуверенно сопротивляться мама.

— Во-первых, война многие нормы (и не только производственные!) пересмотрела. Но и в мирную пору законы ханжества я лично не признавал. Нарушал их и тогда... А уж теперь! Кстати, кто эти законы утверждал? Где они

напечатаны, опубликованы? Кто вообще назвал эту отсебятину законами? Если же кто-нибудь по данному поводу обмакнет ржавое перо или поклюнит карандаш... Вы это имеете в виду? (Мама кивнула.) Полной безопасности не гарантирую. Может случиться! Делибов, например, любитель подобного жанра... Любопытствует! Ему бы с такой фамилией уникальной, безукоризненный слух иметь, ненавидеть любую фальшивую ноту! А он...

— По профессии экономист,— вставила мама.

— Вот и пусть э к о н о м и т человеческие нервы и силы.

— А почему он... заместитель по быту?

— Быт, мораль — это рядом. Но у меня на сей счет своя точка зрения: того, кто пулей, словом или там... грязной бумажкой бьет по своим, приставлять к стенке. Хотя бы к «стенке» позора! Так что вы, Тамара Степановна, назначаетесь помощницей. Решено!

Мы с мамой присели на диван. Одновременно... Ивашов не отрывался от чертежа, который, подобно скатерти, накрыл собою стол и свешивался по бокам.

Ему показалось, что он не преодолел сопротивления до конца. И он оторвался от своей «скатерти».

— На поле битвы для склок и интриг не может быть места. Впрочем, они всегда на руку негодьям. Мне нужен преданный человек. Вот таким образом!

— Хорошо...— не решаясь на твердую определенность, проговорила мама.

Она согласилась не расставаться с ним почти круглосуточно. И я бы согласилась. Не задумываясь! Мечта, казавшаяся маме несбыточной, вдруг сбылась. «Не было бы счастья, да несчастье помогло!» — это вполне было прийти в голову, если б несчастье не было таким беспощадным, таким невообразимым, как война.

8

— В энциклопедии о Маше уже не напишут,— сказала мама, когда мы остались вдвоем.— Я обманула ее родителей.

— Война обманула,— ответила я с той жесткой определенностью, которая иногда была свойственна самой маме.

— Ну вот... остались три тетрадки стихов. Ты ведь коллекционируешь ее творчество?

— Коллекционировала.

На край стола безмолвно легли тетради в обтрепанных обложках: Маша на бессмертие своих произведений не рассчитывала. Потом мама передвинула тетрадки в центр стола, чтобы не упали. И ушла на работу.

На обложках я увидела даты каких-то спортивных соревнований, час консультации по физике... К чему было все это?

В третьей тетрадке стихи были короткие: уже началась война. На предпоследней странице я прочла всего несколько строк:

Невзгоды

между ним и мной...

И годы

между ним и мной...

В уголке была, как положено, дата: «1941 г.».

Хорошо, что мама, которая привезла тетради, не видела этих строк.

Многие продолжали считать маму женой Ивашова... Живут в одной квартире — значит, жена. Не пойдешь ведь с объекта, расположенного, допустим, за пять километров от управления, изучать анкеты в отделе кадров. К тому же война не позволяла сосредоточиваться на таких мелочах — она была выше склок. Так уверял Ивашов. И я была с ним согласна. Взял помощницей жену?.. И что здесь такого? Лишь бы новые цеха подводились под крышу вовремя. День в день! Выполнять планы досрочно было так же немыслимо, как невозможно пробежать дистанцию быстрее, чем позволяет какой-нибудь самый совершенный человеческий организм. Все участники марафона по выполнению невыполнимого должны были достичь финиша в срок.

«Передайте, пожалуйста, своему супругу...» — иногда говорили маме. И она пропускала эти слова мимо ушей, с преувеличенным вниманием вдаваясь в суть дела: она никогда не была замужем и опровергать заблуждения ей в данном случае не хотелось.

В первый день, вернувшись с работы, мама сказала:

— У него на столе, под стеклом, портрет Маши Завьяловой.

— Помнит ее! — воскликнула я.

— Он мстит за нее.— Мама вернулась к своей жесткой определенности.— И себя, к сожалению, не щадит.

Она, вслед за ним, тоже себя не жалела: часов в семь утра надевала ватник и спецовку, которые полагались на стройке всем, как шинели солдатам. А возвращалась около двенадцати ночи.

— Ивашов прогнал меня домой,— часто повторяла она, точно извиняясь, что бросила его одного где-то на огневом рубеже.

Ивашов месяцами ночевал у себя в кабинете.

— Сон военного времени! — Мама безнадежно махала рукой.

Бригадирам ударных объектов удавалось засыпать лишь стоя, на полуслове... Ивашов не считает себя вправе отличать-ся от них. Кроме того, ему по ночам, как шепотом сообщала мама, звонили «с самого верха».

Неожиданно он заскакивал домой на часок, чтобы, сидя, вздремнуть и узнать, как дела. «На ревизию!» — говорила мама.

— Всё на нем,— жаловалась она.— Кирпич и столовая, бетон и больница, транспорт и ваша школа... Могу перечис-лять без конца. А ведь кое-чего я и не знаю.— Она приглу-шала голос: — Или знаю, но унесу с собой на тот свет. Есть военные тайны... Я же, представь себе, з а с е к р е ч е-н а.— Вздвогнув от этого слова, мама вернулась к Ива-шову: — За все отвечает!

— А другие? — спросила я.

— Тоже выбиваются из сил,— объяснила она.— Но он, как командующий фронтом... или армией, должен коорди-нировать, объединять. Понимаешь? Необходимо взаимо-действие!

— Ему подчиняются?

— Если кто-нибудь говорит: «Будет сделано! Любой ценой! Не считаясь... По законам военного времени...», он начинает сердиться. Как там, под Смоленском... И объясняет: «Для нас закон военного времени — сопротивление злу. Мы не будем призывать зло и жестокость, чтобы с их помощью громить зло и жестокость. Нам и х помощь не нужна! Можно считаться с необходимостью, с безысходностью... Но в край-

них случаях! Даже в самых нечеловеческих условиях войны постарайтесь остаться человеком... Прошу вас. А о выполнении приказа завтра мне доложите. Вот таким образом».

— И выполняют?

— Чаще всего. Но за него я боюсь.

— В каком смысле?

— К его сверхъестественным перегрузкам добавляется еще одна обязанность... едва ли не самая трудная на войне!

— О чем ты?

— Как он сам говорит, «в нечеловеческих условиях оставаться человеком»! Такие, как он, не нарушают, а у т в е р ж д а ю т законы, ради победы которых и происходит сражение.

Поскольку речь шла о достоинствах Ивашова, маме трудно было остановиться.

— Почему Машин портрет... там, в кабинете, а не здесь? — внезапно для себя самой поинтересовалась я.

— Из-за Ляли, наверно...

Ляля ни на минуту не расставалась с противотанковым рвом, на дне которого Машу настигла взрывная волна. Эта волна захлестнула, накрыла собою все Лялины мысли.

Она передвигалась бесшумно. Мы с мамой не сразу замечали ее. А заметив, что она вошла в комнату, неловко, несогласованно умолкали.

— Ивашов во время оперативных планерок, совещаний выходит в приемную и спрашивает: «Как Ляля?» Я отвечаю ему: «Хорошо». Но он резко возразил мне однажды: «Сейчас никому х о р о ш о быть не может. Это противоестественно! Пусть будет не слишком плохо». И подчеркнул: «Она у меня о д н а». Это накладывает на нас с тобой, Дусенька, большую ответственность. Понимаешь? Как он выдерживает?

«Подчеркнул... накладывает ответственность... Откуда такие слова?» — думала я.

Свое отношение к Ивашову мама должна была скрывать, «ретушировать». Вот откуда порой появлялись эти обесцвечивающие слова. Они были ее прикрытием.

— Прямо так и сказал про Лялю: о д н а? А... мы? А строительство? А ты?

— Это совсем другое! Ляля катастрофически выглядит. Непорядок...

— Но ведь ты ему помогаешь?

— Кто я такая?! Стремлюсь, конечно, кое-что ретушировать, сглаживать. Вы сами, говорю строителям, разберитесь, без него. А они отвечают: «Без него невозможно».

Мне было приятно, что без Ивашова обойтись на стройке нельзя.

— Ты чему улыбаешься? — вскрикнула мама, всегда педантично выдержанная. — Что тут веселого?! Он ведь фактически... вне семьи. К быту не приспособлен. Забывает обедать!

— Напомни.

— Как? Каким образом?! Гоняться за ним по объектам? Я у телефонов сижу... Как возле орудий. В туалет боюсь выйти. Он говорит: «Ни на секунду не отлучайтесь!»

— Он и там с тобою... на «вы»? Жена — и «вы»... Люди не удивляются?

— Считают, наверное, что это политика: «Работа есть работа!» А другие просто не обращают внимания. Главный механик шепнул, что держать в помощниках жен сейчас правильно: боевые подруги!

Мама, я думаю, не возразила механику.

Ивашов врывался домой всегда неожиданно, на ходу, в коридоре сбрасывая шинель без погон. Каждое его появление было не только желанным, но и тревожным: «Что там случилось?» Подобно тому как вставало в окне солнце после непроглядно ливневой ночи или как, наоборот, летним днем начинал маленькими шариками, похожими на нафталиновые, падать в траву град...

Он не здоровался, а сразу переходил к делу, будто мы расстались с ним час назад.

— Что с Лялей? — спросил он, сбросив в коридоре шинель и убедившись, что я одна.

— Стараюсь уверить ее, что она ни в чем...

— Ложью помочь невозможно, — отрезал он. — Ляля поехала из-за меня. Как дочь... Это естественно. А Маша потянулась за ней. Как подруга... Вот и получается!

— Маша не за ней потянулась, — посмела возразить я. — Она бы все равно поехала... и без нее.

— Почему?

Я достала последнюю тетрадку Машиных стихов, вырвала

страницу, на которой было всего несколько строк, и протянула ему.

— Что такое?

Он прочитал... Положил листок на стол. Стремительно, не целясь в рукава, нацепил в коридоре шинель. Потом вернулся, сложил листок пополам и сунул в боковой карман френча.

Навсегда я запомнила вечер, когда мама вернулась домой раньше обычного.

— Ивашов сказал: «Раз уж нас так хотят обвенчать, не будем сопротивляться! Сейчас было бы странно: война, а начальник строительства женится. Отложим до дня победы». Между прочим сказал, проходя через приемную. И уехал на дальний объект.

— Он сделал тебе предложение?!

— Не знаю, — ответила мама. Но на следующее утро надела вместо ватника свое пальто мирного времени с меховым кроличьим воротником. А вместо спецовки платье.

9

Я поняла, что возместить Ивашову утрату жены своими заботами и вообще собой стало главной целью маминой жизни. Она мечтала о победе, грезилась ей, боролась за нее еще одержимей, чем прежде. Но при этом исчезли, растопились в ожидании женского благополучия мамина педантичность, ее стремление к жесткой определенности. Резкость и мужественная готовность к самозащите уступили свои позиции если не мягкости, то, уж во всяком случае, плавности и готовности обратиться за помощью. Конец войны виделся ей началом семейного счастья, которого она никогда не знала.

Плацдарм для борьбы у нее, конечно, был незначителен: приемная с телефонами. Но она старалась вникать в каждый звонок и не просто «соединять» Ивашова, а соединять стройконторы, участки, объекты. И помогать людям расслышать друг друга сквозь грохот войны, который не только доносился до нас, а завладел стройкой и отучил от всех других звуков.

Приехав как-то на часок отдохнуть, Ивашов сообщил Ляле и мне:

— Я сделал Тамаре Степановне предложение. Считаю его рационализаторским, ибо оно улучшит строительство нашей дальнейшей жизни. И общей семьи! В послевоенный период... Сейчас бы меня не поняли: война, а командующий затеял свадьбу! Можно и без официальщины, конечно. Но в этом случае я — за нее: должны же быть у людей праздники! Вот таким образом.

Ляля не возревновала отца, ибо мамы своей не знала. И думала она об ином...

Уже после, когда наступила победа, я узнала от врачей, что очень опасно сосредоточиваться на одной, будоражащей, изнутри сжигающей мысли. Особенно же сосредоточиваться молчаливо, когда признаков пожара, происходящего в душе, не видно и никто не приходит на помощь.

Ляля не могла постичь, как это Маша ушла из жизни, а жизнь продолжалась... Она никому об этом не говорила, но я чувствовала, догадывалась. Увы, не всегда... И чем больше проходило дней с того вечера, когда в школе под Смоленском состоялся концерт... тем тише становилась Ляля, угрюмее. Мне было стыдно, что скорбная дума о Машиной гибели не поглотила и меня всю, до конца. Что я даже старалась отогнать ее, когда она ко мне вновь и вновь подступала...

Все же я неосторожно попыталась в который раз успокоить и Лялю:

— Сейчас тысячи погибают. Сотни тысяч! Каждый час, каждый миг...

И тут пламя прорвалось наружу:

— Как ты можешь?! Сотни тысяч... Но о каждом кто-то будет рыдать до конца дней своих. Я буду о Маше...

— Я тоже буду... Но ведь ты убиваешь себя.

— Пока что убили ее. А мы с тобой живы. И даже учимся в школе как ни в чем не бывало. Завершаем среднее образование!

Я не ожидала от нежной, женственной Ляли такого взрыва. Резкость мягкого человека особенно нас потрясает.

— Она могла бы стать великим ученым,— продолжала Ляля.— Актрисой могла бы стать, режиссером... Писательницей! Кем угодно. Она все умела! Сколько Менделеевых и Тургеневых, не успевших ничего открыть, ничего написать, останется на полях?.. На дне траншей, наивно прикрывшись лопатой? Ты подумала? А ты запомнила, в какой позе ле-

жала Маша? Как она раскидалась, прижалась к земле... Так спят малые дети, скинув во сне одеяло. И воины так ползут... по-пластунски.

Я, привыкшая сиять отраженным светом, я, из которой ничего выдающегося получиться не могло, почувствовала себя виноватой. И присмирела.

А поздно ночью, в коридоре, шепотом посоветовалась с мамой.

— Это очень опасно! — Так же конспиративно, вполголоса, всполошилась она. — Значит, Ляля не расстается с картиной Машиной гибели ни на минуту, все время «прокручивает» ее в своем мозгу... Что же делать? — Мама без своей прежней отчаянности, а по-женски беспомощно просила у меня защиты. И так же призналась: — Кое в чем я была неправа.

— Ты?

— Представь себе... Когда умоляла тебя не жить чужою жизнью. А он только и живет для других.

Чужая жизнь... Каждый погибающий отдает свою кровь за другого. Я не знаю, сколько погибнет в этой войне... Страшно себе представить! Но ведь у каждого есть мать, отец... такая вот, как Ляля, подруга. На сколько же надо будет умножить? На сколько умножить?!

Мама в коридоре, возле вешалки, с такой нежностью и с такой силой прижала меня к себе, точно боялась отпустить хоть куда-нибудь, хоть на миг.

Мы учились в десятом. Ивашов позаботился, чтобы в классах было тепло.

— В холоде знания застывают на лету, не успев долететь до нашего разума, — сказал он. — Учиться трудней, чем работать: по себе знаю. Не в военное время, конечно... Делать то, что уже умеешь, проще, чем приобретать это умение.

Помню, как он приехал к нам в школу. Объяснил тем, что путь в дальнюю стройконтору пролегал мимо школьного здания. Заскочил, значит, по дороге, случайно... Но осмотрел все классы, учительскую, коридоры и к нам на урок зашел в сопровождении своего заместителя по хозяйственной части и быту. Белая шея уже не напознала на открахмаленный воротничок, как молочная каша на края переполненной кастрюли. Френч уже не был тесен Делибову.

Директор школы Лидия Михайловна стала «управлять»

всеми нами после того, как два ее предшественника ушли на фронт. Она не имела опыта руководящей деятельности и потому особенно подчеркивала, что в курсе всех дел. Она была растерянна от обрушившихся на нее обязанностей и от неожиданности появления «главного». Стараясь скрыть это, Лидия Михайловна чересчур подробно и длинно перечисляла все наши нужды. Делибов записывал... А она через каждые две-три фразы повторяла:

— Я понимаю: война. И в целом мы благодарны!

— В этом классе учится моя дочь,— сказал Ивашов, не утаив этого факта, но и не задерживаясь на нем.

Лицо Делибова болезненно исказилось: он хотел бы сам оповестить, но не успел.

Мне «главный» издала помахал рукой, и на меня впервые обратили внимание. Я вновь засияла отраженным светом, на этот раз ивашовским.

Машиным светом я уже сиять не могла, а в Лялю никто не влюблялся. Лидия Михайловна несколько раз обращалась к ней с просьбами передать отцу что-нибудь относительно школьных завтраков или ремонта «гардеробного помещения». И опять повторяла: «В целом-то мы благодарны!»

Мальчишки к Ляле не подступались: она была угасшей, а женственность ее превратилась в усталость. Чувство несуществовавшей вины извело ее.

— Присмотри за ней,— попросил Ивашов.— Не нравится мне она. К врачам вести не хочу. Нам с Тамарой Степановной некогда... Вот таким образом. Присмотри!

Дома у нас бывали и торжества. Они устраивались, когда очередной цех завода-гиганта «вступал в строй».

— Странное выражение — «вступать в строй»,— накрывая на стол, сказала мама с трепетностью, какой я в ней раньше не замечала.— Какой же тут у нас... «строй»? Объекты раскинулись на необъятном пространстве!

И взглянула на Ивашова: он командовал необъятностью!

— Люди могут быть за тысячи километров друг от друга, а находиться в одном строю,— ответил Ивашов. И, продолжая какую-то свою мысль, не связанную с предыдущей, сказал, подняв руку: — Солдат никогда не называют генералами. А генералов солдатами именуют. Солдат, рядовой — са-

мые высокие звания... Значит, за рядовых предлагаю... Что мы без них? Вот таким образом.

Это был тот редчайший случай, когда Ивашов ночевал дома.

Утром он предложил нам с Лялей:

— Давайте подвезу до школы?

— Не до самой, конечно... — сказала мама. — А то разговоры пойдут.

— Разве они на уральском ветру выживают? — удивился Ивашов.

— Выживают, — настойчиво ответила мама, которая ни разу не воспользовалась ивашовским автомобилем.

— Нам в другую сторону... — не без гордости сообщила я. — Мы уже двадцать дней работаем на объекте!

— Не учите? — приводя в порядок свои каштановые волны, спросил Ивашов.

— Мы работаем.

— У кого?

— Мы — «усановцы»! Так было напечатано в многотиражке.

— Пропустил... Оторвался от прессы. На объекте Усанова, значит? Лидия Михайловна знает об этом?

— Сама участвует! Но по утрам она в школе: возится с малышами, — ответила я.

— А ты... что же молчала? — обратился Ивашов к дочери.

— О чем? — спросила она.

Он на мгновение затих, пригляделся к Ляле. Потом снова ожил:

— Придется довезти вас до самой школы, нарушая законы педагогики и демократии. Поехали!

Лидия Михайловна любила нас: знала, у кого на фронте погиб отец и как его звали, у кого брат и как его имя, а у кого пока еще, слава богу, никто не погиб.

Но свои директорские обязанности она выполняла как-то стыдливо, точно мы, старшеклассники, и она сама в том числе, были до некоторой степени «дезертирами».

— Мы должны вносить свою лепту! — провозглашала она.

После уроков старшие классы выгружали вагоны и загру-

жали их. Мы раскидывали лопатами снег, чтобы под ним не могли укрыться рельсы и шпалы.

Но это еще не было той «лептой», которую мечтала вложить в общее дело Лидия Михайловна. «Ивашов устроил для нас санаторий: горячие батареи, столовая, чистота... Должны мы отблагодарить или нет? А в чем наша лепта?» — восклицала она.

Лидия Михайловна тоже, видимо, хотела «оглушить» себя: муж и сын были на фронте. К тому же ее неопытность боялась что-то упустить, недодать.

Начальник ближайшей стройконторы Усанов помог Лидии Михайловне...

И вот на пороге школы возник руководитель строительства. Мы с Лялей затихли в двух шагах от него, как адъютанты.

— Хотел довести их до школы... в порядке, разумеется, крайнего исключения, — с нетерпеливым спокойствием обратился он к Лидии Михайловне. — А везти-то, оказывается, надо было в другую сторону.

— Как можем, отвечаем на вашу заботу, Иван Прокофьевич.

— Т а к отвечать на заботу вы не можете, — возразил Ивашов. — Не должны!

— Почему? Поверьте: это ваша доброта возражает... Ведь учащиеся ФЗО и ремесленных училищ трудятся...

— Не трудятся, а вкалывают с утра до ночи, — опять перебил он. — Но у них есть профессия, квалификация! От их помощи мы, увы, отказаться не в силах... Подчеркиваю: увы!

— Но ведь вы, Иван Прокофьевич, сами говорили как-то о в с е о б щ е м противлении злу. Да и законы военного времени...

— Я понимаю: участие в общем деле, пример отцов и так далее. Я не иронизирую... Я поддерживаю это. Но сберечь для них то, что можно сберечь из мира детства, — это тоже противление злу и наша с вами «лепта», Лидия Михайловна!

— Вы читали, что детям... не старшеклассникам, а именно детям на фронте дают звания Героев, ордена и медали? — Лидия Михайловна с трудом распрямилась, как будто у нее болела поясница.

— Сядьте, — попросил ее Ивашов.

Она села.

— А вы заметили, Лидия Михайловна, что в Указах ребят называют по имени-отчеству, как взрослых? Этим подчеркивают, что не д е т с к о е дело они выполняют. Страна с благодарностью и со слезами их награждает. Гордись, но и страдая, делает это. Вам понятно? Усанов же бодренько мне рапортует: «Обойдемся своими силами!» А обходится в а ш и м и. И вы, я вижу, ликуете. Но детство и отрочество — это та единственная весна, которая никогда в жизни не повторяется, Лидия Михайловна. Приходится ее иногда отбирать... Идем и на это. Но в исключительных случаях. В исключительных!

— Это как раз...— хотела объяснить она, но Ивашов, столь внимательный к женщинам, оборвал:

— Вы знаете, что за работа на участке Усанова? Там квалификация нужна. Сложнейшая квалификация. А технику безопасности ваши девочки и мальчики изучали? Нет? Это же преступление! Там ведь на каждом шагу написано: «Опасно для жизни!» Я хотел подбросить Усанову кое-что из, так сказать, «резервов главного командования». А он бодренько рапортует: «Обнаружили скрытые внутренние резервы». О детях так нельзя говорить, Лидия Михайловна. Это цинизм... Они — не скрытый, а главный наш резерв, наше с вами, как говорится, грядущее. И правильно говорится! А у него-то самого, у Усанова, есть кто-нибудь?

— Сын в пятом классе учится.

— Он и его небось на передовую бросил. Чтобы вдохновить личным примером.

— Я не пустила: маленький еще...

— И правильно сделали. Пока могут учиться, пусть учатся.

— И десятиклассники?

— И они! Тем более... Уже на самом пороге! Чем могут, они помогают. Хватит... Вообще добро не должно сникать от ситуаций, которые создает зло! Особенно если дело касается детей. Вот таким образом.

— Но законы войны требуют...

— Нашим с вами законом, Лидия Михайловна, должен быть гуманизм. Вот э т о — «любой ценой». А поперек бесчеловечных законов войны мы должны стоять, пока можем. Если придется отступить, что поделаешь? Отступление на фронте возможно... Временное!

Лидия Михайловна подошла совсем близко к Ивашову, дотянулась до уха. Но я расслышала:

— Неприятно сообщать. Но разговоры тут всякие ходят.

— Где х о д я т? — громко, отвергая секретность, изумился он. — Где они ходят? По территории стройки? У нас же закрытая зона!

Она вновь дотянулась:

— Противно передавать... Но некоторые намекают, что вы десятиклассников особо оберегаете, потому что...

— Изобретатели! — воскликнул Ивашов и расхохотался, обнажив свои верхние зубы «Враг не пройдет!». — Их в БРИЗ, то есть в Бюро рационализации и изобретательства, надо направить. Такое, можно сказать, открытие сделали: Ивашов свою дочь любит. А кто из нормальных людей не любит детей своих?

— Вы... как Ушинский, — восхищенно глядя на Ивашова, пролепетала Лидия Михайловна.

Все женщины, к сожалению, взирали на него так.

— У Ушинского-то, кажется, со своим собственным сыном не все выходило благополучно. Заботиться о чужих детях иногда легче, чем о собственном произведении.

Он взглянул на Лялю. Притянул ее к себе.

Потом поправил френч, который был в полном порядке. Успокоил ладонью каштановые волны на голове.

— Еще раз хочу сказать, Лидия Михайловна: я нарушаю только те законы, которые нельзя назвать н а ш и м и. К примеру, закон, который хотела бы навязать нам война: безразличие к цене человеческой жизни — даже детской! Сражаться с бесчеловечностью, следуя бесчеловечным законам, — это кощунство. Поддаться «правилам», которые подсовывает враг, — значит, изменить себе. Мы с вами не способны на это.

— Не способны, — согласилась она.

— Инициативу вашу, Лидия Михайловна, я отменяю. Усанова благодарности лишу: своими руками надо жар загребать. Но уж по крайней мере не детскими! Не считая, конечно, исключительных обстоятельств. Крайних случаев!..

10

Крайний случай не заставил себя ждать...

Первая осень на Урале оказалась безантрактно-дождливой: дождь был то прямым, то косым, то грибным. Но

всегда черным... В воздухе, как после гибельного пожара, кружила гарь, валившая из труб ТЭЦ, словно из пробудившихся вулканов. Она перемешивалась с дождем. По лицам текли черные струи, как будто в магазинах продавали тушь для ресниц и все ею воспользовались. В коротких промежутках между тяжелыми ливнями гарь продолжала кружить над стройкой черными парашютиками.

Потом грянул мороз. Зима выдалась оголтело холодной. На улице трудно было дышать.

Однажды мама примчалась с работы в панике, растерзанная, забыв о своем внешнем виде, о котором она теперь ни на минуту не забывала.

— Я подслушала телефонный разговор!

— Тише! — попросила я ее: подслушивать телефонные разговоры было опасно.

Мама, навсегда расставшаяся со своей былой педантичностью, продолжала прерывистым шепотом:

— Я случайно... Соединила его, хотела проверить, снял ли он трубку... И вдруг слышу: «Если цех к воскресенью не сдадите, ответите головой».

— Что это значит? — спросила я.

— Он стал объяснять, что морозы ударили раньше времени. Но там повесили трубку.

— Все правильно, — объяснил нам Ивашов, заскочив домой «на ревизию». — Фронт пошел в наступление — значит, и тыл должен! К воскресенью надо сдать цех: оборудование привезли. Теоретически невозможно... Но практически необходимо. Людей не хватает? Найдем! Вот таким образом.

— Где вы их найдете? — спросила мама.

Ему пришлось обнаружить их у нас в школе.

Лидия Михайловна сразу откликнулась:

— Понимаю... Исключительная ситуация! Мы не можем быть в стороне. Мобилизуем старшеклассников. Оденутся потеплее... Не волнуйтесь, Иван Прокофьевич!

— Если бы мой самый любимый писатель... — начал Ивашов. И поправился: — Если бы мой самый любимый прозаик... — Технические расчеты приучили его к абсолютной точности. — Если бы он был жив, то одобрил бы, я думаю, противление т а к о м у злу насилием... даже с участием школь-

ников. Он не видел и не представлял себе возможности т а к о г о зла.

Цех, который мог стоять Ивашову «головы», достраивался на лютom холоде. Раствор готовили тут же: при перевозке он бы застыл.

— Все равно застывает! Убыстрите кладку. Не схватывает он кирпичи. Не схватывает! — услышала я за спиной голос, в котором уловила что-то отдаленно знакомое. Но изменившееся... Как если бы исполнили знаменитую песню, но фальшивя, меняя мелодию.

Это был бригадир с оборонительных укреплений... Только в голосе сохранилось что-то прежнее, а лицо, некогда пухлое, розовощекое, даже на морозе, утонув в шапке, было сероватым, костистым. Куда девалась мальчишеская самоуверенность? Он был фанатически одержим одной целью: чтобы раствор не застывал, а схватывал кирпичи, намертво соединял их друг с другом.

Мы выполняли обязанности разнорабочих: подносили заиндевевший кирпич, разгружали грузовики, расчищали для них дорогу. Убирали снег, почему-то не укрощавший мороза, но заполнявший сугробами внутренность будущего цеха, который без крыши был как без головного убора.

Я повернулась к бригадиру:

— Здравствуйте!

Он не вскрикнул: «Откуда вы? Как хорошо, что мы встретились!», а кивнул, точно давно знал, что мы здесь. Война отучила людей изумляться: столько всего навидались!

— А во-он... Ляля, — сказала я.

Он поглядел в ее сторону, но не узнал. Она, как и бригадир, не просто изменилась, а стала другим человеком.

Я вспомнила кем-то сказанные слова, что к холоду привыкнуть нельзя. Закрывать варежками лицо я не могла: то носилки были в руках, то лопаты, то тачки. Лоб стянуло, он онемел. Щек вообще не было...

Цех только достраивался, но мы уже видели, что он растянулся не меньше чем на полкилометра. Бригадиров, прорабов было много — и как это мы оказались рядом со своим бывшим начальником? Впрочем, жизнь на неожиданности щедра.

Бригадир извелся, но стал мне от этого понятнее, ближе.

— Никаких перекуров! — складывая рупором рукавицы, орал он. — Никаких остановок!

А сам на третий день подошел и, отвлекшись от дел, спросил:

— Неужели это дочь Ивашова?

— Она...

Тогда он направился к Ляле. И уже заставлял ее все время быть возле себя. Бригадир не был влюблен в нее, как в те роскошные летние ночи, которые, словно многоцветные маскалматы, скрывали от нас опасность войны.

Теперь он жалел Лялю. Только жалел, неизвестно каким образом находя для этого душевные силы...

— Раствор не схватывает как надо! Не схватывает,— повторял он.— А вы обе... пойдите в контору, погрейтесь.

Его доброта распространилась и на меня.

— У Гайдна действительно всего сто четыре симфонии,— признал он свою ошибку.— Впрочем, какое это имеет значение? Симфонии, оперы...

З н а ч е н и е имел только цех, который должен был «вступить в строй» к воскресенью.

Ивашов и сам с объекта не уходил. Заканчивали кладку последней стены. Под нашими ногами уже был застывший цемент, называвшийся полом. Сверху натягивали на цех «головной убор».

Ивашов отдавал приказы негромко, будто советовал. Никакой нервозности не проявлял. «Паника, хоть и криклива, все притупляет, лишает зрения»,— вспоминала я его давнюю фразу.

Я слышала, как он сказал бригадиру:

— Люди и так понимают. Вздвигать их не надо.

«Ответите головой...» Было похоже, что за голову свою он не боялся.

Нас, старшеклассников, начальник строительства выделял. Работа не прекращалась ни днем, ни ночью, а нам Ивашов негромко советовал:

— Пора домой. Хватит.

Я ни на миг не забывала о маме: как там она, на своем КП, без командующего, среди неумолкающих телефонов? Скучает, кроме всего прочего... И ждет конца войны, как начала незнакомого ей семейного счастья!

Вырваться в цех, даже на минуту, она не могла, и от этого ей, наверно, было труднее, чем нам. И г о л о в а Ивашова ей была гораздо дороже, чем всем остальным.

К воскресенью не успели закончить крышу. Но шести-

колесные машины с оборудованием стали медленно, как бы оторопев от любопытства, въезжать в цех.

— Надо было сколоть лед,— сказал бригадир.— Буксуют...

И направился к воротам, чтобы предупредить шоферов: «Осторожней!»

Ляля по привычке пошла за ним.

Все, кроме кровельщиков, работавших наверху, собрались встречать крытые шестиколесные грузовики. Никто не провозглашал лозунгов в честь нашей победы.

Я подошла к Ивашову.

— Почти успели,— сказал он.— Вот таким образом.

Одну из машин на льду занесло в сторону, она ткнулась бортом в стену. Мне потом рассказали об этом. А в то мгновение я лишь увидела, как стена качнулась... Качнулась стена! И рухнула. «Раствор не схватывает как надо...» Посыпались кирпичи.

— Люди... Там люди! — услышала я чей-то крик.

Ляли и бригадира не было. Все застыли... Стена накрыла их собой. Погребла.

Ивашов тоже остался на месте. Только сорвал с головы ушанку. Как, каким образом мороз и снег проникли туда, под мех? Голова была белая.

* * *

Было сказано: еще полгода, годик... А прошло около четырех лет. Но так надо было сказать: мы жаждали обещания, что ужас не вечен.

И он кончился.

Мама открыла мне дверь. Квартира Ивашовых была убрана, и все было восстановлено, словно в музее, где когда-то жили дорогие всем люди. Или как в городе, залитом вулканической лавой, но потом обнаруженном и раскопанном... Все было точно как прежде. Только окна мама не успела помыть и освободить от перечеркнувших их, неопрятно пожелтевших бумажных лент.

— Е го еще нет?

— Звонил из министерства. Получено новое задание: восстанавливать!..

— А ты здесь, в квартире, с этой задачей уже справи-
лась? Вот тут, на столе, мы с Лялей и Машей разрисовывали

стенгазету. Верней, это делала Маша... Ты помнишь? Залезла с коленками на стул...— Мы перешли в кухню.— Ляля здесь готовила ужин нам и отцу. У этой самой плиты. А я ими обеими восторгалась. Больше ни на что не была способна.

— Сегодня не надо об этом,— попросила мама.— Сегодня праздник! Их лица будут всегда с нами. Вот видишь, я повесила, как обещала тебе, рядом с фотографией Ляли-старшей... Какая красавица!

Мама никогда никому не завидовала, кроме здоровых стариков: если кем-либо восторгались, значит, человек заслужил.

В тот день и она постаралась быть привлекательной: утром умудрилась попасть к «дамскому мастеру», известному ей с довоенных времен. Надела, попросив разрешения, мою кофточку, которая молодила ее, и повязалась легкой, грозившей улететь, как воздушный шар, косынкой, потому что именно шея беспощадней всего выдает женский возраст.

— Соседка с первого этажа сказала, что мы приползли из эвакуации. Знала бы она эту эвакуацию...

— Сегодня не надо об этом!

— Не надо,— согласилась я. И опять взглянула на портреты своих подруг.

— Возьми его рабочие карточки и тоже их отоварь. Я решила: праздник так праздник!

Разгрузив сумку, я помчалась опять в магазин... Постояла в очереди: всем хотелось отметить великий день.

А когда возвращалась, снова встретила женщину с таким лицом, будто она всю жизнь просидела в подвале. На левой щеке было круглое и выпуклое, словно сургучная печать, пятно. В прошлый раз она, цепляясь за перила, поднималась из подвала, и пятна я не заметила. А тут уж точно вспомнила, что до войны она была почти молодой, белокурой и кто-то прозвал ее «миледи» из-за острого, недоброго взгляда, белокурых волос и отметины. Как и нашего бригадира, ее трудно было узнать...

— Еще отоварились? — проскрипела она мне вдогонку.— Все из эвакуации поползли...

Я тем не менее продолжала жить отраженным светом: на этот раз светом грядущего события в маминой жизни.

— Вся сияет... Постыдилась бы! — еще раз докатилось до меня скрипучее колесо.

...Ивашов уже вернулся домой.

— Только что объявили о победе. О нашей полной победе! — сообщила мне в коридоре нарядная мама.

Ивашов сидел возле стола, накрытого богато, как в мирное время. Впрочем, время и стало мирным... Но я не до конца, не вполне осознала это. Окна еще были перечеркнуты пожелтевшими полосками, как знаками умножения.

— Объявлено. Победили... Будет салют. Вот таким образом! — сказал Ивашов, стараясь быть только праздничным, точно и он слышал мамины слова: «Сегодня не надо об этом...»

— Внизу женщина... с родимым пятном сказала, что мы вернулись из эвакуации, — зачем-то сообщила я Ивашову. — Знаете, с первого этажа?

— Она живет в полуподвале, — поправил меня Ивашов. — Ее нельзя осуждать: сын и муж погибли на фронте.

Маша, Ляля и ее мама смотрели на меня со стены.

— Но мы победили! — продолжал Ивашов. — А раз так, я с этого часа... с этой минуты называю вас... тебя, Тамара, своей женой! Выпьем и за это, когда грянет салют. Вот таким образом.

Он поднялся и снова сел. Ожидая салюта, налил себе и нам с мамой.

«Все ее главные надежды сбылись!» — подумала я.

Вдруг за окном, за знаками умножения, оглушив нас взрывом, огромные деревья раскинули свои разноцветные ветви: красные, оранжевые, зеленые...

— Салют! — крикнула мама. — Сколько мы ждали его. Погаси свет...

Я погасила и стала считать залпы. Комната то озарялась, то погружалась во тьму. То озарялась, то погружалась...

Мама торжественно провозгласила:

— Выпьем за нашу победу стоя!

Мы с нею встали, подняли рюмки.

— Ваня! — обратилась мама к Ивашову.

Он продолжал сидеть. Грянул последний залп, Ивашов не поднялся.

— Иван Прокофьевич... — еле слышно сказала я.

Мама подошла к нему в тишине, которая особенно ощущалась после салюта. Взяла его руку. Стала судорожно искать пульс. И не находила. Стала искать на другой руке...

Я онемело поднялась и включила свет. Черные струи тек-

ли по маминому лицу, будто снова гарь надрывавшейся ТЭЦ перемешалась с дождем. Мама всю жизнь готовилась к этому дню и покрасила ресницы. Ей хотелось... ей очень хотелось быть в этот вечер красивой...

— Он всегда носил с собой нитроглицерин,— без всякой надежды в голосе прошептала мама.

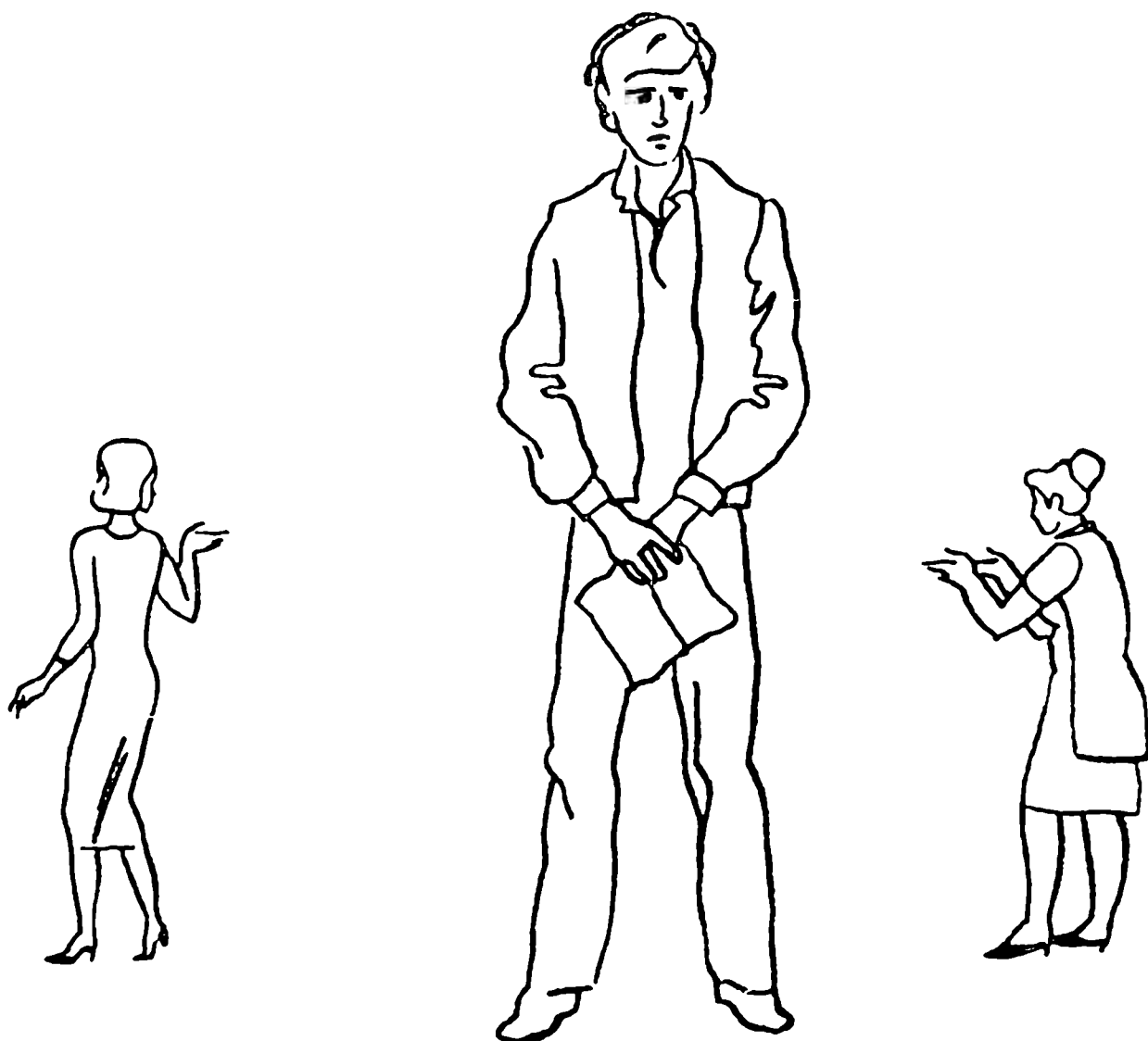
Мы стали нервно, беспорядочно шарить по многочисленным карманам френча, отглаженного, словно вчера сшитого.

Нашли листок, вырванный из тетради...

Мы опять попали под черный дождь. Война ушла. Но Ивашова она забрала с собой. Навсегда.

1980 г.

ДНЕВНИК ЖЕНИХА



Люди, я заметил, охотно признают те свои недостатки, которые фактически являются их достоинствами: «Застенчив я очень!», «Уж слишком я щедр!», «Суровости мне не хватает!»

Но что поделаешь, если я на самом деле застенчив и даже отчасти робок? «Человек без претензий! — говорят обо мне. — Ему так мало нужно...» Но кое-что мне все же необходимо: чтобы тетя Зина была рядом до конца моих дней.

— Мои х, Митенька! — поправляет она. — Ведь я настолько старше тебя!..

— Жерар Филип прыгал с крыш, кидался в огонь, скакал на трех лошадях одновременно, а умер в постели. Смерть, как известно, выбирает не по очереди, а по жребию, — говорю я.

И ей возразить нечего.

Все годы, которые вместила в себя моя память, я с тетей Зиной не разлучаюсь.

Но вернемся к застенчивости. Именно она заставила меня начать этот дневник: довериться бумаге легче, чем людям. Я не собираюсь повествовать о событиях своей жизни: ничего исторически важного в ней пока что не происходит. Я хочу записывать мысли. Если они будут приходить в голову... И дат не буду указывать: какая разница — вчера посетила меня мысль или сегодня?

Сегодня она меня, кстати, не посетила.

* * *

Как только появится интересная мысль, сразу начинает казаться, что кто-то ее до тебя уже высказал. Потому, наверно, что все интересное должно же быть когда-нибудь высказано!

Если человек написал за всю свою жизнь хоть одну талантливую страницу, он, безусловно, талантлив, ибо случайно написать такую страницу нельзя. Это известно. А если я выскажу хоть одну мудрую мысль?.. Ведь она не явится к дураку! Думаю, нет: мудрые мысли никогда не путают адресов.

«Всякая любовь хороша уже тем, что она непременно проходит», — с циничным и грустным откровением написал кто-то. Кажется, написал... Потому что лично меня такая мысль посетить не могла, а я знаю, что она существует.

Про ту любовь ничего определенного утверждать не могу. Но «всякая»? Нет, неправда! Мы с тетей Зиной можем доказать, опровергнуть... Хотя никто нас об этом не просит.

* * *

И все-таки мыслей у меня на целый дневник не хватит. Не наберется. К тому же их рождают события. Так что от событий никуда не уйдешь!

В школе учитель физкультуры, имевший привычку хохотать, если кто-нибудь из нас падал и ушибался, упрекал меня в безволии: «Женский какой-то характер!»

— Прости, Митенька, иного характера ты у меня перенять не мог, — извинялась тетя Зина. — Под женским игом жить — по-женски выть!

Я сломя голову бросался возражать против слова «иго». Потому что ее «иго» подарило мне дом, уют и спокойствие: ни одного поступка я без благословения тети Зины не совершал.

Люди часто не верят, что за благополучием в человеческих отношениях не таится ничего, кроме благополучия. Счастье чужого дома вызывает у них подозрение. А иногда раздражение... Мальчишки во дворе дали самому близкому мне человеку прозвище — Буксир «Тетя Зина». Их почему-то зло веселит, что этот милосердный «буксир» тянет за собой «баржу», то есть меня.

— Ничего: пойдешь в институт — наберешься мужской твердости! — обещала мне тетя Зина.

У тети свое видение мира. Настолько свое, что даже собственный характер представляется ей не вполне таким, каков он на самом деле. К примеру, безволие по наследству от нее передаться мне никак не могло. Если бы существовали Олимпийские игры, где люди состязались не в видах спорта, а по каким-либо душевным качествам, тетя Зина стала бы обладательницей минимум трех золотых медалей: за твердые убеждения и искусство отстаивать их; за способность ни одного дня и буквально ни одного часа не принадлежать себе самой и за уникальное сочетание внешней и внутренней аккуратности. Получила бы она, я уверен, и парочку серебряных медалей... А за бронзовые я бы ей не позволил бороться!

Тетя Зина заведует библиотекой и считает, что только продолжение ее пути сулит мне начало самостоятельности.

— Не хочу быть ханжой, — сказала она. — И думаю в данном случае не столько о процветании библиотечного дела, сколько о твоём будущем. Художнику для выявления «главной темы» необходим выгодный фон! Слово «выгодный», быть может, не благозвучно? Но когда речь идет о твоих интересах, я готова пренебречь принципами. Есть термин «материнские жертвы», но нет термина «тетины жертвы». Он бы звучал пародийно.

Потому что только моя тетя сумела стать матерью. До конца!

Одним словом, на библиотечный факультет три года назад было принято двадцать семь девушек и один юноша, то есть я.

Это и был тот «выгодный» для меня фон, о котором мечтала тетя.

— Ты завоюешь первенство фактически без состязания, — сказала она. — Прости, но с твоим характером сражаться было бы трудно! Не хочу быть ханжой!

— Ты права: бывают состязания на байдарках, на лодках, но нет состязаний на б а р ж а х.

— Я имела в виду твои достоинства, а не пороки. Я понимаю, нельзя быть чересчур благородным или слишком интеллигентным. Но ты з а с т е н ч и в о интеллигентен... А это качество, Митенька, сумеют полностью оценить именно на библиотечном факультете!

Все двадцать семь студенток поначалу разглядывали меня с таким интересом, как если бы женщина задумала играть в мужской футбольной команде или поступила служить на военный корабль. Вспомнили великого писателя, который «всем хорошим в себе был обязан книгам», но лишь затем, чтобы провозгласить: «У него — «Двадцать шесть и одна», а у нас — «двадцать семь и один!» Кроме того, преподаватели нарекли меня «пастухом», а однокурсницы — «женихом». Они затаенно ждали, на кого же падет мой выбор.

Так прошло около трех лет.

— И дальше не торопись, — сказала тетя Зина. — Синонимом торопливости в этой сфере является легкомыслие.

— Но они больше не могут ждать! Им интересно...

— На кого падет выбор? Ну да, ведь нынче в моде спортивная лотерея: розыгрыши и выигрыши!

— Какой же я... выигрыш?

— Ты?! Посмотри на себя!

Я взглянул в зеркало. О том, что я увидел, расскажу после.

— И как раз в э т о м, Митенька, проще всего наломать дров! — уверяла меня тетя Зина. — Прости за непоэтичность сравнения. Ты знаешь, какие у меня есть... примеры. Я ведь не из ханжеских соображений.

Люди нередко отчаянней всего отрицают присутствие в себе именно тех качеств, которые их более всего характеризуют. Но тетя Зина действительно не ханжа! А примеры легкомыслия ей известны. Не собственного, конечно. Нет: чужая «легкость» тяжестью обрушилась на всю ее жизнь.

* * *

Тетя Зина с осуждением относится к женщинам. Не ко всем, разумеется (она уважает Жанну д'Арк и Веру Засулич: они вели себя по-мужски!). Но остальные... В семейных конфликтах она чаще всего винит жен.

— Судьба отомстила мне за это! — говорит тетя Зина. — Она начисто избавила меня от конфликтов подобного рода. А заодно и от женских радостей. Чтобы принадлежать той любви, надо уметь хоть немного принадлежать себе самой. У меня на это не было времени. Но когда-то...

Она не договаривает эту фразу, открывая простор моему молодому воображению.

— Нет, в ханжестве меня упрекнуть нельзя!

Тетя Зина воспоминательно закатывает глаза.

А я начинаю мысленно ревновать ее к прошлому: мы не привыкли делить друг друга ни с кем! Хотя тут я не соблюдаю законов полного равноправия... И об этом рано или поздно обязан буду сознаться своему дневнику.

* * *

Чаще всего мы относимся к людям так, как они относятся к нам. Мы склонны не то чтобы прощать, а просто не замечать несправедливости человека по отношению к другим, если к нам он благосклонен и справедлив.

В многолетних несогласиях между тетей Зиной и другими женщинами нашей семьи я нахожусь на стороне тети. Я занял оборону на ее стороне, даже не вникая в детали...

— Не принимай все чересчур близко к сердцу, — просит меня тетя Зина. — Пусть это останется моим несчастьем. Относись к событиям иронично. Они ведь имеют особенность не только наваливаться на нас, но и освобождать от себя, уходить... Даже навсегда исчезать!

Тетя Зина просит вбирать в себя чувство юмора, будто его можно вдохнуть во время гимнастики или проглотить с витаминной таблеткой. Ей не хочется, чтоб племянник страдал. И я иронизирую. Насколько могу... Это нелегкое дело.

Делиться несчастьями тетя Зина со мною не хочет. Но я же мужчина и должен облегчить ее «перегруженную» женскую долю.

Писать о печальном... весело, с чувством юмора, к которому призывает тетя, пока что не получается: «иронист» я еще неопытный, начинающий.

* * *

Тетя Зина не седеет... Отмечать, что она и не лысеет, мне кажется, ни к чему: женщинам это несвойственно. Тяжелые, рыжие, прочно обузданные шпильками волосы напоминают по форме перевернутый вверх дном медный сосуд. Они бросают отсвет на лицо, шею, руки. Все у тети Зины рыжеватое и с родинками, обманно, до сей поры обещающими ей личное счастье.

У нее есть м о е, почти детское благоденствие: в юную пору меньше претензий, условностей, мешающих жить, еще нету усталости, все стремящейся драматизировать (кажется, это мысль!). Тетя разделяет также общую радость, которую испытывают читатели библиотеки, но л и ч н о й радости у нее нет.

Передо мной, перед газовой конфоркой и перед участниками читательских конференций она стоит, как на кафедре, — прямо, с честным намерением вразумлять, «принадлежать без остатка» всем другим и не вспоминать о себе.

* * *

Я от нее почти ничего и почти никогда не скрываю. Поэтому сегодня, перед тем как лечь спать, сказал, что влюблен в Любу Калашникову. И женился бы на ней сию же секунду.

Я сообщил об этом тете Зине с опозданием всего на три года.

Облегчил душу чистосердечным признанием.

Про меня в институте говорят, перефразируя великого писателя: «Двадцать семь и один», я бы мог сказать про Любу и других девушек нашей группы: «Двадцать шесть и о д н а» — точно, как у великого!

Три года я скрывал ото всех, а иногда и от самого себя то, что случилось.

Но сегодня утром в институте Люба Калашникова подошла ко мне и сказала:

— Санаев, или перестань т а к смотреть на меня, или произнеси что-нибудь. Я боюсь, ты взорвешься!

И я произнес фразу, которую заучивал и репетировал в течение трех лет:

— Я люблю тебя.

— Ну вот. Стало легче?

Я почти никогда и почти ничего не скрываю от тети Зины. И поведал о минутном разговоре, помнить который буду до своей последней минуты.

— Всем так кажется, — сказала тетя. — Но в твоей жизни будет столько п о д о б н ы х минут!

— Не будет, — возразил я.

— Буксир «Тетя Зина» вел тебя за собой, Митенька, минуя опасные течения и скрытые мели. Но все же на одну из них... ты, миленький, сел. Я не позволю себе оскорблять твое первое чувство. Но первое никогда не бывает последним! Я обязана предупредить. Удержать... Тем более т е б я: ты же красавец!

Я уже писал, что у тети с в о е видение мира.

Теперь самое время сказать, что я сам вижу в зеркале, когда, допустим, бреюсь по утрам или завязываю галстук. Подростковая нескладность, непропорциональность, боюсь, остались со мной навсегда: длинные руки, большая круглая голова с такими же медными волосами, как у тети Зины, в которые не прорубишься ни одним, даже металлическим, гребешком. И светло-рыжие ресницы, которых фактически не видно, и потому можно считать, что они отсутствуют. Глаза выглядят неодетыми, голыми.

Я стараюсь «прикрыться», хлопаю белесыми ресницами и, как при всякой «неодетости», чувствую себя смущенно. И веснушки, как у тети. Всюду веснушки...

— Ты будешь счастливецом! — давно обещает она.

— Не надо мне счастья и не надо веснушек! — отвечал я ей раньше.

Но вот уже три года затаился — и жду, что ее обещание сбудется. С того мгновения, как увидел Любу Калашникову.

— Ты веришь, что твоя судьба для меня дороже своей? — спросила сегодня тетя.

— Я был бы подлецом, если бы в это не верил!

— Тогда, Митенька, послушай то, что уже не раз слышал. Мне нелегко об этом напоминать... Но в конце концов, я должна думать не о том, как выгляжу, в каком свете предстану перед тобой, и не о том, что ты обо мне подумаешь.

Важно, что ты подумаешь о себе. И даже не подумаешь, а «надумаешь» в результате этого разговора.

— Еще ничего не случилось, — сказал я. И ткнулся своей рыжей головой в ее рыжую голову.

Она испугалась, что я хочу изменить направление нашей беседы, отстранилась и продолжала:

— С тобой еще не случилось. Но наша семья не должна трижды спотыкаться об один и тот же булыжник. Два раза она споткнулась.

— Я знаю.

— Знать и делать выводы — не одно и то же. Поэтому вникни. Твоя бабушка, то есть моя мама, вышла замуж в восемнадцать лет. Меня родила в восемнадцать лет и одиннадцать месяцев. Говорят, ранний ребенок обречен на талант и успехи. Поверь: здесь нету законов! — Она приносила себя в жертву аргументации. Я снова прижался к ней своими веснушками. — Потом, через много лет, появилась на свет твоя мама. Но даже мы, две девочки, не смогли укрепить ранний брак!

Эпитет «ранний» звучал в ее устах так, будто происходил от слова «ранение».

— Твоя бабушка влюбилась вторично — и умчалась со своим новым мужем в такие суровые условия, что туда «дети до шестнадцати лет» не допускались. Маму воспитала я... И не жалею. Я скорблю лишь о том, что она не просто «повторила», а умудрилась побить рекорд твоей бабушки: влюбилась вторично, когда тебе было лишь три с половиной года. И тоже умчалась. Конечно, на Крайний Север! Тебя я с нею не отпустила... Ее нового мужа ты раздражал. До твоей золотой головы он дотрагивался с брезгливостью. Уж не говорю о веснушках! — Она дотронулась до тех, что были на левой щеке. — Он сразу же, разумеется, согласился, что в здешних климатических условиях и со мной рядом тебе будет лучше. Я благодарна ему за это. Но неужели ранний, необдуманный брак третий раз обрушится на мою голову?!

— Да Люба не пойдет за меня!

— За тебя?! Она что, ненормальная?

— Она очень красивая.

— А ты? Взгляни на себя!

У тети Зины, как я уже писал, свое видение мира.

— И что же, многие претендуют на нее... если она такая

красавица, как ты говоришь? — осторожно осведомилась она.

— Претендовали бы! Если б мы не учились в женском монастыре. Сильный пол представлен у нас весьма слабо: одним только мною.

Тетя успокоилась. Мне ее стало жалко.

Потом она опять невзначай спросила:

— И что же? Ты говорил ей... об этом своем роковом намерении?

— Сказал что-то. Пролепетал...

— Не удержался? О н а м е р е н и и или только о чувстве?

— Только о чувстве.

— А она?

— Один раз... примерно год назад заметила, что у меня «глаза без всякой защиты». И успокоила: «Никакого трагизма!» Вероятно, имела в виду, что они без ресниц. Ничего скрыть не могут!

— У тебя нет ресниц?!

— Это я сказал.

— Но она так думает! Так их расценивает!.. Действительно, их к а к б ы не существует. На самом же деле это тонкие, золотые стрелы!

У тети абсолютно с в о е видение мира. И моих ресниц тоже.

* * *

А сегодня вечером тетя Зина все никак не решалась первой прикоснуться к теме моего «жениховства». Я на этом поприще вперед не продвинулся, и рассказывать было не о чем. Но все же я не стал мучить ее — и рассказал:

— У Любы тоже есть тетя, у которой она живет, потому что приехала учиться из Костромы.

— Нечерноземье! — сказала тетя Зина, мысленно обвиняя Любу в том, что земля ее лишена плодородия.

— Красивейший край! — ответил я. — Такие леса, такие просторы... Все первозданное!

— Это о н а внушила тебе?

— Она.

— Иван Сусанин был, помнится, из тех мест. Уж не заведет ли она тебя, Митенька?

— Я же не оккупант.

— Как ты прямолинейно меня понимаешь. Значит, там уже подключилась тетя? Знаю я этих тет!

— А я вот о них ничего дурного сказать не могу.

Она спохватилась:

— Значит, временно живет у московской тети? А дальше?

— Ей нелегко: стыдно обременять. В отличие...

— Ты о б р е м е н я е ш ь?! — стремительно оборвала мою мысль тетя Зина.— Обременяешь? Кого?

Она вытянула вперед руки, тоже длинноватые, худые, покрытые веснушками всех размеров и видов. Мне опять стало жалко ее.

— Я бы, прости, Митенька... хотела взглянуть на нее. Устраивать смотрины неудобно, провинциально. Захвати ее с собой на очередную «литературную субботу». В библиотеку...

* * *

Тетя Зина считается главным просветителем в нашем двенадцатиэтажном доме. Она многих приучила ходить в свою библиотеку на читательские конференции, которые называла «литературными субботами». Некоторые путают и называют их «субботниками».

Особенно увлекся конференциями полковник Николай Михеевич, который живет в соседней квартире. Интендант в отставке постоянно доказывает, что хоть сам и не был на передовой, но интендантство — равноправный род войск: «Без хлеба и одежды не повоюешь!..»

Он отлучился на пенсию, по-моему, преждевременно: жажда полезной деятельности не покидает его ни на мгновение. Мыслит Николай Михеевич ортодоксально: если одни тратят на что-нибудь силы, то другие не могут их труд игнорировать! И он обеспечивает переполнение читального зала библиотеки за счет жильцов нашего дома. Но делает это столь деликатно, что тетя Зина имеет все основания восторгаться «стремительно возрастающей тягой к культуре». И прежде всего к классическому наследию.



Каждая «литературная суббота» тети Зины посвящается какому-нибудь великому произведению.

Тетя просит присутствующих высказываться не только о героях этих творений, но даже и от их имени. Не знаю, понравилось ли бы это авторам-классикам, но жильцам нашего дома нравится.

— Классика прекрасна не столько вечностью проблем, сколько вечностью образов. Мы же говорим: «Живой Пьер Безухов! Типичнейший Хлестаков! Ну и Обломов!..» А Наташа Ростова, Плюшкин, Ноздрев? Приметы их образов будут обнаруживать у людей через сто и через тысячу лет. События далеки, а характеры и мысли — близки... Как будто принадлежат нашим соседям! — объяснила мне тетя Зина.

Вот почему соседи и выступают на ее вечерах. Особенно любит перевоплощаться Николай Михеевич: он уже выступал от имени старика Базарова, Чичикова и Демона... Тетя Зина не хочет обижать участников «литературных суббот»: они высказываются то от лица положительных героев, то от имени отрицательных.

— Я не ищу каких-либо совпадений, — уверяет тетя. — Вы, квалифицированные читатели, способны проникнуть в глубины любой судьбы! Выступая от лица персонажа, вы его точнее постигаете...

На очередной «литературной субботе» предстояло постичь судьбы героев «Евгения Онегина».



Сегодня состоялось первое знакомство тети Зины с Любой Калашниковой.

Люба пришла в том же платье, в котором ходила на лекции. «Не хочет понравиться... тете Зине. Значит, не придает значения!» — понял я. И почувствовал, как заливаюсь внутренним жаром, хотя знал, что мне это не идет: начинало казаться, будто я «обгорел» где-нибудь на берегу Черного моря. Такая у рыжих кожа.

Тетя Зина вначале сказала о том совершенно особом месте, которое занимает «Евгений Онегин» в творчестве «первого из поэтов».

— А я больше всего люблю «Медного всадника», — шепнула мне Люба.

Она не собиралась подлаживаться под тетины вкусы. Значит, не придает значения... Я продолжал чувствовать себя «обгоревшим».

Тетя Зина объяснила, почему «Евгений Онегин», написанный в стихах, называется романом, а «Мертвые души», написанные в прозе, — поэмой. Потом она сказала, почему Островский называл свои «исполненные трагизма» пьесы комедиями. Мне было неловко перед Любой: мы недавно слышали все это в школе. Но жильцы нашего дома, особенно пожилые, школьные годы забыли и воспринимали тетины объяснения как открытие. Переглядывались. Некоторые даже записывали.

Тетя процитировала высказывания Белинского и Писарева о романе в стихах. Согласилась с первым (хотя он «в увлечении кое-где называл роман поэмой»), мягко (все-таки Писарев!) поспорила со вторым.

На нас с Любой она не взглянула. Но, видя, что кожа у нее тоже «обожжена», я понял, что тетя стремится показать Любе, к к а к о м у дому она приобщается.

Мне стало жаль тетю Зину: сколько ей из-за меня приходится терпеть! Напрягаться...

Николай Михеевич, в кителе со множеством планок и почетных значков, ерзал на стуле, как школьник-отличник, мечтающий, чтобы его вызвали.

— Не будем изменять традициям наших «суббот», — сказала тетя Зина. — Пусть это не покажется дерзким, нескромным, но постараемся на время перевоплотиться в далеких и столь близких нам действующих лиц! Но прежде объединим мысленно роман с оперой того же названия, хотя Пушкин никакого отношения к либретто, разумеется, не имеет. Итак! Вот вы, Николай Михеевич... — Полковник вскочил, разгладил усы. — Что бы сказали Онегину, если бы были генералом Греминым и застали его на коленях пред своей женой?

Николай Михеевич к «субботам» готовился. Но он лет пять назад вышел в отставку, на генеральский чин уже не рассчитывал и к тому же не был «в сраженьях изувечен». Жену его звали Варварой Ильиничной. Одним словом, нелегко было Николаю Михеевичу заговорить от имени Гремина.

— «Рад видеть вас!» — сказал бы я Онегину.

— Почему бы вы так сказали? — с бойкостью начинающей учительницы бросила ему следующий вопрос тетя.

— А чтобы не обидеть жену... недоверием, — ответил Николай Михеевич. И сел.

— Вы лучше Гремина! — воскликнула тетя Зина. — Хотя мы не знаем, что именно он сказал Евгению. Но до этого бы он не додумался!

Полковник разгладил усы.

Тетин голос был столь доверителен, что мне показалось: еще немного — и она назовет Онегина «Женей».

— Простите, что я хоть на мгновение попросила вас стать генералом прежних времен, который, как вы помните, при первом появлении изображен саркастически: «...всех выше и нос и плечи подымал вошедший с нею генерал».

— А с кем... с нею? — с игривой загадочностью спросила тетя у зала.

— С Татьяной! — хором ответили прилежные читатели.

— Я хотела, Николай Михеевич, чтобы вы преподали нам всем урок деликатности. И вы это сделали.

Николай Михеевич уже вполне разгладил свои усы. И не знал, что с ними делать дальше. Он уважал просветительство тети Зины, но, несмотря на свои многочисленные колодки и значки, был по-детски стеснителен (знакомое мне качество).

К счастью, какая-то пожилая читательница, проявив инициативу, отметила, что роман в стихах «затрагивает и проблемы воспитания»: в доме Лариных Татьяну воспитывали хорошо, а Ольгу нет — и в результате она оказалась виновницей гибели начинающего поэта. Пожилая читательница так и сказала: «начинающего».

Сразу после этого тетя Зина попросила Любу высказаться от имени Ольги.

Участники «суббот» знали друг друга и Любиного перевоплощения стали ждать, как ждут первого ответа «новенькой» в школьном классе.

— Ольга сама-то, от своего собственного имени ничего в романе не произносит, — сказала Люба, не смущаясь ожиданием притихшего зала. — Как же я могу говорить за нее? Ну, а Пушкин, всем известно, написал:

Ее портрет: он очень мил,
Я прежде сам его любил,
Но надоел он мне безмерно.

За кого еще высказаться?

Лицо у тети вновь сделалось «обожженным». И мне опять стало жаль ее. Но другая тревога перебила первую, оказалась сильнее: «Люба не хочет нравиться тете... Значит, ей все равно? Не придает значения?..»

В трудную минуту устремляются к родным людям, и тетя устремилась ко мне:

— А как бы ты, Митя Санаев, отреагировал на письмо Татьяны, если бы оказался на месте Онегина?

Предложи мне тетя обратиться от имени Ленского к Ольге, в которую только что должна была перевоплотиться Люба Калашникова, я бы нашел слова! А тут я, не желая изменять Любе с Татьяной, ответил:

— Мне трудно представить себя... на месте Онегина.

— Всем трудно переноситься в другую эпоху,— не упрекая, а разъясняя, сказала тетя.

И спросила, кто хочет перенестись туда вместо меня. Сразу взметнулось несколько рук.

* * *

Вчера, когда мы вернулись из библиотеки, тетя сказала:

— Она, конечно, хорошенькая. Но очень провинциальная. Я бы ею увлечься не смогла! Стараются прикрыть свою провинциальность дерзостью, независимостью. И очень уж оказывает, как-то демонстративно... Могла бы сдержаться. Кстати, у тебя в имени и фамилии ни одной буквы «о» нету, так что на тебе она пока не делает «ударения»!

— А ты ей понравилась.

Люба и правда сказала мне:

— Твоя тетя совершает что-то совсем необычное. Мне это нравится! Если бы многие делали то, что она, люди знали бы Ростовых, Базаровых, Катю Рощину не только по фамилиям, а как полагается. У нас в Костроме больше свободного времени, чем у вас тут... Ты Белинского читал?

Я с малолетства не умею врать. И не считаю это своим достоинством, потому что даже стерильно честный Монтень утверждал: одну только правду говорить невозможно. Если же я пытаюсь соврать, то это написано аршинными буквами у меня на лице.

— Читал,— ответил я, потому что Белинского нам «задавали» в школе.

— Внимательно читал?

— Не очень.

— Жаль. Но никакого трагизма. Он ведь по поводу каждой повести, которую анализировал, создавал свою повесть, а по поводу поэмы — поэму. Литературоведческие, конечно... Я называю его своим любимым писателем. Не критиком, а писателем: читается, как «Обрыв» или «Три мушкетера». Не оторвешься. Только еще гораздо мудрее! Говорят: «Неистовый Виссарион» — и вроде все. Высказались, изучили! А он — тончайший, умнейший. Неистовым был Отелло!

— Конечно... конечно!

— Хотя «неистовым» его тоже классик назвал. Но ведь они не рассчитывали, что мы каждую их фразу будем бесконечно «обкатывать», заменяя ею собственное мнение. Ты, надеюсь, не возражаешь? (Я давно понял, что возражений она не любит.) Это ведь очень легко: тот сказал так, а другой — эдак. И думать не нужно! Я вот, если надо кого-нибудь убедить (даже преподавателей!), говорю: «Как сказал один из великих...» Начинают кивать головами. Соглашаются. Если даже я не права. Надежный прием. Воспользуйся!

— Я тоже часто обращаюсь к тому, что они думали и говорили.

— Но я обращаюсь к тому, чего они не говорили!

Слышала бы моя тетя!

— Меня дома так и прозвали: «Как сказал один из великих...» Длинноватое прозвище. Но я люблю необычное. А у тебя есть прозвище?

— Нет, — ответил я, ощущая на лице неприятную, обжигающую краску. Не мог же я назвать себя «баржей». Хотя Люба, я чувствую, тоже постепенно становится моим буксиром.

Тетя заметила это:

— Ты не можешь стать мужем хотя бы потому, что не создан быть главой семьи. И вообще главо й! Даже, увы, какого-нибудь учреждения. Но тут я постараюсь перевоспитать тебя!

Слишком я разоткровенничался в своем дневнике. И пишу его как повесть: с монологами, диалогами и лирическими отступлениями. Придется написать на обложке: «Разрешаю прочитать через десять лет после смерти». Или: «через пятьдесят». Так безопаснее.

* * *

Некогда мне заниматься дневником. Нekoгда!..

* * *

Как хорошо, что некогда!..

* * *

Тетя Зина предложила, чтобы мы всюду ходили втроем.

— Если ты не обидишься, я посоветуюсь с Любой.

— Моя судьба уже начала принадлежать ей? Я это предвидела.

Когда же я сообщил Любе о тетином предложении, она попросила уточнить:

— Мы всегда будем ходить на свидания втроем? Или это разовое мероприятие?

— Разовое...

В тот вечер тетя, как только я вернулся домой, спросила:

— Ты получил согласие? Верней, указание?

— Нет. Я советоваться не стал. Зачем? — соврал я. — Завтра вместе пойдем в кино.

— А послезавтра? Если у вас нет от меня тайн! Мне одиноко по вечерам.

— Тетя, дорогая... Прости меня!

Я прижался к ней. Она чуть-чуть отодвинулась.

— Когда ты был маленьким и боялся оставаться дома один, я отказывалась от всего, но не покидала тебя. Взаимности не требуют: либо она есть, либо ее нет.

Вместо ответа я снова прижался к тете.

* * *

Третий раз за эти полтора месяца беру в руки дневник, чтобы написать: некогда! А о том, что я испытываю, что говорю ей, не хочу, чтобы узнали и через пятьдесят лет. Это касается только нас с Любой...

* * *

— Это касается и меня, — сказала сегодня мне тетя Зина. — Пусть она зайдет к нам.

Но Люба заходить не хотела.

— Почему? — спросил я ее.

— Терпеть не могу экзаменов. Самая жуткая пора в жизни! Ты, надеюсь, согласен?

Еще не было случая, чтобы я с нею не согласился.

— Самая жуткая... Ты права. Но тетя не собирается тебя экзаменовать.

— А ей и собираться не нужно. У нее это само собой получается. Она тебя любит... Но это не значит, что она должна любить тех, кого любишь ты.

Не сказала: «Тех, кто любит тебя». Нет, не сказала!

— Как утверждал кто-то из великих: «В отличие от математики, две величины, порознь равные третьей, в жизни вовсе не обязательно равны между собой». Обвинять твою тетю нельзя. Я тоже буду изучать под электронным микроскопом, с кем начнет ходить мой ребенок в кино, на концерты.

«Н а ш ребенок» она не сказала.

* * *

— Ты добрый... И очень послушный. В хорошем смысле! — Это были самые нежные слова, которые я до нынешнего дня слышал от Любы. Я и сегодня более ласковых слов от нее не услышал.

Когда я снова стал приглашать Любу к нам, она ответила:

— Мне не хочется обижать тебя и твою тетю. Неудобно отказываться... Тем более, что она воспитала тебя. И я ее за это уважаю. Даже люблю!

Тетя удостоилась слов, которых я пока еще не дождался.

— Почему, если не секрет, ты живешь с ней, а не с мамой? Твоя мама, ты говорил, жива и здорова. Я раньше не решалась этим интересоваться. Кто-то из великих сказал: «Не спеши с вопросом, если знаешь, что к тебе не будут спешить с ответом». Но теперь уж, по-моему, можно...

Значит, ее отношение ко мне стало лучше, чем прежде. Слово «лучше», правда, здесь не вполне подходит. Лучше или хуже могут относиться преподаватели, Николай Михеевич, двадцать шесть остальных моих однокурсниц, называющих меня «женихом» уже не с любопытством и ожида-

нием, а с безразличной определенностью. На меня махнули рукой... Они соединили меня с Любой прочно и навсегда. Но она такого категоричного решения принимать не спешила.

* * *

Тете Зине очень хочется знать все подробности.

— Показываю ей город,— сообщил я.

— И все?

— И все.

— Экскурсовод! — якобы с насмешкой, а на самом деле с облегчением сказала тетя.— Где же вы побывали?

— Во всех известных музеях, кроме, кажется, Музея восточных культур... В театрах, куда сумели достать билеты... Я ее в Архангельское возил.

— А в места, связанные с бессмертными литературными именами? В музей Чехова на Садовом кольце?

— Там ремонт.

— А квартира Толстого?

— Я как-то не догадался...

— Это необходимо для всей вашей будущей деятельности. Я сама с вами поеду!

Тетя Зина хочет, чтобы события развивались у нее под контролем. Раз уж они «развиваются»... На всякий случай она спросила:

— А московской тете тебя представили?

— Нет еще.

— Почему?

— Люба сказала: «Зачем волновать зря?»

— Зря? — Тетя Зина испытала еще большее облегчение.— Пусть приходит к нам! — Ей очень хочется быть в курсе дела.— Значит, от своей тети она скрывает?

— Я не скрываю, а просто не посвящаю,— объясняет мне Люба.— Раньше времени!

Стало быть, время, по мнению Любы, не наступило. Наступит ли оно хоть когда-нибудь?!

Пишу невпопад... Ведь я же начал с нашей беседы о маме.

— У нее трое детей... От моего отчима, которого я почти не знаю. Они живут на Севере. Очень Крайнем...

— Прости,— сказала Люба.— Успокойся... Никакого трагизма!

И поцеловала меня в подбородок. Это было сегодня днем!



— Нужно поговорить,— шепнула мне в институте Люба.

— Серьезно поговорить?

— Серьезно. Но ты не волнуйся. Ладно? Никакого трагизма!

Вечер сегодня не особенно торопился, потому что я ждал его.

Люба сказала, что мы встретимся у метро «Комсомольская».

— Почему? — спросил я.

— Вечером... вечером...

Я знал, что там два выхода, но забыл. От волнения. А Люба могла этого не знать вообще. Сначала я вышел к Казанскому вокзалу. Неожиданно в голову пришла страшная мысль: «Она уезжает!» Я помчался сквозь подземный переход к Ярославскому. Видя, как я бегу, люди поплотней прижимали к себе чемоданы.

Люба никогда не опаздывала: «Зачем трепать нервы ближнему?»

Она ждала у автомата с газированной водой.

— Что случилось? — Это, разумеется, было моим первым вопросом.

— Никакого трагизма... Я приняла решение.

— О чем?!

— Не перебивай меня,— сказала она с той же решительностью, с какой отказалась выступать от имени Ольги.— У меня возникли сложности.

— В чем?

— Я же просила тебя... Во всем! После школы мы с мамой отлично спланировали: «Буду жить у тети, маминой сестры. Это почти всегда надежней, чем у папиной! Буду помогать ей...» Три года так было. Но тетина дочь, как говорится, привела мужа. Теперь нас в двух смежных комнатах — пятеро: тетя с мужем, ее дочь с молодым супругом. И еще я... Вот видишь, к каким сложностям приводят ранние браки! Твоя родственница права. Даже этически не очень удобно. Ведь правда?

Я промолчал, ибо не знал, какое же она приняла решение.

— Нет, ты не думай: тетя постоянно говорит, что я ей «все равно как сестра». Но сестра или моя мама (это одно и то же) навещается лишь в гости: всегда определен день

приезда и день отъезда. А я стала членом чужой семьи. Тетя на это не намекает. Я сама ощущаю: постоянно и тягостно для всех извиняюсь, благодарю. Это даже... чуть-чуть униЗИтельно. Как сказал кто-то из великих: «Живи в доме, в котором ты дома». Это мудро!

Я опять промолчал.

— Сперва я хотела снять комнату или там... угол, койку. Но тогда мне не хватит стипендии. И даже тех денег, которыми родители помогают своей молодой, «развивающейся» дочери, как помогают молодым «развивающимся» государствам... Им тоже, кажется, не хватает.

«Послушала бы тетя Зина, как эта «провинциалка» мыслит!» — подумал я.

— Так вот... Я приняла решение, которое излагаю тебе не для обсуждения, а просто к сведению. Возьму в институте академический отпуск... Кстати, почему он так называется? Похоже, что создан для академиков! Поеду на строительство «Зоны отдыха». К нам, под Кострому... Чтобы одни отдыхали, другие должны поработать! Или телеграфисткой буду... в две смены. Я окончила курсы. Накоплю денег... И никакого трагизма! Сейчас пойдем за билетом.

В руке у нее были зажаты бумажки.

Я бросился делать ей предложение: «Будем жить в нашей двухкомнатной квартире. Сложимся втроем — и материально, как говорится, вытянем!»

Но все это я произнес мысленно... Потому что, в отличие от Любы, не умел принимать решений. Не привык. «Баржа» на реке, особенно при бурном течении или в незнакомых местах, сама дорогу не выбирает. Она движется в фарватере своего буксира.

— Пойдем к тете Зине! — воскликнул я. И схватил ее за руку. — В кассу я тебя не пущу!

«Будь моей женой! Согласись... — должен был произнести я, громко, не раздумывая, чтобы заглушить все ее сомнения. — Сейчас же, в эту минуту, стань моей невестой. Раз я первый, кому ты доверяешь свои планы, сомнения. Первый, к кому торопишься в трудную минуту...»

Но я этого не произнес. Потому что рядом не было тети Зины. А я плыл по ее течению. Баржа... Баржа! Это слово уже не было в моем представлении связано с речными просторами, волнами, берегами. Все — и течение, и буксир, и баржа — приобрело лишь обидный, иносказательный смысл.

Мои поступки, незначительные и редкие, не принадлежали мне. Я был лишь исполнителем чужих решений, а не их создателем, не изобретателем их. И то смелое, единственно верное, что я должен был произнести, никак не произносилось. Язык мой и воля были не на хлипком собачьем поводке, а на давно и туго натянутом тросе. Почему же раньше я не замечал этого? Может быть, мне это было удобно?

Люба, наверно, не согласилась бы на мое предложение. Но я обязан был его сделать.

— Пойдем к тете Зине! — сказал я. — Там все решится!

— Что все?

— Вообще все! Идем...

Какое бы твердое намерение ни владело человеком, но если оно касается его личной жизни и перемен в ней, он испытывает неуверенность (пусть самую малую!) и становится податлив чужим советам, склонен выслушивать их.

Люба, не разжимая руки, в которой были скомканы деньги на билет, все же пошла за мной.

* * *

Только сегодня могу дописать то, что случилось вчера... Не уверен, что сумею все воспроизвести точно, «воссоздать», как пишут в критических статьях. Но попытаюсь.

Я все время стремлюсь поточнее «воссоздавать», и дневник, как я уже писал, начинает походить на рассказ или повесть. Но уж такой в моей жизни настал период.

По дороге, на улице и в метро Люба спрашивала:

— Зачем ты тащишь меня к своей тете?

— Все будет в порядке. И никакого трагизма! — ответил я.

Она рассмеялась, а это делает ее более неотразимой, чем мне бы хотелось. Все шедшие навстречу мужчины притормаживали... А женщины, напротив, пригибали головы (чтоб не возникло сравнений) и убыстряли шаг. Как ни странно, Люба перестала сопротивляться. Но я, боясь все же, что она возьмет да и скроется, руку ее из своей не выпускал.

Тетя Зина знала меня со дня моего рождения и сразу же по «обожженному» лицу и другим явным приметам поняла, что случилось нечто чрезвычайное.

— «Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног!» — этого про тебя, Люба, сказать нельзя: ты долго к нам собиралась!

Тетя выигрывала время для предварительного, визуального изучения ситуации. Она не любила, чтобы на нее опрокидывали ушат холодной воды.

Но ушат уже был у меня в руках и находился непосредственно над ее головой. Хотя она этого и не предполагала...

— Я пришел, дорогая тетя, чтобы в твоём присутствии сделать предложение Любе!

Тетя немедленно «обожглась» моей фразой, и на ее темно-розовом лице, даже на губах явственней, чем обычно, проступили веснушки и родимые пятна всех размеров и форм.

— А что ты решил предложить Любе? Музей Чехова, о котором мы говорили? Или Льва Толстого?

— Я предлагаю ей, в твоём присутствии, тетя, и, уверен, с твоего разрешения... стать моей женой.

— Су-пру-гой? — с угрожающей медлительностью переспросила тетя Зина.

— Супругой! Вот именно. Хорошо, что ты поняла.

— И просишь у меня, так сказать, благословения?

Веснушки и родинки проступали все отчетливей.

— Я сама впервые об этом слышу, — сказала Люба. — Но если б, как ты, Митя, решилась... Если уж я решилась...

— Жизнь в провинции делает людей гораздо самостоятельнее. Даже детей, — сухо перебила ее тетя Зина. — А чем вызвана эта спешка?

— Дорогая тетя... — Я приник к ней, как это бывало раньше. Она не оттолкнула меня. — Когда ты узнаешь обо всех подробностях, поймешь ситуацию, ты дашь свое согласие... Дашь! Я ведь знаю тебя. Твою доброту!

— Это доброта с позиций твоих интересов! Потому что я фактически мать... Быть доброй в данном случае — не значит быть покладистой и сговорчивой. Пойми, Митенька... Но и Любины интересы тут полностью адекватны твоим. То есть полностью совпадают... — Она не понадеялась на образованность провинциалки. Тетя протянула свои худощавые, рыжеватые руки к нам обоим. — О, боже мой, какие муки вам заготовил Гименей! Дети, как уверяют, рождаются для того, чтобы лишить своих родителей эгоизма... Но я лишилась даже признаков этого порока задолго до твоего рождения, Митенька. Еще в те годы, когда воспитывала твою маму... Ни один час моей жизни не принадлежал мне самой! Сперва твоя мама, потом ты... Я счастлива, что так получилось! Но добро-

вольно принесенные жертвы дают мне некоторые права. Хотя бы право на элементарное благоразумие.

Я снова прижался к ней, готовый все выслушать.

— Благоразумие... Холодное понятие! Проявляя его, мы порой жертвуем во имя других своей репутацией. Но что может быть эфемернее, чем она? То есть ненадежнее, — пояснила тетя для провинциалки из Костромы. — И вот я думаю, Митенька: что ты из себя представляешь... на сегодняшний день? «Двадцать семь и один»? Вот и все. Ты безволен и слаб... (Я отпрянул от нее. Мне не хотелось, чтобы Люба слышала это.) — Митенька, ты — умный, хороший, но слабый! (Я готов был зажать ей рот. Но, разумеется, не зажал.) Как же ты можешь взвалить на себя ответственность за семью, за Любу, которая, видимо, по столь понятному юношескому легкомыслию может дать согласие?..

— Во-первых, я его еще не дала, — спокойно ответила Люба, хотя так стиснула бумажки в руке, что я это услышал. — Я еще сама не благословила твои намерения, Митя. Но кажется, готова благословить.

— А я и не сомневалась! — отчеканила тетя. — Но не ты, а я отдала ему все свои заботы, посвятила свое одиночество... Которого могло не быть! Не ты, а я выполнила свой трудный долг перед ним.

Бумажки хрустнули у Любы в руке:

— Выполнив долг перед человеком... таким, как Митя, не следует торопить, чтобы этот долг возвращали. Он вернет и без напоминания!

— По какому праву ты защищаешь его... от меня?! Посвятившей всю свою жизнь... Это чудовищно!

— Простите. Я не врывалась в этот дом. И в ваш разговор... Митя привел меня. Как мужчина, он подтвердит.

— Он — еще не мужчина! — крикнула тетя. — В том-то и дело, что он не может взвалить на себя... Не в состоянии!

«Откуда тете известны возможности моих мускулов, моего сердца?» — хотел я спросить. Но язык и воля по-прежнему были «на тресе».

— Митя — мужчина! — за меня ответила Люба. — Как сказал один из самых великих, сила женщины в ее слабости. А другой мудрец добавил, что и сила мужчин иногда тоже... в их слабости! — Люба подмигнула мне. Она была в состоянии шутить. — Чем мягче и ласковей богатырь, тем больше он — богатырь!

Тетя не знала, какой именно мудрец это сказал, и возразить не сумела. А я, услышав, что богатыри могут быть мягкими, опустился на колени и произнес:

— Тетя, благослови нас! Хотя Люба еще не совсем согласна...

Тетя Зина стала поспешно искать союзницу в Любе:

— Если б ты знала историю его мамы и бабушки! Если б знала, какой ералаш в их и мою жизнь внесли ранние браки... «Выполнив долг перед человеком...» сказала ты? — Тете было удобно гладить мою послушную круглую голову: я стоял на коленях. — Нет, я еще не выполнила свой долг окончательно. Я должна буду пожертвовать многим, чтобы он завершил образование, вышел в люди — и лишь тогда...

Я понял, что мне предстоят долгие годы тетиных жертв.

* * *

Все, что случилось позавчера, я вчера воссоздать не успел. Впрочем, к чему это высокопарное слово? Подбадриваю себя бесполезной иронией.

Когда мы с Любой вышли на улицу, я сказал:

— Нехорошо получилось, что я стоял на коленях?

— Ты всегда на коленях, — ответила она. — И кажется, привык... В этом-то и трагизм!

Я не знал, как реагировать. Тогда она продолжила:

— Замечал, что есть сыновья, даже старые, которые всю жизнь «при своих мамах». Это можно уважать. Но согласись, что это несколько... неестественно. Они не женятся, не проявляют даже микросамостоятельности. Советуются и получают указания, которые призваны уберечь их от всяких опасностей. Но, как сказал один из мудрецов, берегут только от счастья. Прости, это я сказала... Я никого не люблю так, как маму. И не буду любить. Кто вообще может быть бескорыстнее матери? Она не выберет себе в сыновья ни Моцарта, ни победителя-полководца, а только своего сына, пусть неудачного, пусть даже убогого... Или свою дочь. Только свою! Но играющий на фортепьяно может на самом-то деле не быть пианистом, пишущий в рифму не быть поэтом, а родившая женщина не быть матерью.

«Послушала бы тетя, как рассуждает эта провинциалка! — опять прицепилась ко мне назойливая мечта.

— Настоящая мать никогда не захочет, чтобы сын был рабом. Даже е е рабом.

Когда мы вошли в парадное и начали прощаться, она пожалела меня:

— Смотри, какие у тебя волосы! Не пробьешься... Как у воина в балете «Спартак», на который мы с тобой не попали. Должно же быть соответствие?..

— Ты уедешь? — наконец отважился спросить я.

— Если бы ты сегодня сумел защитить себя, я бы, может, уехала. А так... задержусь. Кто-то должен защищать тебя?

— От кого? Тетя ведь любит...

Она перебила:

— Как сказал один из мудрецов, любящие деспоты страшны не меньше, чем ненавидящие. Запомни... Даже если этого никто из великих не говорил.

Мне хотелось закричать: «Давай будем вместе!.. Сейчас, с этого дня! Я же сделал тебе предложение. Ответь на него! Будем вместе... вопреки тете Зине. Вопреки всему, что может нам помешать!»

Но трос продолжал владеть движением моих поступков и слов. Он угрожающе натянулся, напрягся.

— Ты не думай, что я отступил! — все же сумел произнести я. — Вернусь — и все объясню ей. Она поймет... Я уверен! Не сразу, но поймет.

— Если хочешь высказаться, лучше напиши. Монолог для тебя легче диалога. В диалоге с тетей ты произнесешь лишь одну первую фразу.

— Нет... Почему? Но раз ты советуешь...

— Я вот что решила. Буду снимать койку. В институте перекочую на вечернее отделение.

— В конце третьего курса?

— Ну и что? Никакого трагизма! Пойду работать на почту. Телеграфисткой... Я ведь окончила курсы. Еще в Костроме... Буду принимать и передавать телеграммы! Приучусь к предельной краткости выражения своих мыслей. А краткость, как сказал один из великих, это сестра таланта. Он действительно так сказал. Родная сестра! Поэтому завершим сцену прощания.

— Ты решила все это... ради меня?

— Прости, Митенька, я устала.

Она открыла и закрыла дверь лифта. Я остался один.

* * *

Надо написать... Какая же Люба умница! Я буду говорить то, что думаю (вернее, излагать на бумаге), и не услышу тетиных возражений.

Тетя Зина... Она не хочет делиться мною ни с кем. Вот в чем самое главное! Хотя я абсолютно никакой ценности не представляю. Сама сказала об этом. При Любе... Зачем же при Любе?! Если нельзя меня оттолкнуть от нее, то надо ее оттолкнуть от меня? Так, что ли? Это жестоко. Но тетя уверена, что спасает меня. Она видит опасность там, где ее нет. Третий ранний брак должен, как она думает, непременно и в точности повторить два первых. Надо открыть ей глаза... Нет, она их и не закрывала. Просто у нее свое видение мира. Особенно всего, что происходит со мной. Она отдала мне почти всю свою жизнь... И я должен за это расплачиваться? Тетя была одинока? Но Люба сказала как-то, что от одиночества нельзя излечить за счет других людей. Она права! Конечно, в письме я все это обойду стороной. Напишу, что очень ценю тетины заботы и жертвы. Я их и правда ценю. Но отказаться от Любы в благодарность за то, что тетя сделала для меня, не могу.

* * *

Так я и написал. Хотел еще добавить, что одиночество впредь тетю не ожидает. Наоборот, нас будет трое! А потом... Но она не хочет делиться мною ни с кем! Вот в чем суть. И эту суть я тоже обошел стороной.

У тети Зины есть шкатулка с медной ручкой, в которой она хранит письма. У нее для всего определены свои места — не только для хлеба, ложек и вилок, но, например, и для всех моих школьных дневников (от первого до десятого класса!). Их тетя Зина сберегает в одном из ящиков письменного стола. В другом ящике хранятся фотографии, в третьем — квитанции. А письма — в старинной шкатулке. Когда я открыл ее, оказалось, что она очень вместительная, глубокая. Я решил положить свое письмо сверху и попросить тетю прочитать его вечером: по вечерам я теперь не бываю дома.

Без всякой цели, машинально, я стал перебирать конверты. Добрался до самого дна шкатулки... Там лежало письмо без конверта, как без одежды. Оно было зачитано, словно

любимая книга. На сгибах даже протерлось. Это было письмо от бабушки...

Зина! Я, по-твоему, плохая мать, потому что предпочла женскую любовь материнской. Ты так считаешь. Но я не предпочла, а просто уехала, не перестав от этого меньше любить Аню и тебя...

Аней зовут мою маму.

Ты воспитала Аню, хотя сознайся, я хотела забрать ее с собой. Ты не отдала ее мне, сказав, что она болезненный ребенок, ей нельзя менять климат и что я погублю ее. Помнишь, как ты это все говорила? А я подчинилась, потому что побаивалась тебя. Ты с детства умудрилась стать в доме «главной». Я сдалась — и в этом была моя измена материнской совести. Может быть... Ты хорошо воспитала Аню, ничего не говорю. Но зачем же было в каждом письме подчеркивать, что ты заменила ей мать? Зачем было меня «заменять»? Разве я умерла? Или ты хотела, чтобы я умерла для нее?.. Прости, что ворошу прошлое. Хотя для этого есть причина! Зачем ты у Ани сейчас отбираешь сына? Зачем ставишь ее перед вопросом: либо сын, либо муж? Если одинока, приезжай ко мне: у нас нормальная семья, тебе будут рады. Ты никого не стеснишь... Но Аню-то не «заменяй», как заменила меня. Ну и что из того, что они улетают на Крайний Север? Там же дети рождаются и живут. Не делай этого, Зиночка. У вас с Аней и у Мити есть ведь и родные отцы. Но ты создала теорию, согласно которой отцы любят лишь тех детей, чьих матерей они в данное время любят. Мы подчинились этой теории, потому что побаивались тебя. Но оставим отцов, раз уж они согласились оставить детей. По своей воле или по твоей — это не имеет значения. Только Аню не пытайся «заменить»! Не делай этого, Зиночка... Заклинаю тебя! Мама.

Внизу стояла дата: письмо пришло семнадцать лет назад. А еще ниже была приписка, сделанная крупным, безупречным почерком тети Зины: *Где же на земле справедливость?*

Я не положил в шкатулку свое письмо. Тетя Зина начертает на нем такую же резолюцию.



Тетя Зина не только воспитывает литературой, но и лечит ею людей, исцеляет.

— Тех, у кого нездоровье... в душе,— объяснил я Любе.

— Так сказать «душевнобольных»? Благородно! И кого-нибудь в ы л е ч и л а?

— Ну вот... Германа с десятого этажа.

— Имя в данном случае символичное: соединяет в себе литературу с психиатрией.

— Он самый красивый юноша в нашем доме.

— А разве не ты?

Что-то подобное я не раз слышал от тети: может, хоть в этом они с Любой сходятся? Или утешают меня?..

— Герман не поступил в институт, работать не пожелал,— сообщил я Любе.

— И армия от него отказалась?

— Кажется, плоскостопие... Или что-то вроде.

— «Плоско ступает» по жизни? А внешне красив? Случается!

— Сейчас он «ступает» как надо: тетя его спасла. Он стал перевоплощаться на ее литературных субботах в «лишних людей» прошлого века. Лицо у него скучающее, надменное... Тетя говорит, что у него еще и лицо профессионального покорителя: похож на Дантеса.

— Но не убийца?

— Мог бы им стать. А теперь учится в техникуме: руки у него золотые.

— В отличие от души?

— И с душой все наладилось. Это тетина гордость: на его примере она доказала целительные свойства литературы!

— В кого же он перевоплощался... из «лишних людей»? — спросила Люба.

— В Печорина, Рудина. И стихи читает прекрасно! «На смерть Поэта», к примеру...

— Он же похож на Дантеса?

— Но обличал его! На глазах у всей библиотеки «смеясь, он дерзко презирал...», «не мог щадить...», «не мог понять...». Все было так выразительно, что зал окончательно возненавидел наглого иноземца.

— Дантес против Дантеса?..

— Так получилось. На ближайшей литературной субботе он будет читать стихи о любви.

— Пойдем? — предложила Люба.

— Пойдем, — ответил я неуверенно.

Зачем было рассказывать о его красоте? Надо было на плоскостопие нажимать! И на его прошлые связи с дурной компанией...

— Это будет экспериментальная суббота, — попробовал я посеять сомнения. — Тетя хочет, чтобы с помощью наших соседей отныне «оживали стихи».

— Вот и пойдем.

* * *

Сегодня мы с Любой пришли на необычную «субботу», где должны были оживать не повести и романы, а стихи.

Первое из них «ожило» благодаря самой тете.

— Я никогда не позволяла себе менять хоть звук единый, хоть букву в произведениях великих мастеров. Ибо это кощунственно! — объяснила в начале вечера тетя Зина. — Святости можно посещать, надо ими восторгаться, но нельзя в них в т о р г а т ь с я. И все же я чуть-чуть вторгнусь: изменю в тексте гениального стихотворения два слова, чтобы доказать, что оно, написанное мужчиной, с той же силой звучит и от имени женщины! «Выхожу о д н а я на дорогу...» — начала тетя.

Дальше, вместо слов «Я б хотел забыться и заснуть», тетя, выразительно глядя на меня, произнесла:

— Я хочу забыться и заснуть!

Она пошла на редактирование классика, чтобы сказать мне е г о устами, что она одинока, устала и хочет освежиться сном.

— Она устала только от тебя? Или и от меня тоже? — спросила Люба.

Я не успел ответить: Герман начал оживлять стихи о любви. Он обычно находил «жертву» в библиотечном зале и к ней обращал слова признаний, мук и тоски. «Жертвы» начинали ерзать, передвигаться, но взгляд Германа преследовал их, не отпускал. Казалось, я присутствовал на сеансе гипноза.

Готовясь перейти к очередному четверостишию, Герман приковал себя взглядом к Любе. Она поднялась и спросила:

— Вы мне что-то хотите сказать?

Все тетины веснушки и родинки сразу же вырвались из засады, обнаружили себя, готовясь защитить Германа.

— Никакого трагизма! — успокоила Люба. — Я просто не хочу присваивать то, что мне не принадлежит. В данном случае... чужую любовь. Стихи же не мне адресованы. И вообще участниц этой «субботы» классики не имели в виду.

Тетя даже обрадовалась:

— Всякий эксперимент не бесспорен. Он требует обсуждения, а может быть, и осуждения. Вот прямо сегодня, когда читатели разойдутся, мы и обсудим... Ты не откажешься, Люба?

— Не откажусь.

После экспериментального вечера у тети разболелась голова, и она попросила прогуляться с ней нас троих — Любу, меня и Германа.

— Я виновата, Герман, — сказала она. — Получилось, что, проводя эксперимент с «оживающими стихами», я рискнула не собой, а тобой! Потому что доверяю тебе. Д о в е р я ю!

Все это она произнесла так, точно обращалась к бывшему уголовнику, которого исправляли «доверием».

Следующая фраза тоже напоминала судебную хронику:

— И я же обязана реабилитировать тебя!

Тетя остановилась, обхватила голову, которая болела и потому не могла принимать быстрых решений.

— Ну, прочитай несколько абзацев из «Героя нашего времени»... Перевоплотись в Печорина! А потом в Рудина, если тебе захочется... Но только с использованием всех жестов и других возможностей твоей незаурядной «фактуры».

Возможности были велики: Герман вполне мог бы поступить в ателье манекенщиком.

Мы шли переулком, который расширяли, благоустраивали, и он уже несколько лет не вылезал из строительных заборов. Прохожие здесь попадались не часто... А те, которые встречались, вздрагивали от восклицаний и телодвижений Германа.

Прочитав очередной монолог, он по-дантесовски покорительно взглянул на Любу.

— Вы опять хотите мне что-то сказать? — осведомилась она вначале. И нарочито спохватилась: — У меня... что-то не так, не на месте?

Покорительный взгляд угас.

— Мы зашли довольно далеко, — вернулся из перевоплощений на землю Герман.

— От дома, ты хочешь сказать? — уточнила Люба. — Тогда не «зашли», а «ушли».

Тетины родинки и веснушки вновь вырвались из засады на выручку Герману. Это было видно и в полутьме.

— А «лишние люди» прошлого века? Сегодня мы увидели их! — воскликнула тетя. — Как живые, да? Как живые!

— Зачем им менять адреса? — Люба повела плечами. — Жили бы себе спокойно на книжных страницах!

— Менять адреса? Какое-то у тебя почтово-телеграфное мышление!

— Инициатива хороша там, где она требуется, — не сдавалась Люба. — Это и литературных конференций касается.

— Теперь еще и спина разболелась... — пожаловалась тетя. И погладила поясницу. — «Забыться и заснуть...» Обопрусь на Митину руку! А ты, Герман, проводи Любочку.

— У него фактура надежнее: вы на нее и об оп р и т е с ь, — возразила Люба. — А меня Митя проводит. Как всегда.

Я приосанился.

Герман бросил на Любу еще один призывный дантесовский взгляд. Но от меня оторвать не сумел...

Когда мы с Любой пересекали площадь, я сказал:

— Это само по себе пахнет литературным сюжетом.

— Это пахнет предательством, Митенька.

Люба закашлялась, будто запах предательства попал ей в нос, проник в легкие.

— Есть люди до того в своем собственном сознании безукоризненные, что и любую подлость совершают как бы невзначай и непременно с позиций честности, «по зову долга».

Эта мысль, я думаю, обогатит мой дневник. Но кого она имела в виду? Неужели...

* * *

Сегодня некоторые мои однокурсницы ощутили большое душевное облегчение: Люба Калашникова решила перейти на вечернее отделение.

Она поднялась на третий этаж, к заместителю декана, который сам-то всего два года назад окончил наш институт. Несколько раз я заглядывал в деканат, а он все никак не мог

написать в левом углу ее заявления: «Согласен» или «В приказ». Ему не хотелось слишком быстро решать этот простой вопрос. Он до такой степени не торопился, что я подумал: «Тоже пойду работать на почту! Чтобы видеть, как там и что... Она будет принимать телеграммы, а я буду их разносить. Утром, до института... А заодно и газеты! Тоже подзаработаю».

Люба, узнав о моем намерении, не удивилась:

— «Я утром должен быть уверен...»?

С той памятной «литературной субботы» роман в стихах не покидал нас.

— Вот видишь, тетя делает очень полезное дело! — сказал я.

— У себя в библиотеке? Безусловно! — ответила Люба. — Но иные люди, если ты замечал, раздваиваются. И поступают так не нарочно: это свойство натуры. На службе — одни, а дома — другие, неузнаваемые. Слово «служба» тебя, надеюсь, не оскорбило? Тетя действительно с л у ж и т литературу. Суховато, прямолинейно, но служит. Особенно классике! В поэмах и романах все понимает, может сказать о персонажах больше, чем сами авторы хотели сказать. А в жизни...

«Слышала бы тетя, как рассуждает провинциалка!» — в который уж раз подумал я.

Хотя на этот раз ей слушать было не обязательно...

* * *

Теперь мне предстоит подниматься часов в шесть утра.

«Скажу тете, что мы с Любой ходим в бассейн! Она одобрит: мое здоровье ей дорого», — сперва решил я.

Тетя заставляет меня каждый день заниматься гимнастикой. Сама она при этом сидит на диване и следит, чтобы я не халтурил, выполнял все упражнения до одного, правильно вдыхал и выдыхал воздух. Так что бассейн она бы одобрила...

Но мне неожиданно захотелось набраться храбрости и сказать правду. Надо же когда-то ее набраться!

— Ради любви (хотя я уверена, что у тебя просто наивное увлечение!)... Так вот, ради любви, — сказала тетя Зина, — решались на многое: декабристки на добровольную ссылку, Ленский — на дуэль... Но в разносчики телеграмм и в лифтеры никто из знакомых мне литературных героев не шел.

— Тогда не было телеграфа и лифта.

— Учишься у нее дерзкому острословию? Обычно мужчина ведет за собой женщину. А у вас, я вижу, наоборот...

Я должен был бы сказать, что к роли «баржи» уж во всяком случае приучила меня не Люба.

Но я промолчал, а тетя Зина продолжала давить на меня литературными образами:

— Движимые ревностью (кстати, очень унижительное чувство!), сражались, убивали, даже душили... Но не подглядывали. Ты собираешься устроить за ней слежку на почте?

Зачем я сказал ей, что Люба будет телеграфисткой? Зачем? Нет, правильно сделал: надо же набираться храбрости. Хоть понемножку...

* * *

Телеграммы часто оказываются неожиданностью, и люди боятся их. Обычно на расстоянии изъясняются письмами. А если телеграммы, значит, что-то из ряда вон выходящее: смерть, болезнь, просьба о помощи... Я стал разносить их в утренние часы по квартирам.

О поздравлениях с днем рождения или с другими личными, семейными и общими «датами» все догадываются заранее. И принимают их если не равнодушно, то по крайней мере спокойно. Благодарят меня и вскрывают телеграммы неторопливо. Но если моего появления не ждали, расписываются в получении нервной закорючкой, сообщают криком в глубину квартиры: «Телеграмма!» — и выхватывают ее у меня неловкими, дрожащими пальцами.

Телеграммы никогда не бывают секретом: первыми их читают на почте, откуда они отправлены, потом телеграфистка, которая принимает, и только потом уже «адресат». От меня их содержание тоже почти никогда не утаивают: то ли у меня такое лицо, то ли просто хотят поделиться.

Я попросил Любу:

— Предупреждай меня, о чем там написано... Чтобы я не мучил людей неизвестностью. Пусть минутной, но неизвестностью...

Она взглянула на меня с пониманием:

— Ты тоже пропускаешь их... через себя?

— А ты?

— Я пропускаю. Несколько раз в день с удоволь-

ствием изменила бы текст, но его диктуют не люди, а жизнь. Чаще всего здоровье... И тут ничего не поделаешь. Поэтому без трагизма! Зачем тебе знать тексты заранее?

— Когда из-за двери испуганно (в утренний час!) спрашивают: «Кто там?», я буду отвечать: «Не волнуйтесь! Это телеграмма, но ничего не случилось!»

— А если случилось?

— Тоже буду заранее подготовлен. И буду искать слова...

— Ты добрый, — сказала Люба.

Лучше сказала бы когда-нибудь: «Ты — любимый!» Не говорит.

* * *

Некогда писать! Нekoгда: разношу телеграммы, газеты, учусь в «женском монастыре». Люба так устает, что по вечерам мы уже семь дней не видимся... Но зато видимся утром! Иначе бы я не смог...

Сегодня Люба сказала:

— Получи сам нежданную телеграмму. Но устную: я на двенадцать дней уезжаю к себе в Кострому, к родителям. К маме... Никакого трагизма! Договорились?

— А если я поеду с тобой?

— Нельзя... Мама это может неверно истолковать. А тетя Зина просто возненавидит меня. Или скажет, что «мы поедем в т р о е м». Но у нас там не хватит жилплощади.

— Я провожу тебя!

— И это нереально: поезд уходит утром, когда все ждут газет. Телеграммы тоже не могут опаздывать.

Завтра она уезжает.

* * *

Жду ее... Вот и все.

* * *

Я начинал свой дневник для того, чтобы записывать мысли. Если будут приходить в голову... Мысль — это не просто то, что ты думаешь, а то, что интересно знать и другим. Подобная мысль о мыслях вошла в конфликт с первоначальным намерением писать «для себя». Надо было от чего-то в дневнике отказаться: либо от мыслей о жизни, кото-

рые не касаются меня лично и которые я поэтому могу доверить кому угодно, либо от самой жизни, от событий, происходящих со мной, которыми я ни с кем, кроме бумаги, делиться не вправе. Я выбрал события...

Но, может, я вовсе не выбирал, а само оно, главное событие — Люба, — вошло в дневник, и для других размышлений места не оказалось? Не могу же я назвать философской мыслью то, что любовь острее всего познается в разлуке! Это и без меня всем известно. Но некоторым — теоретически, а я, увы, убедился в этом на собственном опыте.

Считаю дни, оставшиеся до ее возвращения: столько, сколько минуло со дня отъезда... на один день меньше, чем с того дня... на четыре дня меньше... По вечерам не знаю, куда девать себя: в голове одно и то же (подсчитываю дни, воображаю, как мы увидимся), а поделиться этими думами ни с кем не могу. Другим они вовсе не интересны... Разве можно перевоплотиться в того, кто любит? В лучшем случае — походя восхитятся («Как в девятнадцатом веке!»), в худшем — походя удивятся («Что он нашел в ней?»). Тетя удивляется. И накануне возвращения Любы, то есть сегодня, я ей сказал:

— Наконец я научился тому, чего не умел!

— А именно?

— Принимать решения.

— И что ты решил?

— Не могу жить без нее!

У тети Зины с в о е видение мира:

— Разлука лишь в первый период все обостряет. Если б Люба задержалась в своей Костроме на месяц или на два...

— Я бы сошел с ума!

— Разве этого еще не случилось?

— Тетя Зина, дорогая... я тебе за все благодарен, но мне уже двадцать один год — и я о б р у б а ю трос!..

— Голыми руками с этим не справишься. Надо иметь сильные инструменты: волю, решимость.

— Я их приобрел.

Тетя отошла к окну, чтобы оглядеть меня повнимательней, на расстоянии, как картину.

— Перейдем с речной и морской терминологии на язык человеческих отношений и долга! — сказала она, вытянув вперед руки, которые были худыми и вызывали у меня со-

страдание.— Я отвечаю за тебя не только перед собой, но и перед твоей матерью.

Впервые я услышал от нее подобную фразу. Но я подавил сострадание, устоял.

— Отныне за меня будет отвечать только один человек.

— Кто же... это?

— Я сам.

* * *

Из Костромы много поездов — и я не знал, какой из них мне встречать. Люба, как объяснила по телефону ее московская тетя, очень устала от телеграфа, от почты — и сказала, что телеграмму посылать не будет.

«Вы знаете Любашу, — добавила она. — Не хочется ей затруднять просьбами: «встречайте», «проводжайте»...»

Есть просьбы, выполнять которые — огромное счастье. Как большинство моих мыслей, входящих хоть с чем-то в противоречие, и эта осталась невысказанной.

Люба и ее тетя не могли догадаться, что я стал чуть-чуть другим человеком, что я сказал: «Обрубаю трос!» И что я впервые принял решение, которое «входило в противоречие», но которое я тем не менее отважился принять.

Обо всем этом я объявил Любе на улице, возле почты, где мы с ней работали.

— Поздно, Митенька... — сказала она. — Где ты был раньше? А теперь поздно. Я тоже вернулась с решением.

— С каким?..

— Опять уезжаю. Но теперь уже надолго. Никакого трагизма! — Она вынула платок. — Никакого трагизма, Митенька!

И поцеловала меня. Так, как это делала мама, изредка приезжая к нам в гости.

— Я еду с тобой! Ты непременно... уедешь?

— Это звучит не совсем точно.

— Что именно?

— Мы уедем. Но не мы с тобой...

— Как?!

— Никакого трагизма! Все проходит, все забывается... Особенно в двадцать один год! Это известно. Хотя не все, что общеизвестно, является истиной. Но в данном случае, Митенька... Поверь мне! Ты, конечно, должен знать, с кем я уеду?

Скажу только, что он окончил Высшее военно-морское училище. Лейтенант флота. Находится в отпуске... Пришел месяц назад на почту, чтобы сообщить друзьям, что добрался благополучно.

— Значит, если бы у него не было отпуска... и если бы ты не работала телеграфисткой...

— Не казни себя, Митя: все было бы так же. Это необъяснимо. Если бы, конечно, я... прости, не могу подобрать слова... ну, уважала бы тебя как мужчину, как личность, то полюбила бы. И ничего бы не случилось. Говорят, что любить — это значит жалеть. Но не такой жалостью, Митенька... А как доброго... очень хорошего человека, я тебя уважаю. И люблю. Не казни себя, Митя.

Люба продолжала говорить: боялась оставить меня одного:

— И будь здоров! Это самое главное. Не так, как Герман с десятого этажа: можно без бицепсов, без «фактуры». А нормально, по-человечески... Наверно, бывало так: показывают на экране кинозвезду или великого ученого с миллиардами извилин в мозгу, а ты думаешь о том, что когда-нибудь тебя объединят с ними, уравнивают в страданиях и правах болезни, смерть. Бывало так?

— Бывало...

— Значит, на последней дистанции все равны! Но эта мысль успокаивает лишь слабых людей. Весь смысл в том, что происходит до последней дистанции. До нее! Этим жизнь отличается от любых спортивных соревнований. Поэтому будь здоров, Митенька...

Это было сегодня.

* * *

— Онегинская ситуация: «Она другому отдана...» — сказала вечером тетя Зина. — Только выходит замуж не за генерала, а за лейтенанта, окончившего Военно-морское училище? Кстати, и началось все почти как в «Онегине» — она первой подошла к тебе и потребовала: «Выскажись!» Ты сам мне рассказывал. Помнишь?

— Не смей про нее... Не смей! Не смей про нее...

Кажется, я кричал.

* * *

Больше мне на почте нечего было делать.

Я пришел туда последний раз... С заявлением об уходе. И двумя телеграммами с одинаковым текстом: маме и бабушке. В телеграмме было написано: «Жду вас в субботу, двадцать седьмого, на свадьбу. Целую. Митя».

В полукруглом окошке я увидел пожилую женщину, которая с первого дня моего появления на почте называла меня «Рыжиком». И вслед за ней так стали называть все, кроме Любы.

— Женишься, Рыжик? — изумленно спросила она. Но не посмотрела в сторону комнаты, откуда доносился тревожный телеграфный стук. Наверно, все уже знала... Может, и Люба подала заявление? Или ушла?

— Калашникова здесь?

— Здесь, Рыжик... Пока здесь... Люба! — не отрывая от меня сочувственных глаз, позвала она.

Люба вышла и не удивилась, увидев меня.

— Здравствуй, Митя.

— Здравствуй... Еще работаешь? — неизвестно зачем спросил я. (Она не ответила.) — Передай, пожалуйста, мои телеграммы. Во-он те...

Люба прочла.

— Это шутка?

— Иначе они не приедут: дети, внуки.

— Я понимаю... Кто-то ведь должен быть рядом с тобой.

Тетю Зину она в расчет не брала.

— А как же институт? — с беспомощной надеждой спросил я.

— Перейду с вечернего на заочное. Мне ведь не привыкать!

— Ты едешь на Север?

— Как ты узнал?

— На Крайний?

— Как ты узнал?!

— Догадался.

— До свидания, Митенька.

Она скрылась в тревожно стучавшей комнате.

Бабушка, мама и тетя Зина были не просто похожи друг на друга: они отличались, на первый взгляд, лишь возрастом. На первый взгляд... Но кроме возраста, маму и бабушку отличало отсутствие властности, постоянной убежденности в своей правоте, чего тетя Зина не могла скрыть даже сегодня. Хотя я предупредил, что мы рассаживаемся вокруг стола для очень серьезного разговора.

Встревоженные мама и бабушка, стараясь эту серьезность притушить, стали показывать последние фотографии моих родичей, которые живут далеко и поэтому воспринимаются мною как «дальние»: бабушка — фотографии двух сыновей и внуков, а мама — трех дочерей. Это были мои «сводные» сестры, с которыми жизнь не желала меня сводить. Снимки я видел уже накануне...

— Значит, со «свадьбой» был просто розыгрыш? — несколько раз переспросила вчера тетя Зина.

Она до того успокоилась, что даже сегодня за столом была не растерянной, а лишь озадаченной. Чтобы и это было не слишком заметно, тетя вначале прикрылась иронией.

— Совет в Филях? — спросила она.

От одной ее фразы перетершийся за последние месяцы трос не выдержал, баржа оторвалась от буксира и, как самоходное судно, обрела непокорность и даже скорость.

— Мы живем в Бирюлеве, — резко ответил я.

— Тетя пошутила. Мы поняли... — постаралась остепенить меня мама.

— Ради шуток я бы не заставил вас преодолевать тысячи километров.

— А ради чего же... ты их заставил? — напряженно спросила тетя. Лицо у нее стало «обожженным», все веснушки и родинки, даже на губах, отчетливо проступили.

— Мамочка, я никогда ни о чем не просил тебя... А сейчас я прошу: забери меня! Я буду ухаживать за твоими детьми. Буду делать все, что угодно. Я пригожусь тебе... Забери меня!

— Что с тобой, Митенька?

Мама подбежала ко мне, обняла. Это были не очень знакомые руки... Но я стал целовать их:

— Забери меня, мамочка!
— Что случилось, родной?
— Или отдай в детский дом.
— Что? Что?!
— Уже поздно... Я понимаю.
— Что же случилось?! Объясни... Оттого, что я редко приезжала, я не меньше люблю тебя... Сын мой единственный!

— Тогда увези меня.
— Но что же случилось?
— Я больше не могу жить в этом доме.
— Тетя Зина столько сделала для нас всех!
— Я знаю.
— Вот видишь! — ухватила за мою фразу мама. — А институт? Тетя Зина хочет, чтобы ты продолжил дело всей ее жизни. Она мне писала об этом. Я не настаиваю: ты можешь выбрать другую дорогу. Но справедливо ли бросить ее одну? Так за все отблагодарить? Сын мой... Ты должен быть справедливым. Родной мой мальчик, мы можем с тобой уехать. Как ты скажешь! Как ты захочешь... Но разумно ли это? Я думаю и о тебе. Прежде всего о тебе! Тетя Зина столько сделала...

Я взглянул на тетю. Она была парализована: ни один мускул не двигался, даже не обнаруживал себя. Но голос внезапно ожил.

— Где же на земле справедливость? — спросила она.

— Справедливость?.. А в том, что я обрубил трос и баржей больше не буду!

Мама схватила за голову:

— При чем здесь трос? И баржа?
— Не волнуйся: их больше нет! — сказал я.
— Где же на земле справедливость? — повторила тетя.

— Я добрался до нее! Но самое дорогое растерял по пути. Нашел и потерял... Нашел и потерял... Потерял.

— О чем вы оба? О чем?! — просила объяснить мама.
— Забери меня, если это возможно... Заберешь?
— Тетя стольким пожертвовала!
— Жертвовать — не значит порабощать.
— Это е е слова, — прошептала тетя.
— Нет, мои. Она этого не говорила.

Бабушка, которая все время молчала, поднялась и еле слышно произнесла:

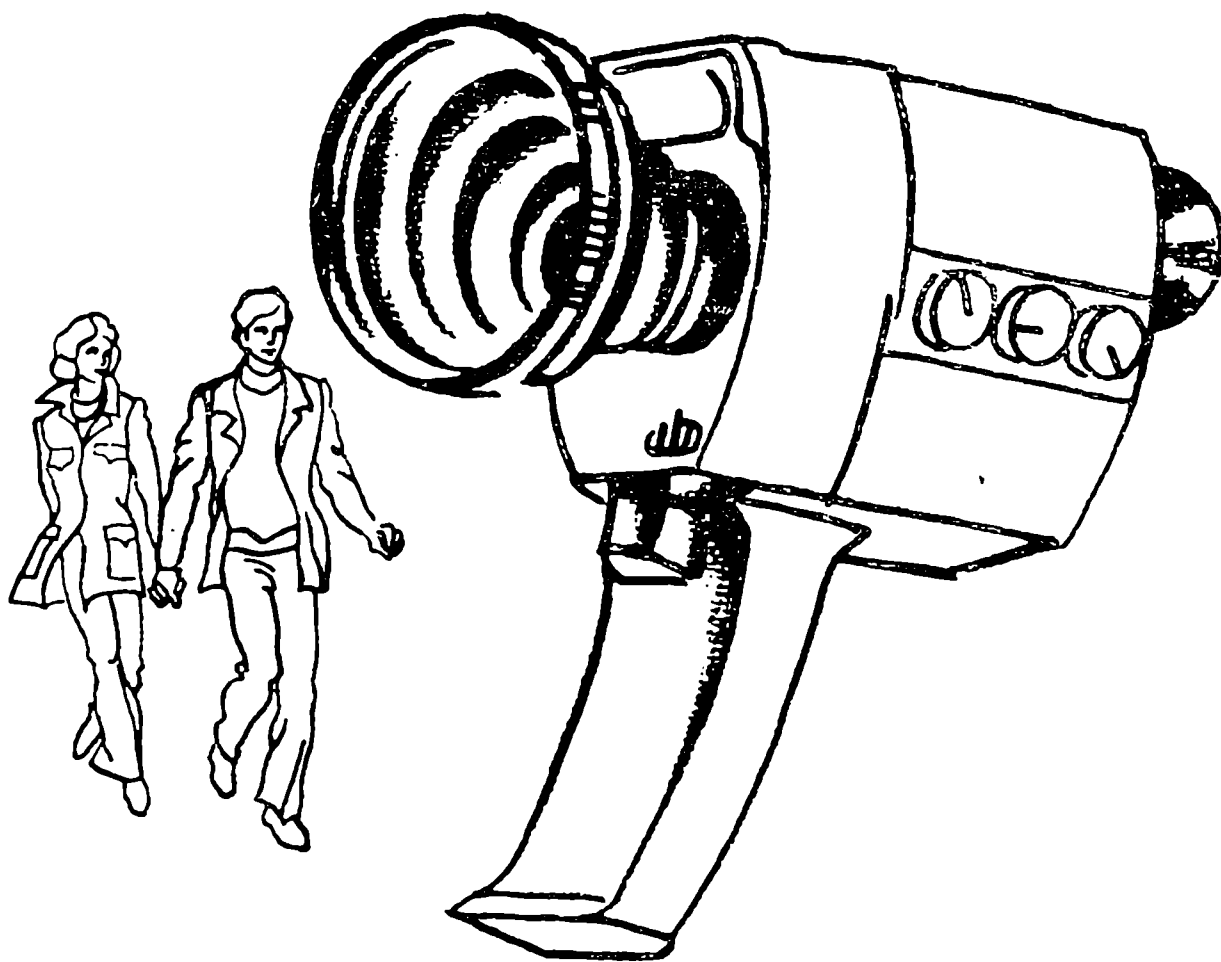
— Я же предупреждала тебя, Зиночка... Я заклинала тебя!

* * *

Через неделю бабушка и мама уехали. Я провожал их.

1980 г.

ДЕСЯТИКЛАССНИКИ



Пьеса в двух действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Дубравин Николай Александрович — кинорежиссер.

Анна Сергеевна — его жена.

Катя — их дочь.

Анисим Лукьянович — директор школы.

Слава Аникин

Егор Трушин

Боря Краюхин

Вася Миронов

— десятиклассники.

Эмиль Ваганов — композитор.

Петя Курилов — девятиклассник.

Девочка из зала.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

На авансцене Николай Александрович Дубравин
и Слава Аникин.

С л а в а. Николай Александрович?.. Вы?! Приехали?
Я вас поздравляю!

Д у б р а в и н. С чем?

С л а в а. Вы же... лауреат?

Д у б р а в и н. Да, безусловно... Слушай-ка, Слава, тебя
никогда не просвечивали?

С л а в а. В каком смысле?

Д у б р а в и н. Рентгеновским аппаратом.

С л а в а. Было когда-то...

Д у б р а в и н. И ничего не нашли?

С л а в а. Да так... Какую-то ерунду. Пролежал полгода в
больнице.

Д у б р а в и н. Полгода?!

С л а в а. Это было давно. В доисторический период. Вер-
нее сказать, в дошкольный...

Д у б р а в и н. Неприятное дело! Правда? Нахально раз-
глядывают, какое у тебя сердце, какие легкие. В темноте обме-
ниваются впечатлениями. Ты волнуешься, а тебе говорят:
«Не дышите!»

С л а в а. А зачем вас просвечивали?

Д у б р а в и н. Когда открывался этот самый фестиваль
научно-популярных фильмов, председателю жюри показа-
лось, что я как-то странно кашляю. Он послал меня к своему
брату, знаменитому рентгенологу. Тот просветил и нашел за-
темнение...

С л а в а. Где нашел?

Д у б р а в и н. В легких. Просветил и нашел затемнение.
В жизни все это рядом: свет и тени, лауреатское звание и
рентгеновский кабинет... Ты замечал?

С л а в а. Приходилось.

Д у б р а в и н. Теперь кашель прошел, а волнение оста-
лось. Надо исследоваться! Поскольку брат председателя за-
подозрил...

С л а в а. Ерунда! Он гостеприимство хотел проявить... Вот
моя мама, например, к своему дяде-профессору никогда на
прием не ходит: он по-родственному обязательно какую-ни-
будь новую болезнь обнаружит.

Д у б р а в и н. Трогательный ты парень! Кстати, не куришь?

С л а в а. Нет пока... Вам нужны папиросы?

Д у б р а в и н. Наоборот! Хочу предупредить тебя: курильщиков болезни настигают в три раза чаще!

С л а в а. Ерунда... Кто это высчитал? У мамы, между прочим, тоже подозревали...

Д у б р а в и н (*перебивая*). Трогательный ты парень! Мама твоя в санатории?

С л а в а. Лечится.

Д у б р а в и н. Правильно делает! Я сейчас не о себе думаю... Об Анне Сергеевне! У нее двое детей. Ты понимаешь?

С л а в а. Двое?! (*Считает на пальцах.*) Катя...

Д у б р а в и н. И я. Поэтому она ни о чем не должна догадываться! Я с аэродрома приехал прямо к тебе... Внизу, в такси, сидят сопровождающие меня лица. Мы сейчас заедем на киностудию. Там будут речи, приветствия... А ты в это время создай у нас дома светлую атмосферу! Мобилизуй для этого песни, танцы, стихи...

С л а в а (*тихо*). Я к вашему приезду даже нарисовал кое-что. Так... ерунду, конечно.

Д у б р а в и н. Я всегда восхищался обилием твоих творческих увлечений!

С л а в а. Это как раз отрицательный фактор.

Д у б р а в и н. Откуда ты взял?

С л а в а. Я читал, что рассеянный огонь не приносит победу в бою. Нужен один, но массированный удар!

Д у б р а в и н. Мы живем в мирное время... Часа через полтора я приеду домой. Неожиданно! А ты подготовь встречу. Анне Сергеевне и Кате — ни слова! Хотя я знаю твою природную сдержанность. Иногда даже удивляюсь, как она уживается с танцами...

С л а в а. Противоположные качества ходят по жизни рядом. Вы ведь сами сказали!

Д у б р а в и н. Я знал одного бегуна-рекордсмена, который всегда опаздывал на киносъёмки.

С л а в а. Вот видите!

Д у б р а в и н (*думая о своем*). Я и на вашей самодеятельной киностудии заверну сейчас что-нибудь новое... Пусть Анна Сергеевна видит, что я в расцвете творческих сил!

С л а в а. Вы в самом деле здоровы.

Д у б р а в и н. Трогательный ты парень! Ну, я поехал...

Комната в квартире Дубравиных. Анна Сергеевна накрывает на стол. Видно, что она готовится не просто к обеду, а к какому-то торжеству: проверяет «на свет» бокалы, переставляет с места на место тарелки. Делает это нервно, встревоженно.

Анна Сергеевна. Летит на самолете... Раз не сообщил — значит, летит!

Вбегают Катя и Слава Аникин.

Катя. Мы приготовили для папы сюрприз: картины Славы Аникина!

Слава. Просто рисунки.

Катя. Родители дали тебе гордое имя — «Слава». Почаще заглядывай в паспорт!

Слава. От этого рисунки не станут картинами.

Катя. Ты скромн за двоих. Поэтому я позволю себе быть нескромной.

Анна Сергеевна (*тихо*). Хоть этому у него поучись.

Катя. Наречие «хоть» делает твой рецепт неприемлемым. А без «хоть» принимаю!

Катя убегает в коридор. Возвращается с бумажным рулоном, который бережно разворачивает и прикалывает к стене.

Ладно... Иду на поводу у авторской застенчивости. Назовем это портретами. Смотри, мама: портреты папиных кинозвезд! Муравей, собака и обезьяна... Ревновать не приходится! Первый его фильм назывался «Стрекоза и Муравей», второй — «Скажи, кто твой друг!..», а третий — «В гостях у предков». Даже названия фильмов подчеркивают, что папа к животным относится не хуже, чем к людям. По-моему, даже лучше.

Слава (*тихо*). Катюша, притормози!

Катя. Нет, в самом деле... «В гостях у предков»! Кто такие «предки»? Обезьяны! А кто такие «потомки»? Мы с вами! Зачем лишний раз подчеркивать, что не они нам обязаны своим появлением на свет, а мы им? Пойдем дальше. «Скажи, кто твой друг!..» Это о собаках! Смысл, значит, такой: если собака — друг человека, значит, человек заслуживает уважения. А почему не наоборот?

Анна Сергеевна. Ты смеешься, а папа отдал всему этому...

Катя (*перебивая*). И наконец... «Стрекоза и Муравей». Кто в этом фильме главный положительный герой? Муравей. Он — трудяга! А кто отрицательный? Девочка, легкомыслен-

ная представительница рода человеческого, которая бездумно разрушает муравейник. Простите, но это — уже линия!

С л а в а. Катюша, притормози...

К а т я. Как хорошо иметь рядом с собой своего персонального регулировщика! Почему происходят аварии и катастрофы? Потому что на целых четыре улицы — один регулировщик: стоит себе на перекрестке, несчастный! А если б у каждого водителя и у каждого пешехода был свой регулировщик, вот как у меня, не было бы ни одного уличного происшествия. Я много говорю?

А н н а С е р г е е в н а. Дело не в количестве слов.

К а т я. А в качестве? Я надеюсь, мамуля, что количество со временем перейдет в качество!

С л а в а. Не волнуйтесь, Анна Сергеевна. Катя гордится отцом. И столько хорошего мне о нем говорит!..

А н н а С е р г е е в н а. Она вообще говорит тебе, Слава, так много хорошего, что другим уже ничего не остается.

К а т я. Заявляю для «других» и для всех на свете: я обожаю папино искусство. И жюри фестиваля, которое отметило его высокой наградой!

А н н а С е р г е е в н а. Оно не могло поступить иначе. Папин талант...

К а т я (*перебивая, Славе*). Один философский вопрос: кого матери должны любить больше — мужей или детей?

С л а в а. Я матерью никогда не был. Но думаю...

К а т я. А у нас в семье — одинаково! Потому что и папу тоже мама фактически родила. Как режиссера...

А н н а С е р г е е в н а. Это совсем разные чувства. Их нельзя сравнивать. Когда-нибудь ты поймешь... Но почему же его до сих пор нет?

К а т я. И «ас» со «снайпером» не звонят.

А н н а С е р г е е в н а. Кто это?

К а т я. «Ас» — Вася Миронов. Сначала его назначили старостой кинокружка. Кружок перерос в киностудию, руководимую лауреатом Дубравиным. Тогда вспомнили, что на студиях «старост», как правило, не бывает. Васю переименовали в папиного помощника, потом — в ассистента, а потом убрали из слова «ассистент» семь последних букв и оставили только две первых. Потому что он действительно «ас» своего дела: все может организовать, обеспечить, достать!

А н н а С е р г е е в н а. А... «снайпер»?

К а т я. Это Боря Краюхин. Он ходит с кинокамерой на-
перевес. Как с автоматом...

А н н а С е р г е е в н а. Терпеть не могу кличек и про-
звищ: люди приравняются к собакам.

К а т я. Не оскорбляй папиных персонажей! Благодаря им
ты стала женой лауреата.

С л а в а *(тихо)*. Катюша, притормози...

К а т я. Прозвища говорят о людях гораздо больше, чем
имена. Имя вообще ни о чем определенном не говорит: его да-
ют человеку тогда, когда у него еще нет ни характера, ни при-
вычек.

А н н а С е р г е е в н а *(торжественно)*. У нас, в математи-
ческой школе...

К а т я *(Славе)*. Не пугайся: мама преподает в этой школе
пение.

С л а в а. Я знаю.

К а т я. То, что я живу в доме киноработников, еще не зна-
чит, что я режиссер.

А н н а С е р г е е в н а. А это к чему?

К а т я. Чтобы подчеркнуть, что ты ближе к нам, певцам и
танцорам, чем к ним, математикам!

А н н а С е р г е е в н а *(прислушиваясь)*. Кажется, шаги
на лестнице!.. *(Выбегает в коридор.)*

С л а в а *(Кате)*. Зачем ты так разговариваешь с мамой в
моем присутствии?

К а т я. Чтобы ты знал, что ее не надо бояться!

Анна Сергеевна разочарованно возвращается.

А н н а С е р г е е в н а. Это к соседям. Сказал: «Приедем
на поезде». А телеграммы не дал. Значит, они летят.

С л а в а *(подходит к окну)*. Погода прекрасная. Летная!

К а т я. И вообще легче всего погибнуть в такси. На первом
месте в мире — автомобильные катастрофы.

С л а в а. Нет, наибольшее число людей закончило свой век
в постели. Это отметил один великий писатель.

К а т я. Отныне я буду спать на диване!

А н н а С е р г е е в н а. Ты шутишь, а я... На чем мы с ва-
ми остановились?

К а т я *(с нарочитой веселостью)*. На том, что ты ближе к
танцорам, чем к математикам.

С л а в а. И в связи с этим прошу: подыграйте нам, Анна
Сергеевна! Мы хотим отрепетировать... еще один сюрприз.

К а т я. Который преподнесем лауреату Дубравину.

А н н а С е р г е е в н а (*со вздохом*). Опять танцы?

С л а в а. И песня!

К а т я. Пародия на песенку об обезьянах из папиного кинобоевика. Слова сочинил Слава. Он и споеет.

С л а в а. А танец обезьян мы исполним вместе!

А н н а С е р г е е в н а (*Славе*). Ты и стихи сочиняешь?

К а т я. И поет, и рисует, и пляшет!

А н н а С е р г е е в н а. Мастер на все руки?

К а т я. Почему? И на ноги тоже!

С л а в а. Говорят, что в наш век можно знать кое-что обо всем или все о кое-чем.

А н н а С е р г е е в н а. Что же ты предпочитаешь?

С л а в а. Предпочитаю второе, но довольствуюсь первым.

К а т я. Сейчас, мамочка, ты вновь убедишься в удивительной скромности этого человека. Наш номер соберет воедино все его основные таланты!

Анна Сергеевна уныло садится за рояль.

С л а в а (*поет*):

Я объездил много стран,
Видел львов и обезьян,
По морям я плавал дальним
и по рекам...
Ни в одной из этих стран
Ни одна из обезьян
На глазах моих
не стала человеком!
Ни в одной из дальних стран
Ни одна из обезьян
Человеком стать при мне
не пожелала!
Но, картину посмотрев,
Я поверил, что не лев,
А макака — всей семьи моей начало!

Танцуют. Звонок. Анна Сергеевна бросается в коридор.

К а т я. Телефон, мамочка... Это меня! (*Снимает трубку.*)
Нет, Слава, это тебя... Оля и Поля не могут решить задачку по арифметике.

С л а в а. Придется идти.

К а т я. Если решишь, возвращайся. И если не решишь, тоже.

С л а в а. Я на полчаса. Максимум! (*Уходит.*)

К а т я. Вот видишь: он еще и задачки умеет решать... для своих сестренек, которые в третьем классе. И воспитывает их. (*Тихо и отчетливо.*) Потому что папы у него нет, а мама сейчас в санатории.

А н н а С е р г е е в н а. Пусть отдыхает...

К а т я. А почему ты в его присутствии сердишься?

А н н а С е р г е е в н а. Я не сержусь. Я боюсь!

К а т я. Ты?!

А н н а С е р г е е в н а. Именно я...

К а т я. Чего ты боишься?!

А н н а С е р г е е в н а. Этой твоей дружбы.

К а т я. Почему дружбы? Любви!..

А н н а С е р г е е в н а. Тем хуже. Танцы, песни, пародии... (*Показывает на стену.*) Карикатуры! Ничего серьезно-го... У меня болит сердце. Ты знаешь: я все предвижу заранее! И еще эти двойняшки... Ты тратишь на них столько времени!

К а т я. Кстати, что делать, когда у детей плохой аппетит?

А н н а С е р г е е в н а. Я рассказывала тебе сказки. А ты можешь для них танцевать.

К а т я. Это идея. Поздравь меня: я научилась завязывать банты!

А н н а С е р г е е в н а (*нервно ходит по комнате*). На что ты тратишь время? Страшно подумать... Не жди от детей благодарности!

К а т я. Это от своих. А они ведь чужие! Пока...

А н н а С е р г е е в н а. Катенька, милая... Ты жестоко шутишь! А я между тем пригласила к нам... на семейное торжество Егора, из нашей математической школы! Он живет в пятом подъезде.

К а т я. Зачем ты его позвала?

А н н а С е р г е е в н а. Он интересуется папиными фильмами. Но я не только поэтому...

К а т я. А почему?

А н н а С е р г е е в н а. Егор — победитель многих математических конкурсов!

К а т я. Какое участие он примет в нашей сегодняшней са-модеятельности? Пусть у всех на глазах докажет какую-ни-будь теоремку!

А н н а С е р г е е в н а. Почему ты к нему заранее враждебно настроена?

К а т я. Не люблю женихов!

Звонок. Анна Сергеевна спешит в коридор. Возвращается вместе с
Е г о р о м.

А н н а С е р г е е в н а (*с подчеркнутым гостеприимством*). Вот он и пришел! Знакомьтесь... (*Егору*.) Мы как раз о тебе говорили!

Е г о р. Мы с Катей не раз виделись. Во дворе...

К а т я. У нас такой огромный дом! Всех не заметишь.

А н н а С е р г е е в н а (*торжественно*). Егор — победитель математических олимпиад!

К а т я. Если б они проводились у нас во дворе, я бы, наверное, обратила внимание.

Е г о р (*заметив рисунки*). Это нечто!.. А кто рисовал?

К а т я. Как тебе кажется... одаренный человек?

Е г о р. Безусловно. И с чувством юмора!

К а т я. Бедная мама...

Е г о р. Что ты сказала?

А н н а С е р г е е в н а. Егор думает, что рисовала ты, Катя. И вот, как интеллигентный человек, хочет...

Е г о р. Нет, я этого не подумал. А кто на самом деле?

Звонок.

К а т я. Вот, наверно, и он!

А н н а С е р г е е в н а. А может быть... (*Спешит в коридор. Оттуда доносится ее голос*.) Слава богу! Я так волновалась!..

К а т я. Дубравин приехал!

Д у б р а в и н (*из коридора, с нарочитой веселостью*). «Вот моя деревня! Вот мой дом родной!..»

А н н а С е р г е е в н а (*из коридора*). Раздевайтесь! Проходите, пожалуйста...

В комнату входит высокий, атлетически сложенный парень в пальто, с двумя чемоданами.

К а т я (*Егору*). Представляю: наш Вася. В народе известен по прозвищу «ас». Всегда появляется первым.

В а с я. Первопроходец! Провожу вперед, чтобы внести чемоданы. Первооткрыватель... дверей. Прокладываю дорогу искусству! (*Указывает на входящих*.)

В комнате появляются Д у б р а в и н, Анна Сергеевна, Б о р я К р а ю х и н и композитор Э м и л ь В а г а н о в.

К а т я. Здравствуй, Дубравин! (*Обнимает отца.*)

А н н а С е р г е е в н а (*хлопочет возле стола*). Приехал! Приехал... Как хорошо!

К а т я. С грустью отмечаю, что самодеятельная студия «Школфильм» стала для тебя дороже родной семьи. Васе и Боре ты дал телеграмму...

Д у б р а в и н. Вася боюсь волновать, а их нет. Значит, кто мне дороже? К тому же они — мужчины!

Боря и Вася гордо выпрямляются.

Им можно написать: «Вылетаю», а маме... Кстати, о мужчинах. Где Слава? Его еще нет? (*Заметив Егора.*) Или уже нет?

К а т я (*взглянув на мать*). Он есть... И будет!

Б о р я (*увидев рисунки*). Это я должен увековечить!

В а с я. Внимание! Съемка!

Застрекотала камера.

Д у б р а в и н. Чье это творчество?

К а т я. Тебе нравится?

Д у б р а в и н. Блестяще!

К а т я. Тогда Славино...

Д у б р а в и н. Где же он?

А н н а С е р г е е в н а. Кроме него, тебя никто не волнует?

К а т я. Пока у нас есть Егор... (*Егору.*) Знакомься: мой папа!

Е г о р (*Дубравину*). Я смотрел вашу последнюю картину четыре раза.

Д у б р а в и н. Считаю вас членом своей семьи!

Е г о р (*с восторгом*). Вы снимаете горилл в непосредственной близости!..

Д у б р а в и н. Мой девиз — подходить к персонажам как можно ближе. Почти вплотную. Даже с риском для жизни!

Е г о р. И короткометражка «Мы — в клетке у тигра» снята тоже вами?

Д у б р а в и н. Под моим руководством...

К а т я. Хотя в клетку мы его не пустили.

Е г о р. Это нечто!

К а т я (*Егору*). Я думала, математики более сдержанны.

Е г о р. Математика — это профессия, а не характер.

К а т я (*Егору*). А вот композитор Эмиль Ваганов!

Е г о р. Тот самый?!

В а г а н о в (*устало*). Значит, вам мои песни нравятся?

Е г о р. Я слушаю их... По радио.

К а т я. Точность — лицо математики!

Д у б р а в и н (*подходит к рисункам*). Ну, Слава!..

К а т я. Представляю последнего по счету, но не последнего по назначению: лучший оператор киностудии «Школфильм» — Боря по прозвищу «снайпер»! Папа называет его и Васю «пиратами документальной съемки».

А н н а С е р г е е в н а (*вздыхнув*). Даже у собак бывает по одной какой-нибудь кличке...

К а т я. Боря у нас еще и философ. Любит порассуждать... Так что и двух прозвищ в данном случае маловато.

Б о р я. Надеюсь на твое милосердие!

К а т я. Надежды юношей питают... (*Кивнув на отца*.) Отраду взрослым подают!

А н н а С е р г е е в н а. Ты опять...

К а т я. Еду на красный свет? Потому что нет рядом моего персонального регулировщика...

Д у б р а в и н (*продолжая разглядывать рисунки*). Ну, Слава!.. А все-таки, где же он?

А н н а С е р г е е в н а. Все — за стол!

В а г а н о в. Увы, невозможно. Я еще не был дома.

А н н а С е р г е е в н а. Позвоните жене: пусть тоже приедет!

В а г а н о в. Она скажет: «В прежние годы ты приезжал с аэродрома прямо домой!» (*Вздыхнув*.) Не надо было создавать глупых традиций...

А н н а С е р г е е в н а (*Басе и Боре*). А вы?..

В а с я. Кто же будет таскать чемоданы, папки с дипломами?

Б о р я. И магнитофон, который остался в такси! Так что мы... Потом будем рассказывать внукам, что таскали вещи композитора Эмиля Ваганова.

В а г а н о в (*устало*). Значит, вам мои песни нравятся?

В а с я (*кивнув на Ваганова*). У Эмиля Андреевича — язва желудка...

В а г а н о в (*не без гордости*). И диабет.

Д у б р а в и н (*указывает на стол*). Как мы говорим: «Съемка срывается».

К а т я. Ничего не срывается! По крайней мере концертная

часть нашей встречи... Инструментально-танцевально-вокально-прощальный ансамбль десятиклассников нашей школы приготовил для вас подарок. Он будет преподнесен немного позже. Это пародия... или, верней сказать, дружеский шарж на песню из твоего последнего фильма. Текст Славы, а мелодия та же... Эмиля Ваганова.

Ваганов (*устало*). Значит, вам мои песни нравятся?..

Катя. Они мне строить и жить помогают!

Ваганов (*Боре и Васе, удовлетворенно*). Тогда поехали... Музыкальный шарж я послушаю в другой раз. Он может стоить мне семейного счастья! (*Уходит вместе с Борей и Васей.*)

Егор (*Кате*). Симпатичные ребята...

Катя. Ты бы посмотрел на них в школе! Ходят так, будто «Мы — из Кронштадта» сняли они. И «Фанфан-Тюльпан» тоже!

Дубравин. Художник должен быть уверен в себе.

Анна Сергеевна. Уверенность и самоуверенность — разные вещи.

Дубравин. А где же музыкальный подарок?

Катя. От имени инструментально-танцевально-вокально-прощального ансамбля песню должны были исполнить мы со Славой. Но он решает сестрам задачки по арифметике. Может быть, послать Егора решать задачки, а Славу...

Звонок.

Это он! (*Бежит открывать.*)

Катя возвращается со Славой. Он чем-то озабочен. Но, увидев Дубравина, подчеркнуто оживляется.

Слава. Здравствуйте, Николай Александрович! Вы уже здесь? (*Смотрит на часы.*) Так быстро?..

Анна Сергеевна. Быстро? Его не было дома полмесяца!

Слава (*Дубравину*). Вы так замечательно выглядите! Никогда еще...

Анна Сергеевна (*ревниво*). Его всегда считали красавцем!

Егор (*Славе*). Это твои рисунки?

Слава. Придумала Катя, а я...

Егор. Всего-навсего нарисовал? Это нечто!

Катя (*Славе*). И задачки решил?

С л а в а. Да нет. Заболели...

К а т я. Они всегда болеют дуэтом!

С л а в а (*грустно*). Говорят, ели снег.

К а т я. Ты не волнуйся: сейчас пойдем поставим горчичники, напоим малиной.

А н н а С е р г е е в н а. Как?! И вы тоже... уходите?

С л а в а. Нет, я один... (*Кате.*) Вдруг это ангина? Можно и заразиться...

К а т я. А я ведь по характеру декабристка!

А н н а С е р г е е в н а (*тихо*). Все уходят...

С л а в а. Но сначала мы преподнесем свой сюрприз!

К а т я (*торжественно*). У рояля — Дубравина-старшая!

Анна Сергеевна послушно садится к роялю.

Слава, подтянись! Актер должен быть в форме, даже если у него личная трагедия.

Анна Сергеевна ударяет по клавишам.

С л а в а (*поет*):

Я объездил много стран,
Видел львов и обезьян...

Слава с Катей танцуют. Дубравин и Егор аплодируют.

Д у б р а в и н. Ну, Слава! У меня и так было прекрасное самочувствие. А сейчас...

С л а в а. Это придумала Катя.

Е г о р (*торжественно*). Вот бы выступили вы в нашей школе!

Д у б р а в и н (*Кате*). И ты... исполнила, как говорится, со Славой!

К а т я (*Дубравину*). Вручаю тебе текст. На память! А мы идем лечить Олю и Полю. Ты, Егор, в это время будешь им объяснять задачки по арифметике...

Е г о р. Его сестрам? С наслаждением!

Р е б я т а прощаются и уходят.

Д у б р а в и н. И мы остались в тесном семейном кругу.

А н н а С е р г е е в н а. Тесней не бывает! Давай нальем в бокалы «Ессентуки» и поднимем диетический тост за твою премию!

Д у б р а в и н. С моим богатырским здоровьем — «Ессен-

туки»? Диета? Это смешно! *(Наполняет бокалы шампанским. Пьет. Вдруг закашлялся... Прикрывает рот платком.)*

А н н а С е р г е е в н а *(тревожно)*. Вот видишь... Ты простудился. Я просила тебя взять мой шарф. Я все предвижу заранее!

Д у б р а в и н. Не трать нервы на кашель! Сбереги их для более подходящего случая... Сейчас у нас с тобой пора радости!

А н н а С е р г е е в н а. Поздравляю тебя, родной! Жаль, что Катя ушла... Могла бы остаться.

Д у б р а в и н. Оля и Поля больны. Она же должна помочь!

А н н а С е р г е е в н а. Почему вдруг «должна»?

Д у б р а в и н. Они — Славины сестры.

А н н а С е р г е е в н а. А почему она должна помогать Славе? Что у них общего?

Д у б р а в и н. Все! Кроме домашнего хозяйства... Мысли, мечты о будущем!

А н н а С е р г е е в н а. Какое там будущее? Ну кем он хочет стать? Плясуном?

Д у б р а в и н. Они еще только в десятом классе. Зачем заглядывать так далеко?

А н н а С е р г е е в н а. Я все предвижу заранее!

Д у б р а в и н. Но Славу ты явно недооцениваешь. Во-первых, он добр. Во-вторых, одаренная натура. Как Шаляпин, который умел всё на свете!

А н н а С е р г е е в н а. Прежде всего он пел. А остальное было... Как это теперь говорят... Хобби! Я предпочитаю людей одной страсти. Вот, например, ты покориł меня своей любовью к животным!

Д у б р а в и н. И любовью к тебе, я надеюсь?

А н н а С е р г е е в н а. Ты шутишь...

Д у б р а в и н. Вот послушай, какие он посвятиł ей стихи. Она показала мне по секрету. И я выучил наизусть! *(Становится в позу, читает.)*

Там, где море

сливается с небом,

Там, где небо

сливается с морем,

Там никто и не будет и не был...

Это ясно. Об этом не спорят.

Но когда мы глядим из каюты
Сквозь окно
 в голубое безбрежье,
Нам все кажется:
 будет минута —
И корабль
 горизонт
 перережет!
Полоса недоступная эта
В океане осталась за нами...
Значит, мы перешли ее где-то,
А когда?
 Не заметили сами!
Ты — не гавань, что прячет от шторма.
Ты — простор и парящая птица!
Я стремлюсь к тебе так же упорно,
Как корабль
 к горизонту
 стремится.
Мне любовь и упрямство помогут!
Сквозь ветра я пробьюсь и тревоги.
Чтоб в одну превратиться дорогу,
Перекрестятся наши дороги!..
Не в мираже, как небо и море,
Не в туманной, несбыточной дали,
А в земном
 ощутимом просторе,
Где с тобой мы друг друга узнали!

А н н а С е р г е е в н а (*тихо*). Это он ей посвятил?
Д у б р а в и н (*задумчиво, как бы не слыша вопроса*). Да,
весь в творчестве! И в заботах. Отца нет, мать в санатории.
Сестренки... И при этом танцует! Она его за муки полюбила...
А н н а С е р г е е в н а. Я устала от шуток.
Д у б р а в и н. Нельзя все принимать всерьез. У тебя из-за
этого стенокардия.
А н н а С е р г е е в н а. Сегодня я забыла о ней! Давай сядем
за стол. Ты счастлив?

Вдвоем садятся за большой стол, накрытый для многих.

Д у б р а в и н. Председатель жюри назвал меня «мастером пристального взгляда». И долго тряс мою руку. А когда

устроили просмотр, зал был наполовину пуст: рядом шла какая-то кинокомедия. Которая никакой премии не получила...

А н н а С е р г е е в н а. У нас в школе тоже никто не заметил, что я стала женой лауреата. Только Егор поздравил. И я его полюбила! Хотя он не был моим лучшим учеником...

Д у б р а в и н. Да, признание есть, популярности нет. Люди признают, что моя работа — это искусство, даже высокое, но предпочитают фильмы из своей собственной жизни. Я пойду им навстречу! И могу это сделать именно сейчас. Потому что чувствую, что полон творческих и физических сил!

А н н а С е р г е е в н а. Только не изменяй самому себе!

Д у б р а в и н. Ни тебе, ни себе я изменять не собираюсь. Поздно уже. Я останусь «мастером пристального взгляда». Но взгляну на людей! Один раз в жизни я имею на это право? Я сделаю документальную картину...

А н н а С е р г е е в н а. О чем?

Д у б р а в и н. Сегодня... буквально только что я понял, о чем должен быть этот фильм! Как они называли свой ансамбль?

А н н а С е р г е е в н а (*пытаясь вспомнить*). Инструментально-танцевально...

Д у б р а в и н. ...вокально-прощальный! (*Задумчиво.*) Прощальный... Помнишь, как Слава пел? Как они вдвоем танцевали? (*Выходит из-за стола. И, глядя в бумажку, словно в шпаргалку, пытается воспроизвести ту песню и тот танец.*)

Я объездил много стран,
Видел львов и обезьян,
По морям я плавал дальним
и по рекам...
Ни в одной из этих стран
Ни одна из обезьян
На глазах моих
не стала человеком!

(*Кашляет. Прикрывает рот рукой.*)

А н н а С е р г е е в н а. Ты болен?

Д у б р а в и н. Я абсолютно здоров... (*Кашляет.*) Поперхнулся...

А н н а С е р г е е в н а. Чем? Песней?

Д у б р а в и н. Не трать свои нервы на кашель! Очень прошу тебя...

Д у б р а в и н. В комедии «Много шума из ничего» один персонаж говорит: «Меня уж нет, хоть я и здесь!..» В такой именно ситуации я скоро и окажусь. Но сюжет будет ближе к трагедии, чем к комедии.

С л а в а. Не понимаю...

Д у б р а в и н. Я уеду за творческим материалом... И встречаться с поклонниками моего дарования. Куда-то на Север. Это для всех! А на самом деле буду находиться в двух кварталах от нашего дома. В одном научно-исследовательском институте. Это для тебя. Для тебя одного! Ты понял?

С л а в а. А в каком институте?

Д у б р а в и н. При его имени люди мрачнеют и вздрагивают. Если Анна Сергеевна узнает, что меня там «научно исследуют», она... даже не могу представить, что с ней случится!

С л а в а. А Катя? У меня от нее в общем-то...

Д у б р а в и н (*перебизая*). Откровенность бывает не только доброй, но и жестокой. Секреты, к сожалению, необходимы!

С л а в а. Я не скажу ей.

Д у б р а в и н. Не говори... Хотя дочери и сыновья, разумеется, переносят гораздо легче, чем жены.

С л а в а. Я буду вас навещать.

Д у б р а в и н. Хватит с тебя маминого санатория, а также Оли и Поли... Ты ведь к матери едешь?

С л а в а. В этом институте, куда вы ложитесь... приемные дни по средам, субботам и воскресеньям. Некоторые придерживаются графика. Но при желании можно ходить каждый день. С четырех до семи.

Д у б р а в и н. Откуда ты знаешь?

С л а в а. Там лежал мамин брат. Оказалось, что он самый здоровый в нашей семье! И еще двое, которые рядом лежали, теперь катаются с ним вместе на лыжах.

Д у б р а в и н. Трогательный ты парень! (*Кашляет.*) Вот видишь... Ну ладно! Главное ты осознал: я буду где-то на Севере! Звонить оттуда трудно: метели, заносы... Ты понимаешь? Хочу подготовиться к съемкам фильма о белых медведях. Одновременно — встречи со зрителями. И тут, в вашей школе, я кое-что заверну... Чтобы Анна Сергеевна видела, что я полон энергии!

С л а в а. Значит, с четырех до семи! Гардеробщицы там —

тетя Зина и тетя Валя. Я несколько раз спел для них в вестибюле. Вполголоса... И потом обходился без пропуска. Надеюсь, они не ушли на пенсию...

Д у б р а в и н. Трогательный ты парень! *(Идет, потом возвращается.)* Ты, кстати, не кури... Прошу тебя, Слава. Меня именно курение и погубило.

С л а в а. Вы что, давно начали?..

Д у б р а в и н. Давно-о!.. В юности всегда кажешься себе самому бессмертным. Всё вдали: болезни и старость. А вообще-то с ними надо бороться именно в твоём возрасте. Это моё завещание. В случае чего... Понял?

С л а в а. Я буду приходить. С четырех до семи...

Кабинет директора школы. Звонок.

А н и с и м Л у к љ я н о в и ч снимает телефонную трубку.

А н и с и м Л у к љ я н о в и ч. Да, просил позвонить... Ваша дочь Крылова Наташа?.. Из пятого «А»?.. Очень хорошая, красивая девочка. Но надо её показать невропатологу: она часто плачет без всякой причины. Меня это очень волнует. Прошу вас... *(Вешает трубку.)*

Опять звонок.

(Снимает трубку.) Да, просил позвонить. Ваш сын Торопов Саша?.. Из девятого «В»?.. Очень хороший, красивый мальчик. Сочинения пишет прекрасно! Но, знаете, с математикой... Она ему, может быть, не пригодится... Я понимаю... Но это — гимнастика ума! И вообще развитие требует. Я прошу обратить внимание. Все-таки девятый класс... Вы понимаете? Я очень волнуюсь. *(Вешает трубку.)* Что за странная манера завелась в школах: сперва называть фамилию, а потом уже имя? Торопов Саша... Почему? Мы же не говорим Лермонтов Михаил, а говорим — Михаил Лермонтов! До чего прилипчивы дурные привычки!

Звонок за дверью.

Ага... Вот она, любимица ребят, перемена! Сейчас пожалуют... *(Поднимается из-за стола, приглаживает волосы.)*

Стук в дверь. На пороге К а т я и С л а в а.

Дубравина Катя и Аникин Слава... Тьфу ты, опять! Заходите. Я очень рад. Такие вы все красивые... Ну, как с вашим ансамблем? Инструментально-прощально...

К а т я. Это трудно запомнить. Не напрягайтесь!

А н и с и м Л у к ь я н о в и ч. Как с песнями? С танцами?

К а т я. Танцуем!

А н и с и м Л у к ь я н о в и ч. И успешно?

К а т я. Можем продемонстрировать!

С л а в а. Катюша, притормози...

К а т я (*кивнув на Славу*). Персональный регулировщик!
Он мне просто необходим.

А н и с и м Л у к ь я н о в и ч. Именно в этом качестве?
Почему?

К а т я. Все время еду на красный свет!

А н и с и м Л у к ь я н о в и ч. Но в данном случае... Я как раз хотел бы взглянуть!

К а т я (*Славе*). Чем мы порадуем дирекцию школы?

А н и с и м Л у к ь я н о в и ч. Если не секрет... Покажите то, что вы готовите к конкурсу.

К а т я. Наш номер называется так: «Мы — из десятого! А вы?..» Сперва Слава поет, а потом уже мы вдвоем ногами и руками подкрепляем его идеи.

С л а в а. Это Катя придумала такой номер...

К а т я. Надо убрать стулья.

С л а в а. Дай-ка я сам! (*Быстро освобождает место для танца.*)

К а т я (*оглядываясь*). Органа тут нет. И рояля тоже. Мы будем сами себе аккомпанировать!

С л а в а (*поет*).

Мы — физики и лирики,
Поэты и сатирики,—
Все это нужно в будущей судьбе!
Мечты у нас — огромные...
Но мы к тому же скромные:
Мы долго петь
не можем о себе!

К а т я. И потому переходим на танец!

Танцуют.

А н и с и м Л у к ь я н о в и ч (*аплодируя*). Очень красиво!.. Я знал, что мой любимый пятый «В» меня выручит.

К а т я. Увы, мы уже не так молоды, как вам кажется!

А н и с и м Л у к ь я н о в и ч. Я пришел к вам впервые, когда вы были в пятом «В». Вы изучали историю Греции...

К а т я. Раньше мы любили историю, а теперь истории.

С л а в а (тихо). Притормози!..

А н и с и м Л у к љ я н о в и ч. Потом вы стали седьмым «В», потом восьмым. И вот уже... Но я всегда представляю вас себе пятиклассниками. Теми, которых я полюбил. И в трудную минуту я пришел к вам за помощью.

С л а в а. Что случилось, Анисим Лукьянович?

А н и с и м Л у к љ я н о в и ч (Славе). Вот с таким же лицом ты бросился ко мне, когда мое сердце вдруг решило передохнуть. И на минуту остановилось... Ты тащил меня на себе через весь коридор. Уроки тогда уже кончились. Ты это помнишь?

С л а в а. А что сейчас?

А н и с и м Л у к љ я н о в и ч. Сейчас еще хуже! Тогда я был всего-навсего учителем истории. И классным руководителем своего любимого «В». Я отвечал за твое лицо, Слава. И за Катину. И за тридцать восемь других лиц. Таких хороших, красивых... Это было приятно. А теперь я должен еще отвечать за лицо школы! Вы представляете? Говорят, что номер у нее есть, а лица нет. Соседняя школа — первая по спортивной работе, другая переписывается чуть ли не со всем миром. А мы?.. Я думал: учатся ребята, растут — и хорошо. Оказывается, нет! Недостаточно... Мы должны обязательно занимать где-то какие-то места. Желательно первые!

К а т я. У нас есть самодеятельная студия «Школфильм»! Которой руководит Дубравин...

С л а в а. Лауреат!

А н и с и м Л у к љ я н о в и ч. Но эта студия еще ничего значительного не сняла. И нигде не заняла первое место. А вы уже сейчас можете победить на конкурсе школьных ансамблей!

С л а в а. Не волнуйтесь, Анисим Лукьянович.

К а т я. Мы постараемся...

За дверью какой-то шум. Распахивается дверь. На пороге — «ас» В а с я. Он пытается втащить в кабинет директора киносъемочный «юпитер» и огромный магнитофон. За ним — Д у б р а в и н, оператор Б о р я с камерой наперевес, композитор Э м и л ь В а г а н о в.

В а с я. Не стесняйтесь! Проходите, товарищи!

К а т я. Папа?.. Настоящий «юпитер»?!

Д у б р а в и н. Потому что мы будем снимать настоящую полнометражную, несамодетельную картину!

К а т я. Тогда вы ошиблись адресом! Зоопарк на соседней улице.

С л а в а. Катюша...

К а т я. Притормаживаю.

Д у б р а в и н. Настоящий фильм! Совместное производство двух киностудий!..

К а т я. Англо-испанский? Болгаро-венгерский?

Д у б р а в и н. Производство нашей — взрослой! — научно-популярной студии и киностудии «Школфильм»! Поэтому «юпитер», композитор Ваганов и все прочее...

Б о р я. Представляете?!

А н и с и м Л у к љ я н о в и ч. Ваганов? Кажется, Василь?

К а т я. Эмиль! Но это не имеет значения. Не все помнят, что Мусоргскому родители подарили странное имя «Модест».

А н и с и м Л у к љ я н о в и ч. Да-да... Конечно... Эмиль Ваганов! Все наши ребята поют...

В а г а н о в (*устало*). Значит, им мои песни нравятся?

Вася упрямо вносит в кабинет второй «юпитер»

С л а в а. Простите... но здесь кабинет директора.

А н и с и м Л у к љ я н о в и ч. Да... это моя комната.

В а с я. Знаю. Я осмотрел всю школу. Более подходящего места для нас нет. Первый этаж! Понимаете? И запирается. Так что мы здесь разместимся.

К а т я. Папа, объяснись!.. Если не трудно.

Д у б р а в и н. Мы будем снимать картину о вашей школе!

К а т я (*Анисиму Лукьяновичу*). Ну вот... Мы обретаем свое лицо!

Б о р я. Первый кадр! Директор и его питомцы... Это я должен увековечить!

Застрекотала камера.

В а с я (*по-хозяйски оглядывая кабинет*). В шкафу будет храниться пленка. Поэтому прошу в этой комнате не курить!

Анисим Лукьянович гасит папиросу.

На стол мы поставим магнитофон.

С л а в а (*Дубравину*). А как же Анисим Лукьянович? Здесь ведь...

А н и с и м Л у к љ я н о в и ч (*Славе*). Я знаю, милый: ты любишь меня спасать. Я бы и сам решительно воспротивился! Если бы не цель, ради которой...

За дверью — школьный звонок.

К а т я. Ну вот... Все лучшее в жизни кончается! (*Анисиму Лукьяновичу.*) Оставляем вас наедине с моим папой, с композитором и двумя «пиратами документальной съемки», у которых сегодня нет, кажется, шестого урока. В случае чего — зовите на помощь!

С л а в а. Катюша...

С л а в а и К а т я уходят.

А н и с и м Л у к љ я н о в и ч (*Дубравину*). Хотелось бы узнать: почему вы выбрали именно нашу школу?

Д у б р а в и н. По глубоко принципиальным соображениям: здесь учится моя дочь.

А н и с и м Л у к љ я н о в и ч. Прекрасная девочка! Очень красивая. И Слава тоже... Прекрасный мальчик!

В а с я (*указывает на Борю*). А мы?!

А н и с и м Л у к љ я н о в и ч. Я только что услышал, что вы — пираты. Это было для меня неожиданностью.

Б о р я. Искусство требует!

В а с я. Захват вашего кабинета — это вынужденная мера. Поверьте: со временем мы освободим его.

А н и с и м Л у к љ я н о в и ч. Я надеюсь. А пока... Располагайтесь. Чувствуйте себя...

В а с я. Как дома? Мы уже чувствуем.

Д у б р а в и н. Мне много рассказывали о вашей школе, и я загорелся!

А н и с и м Л у к љ я н о в и ч. Очень приятно! Простите... Я спешу на урок.

В а с я. Пожалуйста. Не стесняйтесь.

А н и с и м Л у к љ я н о в и ч уходит.

Д у б р а в и н. И мы остались в тесном кругу... Подведем итоги, определим замыслы!

Б о р я. Первый положительный итог уже налицо: директор не будет сидеть в кабинете, он будет общаться с массами!

В а с я. Может быть, нам понадобится еще и учительская.

Б о р я. Тогда связь поколений достигнет своего апогея!

Д у б р а в и н. От организационных вопросов перейдем к творческим. Излагаю свой план.

Б о р я. Разрешите увековечить... момент рождения замысла!

Камера застрекотала.

Д у б р а в и н. Итак, фильм о школе! Совместное производство профессиональной и самодеятельной киностудий! Надо отыскать конкретный сюжет... Но чтобы за ним виделось многое: и первые мечты, и первые чувства, и первое творчество. Все — впервые, все — открытие. Это чудесная привилегия юности! Понимаете?

В а с я (*самоуверенно*). Понима-аем!

Д у б р а в и н. Начнете вы без меня...

Б о р я. То есть как? Без руля и без ветрил?

Д у б р а в и н. На время возьмите руль в собственные руки. Снимите кое-какие сюжеты. Представляете, как это здорово: в профессиональную картину включаются эпизоды, снятые школьной студией! А я уезжаю на Север в поисках материала о белых медведях. И встречаться со зрителями! Лауреат должен встречаться... Вернее сказать, улетаю. Дней этак на двадцать. Вы за это время отыщете документальный сюжет, подготовите кое-какой материал! Жизнь подбрасывает вам экзамен.

Б о р я. С детства обожаю экзамены.

Д у б р а в и н. Я попросил Эмиля Андреевича заранее сочинить песню для нашей картины. На стихи одного десятиклассника. Из другой школы. Не из вашей... Но это не имеет значения. Однажды я снимал кадры о Московском зоопарке в Сухумском обезьяньем питомнике. Там было солнце, а в Москве шли дожди. Важно, что стихи самодеятельные. Их надо включить в будущий фильм. Они — о первой любви! (*Ваганову.*) Вы что-нибудь набросали?..

В а г а н о в. Кое-что набросал. И записал с певцом, оркестром и хором. Вася, поставь-ка магнитофон на директорский стол. Мне нельзя поднимать тяжести.

Вася выполняет его просьбу.

Б о р я. Послушаем...

Д у б р а в и н. И тут тоже «совместное» производство: начинающий, непрофессиональный поэт и популярный композитор, который, как говорится, у всех на устах!

В а г а н о в. Значит, вам мои песни нравятся?..

Включают магнитофон. Звучит песня в исполнении певца, оркестра и хора.

Там, где море
 сливается с небом,
Там, где небо
 сливается с морем...

На авансцене — В а с я и Б о р я с камерой наперевес.

Б о р я. Слушай, «ас»: нам представился редкий случай проявить инициативу. И мы не должны его упускать.

В а с я. Не упу-устим!

Б о р я. Меня стали раздражать наши прозвища — «ас», «снайпер», «пираты»... О чем они говорят? О том, что к нам относятся не всерьез. И вдруг шеф уезжает встречаться со зрителями. Тут самое время вылезти из коротких штанишек. Удивить всех. И его самого!..

В а с я. Самое время. Но как?

Б о р я. Дубравин сказал, чтобы мы сами отыскали сюжет?

В а с я. Сказал!

Б о р я. Я выполнил его поручение! Все будем делать вдвоем. Остальные деятели «Школфильма» пусть готовятся к экзаменам на «аттестат зрелости». Не будем их отрывать...

В а с я. Не будем!

Б о р я. Официально мы будем снимать кинокадры о школе.

В а с я. А на самом деле?

Б о р я. На самом деле — о первой любви!

В а с я. Эта тема согласована с гороно?

Б о р я. Никто на свете не может возражать против первой дружбы и первой любви. Против чистых и ясных человеческих отношений!

В а с я. Кто они?

Б о р я. Катя и Слава.

В а с я. Прекрасно: не надо знакомиться с материалом!

Б о р я. И бегать по школе в поисках сердец, полюбивших впервые... Эта мысль осенила меня, когда я слушал песню Эмиля Ваганова на слова школьника «Эн». Хорошо я придумал?

В а с я. Хорошо-о!

Б о р я. Сколько снято фильмов о сыгранной и сочиненной любви? А о живой? Настоящей?.. Мы будем новаторами! И не изменим принципам нашего учителя Николая Александровича Дубравина: подходить к персонажам как можно ближе... Даже с риском для жизни!

В а с я. Я видел, как он подходил к львице. Почти вплотную... Но к Кате?!

Б о р я. Я сам боюсь. Но риска, в общем-то, нет: герои не будут знать, о чем наша картина. Иначе они станут вести себя неестественно.

В а с я. Помнишь, как кокетничала горилла, когда заметила, что Дубравин ее снимает?

Б о р я. Прошу тебя, без грубых сравнений! Итак, для Кати, для ее мамы, для Славы и вообще для всех мы снимаем кадры о школе...

В а с я. Но нам нужно будет столько подглядеть и подслушать!

Б о р я. Нам не придется подслушивать: наш фильм будет нем, как Чарли Чаплин. Один взгляд громче, чем тысяча слов. Так говорит Дубравин! Надо только поймать этот взгляд...

В а с я. Ловить мы умеем!

Б о р я. Вот к примеру. Он поет — она смотрит на него... Она поет — он смотрит. Надо поймать эти мгновения.

В а с я. Пойма-аем!

Б о р я. Пожелтевшая страница воспоминаний... В моем раннем и несмышленном детстве мама очень часто делала мне замечания. Теперь я понимаю, что их нужно было делать гораздо больше. Но тогда я страдал! Она шлепала меня. Теперь я понимаю, что недостаточно, но тогда... Ставила меня в угол, лишала того, что казалось мне удовольствием. Но другим она трогать меня не позволяла. Даже отцу! Бросалась яростно защищать. Так же и Катя... В ее отношении к Славе есть материнский оттенок. Я заметил... Надо запечатлеть его.

В а с я. Запечатле-ем!

Б о р я. Надо ярко так... оттенить.

В а с я. И оттени-им!

Б о р я. А видел ли ты когда-нибудь, как они вместе идут из школы? Он держит в руке два портфеля: ее и свой. Надо снять сзади. Портфели шлепают его по ногам...

В а с я. Страшная сила!

Б о р я. Но этого недостаточно...

В а с я. Почему?

Б о р я. Давай порассуждаем. Что у нас получается? «Он поет — она смотрит, она танцует — он смотрит»... А что бу-

дет смотреть зритель? Пресно, Васенька. Пресно... Нужен конфликт!

В а с я. Нужен.

Б о р я. Вспомни, как Николай Александрович умеет управлять своими персонажами.

В а с я. У него медведи по ниточке ходят!

Б о р я. Помнишь, как он заставил львицу сходить с ума от ревности и сомнений?

В а с я. Еще бы! Такие развел в зоопарке интриги.

Б о р я. Пойдем дорогой учителя! Тоже сыграем роль Яго. И опять во имя искусства!

В а с я. Кого же надо «подзавести»?

Б о р я. Я слышал, как она упрекала его...

В а с я. Упрекала? Это прекрасно! А в чем?

Б о р я. Говорила, что он каждый день в четыре часа исчезает...

В а с я. Ровно в четыре? Страшная сила! Ну, а потом?

Б о р я. Возвращается очень взволнованный!

В а с я. Страшная сила!

Б о р я. Да, нужны сцены потрясений... Волнений за судьбу любимого существа! И обязательно сцены ревности! Ждать, пока они возникнут сами собой, невозможно: шеф вернется со своих встреч. Значит, нужно эти сцены организовать.

В а с я. Организу-уем!

Б о р я. А у Катиной мамы наблюдаются феодальные пережитки. Ты обратил внимание?

В а с я. Нет...

Б о р я. Твой организаторский талант, Васенька, увы, не сочетается с творческим. Ты умеешь доставать, вторгаться, освобождать помещения. Но наблюдать ты не умеешь. Мама хочет, чтобы дочь другому адресовала: «Я к вам пишу!» Чего же боле, Васенька? Это — этическая проблема!

В а с я. А кому... прошептала?

Б о р я. Представителю математической школы! И тут кое-что можно... разжечь. Инсценировать! Шеф будет в восторге... Мы объявим бой произволу родителей. Защитим право старшеклассников на любовь!

В а с я. Объявим... И защитим. Одновременно!

Мимо с портфелем, классным журналом и картами проходит А н и с и м
Л у к ь я н о в и ч. Замечает Борю и Васю. Возвращается.

А н и с и м Л у к љ я н о в и ч. Я хотел предложить... Вы бы сняли первоклассников! А? Такие деятельные, прекрасные дети! И очень красивые. Фотогеничные! Я люблю их...

Б о р я. Мы тоже любим. Они напоминают о том, что уже не вернется...

А н и с и м Л у к љ я н о в и ч. Наоборот... Они — будущее школы. Ее завтрашний день!

Б о р я. Ну что ж... Заглянем в грядущее!

А н и с и м Л у к љ я н о в и ч. Простите, я спешу на урок...
(Уходит.)

В а с я (Боре). Сними обязательно. Но не вздумай тратить на это пленку!

Б о р я. Вообще-то просьбу Анисима Лукьяновича хотелось бы выполнить. Но первоклассники в фильме, посвященном любви? Это будет выглядеть странно. Не очень педагогично.

В а с я. И не очень «экономично». Пленку надо беречь!

Б о р я. Смотри-смотри... Судьба идет нам навстречу. Трое в одном кадре! Катя, Слава, Егор... Они направляются в школьный зал. О, Яго! Не поспешить ли нам туда?

В а с я. Обязательно поспешить!

Б о р я. Раздуем пламя конфликта?

В а с я. Раздуем!

Б о р я. Ты слышишь? Слава поет! Они веселятся...

В а с я (угрожающе). Ну-ну...

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

В школьном зале.

Е г о р (взяв у Славы гитару, пытается напевать).

Мы — физики и лирики,
Поэты и сатирики...

С л а в а (Егору). У тебя есть голос... и слух.

К а т я. У него?

Е г о р (Кате). Что... совсем безнадежно?

К а т я. У тебя такой вид, будто ты хочешь извлечь из гитары квадратный корень.

Появляются Б о р я с камерой наперевес и «ас» В а с я.

Е г о р. У меня идея!

Б о р я. Увековечим минуту ее рождения!..

Камера застрекотала.

Е г о р. Инструментально-танцевально-дифференциальный ансамбль математической школы! Это звучит?

В а с я. Звучит.

К а т я. Придумал бы что-то свое!

Е г о р. У вас «прощальный», а у нас — «дифференциальный». Согласно специфике учебного заведения. А можно и проще: ансамбль «Уравнение». Это подчеркнет, что и мы тоже люди: «уравнялись» с нормальной школой. И ничто человеческое нам не чуждо!

К а т я. Ты не подумал о моей маме. Она уйдет на пенсию. В знак протеста!

Е г о р. Она будет аккомпанировать нам. Я ручаюсь!

К а т я. Может быть... (*Кивнув на Егора.*) Мы всегда подчиняемся любимому существу!

Е г о р. Я научусь танцевать и петь... Но руководить нами на первых порах должен ты, Слава. Хочешь, я встану перед тобой на колени?

Б о р я. Физика перед лирикой? Это мы обязательно увековечим!

Камера застрекотала.

Е г о р. Все участники ансамбля будут в очках. Ведь так некоторые представляют себе математических вундеркиндов? Все — в очках! А? Это не́что!.. (*Пытается импровизировать.*)

Мы — Шурики и Гаррики,
Поэты и очкарики...

Или так:

Легко от математиков
Дойти до маразматиков...

Если вовремя не перемежать «дифференциальное» и «танцевальное»! И ты, Слава, должен, так сказать, протянуть руку помощи...

К а т я (*Славе*). По-моему, ты должен согласиться: он вывел Олю и Полю из отстающих в передовые. Теперь они лучше всех в классе решают уравнения с одним неизвестным.

С л а в а. За это я не просто благодарен, я преклоняюсь.
Б о р я. Теперь лирика перед физикой! Увековечим...

Камера застрекотала.

С л а в а. Уважаю то, чего не умею сам.

В а с я (Кате). Значит, чего-то он все-таки не умеет?

К а т я. Злословить, например... В отличие от тебя!

Е г о р. Ансамбль «Уравнение» под временным руководством Вячеслава Аникина! Который к тому времени уже победит на конкурсе инструментально-танцевально-вокально-прощальных ансамблей...

С л а в а. Вот это — уравнение со многими неизвестными!

К а т я. Чтобы вы постигли всю глубину его скромности, я предлагаю послушать и посмотреть наш парный «номер»! Называется: «Мы — из десятого! А вы?..»

Катя со Славой исполняют этот номер на сцене.

Е г о р. Как говорит Николай Александрович: «Ну, Слава!»

С л а в а. Я бы сказал: «Ну, Катя!»

Е г о р. И она, как говорит все тот же Николай Александрович, «танцевала со Славой!».

К а т я (Егору). Лучше цитируй маму. Ей это будет приятно: она ведь в тебя влюблена... Кстати, пора домой: надо кое в чем ей помочь. А ты, Слава, начни помогать Егору. Выведи и его тоже из отстающих в передовые. По линии песен и танцев.

С л а в а. Я попробую. *(Начинает на сцене передавать Егору свой «опыт».)*

К а т я *(идет к двери. Задерживается возле Бори и Васи)*. Мама привела его в дом, чтобы Слава у него поучился. А учится он у Славы! И у меня он тоже попляшет... Вернее сказать, со мной! Вы это обязательно увековечьте. Только для мамы. Ладно?

Б о р я. Считаем, что в отсутствии шефа нами руководит наследница.

К а т я уходит.

Итак, Яго, платок Дездемоны сэм влетел в наши руки!

В а с я. Не понимаю.

Б о р я. Сейчас поймешь. *(Шепчет что-то ему на ухо.)*

В а с я. Порядок!

Б о р я. Нам нужен не порядок, а беспорядок: конфликт, столкновение! Действие! А я отступаю немного в сторону. Как сказал великий поэт Есенин: «Большое видится на расстоянии!»

В а с я (*нарочито громко*). Слава, можно оторвать тебя от преподавательской деятельности? На минутку!..

Слава подходит.

Объясни, пожалуйста. Я вот не понял. Что, Катя решила теперь с этим самым... которого ты обучаешь? С Егором?

С л а в а. Что... решила?

В а с я. Ну, делать номер... На конкурсе выступать!

С л а в а. Откуда вы взяли?

В а с я. Непосредственно из первоисточника. Она попросила, чтобы мы увековечили на пленке их танец. Его и ее! Не тебя и ее... А их! Понимаешь? Вот и Боря не даст соврать!

С л а в а. Она так сказала?..

В а с я. Только что, уходя домой, подошла к нам и шепотом попросила. Видимо, чтобы ты не услышал... Мы-то хотели снять вашу пару. А теперь ты ей, значит, не пара?

С л а в а. Ерунда.

В а с я. Какая же ерунда? У нас в картине должен быть небольшой танцевальный кусок. Десятиклассник с десятиклассницей! Кого мы будем снимать? Нужна ясность в этом вопросе. Вы уж выясните свои отношения!

С л а в а (*идет к сцене, потом возвращается*). Она так сказала?

В а с я. Цитирую: «Вы это обязательно увековечьте!» И еще что-то про маму... Вроде хочет ее порадовать!

С л а в а. Анну Сергеевну? Да... Она преподает в математической школе.

В а с я. Пение!

С л а в а (*рассеянно*). Да... Пение...

В а с я. Так, может, Катя хочет подчиниться желанию матери? Знаешь, помимо собственной воли! Так бывает... Но получается все же странно: ты его будешь учить, чтобы потом они вместе... вдвоем... Хотя, конечно, он вундеркинд. Из математической школы!

С л а в а (*Егору, громко*). Я должен сбегать домой. Ты сам... А потом мы продолжим! (*Убегает.*)

В а с я (*подходит к Боре*). Скрытая камера работала?

Б о р я. На полную силу! Сцена потрясения и растерян-

ности готова. Сейчас мы зафиксируем его пробежку по городу!

Псдходит Егор.

Е г о р. Куда он? Вдруг... Неожиданно...

Б о р я. Творческий человек! *(Поспешно уходит вместе с Васей.)*

Е г о р. Все разбежались...

В квартире Дубравиных. К а т я ходит по комнате с пылесосом. А н н а Сергеевна вяжет.

К а т я. Только что видела Егора.

А н н а Сергеевна. Он опять занимается с Полей и Олей? Это все равно что пригласить композитора обучать тебя нотной грамоте.

К а т я. Он занимается с ними не как математик, а как человек. Ему это нравится. Совершать добрые дела должны все: и академик, и знаменитый композитор, и Егор Трушин...

А н н а Сергеевна. Как раз теперь он должен был готовиться к математической олимпиаде. Если он провалится, скажут, что наша семья его погубила.

К а т я. А кто привел его в эту семью?

А н н а Сергеевна. Я думала, ты его вдохновишь!

К а т я. Я его и вдохновила.

А н н а Сергеевна. На что?!

К а т я. Он решил организовать в вашей школе инструментально-танцевально-вскальный ансамбль.

А н н а Сергеевна. Он сказал это в шутку.

К а т я. И в шутку берет у Славы уроки?

А н н а Сергеевна. Он? У Славы?! Логичней было бы наоборот...

К а т я. Славе у него обучаться незачем: у него пятерка по математике.

А н н а Сергеевна. А у Егора не пятерки, у Егора талант!

К а т я. Ну, у Славы минимум три таланта!

А н н а Сергеевна. В данном случае один всегда лучше, чем три. Если только он не Леонардо да Винчи...

К а т я. Время покажет!..

А н н а Сергеевна *(будто не слыша)*. Если б я догадалась связать этот свитер раньше, отцу бы сейчас не было холодно. Там, на Севере...

К а т я. Встречи со зрителями всегда бывают «теплыми». Так пишут в газетах. Так что считай, что отец на Юге.

Звонок. Катя идет открывать. Слышен ее голос из коридора: «Втроем? Вы что, сговорились?» Возвращается со С л а в о й, Б о р е й и В а с е й.

Б о р я (*глядя на часы*). Установлен и зафиксирован на пленке новый международный рекорд! Расстояние от школы до вашей квартиры мы преодолели за девять минут и тридцать четыре секунды. Первым прибежал Слава Аникин! Так сказать, разорвал ленточку финиша...

К а т я (*Славе*). Ты бежал? Что случилось?

С л а в а. Я хотел сказать тебе несколько слов.

К а т я (*разочарованно*). Всего несколько?

А н н а С е р г е е в н а. Сознавайтесь: кто не обедал?

В а с я. Мы сознаемся!

А н н а С е р г е е в н а. А ты, Слава?

С л а в а. Что?..

А н н а С е р г е е в н а (*махнув рукой*). Ладно, пойду подогрею. (*Уходит.*)

Б о р я. Мы отступаем в коридор. Чтоб не мешать... (*Васе.*) Вспомни Есенина!

В а с я и Б о р я вышли из комнаты.

К а т я. Что случилось?

С л а в а. У меня ничего. А у тебя?

К а т я. Чтобы это спросить, ты бежал?

С л а в а. Я не возражаю... Но ты могла бы об этом сказать.

К а т я. О чем?

С л а в а. Ты собираешься делать номер с Егором?

К а т я. Ты знаешь: я люблю откалывать номера! Но это будет один из лучших... Мама привела его, чтобы оторвать меня от танцев и песен. И вдруг видит, как на экране мы с ним поем и танцуем!

С л а в а. А где я буду... в это время?

К а т я. Где захочешь! Лучше всего где-нибудь рядом. Но не в кадре! Иначе она подумает, что это ты его соблазнил...

С л а в а. Почему я?

К а т я. Понимаешь, Егор влюблен.

С л а в а. Да?.. Об этом ты тоже могла бы сказать.

К а т я. Я говорю!

С л а в а. И давно это... он?..

К а т я. По-моему, с первого взгляда.

С л а в а. А как ты относишься к этому?

К а т я. Положительно. Наши вкусы сошлись!

С л а в а. Ты шутишь?..

К а т я. Я серьезна, как никогда! Мы с ним вполне понимаем друг друга.

С л а в а. В каком смысле?

К а т я. Два человека, порознь обожающие кого-то третьего, неизбежно сближаются.

С л а в а. Третьего? Кого именно?..

К а т я. Тебя.

С л а в а. Ты, как обычно...

К а т я (*перебивая*). Нет, не шучу. Мама любит Егора, Егор обожает тебя. Я — тебя и маму. И только сама выгляжу в этой истории... сиротой...

Входит Анна Сергеевна с кастрюлей. За ней Боря и Вася.
Мама, не корми их обедом!

В а с я. За что?! Мы только хотели выяснить...

К а т я. Мама, не корми их! А Олю и Полю как раз время кормить.

С л а в а (*тихо*). Если можешь, накорми их сама. Я сейчас должен... часа на полтора или два...

К а т я. Опять?! Каждый день в это самое время ты исчезаешь. На часа полтора или два... Что это значит?

Б о р я (*Васе*). Вспомни Есенина... Я отступаю!

Камера застрекотала.

С л а в а. Ничего плохого в это время не происходит.

К а т я. А почему ты всегда так торопишься?

С л а в а. Я все объясню тебе. Но потом...

К а т я. А почему... (*Боре, услышав камеру*). С чего это ты вздумал снимать?

Б о р я. С голоду.

Камера умолкает.

К а т я. Мама, все равно не корми их! (*Славе*.) Идем.

К а т я и С л а в а уходят. Анна Сергеевна изумленно смотрит им вслед.

А н н а С е р г е е в н а (*Боре*). Что это значит — «не корми»?!

Б о р я. Я бы мог объяснить это чертостью. Если бы

она не отдавала столько душевных сил двум бедным малюткам...

В а с я. И их старшему брату!

Б о р я. И если бы я не догадывался об их планах на будущее...

А н н а С е р г е е в н а. У них не может быть никаких планов!

Б о р я. Точно я, разумеется, ничего сказать не могу. Но, судя по взглядам, обрывкам фраз... Я думаю, что окончание десятого класса практически станет для Кати началом...

А н н а С е р г е е в н а. Чего?!

Б о р я. Не волнуйтесь, Анна Сергеевна. Все будет во имя высокой и благородной цели!

А н н а С е р г е е в н а. Какой?!

Б о р я. Хорошо воспитать двух малюток! Катя, я думаю, хочет стать им второй матерью.

А н н а С е р г е е в н а. Что-о?!

В а с я. Поскольку родная мама часто болеет.

А н н а С е р г е е в н а. Откуда вы это взяли?!

Б о р я. Только интуиция! Обрывки взглядов и фраз... Но согласитесь: это же благородно!

А н н а С е р г е е в н а. Согласиться? У Кати впереди — институт!

Б о р я. Она может поступить на вечернее отделение.

В а с я. Когда Оля и Поля ложатся спать.

А н н а С е р г е е в н а. Какая-то чепуха... Она об этих «планах» кому-нибудь говорила?

Б о р я (*Васе, тихо*). Я отхожу в сторону. (*Многозначительно.*) Вспомни Есенина!..

Камера застрекотала.

А н н а С е р г е е в н а. Она говорила?!

В а с я (*испуганно*). Я не слышал...

А н н а С е р г е е в н а. И почему ты должен вспомнить Есенина? А не Лермонтова? Не Тютчева, например? Что вы имеете в виду?!

В а с я (*испуганно*). Я ничего не имею. Просто мы видим...

Стук двери. В комнату вбегают запыхавшаяся К а т я. Вася отступает в коридор к Боре.

К а т я. Я забыла носочки... Купила сегодня утром для Оли и Поли.

А н н а С е р г е е в н а (*вспыхнув*). Купила утром? А заниматься в институте собираешься вечером?.. Куда тебя эти носочки и туфельки заведут? Я говорила отцу! Но он улетел. С тиграми он справляется, а с тобой...

К а т я. Вот и нашла! Красивые носочки. Ты не находишь?

А н н а С е р г е е в н а (*тихо, устало*). Я ничего не нахожу. Я только теряю.

К а т я. Что именно?

А н н а С е р г е е в н а (*тихо, но внятно*). Твое будущее! Ты же сама ребенок. А хочешь фактически... удочерить...

К а т я. Откуда ты это взяла?

А н н а С е р г е е в н а. Все видят. И понимают! По обрывкам ваших взглядов и фраз.

К а т я. Зачем же судить обо мне по «обрывкам»? (*Взглянув на Борю и Васю.*) Я ведь говорила, что их не надо кормить!

В а с я. Мы не съели ни корочки.

А н н а С е р г е е в н а (*Кате, тихо*). Зато я по горло сыта!

К а т я. Я пошла... Двойняшки должны гулять. Дышать свежим воздухом!.. (*Убегает.*)

А н н а С е р г е е в н а (*как бы самой себе*). А мать должна задыхаться?! От неизвестности, от волнения...

Б о р я (*входя в комнату*). Больше можете не волноваться.

В а с я (*тихо*). Что, пленка кончилась?

Б о р я (*Анне Сергеевне*). Действительно, не стоит придавать такого большого значения... «обрывкам»!

А н н а С е р г е е в н а. Нет! Я хочу посмотреть, как она им там... надевает носочки! (*Поспешно уходит.*)

На авансцене — Б о р я и В а с я.

Б о р я. Как любит говорить шеф, «итак, подведем итоги»! Сцена волнения у нас есть. Сцена потрясения есть. Сцена, в которой он устроил ей сцену, есть. Ее минутные подозрения тоже удалось зафиксировать. Извечный конфликт «отцов и детей» тоже отсняли. И много другого... В среду приезжает Дубравин. «Ну как? — устало осведомляется он. — Что-нибудь вы успели?» А мы его — рраз! — и на просмотр отснятого материала. Прямо на публике. В школьном зале! Мы должны советоваться со зрителем?

В а с я. Должны.

Б о р я. Теперь давай немного порассуждаем.

В а с я. Вообще-то мне некогда: надо проявить пленку.

Б о р я. Мне необходим собеседник.

В а с я. Ну, если недолго...

Б о р я. Служенье муз не терпит суеты! Это Пушкин специально для тебя написал.

В а с я. Если я воспользуюсь его указанием, мы с тобой к возвращению Дубраваина ничего не успеем.

Б о р я. И все-таки поразмышлять не мешает. Даже тебе!

В а с я (взглянув на часы). Если только недолго.

Б о р я. Я предлагаю назвать будущую картину так: «Поэма о первой любви». Хорошо, Вася?

В а с я. Неплохо.

Б о р я. Мы с тобой воспели любовь, как говорил Маяковский, «во весь голос»! В разных ее аспектах и проявлениях.

В а с я. Если бы Катя знала!.. Она бы не отбирала у нас тарелку супа, заработанную честным трудом.

Б о р я. Представляю, как она будет горда! (Васе.) Твою первую любовь показывали в кино?

В а с я. Ни первую, ни вторую, ни третью...

Б о р я. А они только начали — и сразу же на экран!

В а с я. Их любовь родилась в сорочке.

Б о р я. Во фраке, Вася! Во фраке!.. И все оттого, что мы проявили инициативу. В наших кинокартинах чаще всего о любви как рассказывают? «Он смотрит на нее, она смотрит на него...» Какие-то намеки, полунамеки.

В а с я. Я за прямой разговор!

Б о р я. У меня брат в пятом классе... Я заметил: он сперва сделает все уроки, а потом звонит одной девчонке и спрашивает: «Что задали на дом?» Каждый день одной и той же звонит. «У них хорошая дружба!» — говорит мама. Но какая же это дружба, если он для нее сочиняет стихи? Подобно этому самому школьнику «Эн» из неизвестной нам школы. Только похуже... Все надо называть своими именами. Зачем же любви выступать под псевдонимом, который придумали родители и педагоги... Дружба! Ведь остальным двадцати девчонкам, которые учатся в его классе, брат мой не посвящает стихов. Вот с ними он дружит!

В а с я. Боря, мне надо проявить пленку.

Б о р я. Нет, ты послушай... Мы должны подвести теоретическую базу под наши творческие дерзания. Мама умоляет: «Только не вздумай говорить с братом на эту тему!» Если что-то держится в тайне, значит, в этом есть нечто дурное и стыдное. А что может быть прекраснее любви!

В а с я. Ничего!

Б о р я. Я с братом напрямую поговорю! Раньше вот не боялись писать: «Умру, любя!» А теперь найди где-нибудь подобную фразу. Стесняются, что ли? А мы с тобой повели открытый разговор. Пошли по прямой дороге...

В а с я. Интересно, куда мы придем, если я не успею проявить пленку?

Б о р я *(словно бы убеждая самого себя)*. Мы увековечили первое чувство со всеми его волнениями, потрясениями... И с ревностью, без которой не бывает любви! А вот директор идет...

Появляется А н и с и м Л у к ъ я н о в и ч.

А н и с и м Л у к ъ я н о в и ч. Хорошо, что мы встретились! У меня есть фотография моего любимого пятого «В», который теперь стал десятым. Можно было бы показать на экране эту старую фотографию, а потом — тех же ребят сегодня. Мы бы увидели, как все выросли, какими стали красивыми! Хотя и в пятом классе я очень любил ваши лица...

В а с я. Мы ведь в десятом «А»!

А н и с и м Л у к ъ я н о в и ч. Какое это имеет значение? К сожалению только, у меня нет вашей фотографии... тех времен. Вы выполните мою просьбу?

Б о р я. Это мы сделаем! Но у нас есть встречная просьба. Мы хотели бы через пять дней, то есть в среду, показать первый отснятый материал. Испытать его прямо на зрителе: на ребятах, на педагогах...

В а с я. И на дирекции!

Б о р я. Это будет потрясение для нашего лауреата! Он как раз в среду вернется. Устроим ему сюрприз!

А н и с и м Л у к ъ я н о в и ч. Стремление принести кому-нибудь радость — это всегда хорошо. Зал — в вашем распоряжении.

Б о р я. А мы — в вашем!

А н и с и м Л у к ъ я н о в и ч *(радостно)*. Катя права: школа обретает лицо! *(Уходит.)*

Б о р я *(директору вслед)*. Что вы сказали?.. *(Васе.)* Он не знает, что дружный коллектив десятого «В» у нас уже давно снят. Как фон для Кати и Славы! *(Потирая руки.)* Какой мы для всех подготовим подарок!..

В а с я. Стр-рашная сила!..

На авансцене — Д у б р а в и н в больничной пижаме и С л а в а.

С л а в а. Я всегда замечал, что в литературе бывает много разных удивительных совпадений. В великих произведениях они кажутся абсолютно естественными!

Д у б р а в и н. Взять хотя бы пример, близкий к моей сегодняшней жизни... Андрей Болконский и Анатолий Курагин лежали, как ты помнишь, на соседних операционных столах.

С л а в а. Но вам ведь операцию делать не собираются?

Д у б р а в и н. В среду утром... В среду, Славочка, все решится! Придут люди в белых халатах и принесут результаты исследования. Они будут обязательно улыбаться. И чем хуже будут результаты, тем улыбки будут шире, добрее... А что у них в руках — награда или приговор, — я никогда не узнаю.

С л а в а. Ну, а если они придут и скажут: «Идите домой»?

Д у б р а в и н. Я пойду... Побегу! Полечу! *(Нервно ходит, заложив руки за спину.)*

С л а в а. И как раз в среду днем, после уроков, Боря и Вася решили устроить просмотр отснятого материала. Фильм о школе! О людях... Вы ведь мечтали?

Д у б р а в и н. Вчерашние мечты кажутся здесь, в этом учреждении, мечтами столетней давности. И даже вообще не мечтами... Мечта остается одна: чтобы в среду сказали — «Мы вас отпускаем!»

С л а в а. И как раз в этот день просмотр... Жизнь подбрасывает иногда совпадения почище, чем любая литература! Я это хотел вам сказать...

Д у б р а в и н. Да-а... Я обещал Анне Сергеевне в среду вернуться. И исследования под это число подгонял.

С л а в а. А ребята подгоняли просмотр!

Д у б р а в и н. Я всех тут замучил. Потому что... согласись: дольше интересоваться жизнью белых медведей было бы неестественно. Анечка бы просто мне не поверила. Пришлось бы все рассказать! Но если меня не выпишут...

С л а в а. Тогда выпишут в пятницу. Или в четверг!

Д у б р а в и н. Нет... Это для нее будет ужасно. Поверь: легче болеть самому, чем переносить трагедии близких. Раньше я не думал об этом. А теперь вот здесь... наблюдаю.

С л а в а *(задумчиво)*. Я бы тоже, мне кажется... поделился своими годами с мамой.

Д у б р а в и н. Ты не имеешь на это права! Родители могут... Жены, мужья... А твоя доброта была бы жестокой...

С л а в а. Почему мы об этом разговорились? В среду, после уроков, будем встречать вас дома! И сразу поведем в школу...

Д у б р а в и н. Трогательный ты парень! Знаешь, что страшно в моем положении?

С л а в а. Что?..

Д у б р а в и н (*четко и медленно*). Оно ни от кого на земле не зависит!

Вспыхивает свет... Шум школьного зала. На его сцене А н и с и м Л у к ь я н о в и ч. Раздаются звонки: один, второй, третий... Анисим Лукьянович выжидательно вглядывается в зрительный зал, смотрит на часы.

Г о л о с и з з а л а. Пора бы уж начинать!

А н и с и м Л у к ь я н о в и ч. Курилов Петя из девятого «А»! Я узнаю твой голос. Прошу тебя: потерпи.

Г о л о с К у р и л о в а. Мы уж полчаса терпим!

Анисим Лукьянович опять смотрит на часы. Потом жестом зовет кого-то. С разных сторон, как бы из-за кулис, выбегают Б о р я и В а с я.

Б о р я (*к залу*). Самолет, на котором, вероятно, летит Николай Александрович, к сожалению, опаздывает.

Г о л о с К у р и л о в а. Семеро одного...

А н и с и м Л у к ь я н о в и ч. Курилов Петя!.. Поверь: хорошо было бы еще подождать. Порадовать Николая Александровича... Но мы сделаем это в другой раз. А сейчас начнем наш просмотр. Но прежде я скажу несколько слов... Друзья, не много на свете школ, о которых снимают кинокартины. Нам повезло!

Г о л о с К у р и л о в а. Это еще посмотрим!

Голос тонет в осуждающих репликах.

А н и с и м Л у к ь я н о в и ч. Да, конечно, мы все посмотрим... Мы и собрались именно для того, чтобы посмотреть. Я передаю слово участникам съемочной группы, которая, как принято говорить, «находится среди нас».

Аплодисменты. Анисим Лукьянович покидает сцену, спускается в зал. Боря и Вася кланяются. И жестами останавливают аплодисменты.

Б о р я. Остальные представители киностудии «Школфильм» находятся в зале. Потому что они, как и вы, увидят снятые нами кадры впервые. Как это получилось?

В а с я. Сейчас расскажем!

Б о р я. Во многих фильмах о судьбах великих актеров сюжет разворачивается так... Начинающему актеру никак не удастся себя проявить. И вдруг, на его счастье, заболевает какой-нибудь кумир сцены... Кумира заменить нечем, собираются отменять спектакль — и тут-то на сцене появляется начинающий! Он заменяет любимца публики, поскольку всю роль давно уже выучил наизусть. И сразу же сам становится всеобщим любимцем!

В а с я. Наша история развивалась примерно так же...

Б о р я. Известный режиссер Николай Александрович Дубравин, недавно удостоенный лауреатского звания...

В а с я. Давайте заочно его поприветствуем!

Аплодисменты. Вася обращает свои хлопки куда-то ввысь, подчеркивая этим, что Дубравин в настоящий момент находится в воздухе.

Б о р я. Итак, известный режиссер уехал встречаться со зрителями. И поручил нам в его отсутствие снять кое-какой материал. Мы с Васей Мироновым, опьянев от свободы, вырвались на оперативный простор! Что из этого получилось, вы сейчас увидите...

Г о л о с К у р и л о в а. Ждем с нетерпением!

Б о р я. Сергей Эйзенштейн учил нас, что кино — это искусство монтажа. Разумеется, Николай Александрович, который в данный момент, как мы думаем, находится в воздухе, рукой мастера пройдет по материалу. Прежде чем включить его в свою картину о нашей школе, он смонтирует, перемонтирует и переперемонтирует... А сейчас мы отдаем на ваш суд то, что отсняли в припадке творческой самодеятельности!

Г о л о с К у р и л о в а. Уж поскорей бы!

Б о р я. Курилов Петя, не только Анисим Лукьянович, знающий тебя с малых лет, но даже я узнаю твой голос. Еще минуточку потерпи. У нас есть одно чрезвычайное сообщение! Мы сняли материал не обо всем нашем школьном коллективе, как думает Николай Александрович (*задирает голову вверх*), а лишь о двух представителях этого коллектива.

В а с я. Об их любви, прекрасной и чистой!..

Г о л о с К у р и л о в а. Интересно!

Б о р я. Вы не услышите голосов... Как и шедевры знаменитого Чарли Чаплина, наша картина — «немая»: взгляды, движения и поступки достаточно красноречивы! Лишь голос

актера будет сопровождать все это коротким, но выразительным комментарием.

В а с я. А так как актера пока еще нет, комментировать будем мы с Борей.

Б о р я. И, насколько я понимаю, Петя Курилов из зала... А может быть, он воздержится?

Г о л о с К у р и л о в а. Там будет видно!

Голос тонет в осуждающих репликах.

Б о р я. Мы с Васей подготовили пояснительный текст. И выучили его наизусть. Мы не писатели, не сценаристы. Так что не будьте уж слишком строги! К сожалению, героев нашей ленты нет сейчас в зале: они дома встречают Николая Александровича. Хотелось бы их порадовать. Но ничего не поделаешь!

В а с я. Гасите свет!

Свет в зале гаснет. Появляется голубой луч, в котором, как всегда, кружатся мириады пылинок. Глядя на воображаемый экран, Боря и Вася начинают свой комментарий.

Б о р я (*мечтательно*). Их было двое...

В а с я. На всем белом свете!

Б о р я. Утром они вместе шли в школу. Их обгоняли, с ними здоровались... Но они были вдвоем! Мы смотрим им вслед... Два силуэта, два сердца. И два портфеля в его руке. Сейчас они обернутся. И вы узнаете их!

П е р в ы й г о л о с. Дубравина из десятого «В»!

В т о р о й г о л о с. И Аникин!

Б о р я. Да, наша поэма будет о них.

В а с я. Об их любви, прекрасной и чистой...

Г о л о с К у р и л о в а. Интересно!

Г о л о с д е в о ч к и. Как не стыдно? Ведь это же о любви... А ты орешь!

Т р е т ь и й г о л о с. Не мешайте смотреть!

Б о р я. В классе, где они учатся, сорок три человека. Но когда она отвечала, они были вдвоем. Он натягивался весь как струна, словно ждал опасности и готов был в любую минуту ринуться ей на помощь.

В а с я. А когда его вызывали к доске, струной становилась она.

Б о р я. Вот они снова идут по улице... Не на урок, а с урока. Два силуэта... И два портфеля в его руке. Давайте заглянем в один из них!

Первый голос. Зачем же заглядывать в чужие портфели?

Боря. А для того, чтобы поискать там тетрадку стихов, обращенных к ней... Тетрадки мы там не находим. Но зато другой десятиклассник, в какой-то другой школе, сочинил стихи о первой любви...

Вася. Прекрасной и чистой!

Боря. Точно такие, какие мог бы сочинить и герой нашего фильма! Мы отдали эти стихи композитору. И вот уже наши герои продолжают свой путь в сопровождении музыки.

Вася. В одном месте у нас, к сожалению, порвалась пленка. Но куплеты, воспевающие их первое чувство, остались невредимыми.

Боря. Не символично ли это?!

Первый голос. А кто сочинил?

Второй голос. Из какой школы?

Боря. Я повторяю: можно считать, что их сочинил герой нашей картины.

Вася. Те же мысли и чувства!

Боря (*мечтательно*). И те же стремления...

Возникают последние куплеты известной нам песни, исполняемые певцом, оркестром и хором.

Ты — не гавань, что прячет от шторма.

Ты — простор и парящая птица!

Я стремлюсь к тебе так же упорно,

Как корабль к горизонту стремится!

Мне любовь и упрямство помогут!

Сквозь ветра я пробьюсь и тревоги.

Чтоб в одну превратиться дорогу,

Перекрестятся наши дороги!..

Не в мираже, как небо и море,

Не в туманной, несбыточной дали,

А в земном осязательном просторе,

Где с тобой мы друг друга узнали!

Вася (*трагически*). Но вот неожиданно... появился третий!

Боря. О ревность, без которой не бывает любви!

Свет гаснет. Зал погружается в темноту.

Первый голос. Что случилось?

Второй голос. Пробки перегорели?..
Третий голос. На таком месте!..

Вспыхивает свет. На сцене — Егор. По обе стороны от него — удивленные и растерянные авторы «Поэмы о первой любви».

Егор (*к школьному залу*). Это я сделал. Если вы продолжите, я выверну пробки! А если выгоните меня отсюда, я перережу на улице провода. Предупреждаю!

Второй голос. Ишь ты: предупреждает!

Третий голос. Безобразие! Хулиганство!..

Егор (*глядя в школьный зал*). Катя... Слава...

Боря. Они здесь?! И Николай Александрович? И Анна Сергеевна? Давно? Много успели увидеть?

Егор. Мало. К счастью... чуть-чуть... Но и этого достаточно, чтобы... вывернуть пробки! (*Вглядываясь в школьный зал*.) Катя! Слава... Их уже нет?

Голос Курилова. Очень жаль. Хотелось бы на них посмотреть!

Егор. Они ушли? Я догоню их... (*Срывается с места и убегает.*)

Боря. Не будем чувствовать себя брошенными! Давайте продолжим...

На сцену поднимается Анисим Лукьянович.

Анисим Лукьянович. Нет, подождите!..

Вася. Сейчас дирекция наведет... должный порядок!

Анисим Лукьянович (*Боре и Васе*). Вы просили, чтобы мы не были слишком строги. Простите... Я буду строг. Вы же хотели снять картину о наших ребятах. О ваших товарищах...

Боря. А это о чем?

Анисим Лукьянович (*тихо*). Разве об этом... можно?

Боря. Искусство должно вторгаться в жизнь...

Анисим Лукьянович. В личную? Кто вам это сказал? (*Как бы рассуждая с самим собой.*) И я-то хорош: не догадался сразу же прекратить... Мальчик вот догадался, а я... Растерялся. Не верил своим глазам! Теперь как же им быть? Обоим... Уйдут, наверно, из нашей школы.

Голос девочки. Куда уйдут? А?..

Анисим Лукьянович (*словно не слыша ее*). А как же иначе? После этого невозможно... Такие прекрасные,

красивые дети! *(Боре и Васе.)* Некрасиво у вас получилось... Скверно! *(Медленно возвращается в школьный зал.)*

На сцену влетает девочка-восьмиклассница.

Д е в о ч к а *(сбивчиво, громко)*. Я как-то сразу не поняла. Расчувствовалась... Все-таки про любовь! А теперь понимаю... Ведь здесь, в зале, двести пятьдесят человек! Разве каждому объяснишь?.. Разве Курилову объяснишь?

Г о л о с К у р и л о в а. Я и так понимаю. Я про это с первого класса все понимаю!

Д е в о ч к а. Ну вот видите! Разве при нем можно было? И ни при ком, наверно, нельзя! Это же про такое... У нас ребята хорошие! Но все-таки невозможно... Я бы после этого не смогла. Я ушла бы в другую школу. *(Боре и Васе.)* А почему я из-за вас должна с ними прощаться? Я же привыкла к ним... Я их, можно сказать, даже люблю! *(Убегает так же стремительно, как и влетела на сцену.)*

Б о р я *(с надеждой)*. На нашу сцену поднимается Николай Александрович?

В а с я. Лауреат! Давайте его поприветствуем...

Жидкие, словно бы растерянные хлопки.

Б о р я. И Анна Сергеевна!

Появляются Д у б р а в и н с ж е н о й. Она держит его за руку.

Д у б р а в и н *(к школьному залу)*. Здесь происходит какое-то недоразумение. Это же — не документальная лента. Это кадры будущей... художественной, что ли, кинокартины. Производство «Школфильма»! Наш первый опыт. Вас забыли предупредить... Ничего этого в жизни никогда не было. *(Анне Сергеевне.)* Правда, Аня?

А н н а С е р г е е в н а. Никогда...

Д у б р а в и н. Боря и Вася сочинили сценарий. И решили, чтобы десятиклассников играли десятиклассники. Вот и все... И песня эта, которую вы слышали... Ее слова по сценарию сочинил школьник. А на самом деле — поэт. Как это обычно бывает... Композитор Эмиль Ваганов здесь, среди нас. Он подтвердит!

П е р в ы й г о л о с. Ваганов здесь?!

В т о р о й г о л о с. Композитор Ваганов?

В а г а н о в под аплодисменты всходит на сцену.

Ваганов (*к школьному залу, тихо и доверительно*).
Значит, вам мои песни нравятся?..

В квартире Дубравиных. Катя и Слава одни.

Слава. Когда Олю и мальчика, с которым она дружит, обозвали женихом и невестой, я ее три дня не мог вытолкнуть в школу. И Поля из солидарности не ходила.

Катя. Значит, мы можем не ходить в школу по уважительной причине дней двадцать!

Слава. Я вообще не смогу больше прийти туда... Ни одного раза.

Катя. Слушай, а ты действительно любишь меня так, как это выглядело на экране?

Слава. Ты и сейчас шутишь?..

Катя. Один из нас в этот момент должен оказаться мужчиной. Пусть это буду я!

Телефонный звонок.

(*Снимает трубку.*) О-го-го! Этого мы не ожидали!.. Да нет, все в порядке... (*Вешает трубку. Обращается к Славе.*) В десятом «В» решили создать комитет спасения нашей любви.

Слава. Мы с тобой никогда не произносили этого слова. А теперь оно на устах всей школы. Все знают, что есть любовь.

Катя. А она есть?

Слава (*будто не слыша*). Все знают, что ее оскорбили, и готовы ее защищать... Это ужасно.

Катя. Почему? Это может сплотить коллектив. И даже стать лицом нашей школы!

Снова телефонный звонок.

(*Говорит в трубку.*) Уже?.. Так быстро?.. Не ожидала! (*Вешает трубку.*) Кто-то побил Петю Курилова. Я надеялась, что школа сплотится, а начинаются междоусобные войны. «Вот что надсделали песни твои!..»

Слава. Да, забыл... Как тебе понравилась песня композитора Эмиля Ваганова на стихи, которые я посвятил одной только тебе?

Катя. В исполнении солиста и хора?

Слава. Там был еще целый оркестр!

Катя. Прости... Эти стихи слишком льстили моему самолюбию, чтобы я смогла удержать их в тайне.

Телефонный звонок.

(Снимает трубку.) Он здесь!.. Все нормально... (Вешает трубку.) Звонят Оля и Поля. Они удивительно умеют говорить в одну трубку двумя голосами. Им оборвали телефон. Должно быть, из «комитета спасения»! Двойняшки волнуются...

С л а в а. Пойду успокою их. А заодно посмотрю, как там дела с уроками.

К а т я. Сообщи им, что нас с экрана назвали женихом и невестой. Они очень обрадуются.

С л а в а. Почему?

К а т я. По-моему, это совпадает с их планами на развитие наших с тобой отношений.

С л а в а. Счастливая!.. Чувство юмора никогда не изменяет тебе.

К а т я. Это я ему не изменяю!

С л а в а уходит.

(Опускается на диван. После паузы, грустно.) Шутить всегда, шутить везде... «До дней последних донца!» А шутить-то мне и не хочется...

Звонок в дверь.

Родители возвращаются.

Идет открывать. Но возвращается со С л а в о й.

С л а в а. Вернулся, чтобы сказать тебе: а день-то сегодня все-таки радостный...

К а т я. Я вижу, чувство юмора тебя тоже не покидает?

С л а в а. Поверь: очень радостный день!

К а т я. Не думала, что это событие так сильно повлияет на твою психику.

С л а в а. Ну ладно... Когда-нибудь ты узнаешь! (Уходит.)

Стук в дверь, шаги в коридоре. На пороге Анна Сергеевна и Дубравин.

А н н а С е р г е е в н а. А где Слава?

К а т я. Воспитывает своих сестер. Ты соскучилась?

Д у б р а в и н (Кате, тихо). Осуждаешь меня?

К а т я. Я удивляюсь.

Д у б р а в и н. Что я доверил Боре и Васе... да? Кто мог предвидеть?..

К а т я. Боря вполне оправдал оба своих прозвища: «пират», «снайпер»...

Д у б р а в и н. «Снайпер»? Не много ли чести?

К а т я. Ну почему же? Попал в цель... И произвел соответствующие разрушения. Они с Васей остались верны твоим заповедям: «Не ведая страха, подходить к персонажам поближе, почти вплотную! Всё разглядеть и заставить действовать согласно разработанному сценарию!»

Д у б р а в и н. Я говорил это о животных... о хищниках...

К а т я (*перебивая*). Я хочу задать тебе один вопрос, папа.

Д у б р а в и н. Слушаю. Очень внимательно...

К а т я. Как ты мог допустить, чтобы Славины стихи, которые я показала тебе одному... Да, тебе одному на всем белом свете...

Анна Сергеевна опускает голову.

Чтоб эти стихи исполнял хор? А слушал весь школьный зал?... Как ты мог?

А н н а С е р г е е в н а (*Кате*). Отец только что прилетел. Он измучен дальней дорогой. Пощади его!

Д у б р а в и н (*жене*). погоди, Анечка... погоди... (*Кате*.) Я не собирался называть автора. А чувства, выраженные Славой, прекрасны! Я хотел, чтобы они окрылили других.

К а т я. Сначала ты должен был попросить у него разрешения. Узнать, хочет ли он окрылять своими чувствами... весь школьный зал. И Петю Курилова в том числе!

А н н а С е р г е е в н а (*мужу*). Я говорила, что ты не должен изменять своему призванию. Я всегда все предвижу!

Д у б р а в и н. На этот раз ты оказалась оракулом.

К а т я. Даже в звериные заповедники посторонних не допускают. Без заповедных мест жить невозможно.

Д у б р а в и н. Да, понимаю.

К а т я. У человека всегда есть тайны. Любовь, надежды, болезнь, которой он не хочет пугать родных.

Д у б р а в и н. Болезнь?

К а т я. Да... Иногда и болезнь. Разве ты не согласен?

А н н а С е р г е е в н а. Пощади его! Он устал...

Звонок. Анна Сергеевна идет открывать. В комнату врываются крайне возбужденные Б о р я и В а с я.

В а с я. Все в порядке! В полном порядке! Ребята поверили, что вы, Николай Александрович, сказали им чистую правду: ничего этого на самом деле никогда не было. Все мы сочинили, поставили, разыграли! И стихи написал поэт, а не маль-

чик из энской школы... Я стоял у дверей и каждому выходявшему из зала это втолковывал. Не пропустил ни одного!

Д у б р а в и н. Ложь во спасение...

В а с я. И Боря тоже очень старался.

Б о р я. Да, и я... Хотя не вполне согласен!

Д у б р а в и н. Ты не согласен? С чем?

Б о р я. Фильм о десятиклассниках будет адресован миллионам людей. Которые не учатся в одной школе с Катей и Славой! А чтобы рассказать многим, вдохновить их... можно, я думаю, пожертвовать...

Д у б р а в и н. Милый Боречка... Есть ли на земле хоть что-то... хоть что-то, во имя чего можно оскорбить одну живую человеческую любовь? Только одну?! (Кате.) Высокопарно я говорю?

К а т я. Нормально, по-моему.

Д у б р а в и н (как бы самому себе). Мне казалось нахальным, когда разглядывали мои легкие, сердце. Но просвечивать у всех на глазах душу человека... Такого рентгена не может быть!

Б о р я (Дубравину). Вы всегда говорили, что подходить к персонажам надо как можно ближе. Даже с риском для жизни!

Д у б р а в и н. Для своей, Боренька... Для своей! Но не для чужой. Ты понимаешь?

Б о р я. Мы хотели создать «Поэму о первой любви»!

В а с я (уныло). Прекрасной и чистой.

Д у б р а в и н. Поэма о любви требует того, что пока отсутствует в тебе, Боря... И в тебе, Васенька.

Б о р я. Чего она... требует?

Д у б р а в и н. Осторожности. И деликатности.

В а с я. До чего же безопасней снимать картины про львов! Или про насекомых... Ни претензий, ни жалоб!

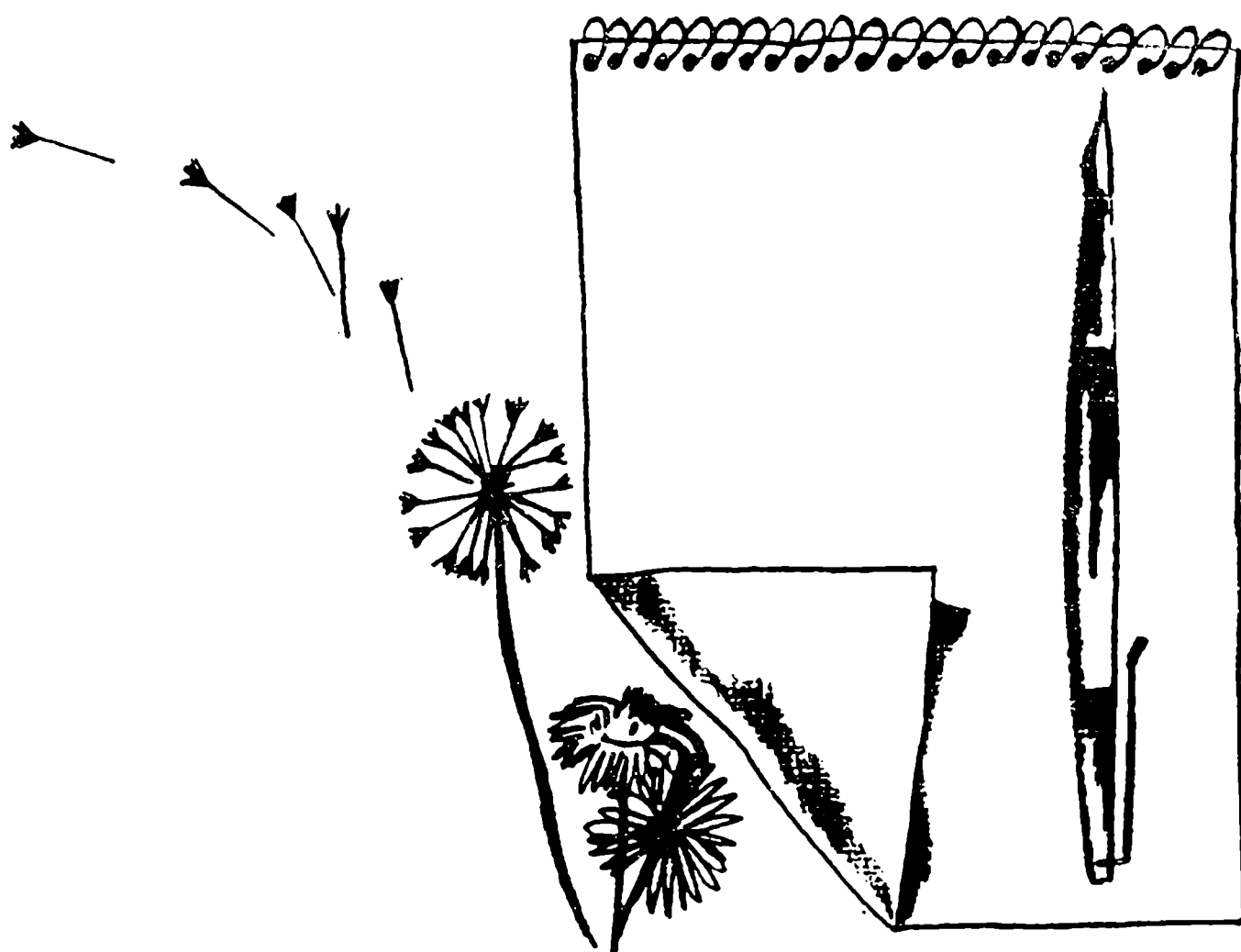
Д у б р а в и н. Люди — не насекомые. В этом все дело, Васенька! Это я и самому себе объясняю... Вы помните Славину песню?

Ни одна из обезьян

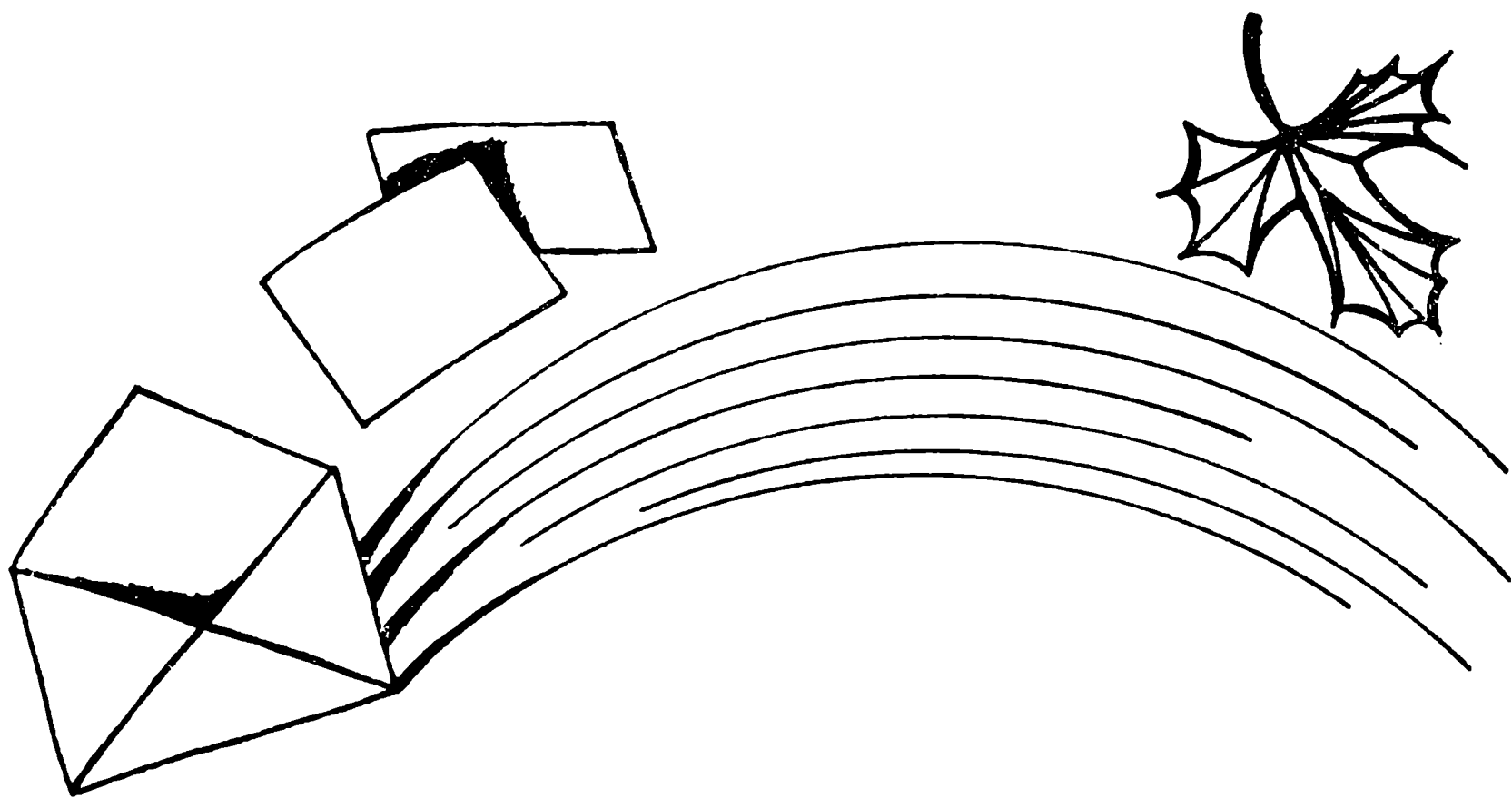
На глазах моих

не стала человеком!

Ни одна! Люди есть люди. Ни одна, Васенька...



ИЗ БЛОКНОТА



Этот блокнот я веду не один. Как бы в соавторстве со мной его страницы заполняют своими мыслями, надеждами и тревогами мои друзья-читатели. В письмах (а я получаю их в таком количестве, что не на все, увы, могу ответить!) и на литературных диспутах заводят разговор о законах гуманизма, рыцарства, о бережном отношении к каждой человеческой судьбе.

Разговор этот читатели ведут на самом убедительном в мире языке — на языке фактов, на языке историй, с которыми сталкивает их не фантазия, а сама жизнь. Они повествуют о том, что вызвало их справедливый гнев, осуждение. Они противопоставляют одни жизненные истории другим...

Страницы моего блокнота, которые я осмеливаюсь (с некоторыми поправками и дополнениями) публиковать, продолжают этот разговор. И тоже языком фактов, чаще всего рассказанных друзьями-читателями.

Но начну я с отклика не на читательское письмо, а на

благородный призыв, обращенный моим другом Расулом Гамзатовым к каждому человеческому сердцу — сперва в его поэме, а потом со страниц «Комсомольской правды»: «Берегите матерей!»

* * *

Мамы уже нет... А я все еще мысленно говорю: «Прости меня, мама». Она рассказывала знакомым и близким, какой у нее заботливый сын: очень хотела, чтобы люди ко мне хорошо относились, чтобы уважали меня. Я и в самом деле старался спасти ее от болезней, от житейских невзгод, торопился выполнить ее нечастые просьбы. А слов, которыми сейчас до того переполнен, что они подступают к горлу, не высказал. Многие мы, увы, осознаем запоздало, когда исправить уже ничего нельзя. Случалось, забывал позвонить в назначенный час. «Я понимаю: ты так занят!» Иногда раздражался по пустякам... «Я понимаю: ты так устал!» Она все стремилась понять, исходя из интересов сына, которые были для нее подчас выше истины. Если бы можно было сейчас позвонить, прибежать, высказать! Поздно.

Я уже писал о том, как в годы войны мне, семнадцатилетнему парню, довелось стать ответственным секретарем ежедневной газеты на строительстве оборонного предприятия. Мама работала там же. По двенадцать часов в день... Но находила время забежать в редакцию и посмотреть газетные полосы: корректоров не было — вдруг проскочит опечатка. Она проверяла типографские оттиски, как мои домашние сочинения в довоенную пору.

Я видел: матери, работавшие сутками в тех цехах, где по медицинским законам мирного времени, отброшенным войной, можно было находиться не более четырех или пяти часов, отдавали детям все, что полагалось за «вредность» производства. И дети выпивали молоко, съедали хлеб, намазанный слоем масла, который был не толще папиросной бумаги. Сейчас я думаю, что мы порой чересчур уж бездумно принимаем жертвы своих матерей. Принимая их, мы обязаны всякий раз спросить свою совесть: «Не отдает ли нам мать последнее? Не отдает ли то, без чего не может выжить на земле человек?» Жертвенность материнского чувства естественна, но естественной должна быть и наша готовность противостоять благородной «неразумности» материнских щедрот, материнской отваги.

В муках мы, как писал Н. А. Некрасов, только «мать вспоминаем». Но и за спасением от первых детских недугов тоже обращаемся к ней. «Ничего страшного. Все пройдет...» — шепчет мама. И болезнь проходит, потому что рядом Она. «Ах, если б навеки так было!»

Матери... Им, как говорит героиня одной из моих повестей (да простится такое самоцитирование!), всегда дорог свой ребенок — пусть он не Моцарт, не прославленный ученый, не полководец-победитель, пусть не очень удачливый, даже убогий. Их бескорыстие, их верность и преданность поистине безграничны.

Способность к такой самоотверженности раздвигает стены старого дома, границы одной семьи — женщина, отдающая, казалось бы, все, без остатка своим собственным детям, создает вокруг себя климат сердечности, доброты, столь необходимый для физического и нравственного здоровья. Не только ее детей — для нравственного здоровья всей нашей планеты. Таково свойство подлинной человечности.

«Берегите матерей!» — провозгласил Расул Гамзатов. Можно было бы добавить: берегите матерей так, как они берегут нас! Этот призыв был бы красивым, но нереальным: то, что может мать, может только она. И все же... Благодарное стремление ограждать ее от бед, дарить ей покой и радость должно ни на миг не покидать нас.

Хоть известно, что в девятом круге «Дантова ада» мучаются «предатели благодетелей», и ныне, к несчастью, свершаются такие предательства. Мне довелось лет пятнадцать назад рассказать по радио о старой медсестре с подмосковной станции Фрязино, которая одна, без помощи мужа, вырастила сына, ставшего ученым. Он проник в глубины точных наук, но науки быть человеком, к сожалению, не постиг. Он забыл адрес дома, где родился, где был ребенком, где был ежеминутно опекаемым сыном... Я не назвал в той радиопередаче его имени и фамилии, потому что их не назвала в письме мать, отчаявшаяся, но не переставшая быть матерью: «Вы только упомяните станцию Фрязино: может быть, он услышит и приедет ко мне?» Она все еще надеялась, что душевная глухота сына — заболевание временное: «Может быть, он услышит...»

В ответ на радиопередачу пришли сотни горестных писем от матерей. Но почти ни в одном из них (почти ни в одном!) не было указано, где живет, кем работает тот, кто посмел пре-

зреть сыновние чувства, чувства благодарности, которые не имеют права блекнуть, тускнеть с годами. Матери оставались матерями...

Быть сыном или дочерью — это тоже высокое предназначение. Недавно, когда мама моя была тяжело, неизлечимо больна, я видел сыновей и дочерей, которые не просто приходили «навещать», а сражались за здоровье, за жизнь матерей своих. Да разве только в больнице...

Но есть и иное. Нельзя, разумеется, заставить жестокого человека стать добрым, нельзя заставить того, кто не испытывает чувств, их испытать. Но возвращать эти драгоценные чувства, воспитывать их в молодом поколении — обязанность литературы, искусства, школы, обязанность человечества.

Я согласен с Расулом Гамзатовым: «...тот, кто забывает свою мать, с легкостью продает и Родину». Я согласен: пусть в каждый дом придут сборники лучших (только самых талантливых!) литературных творений о матерях, пусть колыбельные песни всех народов не только звучат, но и будут изданы. Я согласен: пусть заботе о матерях будет посвящен каждый наш день, а один из дней в году удостоится прекрасного имени — День матери. Может быть, вслед за Годом ребенка всю землю обогреет Год матери?

Согласен я с писательницей Зоей Ивановной Воскресенской, которая мысленно обрисовала на страницах «Комсомолки» будущий памятник Матери: «Это должен быть не бронзовый монумент, а прежде всего живой, плодоносящий сад, как символ Жизни и Материнства. Это может быть своеобразный, единственный в своем роде национальный парк или сад».

...Я прихожу к маме, склоняюсь над гранитной плитой. Вовремя, при жизни их должны мы сказать матерям все доброе, что можем сказать, и сделать для них все доброе, что можем сделать. Преклонение перед материнскими жертвами, чувства долга и вины перед ними — это святые чувства. Прости меня, мама.

Вот одна из историй, рассказанных мне читателями...

* * *

Почему начались ссоры — трудно объяснить. Вероятно, потому, что не сразу уживаются люди с разными характерами под одной крышей. Нужен какой-то период «мирного сосуществования», чтобы приглядеться, привыкнуть, попы-

таться понять друг друга. Молодая жена инженера Виктора Л. не выдержала этого периода: в доме, куда она пришла, ее раздражало решительно все. И главным образом то, что мать Виктора продолжала заботиться о своем «велико-возрастном сыне» (так в минуты гнева молодая женщина именovala своего мужа).

Очередная ссора вспыхнула в день отъезда молодоженов на работу в далекий заполярный край, кажется, из-за того, что мать слишком уж тщательно и заботливо, как показалось жене, упаковывала вещи сына. Старая женщина не выдержала, разрыдалась и в сердцах воскликнула: «Да хоть бы никогда вы не возвращались! Не видеть бы вас совсем!..» Чего мы иногда не говорим сгоряча! В порыве горечи и обиды мы желаем самим себе как раз того, чего больше всего опасаемся, чего и представить-то реально не можем...

Но супруги восприняли слова нервной, много испытавшей за свои годы женщины всерьез, как некий заранее обдуман-ный демарш, и решили проучить ее. Решили не писать писем, не сообщать даже своего адреса. «Принципиально не будем сообщать! Должна же быть у нас гордость! — втолковывала молодая жена. — Надо хоть раз по-настоящему, до конца выдержать характер...»

Бывали минуты, когда Виктор порывался начертать на конверте адрес матери, но жена всякий раз убеждала: «Эх, не хватает характера! Гордости нет!.. Ведь она же крикнула: «Не видеть бы вас совсем!..» Пусть и не видит, пусть и не слышит!»

Через два года пришло время отпуска, и молодые супруги решили перед южным курортом заехать домой: двухгодич-ный срок показался им достаточным для проявления силы характера и перевоспитания старой матери. Они шли по улицам родного города дорогой непрерывных воспомина-ний: в этот кинотеатр бегали, удирая с уроков, здесь пяти-классниками первый раз поссорились и даже подрались (можно ли было в ту пору вообразить себе будущую совмест-ную жизнь!). Как приятелей, быть может чуть-чуть изменив-шихся, узнавали они витрины магазинов и милицейские будки, всегда напоминавшие им стаканы в подстаканниках, и маленький садик, в детстве казавшийся им большим... Все припоминали они и только двух узких окон на первом этаже не узнали. Они прошли мимо них и, лишь добравшись до угла дома, вернулись обратно. Вернулись — и вновь не

узнали: не было прозрачных тюлевых занавесок, позволявших, особенно по вечерам, обозревать комнату с улицы. Окна были наглухо задрапированы синими шторами.

«Вот видишь! — не без злорадства воскликнула жена. — Она не так уж переживала нашу ссору: все обновила!»

Мать не «переживала» — она просто не пережила разрыв с единственным сыном. «В прошлом году умерла, — сообщил сосед, не глядя в глаза приехавшим, а мрачно уставившись на их чемоданы. — Отчего? От сердца. А я так полагаю: с тоски она... Вещи ее в вашу комнату перетащили. Которая окнами во двор выходит, в «забронированную»... А ее комнату, стало быть, очередники заняли...»

В далеком Заполярье рассказал мне эту историю инженер-коллега Виктора Л. И я все не могу забыть ее. Гордость, характер, принцип... Как же смогли упрятаться за ними холодность и бессердечие? А разве так уж редко эти высокие слова употребляют для прикрытия весьма мелких побуждений и поступков? И разве не бывает, что эти всеми почитаемые понятия лишь маскируют наши человеческие слабости?

Обращаясь к фактам своей личной жизни, об этом пишет сотрудница одного ленинградского научно-исследовательского института:

«Может быть, мое письмо напомнит вам весьма банальный сюжет какого-нибудь рассказа или кинокартины. Может быть... Ведь в литературе и кино «треугольники» встречаются, пожалуй, не реже, чем в геометрии. Но что ж поделаешь, если в юности и я была, так сказать, одним из «острых углов» такого уже надоевшего читателям и зрителям лирического треугольника. За мной «ухаживали» (слово неприятное!) два студента, два закадычных друга. Их в институте так и звали — неразлучные Аяксы: один был Алешей, а другой — Яковом. И не случайно их имена объединили: Алеша и Яков как-то удивительно дополняли друг друга. Все делали вместе, даже курсовые работы... И это были такие курсовые, которыми интересовались важные научно-исследовательские институты!..

Я дружила с ними обоими, но любила-то, конечно, только одного из них, Алешу, и на четвертом курсе вышла за него замуж. И вот тогда «неразлучные Аяксы» разлучились. Яков не шел ни на какие объяснения, он даже здороваться перестал с Алешей. А на мои уговоры отвечал: «Что ж ты

думаешь, у меня нет мужской гордости?» И вот удивительно: «мужская гордость» проявилась, а гордостью факультета оба они быть перестали. Нет, конечно, с отличием окончили институт, но это было уже лишь в рамках «студенческих успехов», а творческая работа, так здорово начавшаяся, как-то увяла. Все это, видно, не дошло вовремя до распределительной комиссии, дирекция института продолжала считать их «неразлучными» — и обоих направила в одно и то же научное учреждение.

Прошло уже семнадцать лет, они и до сих пор там работают... Все чувства Якова ко мне, разумеется, давно уж иссякли: у него своя семья, дети. Но неразумная вражда осталась. Бывшие друзья не берутся ни за одно «общее» задание, а ведь вместе (я уверена!) они все делали бы гораздо лучше. Сколько раз моему Алеше были нужны, просто необходимы совет и поддержка друга студенческих лет!.. Яков же до сих пор упрямо бубнит: «Гордости у меня нет, что ли?» Умный человек, а тут ему ум изменяет! И вот я думаю... Гордость! Какое прекрасное чувство! Ведь оно должно возвышать человека, а не мешать ему. Разве может быть оно употреблено во зло людям?!

Собственно говоря, читательница из Ленинграда своим письмом уже ответила на ею же заданный вопрос. Разумеется, высокие чувства должны возвышать людей! Но ведь в гордость подчас рядятся мелкое, эгоистическое самолюбие, а то и просто упрямство. Желание не к месту «проявить характер» подчас оборачивается непростительной жестокостью к окружающим и даже к близким...

* * *

Бывает и так, что оказать сердечное внимание людям мешает наивная боязнь показаться сентиментальным, чересчур «чувствительным». Об этом написала мне Капа Л., ныне педагог, а в ту пору студентка педагогического училища из города Серпухова.

Наше знакомство с Капой началось давно, когда она еще была пятиклассницей. На одной читательской конференции я заметил бойкую девочку, которая без конца задавала вопросы. Ее интересовало все: и как стать писателем, и почему выходит так много скучных книжек, и как поскорей изучить язык хинди (он ее почему-то очень интересовал),

и как помириться с подругой таким образом, чтобы и себя не унизить и восстановить прежние отношения?..

Я не смог ответить на все ее «почему» и «как». Тогда девочка записала мой адрес и обещала прислать письмо. Однако первая весточка от нее пришла очень не скоро — лет через пять, когда Капа уже стала студенткой. Девушка рассказала о своей жизни:

«У меня нет родителей, я воспитывалась в детском доме № 48 в Москве, и я очень благодарна всем воспитателям, особенно Анне Ивановне Александровой за то, что я все-таки ощутила тепло родной семьи. Может быть, потому, что я рано потеряла родителей, меня особенно радует знакомство с каждым хорошим человеком. Больше всего меня интересуют «движения человеческой души»... Я учусь в педагогическом училище, в этом году была вожатой в четвертом классе и очень полюбила своих ребят. Я убедилась, что никакой строгостью и требовательностью не добьешься успеха, если неправильно поняла душу ребенка... Всем известно, что, вступив в пору юности, некоторые люди «стесняются» проявлять свои чувства. А как хорошо, когда человек не стыдится этого и говорит о своих чувствах к людям, родным и знакомым, открыто, душевно и чутко...»

Эти последние строки заставили меня призадуматься. Захотелось поделиться своими мыслями не только с Капой. И родилось открытое письмо — «Чувства на привязи», которое я напечатал в газете.

«Дорогая Капа! Ваше письмо взволновало меня. Оно вызвало тревожные думы о многом: о доброте человеческой, о том, что некоторые молодые люди, ваши и мои друзья, боясь показаться сентиментальными, впасть в «чувствительность», гасят в себе настоящие чувства. Искренние слова об искренних движениях души они считают старомодными: им было место в прошлом, а мы-де живем в пору суровой мужской сдержанности...

Впрочем, Капа, проблема, которая волнует вас, в каждом случае настолько интимно-индивидуальна, что не стоит сразу делать выводы. Лучше обращусь к фактам, с которыми столкнула меня жизнь.

Некоторые люди вырабатывают для себя этакие «правила движения души» — нечто вроде правил уличного движения. И следуют им, боясь, что за нарушение чье-то мнение наложит на них суровый штраф. Особенно печально, когда таким

правилам подчиняют свои душевные порывы и поступки совсем еще юные люди, только снаряжающиеся в самостоятельную дорогу.

Я слышал, как два друга, мальчишки-семиклассники, часто восторгались своей учительницей истории. Они с нетерпением ждали ее уроков... И мне, помню, очень хотелось, чтобы учительница хоть случайно услышала их разговоры: я боялся, что в школе, верные законам «мужской сдержанности», мальчишки не проявят своих чувств, и учительница не ощутит их восхищения, их благодарности.

И вот однажды старая учительница заболела.

— Ты ведь любишь ее? — спросил я одного из мальчишек.

Он мрачно кивнул в ответ: слово «любишь» показалось ему слишком громким.

— Так зайди к ней домой. Узнай, как здоровье...

Мальчишка помрачнел еще больше и невнятно пробормотал:

— Нельзя...

— Почему нельзя? — удивился я.

— Скажут, подхалимаж...

— Кто скажет?

— Найдутся такие.

— Неужели для тебя мнение этих самых «таких» дороже радости, которую ты доставишь больному и любимому тобой человеку?

Мальчишка молчал. А я не сдавался:

— Захвати других ребят. Купите цветы, зайдите к ней...

Тут уж мой семиклассник перепугался:

— Что вы, что вы?! Учителям нельзя делать подарки... Есть такая... ну, инструкция, что ли...

Мальчишка, путавшийся в правилах грамматики, уже твердо усвоил все предрассудки, которые мешали ему доставить радость старому человеку.

Кто в этом виноват? Быть может, родители, которые с сыном были неласковы да и вообще остерегались «непосредственности» в выражении чувств? Они предпочитали деловую осторожность и обдуманность каждого шага. А быть может, виновата была другая учительница, которая упорно приучала своих питомцев к сухому анализированию всего самого прекрасного: «Проанализируем любовные мотивы в лирике Пушкина». Она, как принято говорить, «проходила»

литературу. Хотя «проходить» можно лишь м и м о чего-нибудь.

А потом любимая учительница истории умерла. И я впервые видел, как мои друзья-семиклассники плачут... Неужели же непременно нужна такая трагедия, чтобы любовь вышла из глубокого «душевного подполья» и обнаружила себя?!

Скрывать, таить от людей то хорошее, что есть у тебя в сердце, это все равно что оставлять нетронутыми в недрах земли богатейшие залежи драгоценных камней, золотые бесценные россыпи. Нет, пожалуй, это еще бессмысленней и опасней... Надо их извлекать на поверхность и щедро дарить людям! Вот что я хотел сказать вам и вашим друзьям, дорогая Капа...»

* * *

Думаю, может возникнуть вопрос, почему я в своем блокноте так часто затрагиваю проблему отношения взрослых детей к своим матерям, которые вырастили их и отдали им все, что только можно отдать. Дело в том, что на эту «тему» я получил очень много читательских писем. И не только в ответ на радиовыступление, о котором уже упоминал... Почти четверть века назад я напечатал в журнале открытое «Письмо бывшему другу». Сначала обращение к «бывшему другу» я набросал на страницах блокнота. А уж затем...

«Ты, наверно, очень удивлен, что после нашего возвращения с Волги я словно бы забыл твой адрес и телефон. «Вот,— думаешь,— человеческая неблагодарность: жил в моем доме, спал на моей постели, ел за моим столом, моя мать ухаживала за ним, угадывала каждое его желание, а вернулся в Москву — и сразу испарился, исчез... Ни слова признательности!» Думая так, ты не прав. Я уже послал твоей матери три письма! Я поклонился ее рукам, то легким и нежным (помнишь, как она врачевала мою обгоревшую под солнцем спину?), то ловким и быстрым (помнишь, как она взбивала пену в корыте, как полола грядки за домом?). Я поклонился ее голосу, то осторожному, словно передвигавшемуся «на цыпочках», когда она боялась разбудить нас или помешать нашей шахматной игре, то гостеприимно зовущему («А у меня уж и стол накрыт!»). Я поклонился ее сердцу, которое любит весь мир, потому что ты, ее единственный сын, живешь в этом мире.

Да, я послал твоей матери три письма! Я написал ей и за себя и за тебя... Ведь сам ты, кажется, почти никогда ей не пишешь. В шкатулке, как самую большую драгоценность, хранит Анна Филипповна твое единственное за весь год письмо: «Я забыл дома библиотечную книгу. Она называется «Сага о Форсайтах». Лежит, кажется, в левом верхнем ящике. Пришли поскорей. Только не потеряй страницы: книга старая и вся рассыпается». Вот и все. Помнишь, оправдываясь, ты сказал, что не умеешь и не любишь писать письма? Однако ты чуть ли не каждый день атаковывал посланиями Марину. Она и читать, наверное, не успевала. Значит, все-таки умеешь? Сказал бы уж точнее: «Не люблю писать матери». Впрочем, не только писать — ты и разговаривать-то с ней не очень любишь. Меня, помнится, обжигали твои ленивые, словно в пространство брошенные фразы: «Эх, если б сейчас скатерть-самобранку! Да полную яств!», «Уж полночь близится... Вот бы постель сама собой расстелилась!» И постель расстилалась «сама собой», и «сам собой» накрывался стол. Тебе не нужно было скатерти-самобранки и ковра-самолета: их заменяла тебе маленькая сухонькая женщина, которая в совершенстве владеет волшебством материнской заботы.

Помнишь, когда ты кончал аспирантуру, твоя мать приехала в Москву? И как раз была встреча Нового года. Все сидели за столом, а она, накрывшая стол, устроившая все это торжество, была на кухне. Только в самый торжественный момент, в двенадцать часов, ты милостиво позвал ее в комнату. Ты стеснялся ее. И перед тем как позвать, долго предупреждал нас: «Всю жизнь прожила в деревне. Сами понимаете...» — и виновато поглядывал на Марину.

Но ты Маринку не знал!

Сейчас ты никак не можешь понять, почему она перестала встречаться с тобой, почему не отвечала на твои письма. Сколько раз, гуляя по лесу, мы ломали голову над этим вопросом! Сколько раз ночью, лежа в постели, перешептывались, стараясь постичь Маринино сумасбродство! А недавно, совсем на днях она мне все рассказала.

Помнишь, тогда, после Нового года, кажется дня через три, у твоей матери был тяжелый сердечный приступ (думаю, переутомилась, готовя наше новогоднее торжество). И в тот же день вы с Мариной должны были пойти на концерт... Марина, стоя в коридоре, слышала, как ты на ходу крикнул

матери: «Если будет очень плохо, постучи в стенку соседу. Он дома!» Марина ничего не поняла. Только позже, в консерватории, ты ей все объяснил. И в этот же вечер потерял ее навсегда. Ты восторгался, с какой силой и с какой легкостью ударял по клавишам виртуоз-пианист, а она слышала другие удары, слабые и беспомощные... Ей казалось, что вот сейчас, в эту самую минуту, стучит в стенку твоя мать, а сосед заснул и не слышит.

И еще хочу сказать: напрасно ты стесняешься своей матери. Сколько раз этим летом я часами беседовал с ней! И если б ты только знал, как тонко она все чувствует и все понимает! Она каждый раз хвалила тебя — и больше всего за то, чего в тебе нет: за сыновнюю чуткость и ласку. Это — мечта, быть может самая большая и последняя мечта в жизни... И ведь как нетрудно осуществить ее. Почему же ты не хочешь? Почему?

Всякий раз, когда я разговаривал с тобой об этом, ты отшучивался. И шутки были глупы, как все неуместные шутки.

Анна Филипповна постоянно горевала о твоём пошатнувшемся здоровье, о твоих нервах. Я знаю, почему именно о нервах: боялась, что ты сорвешься, надерзишь ей в моем присутствии — и вот заранее оправдывала, заранее извинялась. Не знала она, что мы с тобой вместе участвовали весной в спартакиаде, что вместе проходили медосмотр и что при мне врач, похлопав тебя по плечу, сказал: «Моему бы сыну такое здоровье!»

Впрочем, напрасно Анна Филипповна волновалась: ты за все лето ни разу не сорвался, ни разу не нагрубил — и это уже считал подвигом, этим аргументировал, отвечая на мои упреки. Ты не кричал на мать, но ведь и на других, совсем незнакомых людей ты тоже не кричишь. Они, однако, не называют тебя за это своим сыном!

Может быть, еще там, в Варенцах, нужно было решительней нападать на тебя... Но пойми: есть вещи, о которых нельзя говорить громко. Есть вещи, которые трудно доказывать — так они ясны всякому, в ком есть человеческое сердце. Сложно объяснить человеку, что он не должен разрушать стены дома, спасающего его от непогоды, что не должен сжигать поле, которое принесет ему хлеб, что не должен убивать сердце, вернее и преданнее которого он не отыщет нигде на свете...

Да, все лето ты был гостеприимен и очень внимателен. Но

что это меняет? Могу ли я ценить человека лишь за то, что он хорошо относится «лично» ко мне? Разве это не будет с моей стороны отвратительным проявлением эгоизма?

Вот я, кажется, и объяснил тебе причины своего охлаждения. Может быть, мое письмо убедит тебя в чем-нибудь, а может, и нет. Но я буду по-прежнему часто писать твоей матери.

Желаю тебе всего, чего желает Анна Филипповна. Большого пожелать невозможно. И вот странно: я зол на тебя, а хочу, чтобы сбылись все твои надежды, потому что это так обрадует добрую старую женщину.

И еще помни, мой бывший друг, что матерью люди издавна называют Родину...»

Потом я прочитал по радио письмо одинокой женщины, о котором уже вспоминал. Письмо, подписанное таким коротким и таким огромным словом — «Мать»: «Как больно матери, воспитавшей своего ребенка, под конец жизни не видеть от него ни внимания, ни привета, ни уважения. Разве она всего этого не заслужила?..»

Нелегко сказать плохое о своем сыне. Матерям свойственно защищать детей, даже когда они виноваты, когда не правы. И трудно винить в этом ослепленное любовью и благородное в этом ослеплении материнское сердце. Если уж одинокая женщина написала такое письмо, значит, очень глубока была ее рана и очень уж глубока вина человека, имя которого она (мать!) все-таки не назвала...

На мое «Письмо бывшему другу» и на выступление по радио я получил сотни ответных писем. Люди звонили по телефону, приходили ко мне домой...

Я рассказывал уже и об инженере Викторе Л. и о смерти его матери. Никогда, я думаю, не простит Виктора его совесть... Тут уж ничего не поправишь. Но я поведал об этом случае для того, чтобы он послужил уроком, прозвучал предупреждением всем, кто не умеет беречь матерей, не понимает материнских тревог, пусть порою чрезмерных, не желающих считаться с возрастом давно уже взрослого «ребенка». Что ж поделаешь: для матери сын всегда будет только сыном, а дочь — дочерью. Этого грех не понимать. С этим грех не считаться.

Но все же разговор о сыновнем и дочернем долге принес мне гораздо больше радости, чем горьких минут.

Вот письмо радиослушательницы Тони Назаровой. «Нас у мамы трое: я и еще два брата. Папа погиб на войне. Мама воспитывала нас одна в тяжкие военные годы, подчас отказывала себе во всем, буквально во всем. Разве можно это забыть? И вот каждый год, в день маминого рождения, братья непременно приезжают к нам в Москву (один работает в Ленинграде, а другой — в Ярославле).

Задолго до маминого дня рождения мы в письмах начинаем советоваться друг с другом: что маме подарить, чем порадовать ее? Хотя мы знаем, что ей от нас ничего не надо — были бы мы только живы-здоровы! Помню, когда я была еще маленькой и мы (это было в годы войны) жили очень трудно, мама плохо одевалась, и я всегда мечтала, что, когда вырасту, стану одевать маму во все самое лучшее, буду покупать ей самые интересные книги и билеты на самые лучшие концерты (мамочка наша очень любит книги и музыку). И вот сейчас я, как только узнаю, что в журнале напечатано что-нибудь интересное, о чем много спорят и говорят, так сразу же всеми правдами и неправдами добываю этот журнал для мамы. И сама читаю ей по вечерам вслух (у нее плохо с глазами). И за билетами на концерт иногда стою часами, чтобы мама получила удовольствие.

Она уже старенькая у нас, мама, и считает, что одеваться по моде ей ни к чему. Но мы все трое следим, чтобы она всегда была хорошо одета. И никакой в этом нет нашей заслуги — мне кажется, просто не может быть иначе. Братья Миша и Николай, когда приезжают, то первым делом проверяют, как я ухаживаю за мамой... И ругают меня, говорят, что я недостаточно внимательна, хотя я, кажется, делаю все, что могу. Пусть живет она подольше, наша дорогая мамочка! И всегда будет здорова!..»

А вот строки из письма москвички Нелли Мельниченко: «Роднее и дороже мамы нет никого на Земле! Когда моя мама болеет, я хожу сама не своя... Когда я еще девочкой получала в школе пятерку, то прямо еле-еле до дому добегала: не терпелось скорее доставить маме радость! И теперь, когда у меня на работе или в личной жизни какой-нибудь успех, я тоже бегу к маме, к самой первой: кто же больше, чем она, порадует за меня?»

Таких писем, к счастью, не два и не три...



В одном докладе, произнесенном на творческом обсуждении в Институте мировой литературы, я услышал поразившую меня фразу: «Как сказал главный писатель Александр Сергеевич Пушкин...» Да, главный! В том смысле, что самый непостижимый, свершивший открытия, без которых невозможны были бы открытия многих других, пришедших вслед за ним, великих мастеров слова. Главный в том смысле, что он, я думаю, сказал все обо всем, что касается мира человеческих чувств, страданий, надежд, исканий. Он мечтал, чтобы гений и злодейство были «несовместны».

«Служенье муз не терпит суеты» — в этом был свято уверен «главный писатель». И вот я вижу, как безостановочно суетится буржуазный Запад. Как идет наступление на «разумное, доброе, вечное». Зачем буржуазному Западу «вечное», если оно завладевает человеком раз и навсегда? Бизнесу нужно «модное»: купил, поносил, сбросил — покупай другое! Так выгодно. Купля-продажа, купля-продажа. Некогда остановиться, оглядеться, послушать симфонию (это так долго!), прочитать эпохальный роман (это так длинно!): давайте что-нибудь покороче и такое, что можно было бы совместить с баром, с ресторанным звоном тарелок и вилок.

Совместно ли это с искусством, с бескорыстным «служеньем муз»? И вообще читают ли на Западе классическую литературу? Читают, конечно. А многие ли читают? Судите по тиражам книг: нам они кажутся микроскопическими. Разумеется, не считая «бестселлеров», то есть опять же произведений «модных». Но мода на книги проходит так же быстро, как на галстуки или пиджаки.

Разве красота блекнет от того, что люди с восторгом взирают на нее веками? Разве от наших восторженных взглядов стираются линии, тускнеют краски знаменитых полотен?

Трудно соединить малоэстетичное слово «бестселлер» с творениями Льва Толстого, Достоевского, Чехова, Шекспира, Золя, Голсуорси, Томаса Манна... А чтобы можно было соединить, надо выжать при помощи ультрасовременных соковыжималок все соки художественности, все витамины высокой философии, поэтичности, романтики — и оставить голый сюжет. Что такое «адаптированные» издания, столь ходкие на Западе? Это — высохшая листва, это — некогда роскошное

древо, лишенное корней, сучьев, плодов, а стало быть, обескровленное.

Говорят, что на Западе модны детективные произведения. По моим наблюдениям, не всякие: преимущественно те, которые требуют лишь напряжения нервов, а не ума, благородных чувств. Когда я там называл, к примеру, гигантские тиражи, какими изданы у нас романы Александра Дюма, это вызвало удивление: «длинно писал», «устарел». Однажды мне прямо так и сказали: «Дюма?.. Это же о том, что было во Франции при короле? Даже республики тогда еще не было...» Я попытался возразить: суть-де не в этом, а в том, что писатель воспевал вечные человеческие достоинства: рыцарство, верность, отвагу. Молчание было мне ответом. Вот уже и д'Артаньян устарел...

Один западный журналист спросил у меня:

— А не слишком ли вы, советские писатели, романтизируете своих юных персонажей? И вообще, не приукрашиваете ли вы истоки, с которых начинается человеческая жизнь?

— А не приукрашивал ли эти истоки Виктор Гюго, посылая на баррикады Гавроша? А не идеализировал ли эти самые истоки Марк Твен, рассказав о Томе Сойере, энергия добра и справедливости которого неиссякаема, хоть и прикрыта чуть-чуть мальчишеской бравадой? А не идеализировал ли этот изначальный период бытия человеческого бессмертный Толстой, с горечью и восторгом поведав нам об отваге Пети Ростова?

Прошли десятилетия с тех пор, как впервые пришли на книжные страницы эти герои. «Посмотрите: настоящий Гаврош! — иногда восклицаем мы. — Это живая Наташа Ростова!» Разве сравнишь реально существующего человека с существом «приукрашенным»? Великие писатели подарили всем юным поколениям грядущей поры друзей до того привлекательных, до того живых, что в них невольно, не отдавая себе порою отчета, хочешь перевоплотиться, поступки которых способны стать и стали мечтой.

Мы ничего не приукрашиваем — мы просто хотим, чтобы наши дети, наше юношество верили рожденным летать, а не ползать, рожденным творить, а не разрушать, рожденным спасать, исцелять, а не убивать и душить. Это — достойнейшая традиция нашей литературы.

И не являются ли нравственная вседозволенность, проповедь пошлости и человеконенавистничества, «воспитываю-

щие» многих юных читателей и зрителей на Западе, одним из самых страшных преступлений буржуазии перед завтрашним днем планеты?

Советские люди, громившие фашизм и отправлявшие по Ладоге в эвакуацию детей из блокадного Ленинграда, спасали наше будущее... Не забыть, никогда не забыть кадры фильма-эпопеи «Великая Отечественная», запечатлевшие леденящий душу миг нападения фашистского ястреба на катер с ленинградскими детьми и то, как матери с берега видели гибель своих сыновей и дочерей. Как видели белые панамки, плывшие по воде... Что это — «фильм ужасов»? Нет, фильм, заставляющий ненавидеть ужасы, восставать против них, сражаться!

«Служенье муз не терпит суеты...» Особенно суеты низкой, ставящей страстишки выше страстей, а интересы коммерции выше любви, искусства.

Оготело и корыстолюбиво суетятся на Западе так называемые «люди бизнеса». Их корысть все чаще пахнет человеческой кровью... Суетятся и дельцы от «искусства». Им противостоят талант, интеллект и отвага честных художников Запада. Этим художникам нелегко: в их странах маловато читают, вяло посещают концерты, спектакли и выставки.

Увидев нескончаемые очереди возле нашего Музея изобразительных искусств, осененного именем Пушкина, иностранцы не верят глазам своим. А услышав о том, что книги, издаваемые фантастически огромными тиражами, исчезают буквально за день, что в концертных и театральных залах не отыщешь свободного места, иностранцы не верят ушам своим. Столь неудержимое стремление к богатствам духовным — наше счастье, наше бесценное завоевание.

* * *

Некоторые полагают, что детская литература не имеет (или не должна иметь!) никакой специфики, никаких особенностей. Это, бесспорно, глубокое заблуждение: восприятие жизни, явлений литературы и искусства в десять лет и, допустим, в сорок, конечно же, разное. Но в чем эта специфика? Она вовсе не щит для прикрытия каких-либо слабостей, а лишь еще одна трудность, которую надо преодолеть писателю в своем творчестве. Я уже писал об этом. Но что поделаешь... Истина от частого употребления истиной быть не перестает.

А. С. Макаренко утверждал, что особенность детской литературы состоит не в том, «что написано, а в том, как написано». То есть, по его мнению, ребенку можно рассказать о самых сложных и значительных событиях — касается ли это политической сферы, свершений глобального масштаба или личной человеческой жизни. Но чтобы юный читатель понял, о чем ему толкуют, форма повествования, обращенного к нему, чаще всего должна быть о с о б о й. Владение этой формой при разговоре с маленьким читателем о глубоких, сложных проблемах жизни и есть особенность дарования детского писателя.

Безусловно, все талантливые произведения, написанные для детей, становятся интересны и взрослым. Но отнюдь не все книги, созданные для взрослых, могут быть понятны, доступны детям. Изучение этой проблемы показывает, что из сокровищ «взрослой» литературы дети отобрали в круг своего постоянного чтения лишь очень немногие книги — чаще всего это произведения с героическим или приключенческим сюжетом (допустим, «Робинзон Крузо»).

«Досрочное» обращение детей к произведениям, для них не написанным, нередко приносит вред: книга иногда уже не возвращается к читателю, который неверно понял (не мог верно понять!) ее при первом знакомстве, в детском возрасте, и потерял к ней интерес.

Иные наивно думают, что детская литература — это литература лишь о мире детей. Но талант настоящего детского писателя состоит в умении поведать маленькому читателю обо всех больших и важных событиях окружающей его жизни. Поведать так, чтобы он все понял, во всем разобрался.

Детская литература, как известно, включает в себя все жанры — прозу и поэзию, драматургию и сценарное искусство, публицистику и фантастику, научную популяризацию и столь любимые ребятами приключенческие повести и романы. И в каждом жанре у нас работают мастера, имена которых юные читатели хорошо знают, без произведений которых трудно представить себе сегодняшнее детство.

Успехи лучших детских писателей основаны, я думаю, на высоком доверии к духовным и нравственным возможностям ребенка, на убеждении, что он отличается от нас, взрослых, лишь меньшим жизненным опытом и меньшими физическими возможностями, но что у него такая же, как у нас, спо-

способность радоваться и страдать, смеяться и плакать, восхищаться и разочаровываться... Лишь тот писатель, который общается со своими маленькими (разумеется, лишь в смысле возраста!) друзьями, как говорится, «на равных», который не только любит, но и у в а ж а е т их, заслуживает ответную любовь и доверие.

Книги многих мастеров детской литературы не просто «иллюстрируют», а неопровержимо утверждают эту мысль.

О двух таких мастерах я расскажу. Оба они были моими друзьями. Один из них — Николай Носов — адресовался к малышам, младшим школьникам, а другой — Лев Кассиль — к ребятам, на груди у которых алые галстуки.

Волшебники, как известно, бывают разные: добрые или злые. Николай Носов был добрым волшебником потому, что владел таинственным «золотым ключиком» к сердцам миллионов юных граждан нашей страны и всей планеты: книги его переведены на десятки языков мира, они совершили путешествие по всем континентам. И он был не просто добрым волшебником, а, я бы сказал, добрейшим. Да еще и веселым!

Некоторые наивные люди полагают, что «весело» и «не-серьезно» — одно и то же. О, как они ошибаются! Именно юмор, занимательность — это, как не раз говорилось, кратчайшее расстояние между самыми серьезными проблемами и сознанием юного человека. Под обложками книг Николая Носова, словно под крышами гостеприимных домов, поселились неутомимые фантазеры.

Кстати, именно так — «Фантазеры» — назывался один из сборников писателя. Но и сам он, как все настоящие волшебники, был редкостным фантазером: его фантазия и подарила нам знаменитого Незнайку со всеми увлекательнейшими его путешествиями и в кругу друзей, и в Солнечном городе, и на Луне. Вроде бы просто смешное, приключенческое произведение... Но нет! В этой веселой трилогии рассказано о важнейших проблемах, которые беспокоят не только юных, но и взрослых, в ней писатель выступает против того, что чуждо законам совести, что чуждо сердцам честных людей. Помните мудрые пушкинские строки:

Сказка — ложь, да в ней намек,
Добрым молодцам урок!

Сколько добрым молодцам и молодым роман-сказки Николая Носова про Незнайку преподали бесценные уроки — нравственные и даже политические! Они воспевают силу человеческого разума, стремление к знаниям, справедливость, свободу. Вот видите, как много полезного могут свершить остроумные книги, если юмор в них живет не сам по себе, а является верным средством для достижения благородных художественных и воспитательных целей!

Но творческая дорога Николая Николаевича началась не с Незнайки... Он хотел быть «знайкой» в самом истинном значении этого слова и поэтому испытал в жизни не одну профессию. Был он и кинорежиссером... В годы минувшей войны будущий писатель создавал кинофильмы для Советской Армии и был награжден за это боевым орденом Красной Звезды. Можно сказать, что светом красной звезды было озарено все его творчество.

Сперва появились рассказы для детей. Один из них назывался «Ступеньки»... Помню, Лев Кассиль сказал однажды, что так вот, начав со «Ступенек», Николай Носов зашагал по высоким ступеням талантливой литературы. И достиг он завидных вершин, завоевал любовь читателей всех возрастов. Потому что полюбили его не только ребята, но и их мамы и папы, бабушки и дедушки. Да и как было не полюбить: писатель-волшебник помогал взрослым растить детей настоящими гражданами.

Потом появились повести «Веселая семейка», «Дневник Коли Синицына».

Веселая «семейка» произведений Н. Носова становилась дружной, прекрасной семьей, известной каждому ребенку в стране.

Потом родилась повесть «Витя Малеев в школе и дома». Хотя в ней не раз упоминаются двойки и прочие школьные отметки, но не о них произведение, а о том, что без знаний не может быть полноценного и, как мы говорим, гармонично развитого человека: ни на земле, ни на воде, ни в космосе ничего без них не добьешься! И еще повесть про Витю Малеева утверждает, что в борьбе за знания нужно быть волевым, сильным, настойчивым.

После этого произведения можно было с уверенностью сказать, что высокоталантливое творчество Николая Носова получило всенародное и международное признание: я уже писал, что трудно найти страну, где бы детские книжки изда-

вались, а носовских книг не было. Недаром Валентин Катаев писал: «Носов — умный, вдумчивый художник, полный неистощимого юмора, автор поистине классических книг: «Веселая семейка», «Дневник Коли Синицына», «Витя Малеев в школе и дома», «Приключения Незнайки» и множества маленьких шедевров в две-три странички, каждый из которых блесит, как яркая жемчужина в довольно объемистом ларце нашей детской литературы».

«Повесть о моем друге Игоре»... Так назвал писатель произведение, посвященное годам становления характера его внука. Но книга могла бы быть названа и повестью о «друге Ване», или «друге Пете», или «друге Сереже», или «подруге Кате», ибо каждый мальчишка и каждая девчонка узнают на ее страницах черты своих характеров, встретятся со своими радостями и бедами, со своими мечтами и надеждами. Произведение, написанное вроде бы об одном юном человеке, стало произведением о многих представителях юного поколения.

Жизнь Николая Носова, полная творческих исканий и открытий, сама по себе была удивительной повестью. Не раз на читательских конференциях его просили: «Расскажите, пожалуйста, о себе!» И он откликнулся на эту просьбу биографической книгой «Тайна на дне колодца».

В Доме детской книги мне показали однажды, сколько писем приходит на имя писателя-волшебника. Тысячи!.. А ведь пишут только тому, кому верят, с кем хотят поделиться самым сокровенным, с кем хотят посоветоваться. Ответить всем своим читателям по почте Николай Носов, конечно, не мог. И автобиографическая повесть стала его ответным письмом...

Да, мне выпала радость дружить с Николаем Николаевичем... Книжки с его автографами храню как святыню. Помню беседы с ним: они всегда дарили глубокие раздумья о ранней поре человеческой жизни, которая определяет и путь и будущее, о добре, которое должно повсюду торжествовать, и о зле, которое везде должно быть побеждено... Во имя этого торжества и во имя этой победы жил на земле Николай Носов.

Потом болезнь поборол его физические силы... Но писатель — это прежде всего его произведения. Умные, веселые, мастерски написанные книги Николая Носова продол-

жают путь по нашей земле и по всему белому свету. Значит, и жизнь писателя-волшебника продолжается!

Говорят, что грядущее юного человека, его «взрослые» годы во многом зависят от того, какие книги он прочитал в детстве, с какими литературными героями сдружился. Думаю, тот, кто подружился с книгами Носова, станет Человеком с заглавной буквы — отважным, жизнерадостным, беззаветно любящим нашу Родину. Спасибо за это замечательному художнику слова, добрейшему волшебнику и другу детей!

Наверно, все, кто пишет о Льве Кассиле, вспоминают высокие принципы, которые окрыляли и вели в день завтрашний «дорогих его мальчишек»: «Отвага. Верность. Труд. Победа». Эти девизы чести были начертаны и на гербе, украшавшем двери кассилевской квартиры, и на стене его рабочего кабинета. Но все равно я тоже соотнесу суть этих лозунгов чести, этих призывов с характером и поступками их автора. Ибо эти девизы Лев Кассиль утверждал каждым своим жизненным шагом.

ОТВАГА. Кассиль был отважен.

Жена адмирала А. Николаева, бывшего члена Военного совета Северного флота, рассказывала мне о величайшем уважении, с каким ее муж, умерший вскоре после войны, относился к североморцу Льву Кассилю.

Около двадцати пяти лет мы дружили с Львом Кассилем, но он никогда не показывал мне своих фотографий военного времени. Хотя что может быть красивее и эффектнее морской формы? Наверно, потому и не показывал, что слишком она ему шла, эта форма. А вдова адмирала показала фотографии, и я увидел на груди у своего друга боевые награды.

Но не только на фронте проявлял он отвагу. Он проявлял ее всюду: отвечая на несправедливую рецензию и защищая книгу, которую считал талантливой; выступая на читательской конференции и сокрушая снобизм, которого органически не выносил, эстетство или барское высокомерие какого-либо участника дискуссии; по-маяковски вступая в бой с нашими идейными противниками за рубежами страны.

Я был с ним на международных симпозиумах, посвященных детской литературе. Он не давал спуску никому,

кто пытался хотя бы одной фразой, хотя бы тоном голоса или выражением лица проявить неуважение к тем принципам и нормам, которые исповедуют наша советская культура, наше общество.

Лев Кассиль часто напоминал мне слова известного критика: «Писатель, который всем нравится, вызывает у меня подозрение». Он не стремился понравиться, не умел подлаживаться.

Всюду и везде он отважно и бескомпромиссно отстаивал то, что считал честным и благородным.

Особую непримиримость проявлял он в защите нашей детской литературы, которая была не просто призванием его жизни, а самой его жизнью. Он давал отпор литераторам и критикам, относящимся к этой литературе с той снисходительностью, с какой иной недалекий взрослый человек относится к самому ребенку, к самому детству. И постоянно доказывал, что «специфика» детской литературы — не минус что-то, как думают некоторые, а плюс что-то, ибо в ней, в детской литературе, должно присутствовать все то же самое, что и во «взрослой», но плюс к тому детский писатель должен обладать даром проникновения в сложный мир детской психологии, детского мышления.

В течение десятков лет мы с Львом Кассилем работали в бюро творческого объединения детских и юношеских писателей Москвы. Он превратил это объединение в истинно творческое, создал в нем особую к а с с и л е в с к у ю атмосферу принципиальности и доброжелательства.

Некоторые литераторы как бы стесняются назвать себя детскими. Л. Кассиль всюду открыто и смело заявлял: «Я — детский писатель!», ибо считал, что нет ничего выше служения детству, а значит — будущему.

ВЕРНОСТЬ. Лев Кассиль был безгранично в е р е н всему, что любил.

Он любил нашу Советскую землю. Ее людей. Ее детей. Ее литературу. Верность этому главному в своей жизни он подтверждал каждой книгой, каждым поступком литератора и гражданина.

Он любил своих собственных детей — Иришку, Володю, Диму. Думал об их будущем, гордился всем хорошим и добрым, что они успели совершить.

Помню, с каким волнением сообщал он мне о хирургических успехах талантливого врача Володи. И тут для него

было важно не просто то, что его сын сумел проявить себя, а то, что каждый его успех — это спасенная жизнь, чье-то сбереженное здоровье.

Вообще поступки Лев Кассиль оценивал только с позиций их нужности людям, обществу.

Однажды я выступал в училище, которое готовит театральных художников и бутафоров.

— Это как раз то, о чем мечтал мой Димка! — сказал Лев Кассиль. — Но поступить туда, наверно, нелегко.

— Давайте я поговорю с директором. Он — милый, сердечный человек...

— Ни в коем случае! Дайте мне только адрес этого училища.

Диму приняли. Он стал театральным художником. А после училища получил повестку из военкомата. Кто-то, я слышал, вздыхал по этому поводу, кто-то опять предлагал с кем-то поговорить... Кассиль категорически отверг и это. Он не терпел привилегий. В литературных вечерах никогда не просил «выпустить поскорее», чтобы потом уехать. Я видел однажды, как после такого вечера зрители в гардеробе единодушно пропускали его вперед. Он дождался, пока не подошла его очередь. Он был щепетилен и интеллигентен в самом подлинном, высоком значении этих слов.

Огромной его любовью была жена — Светлана Леонидовна Собинова. И их дочь Иришка. Верность этой любви мой незабвенный друг пронес через десятилетия.

В журнале «Знамя» были опубликованы страницы кассилевского дневника, тщательно подготовленные к печати Агнией Барто. Меня потрясли строки, посвященные Светлане Леонидовне... Их нельзя пересказать «своими словами». Их нужно услышать из уст самого Кассиля... А для этого — прочитать его дневник.

Лев Кассиль был верен друзьям. Более четверти века каждый день начинался с того, что я слышал его голос, и заканчивался тем же голосом друга.

Нет слов, чтобы выразить мою благодарность. Нет слов, чтобы выразить мое горе...

ТРУД. Его без конца уговаривали поберечь себя. Укрыться от бушующего океана дел, просьб, обязанностей, забот в тихой «переделкинской бухте».

Сейчас я думаю: «Как ужасно, что он не внял этим голосам!» И в то же время уверен, что если бы случилось чудо

и Кассиль заранее узнал, к чему его приведут сверхперегрузки, он все равно бы не отказался от них, ибо тогда перестал бы быть самим собой, Львом Кассилем — писателем, вбирающим в себя ту жизнь, которую невозможно наблюдать издали или даже вблизи, а в которой надо самому принимать участие. И другом детей он был не на расстоянии, а в ежедневном общении с ними. Он не мог перестать быть тем, кем он был, ибо всегда был только самим собой!

Лев Кассиль не мог отказаться от своих, кассилевских, норм жизни, «чтоб удлинить собрание сочинений», как сказано в одном из стихотворений Давида Кугультинова, посвященном писательскому долгу, писательской чести.

К телефону он, если был дома, всегда подходил сам. Выслушивал просьбы... А они были ужасающе разнообразны: выступить в школе, продиктовать статью в завтрашний номер газеты, прочитать рукопись (а страниц в ней могло быть сколько угодно!), встретиться со слушателями Народного университета культуры, слетать к пионерам Артека, открыть и, естественно, закрыть вечер в одном из Домов творческой интеллигенции, просто выслушать и посоветоваться, принять участие в научном педагогическом форуме... Он почти никому не отказывал.

Сейчас я думаю: «Почему мы не уговорили его сберечь хоть несколько лет жизни за счет выполнения чужих просьб?» Но уговорить его было нельзя. Самое прекрасное и самое удивительное состояло в том, что, пообещав, он выполнял свои обещания. Все до одного!..

Трудолюбие его было непостижимым.

«Сегодня ночью буду читать рукописи своих студентов!» — сообщал он мне как преподаватель Литинститута имени М. Горького.

«Вот когда все улягутся спать, прочитаю рукописи новых учебников по литературе и книг для чтения», — говорил он как член-корреспондент Академии педагогических наук СССР.

«Когда же он спал? — думаю я сейчас. — И почему я ему не объяснил, что не очень здоровый человек его возраста спать и отдыхать просто обязан!»

Вместо этого я и мои друзья частенько «догружали» его. Приносили свои рукописи, новые повести и рассказы. Ждать ответа приходилось недолго: утром следующего дня Кассиль уже сообщал по телефону:

— Ну, я прочитал...

Много, очень много вечеров я провел в беседах с моим другом. Но и вечерние беседы никогда не были для него отдыхом. Он советовался, как бы порезультативнее кому-то помочь, кого-то поддержать, как организовать что-то полезное для своих юных или взрослых друзей.

А ведь, кроме всего этого, у него было и главное дело жизни — собственно писательский труд, которому он отдавался с одержимостью и сомнениями, которые никогда не покидают мастеров.

И еще он вел дневник... И еще не пропускал ни одного интересного концерта, ни одного значительного спектакля, ни одного яркого фильма... И еще ни на день не изменял спорту, а значит — летал на Олимпиады, не только был постоянным болельщиком, но и неустанно заряжал спортсменов своим оптимизмом, своими энергичными отчетами, репортажами, очерками.

Один знаменитый композитор избегал встречаться с авторами полюбившихся ему произведений: опасался, что кто-нибудь из них сам живет не по тем законам и нормам, которые проповедует для других. Лев Кассиль жил так, как советовал жить другим.

Он призывал людей к неутомимой деятельности во имя добра. И сам был тружеником на этой прекрасной ниве.

ПОБЕДА. Время от времени я прихожу на могилу своего дорогого друга.

Памятник — это гранитное пламя. Пламя честности и мужества, которые он всю жизнь стремился разжечь в сердцах своих читателей — юных и взрослых.

Памятник — не в глубине Новодевичьего кладбища, не в тиши, а прямо возле дороги. Там, где движение, где то и дело проходят люди. Это символично: всю жизнь он был среди потока человеческих судеб, страстей, радостей, печалей.

«Ой, Кассиль умер! — слышу я восклицания старых и молодых. — Не может быть! Кассиль умер...»

Они, вероятно, читали некрологи, посвященные ему, но забыли об этом, потому что жизнь его, как и жизнь Николая Носова, продолжается: книгами, добрыми делами, которые он совершил. Люди числят его живым. Значит, он победил смерть!

Улица в городе Энгельсе, на которой он родился, стала

улицей Льва Кассиля. В Москве, на Ленинградском шоссе, одна из самых юных библиотек наречена его именем. Дети продолжают посылать ему письма... По улицам Уфы шагает пионерский отряд имени Льва Кассиля. На читательских конференциях ребята просят: «Передайте, пожалуйста, Льву Кассилю, что мы любим его. Что мы его ждем...»

Значит, он победил!

Кассиль не оставлял без ответа ни человеческих просьб, ни вопросов, ни писем. Много лет переписывался он с уфимскими пионерами из отряда, носящего ныне его имя.

Вот строки из одного кассилевского письма:

«Сегодня, приехав в осиротевшее Переделкино, я сходил на могилу Корнея Ивановича Чуковского, постоял там, возле огромного холма из цветов, запорошенных снегом. И у меня к вам, дружочки, просьба: когда закончите читать это мое грустное письмо, встаньте всем отрядом и почтите минутой молчания память дорогого всем нам... человека и писателя».

Сейчас у меня к читателям та же просьба: встаньте, помяните еще раз моего друга...

* * *

Хочу особо остановиться на литературе юношеской. Специфика ее, на мой взгляд, совсем иная, чем детской литературы. Ведь человеку в 15—16 лет доступны все сокровища мировой классики. Он читает «Анну Каренину», «Братьев Карамазовых», «Степь»... Так верно ли будет, если мы начнем создавать для этого читателя какие-то особые по форме произведения! Но в чем же тогда особенность юношеской литературы? А в том, я думаю, что юношеский писатель поднимет проблемы, которые в первую очередь волнуют человека, стоящего на самом пороге самостоятельной жизни. Это уже вопрос не формы, а только и только содержания. Своих же проблем у юного человека немало! И немало специфически возрастных особенностей. Воспитание подростков и юношества — дело нелегкое. Есть тут и проблемы, тревожащие нас всех. Они важны для юношеской литературы.

...На читательской конференции ребята один за другим поднимались на сцену и называли свои самые любимые книги. Лица и голоса были разные, а названия «самых

любимых» произведений одни и те же. После конференции я спросил у одного из подростков:

— Ну, а «Три мушкетера»?

Оказалось, что с этой книгой он вообще не расстается.

— А почему не назвал ее?

— Да как-то...

Мне стало обидно за «Трех мушкетеров» и страшновато за то, что книги (действительно прекрасные!), которые он называл со сцены, могут стать чем-то «дежурным», а образы, одухотворяющие их страницы, перестанут окрылять разум и сердце этого мальчишки и его одноклассников. Благородные понятия, которые священны для нас и которыми живут герои повестей и романов, названных участниками того давнего литературного утренника, не могут, не имеют права тускнеть, стираться в сознании и душах ребят из-за «буднично заученного» употребления.

В зале детского театра на спектакле талантливым и волнующем (в самом трагическом его эпизоде!) откуда-то с бельэтажа вдруг доносится смех. Это бывает не часто. Но все же случается... И в такие минуты трудно сказать, что больше потрясает: трагизм происходящих на сцене событий или боль за душевную глухоту и бестактность тех нескольких зрителей, которых мы научили лишь смеяться, но не смогли научить ужасаться несчастью другого человека, сострадать ему.

С чего начинается та, чаще всего незаметная, словно притаившаяся в чертополохе тропинка, что приводит подростка к равнодушию и ко злу? Думаю, что началом ее нередко бывает цинизм. Коварное, разъедающее душу свойство... И одним из самых эффективных лекарств против него является, на мой взгляд, приобщение юного человека не только к высоким словам, но и к высоким делам. Единство таких слов и таких дел — гарантия нравственного здоровья. Помочь подростку достичь этой необходимой гармонии должны мы, взрослые люди, и, конечно, писатели.

Вспоминаю военную пору... Уральский алюминиевый завод потерял, словно воинов в бою, всех своих братьев: эти заводы были разрушены врагом. Но Уральский алюминиевый, работая и за себя и за них, дал стране столько металла, сколько нужно было для производства самолетов и другого вооружения. А строители, возводя новые цеха, дарили заводу-богатырю новые силы, новую мощь.

Приходили, помню, на строительство одного гигантского цеха старшеклассники из соседней школы. Не на экскурсию. Прораб-ленинградец, спавший по три часа в сутки, не мог запомнить имени каждого из ребят. И каждого называл одинаково: «Друг мой...» Эти слова звучали как-то очень интеллигентно, деликатно. Они могли бы показаться высокопарными, неестественными. Но не казались. Таковы уж были голос прораба, его интонация.

Школьники и обедали вместе со строителями в рабочей столовой. Только рабочий день у ребят был короче, потому что приходили они на стройку после школьных занятий. Прораб, не учитель по профессии, был все же в душе воспитателем: он видел в каждом подростке равного себе человека.

Однажды старшеклассники не пришли «на объект» в положенное время. Они опоздали часа на два, потому что были, как выяснилось, в кино.

— Ну-у, друзья мои... — медленно и с изумлением произнес прораб-ленинградец. — Это вам не игра!

Да, тот чуть не падавший от усталости герой минувшей войны уважал юного человека. А поэтому и предлагал ему не игру в труд, а настоящее дело, был строг и не считал, что юный возраст дает право на безответственность.

Подростки способны на многое: вспомним, что в годы войны наши ребята, не достигнув еще совершеннолетия, достигали таких высот мужества, что удостоивались звания Героя Советского Союза, боевых и трудовых орденов.

«Друг мой...» Вновь услышал я недавно эти слова. Но уже из уст женщины, сгорбленной не возрастом, а навсегда безутешным горем. Ее сын, как считалось, пропал без вести. Но вот какой-то незнакомый мальчишка от имени красных следопытов прислал ей письмо — он вместе с друзьями разузнал, каким был сын старой женщины в своем последнем бою: он был бесстрашным. И могилу бойца разыскали ребята. Мать не доверяла то письмо ни ящику, где хранила документы, ни письменному столу, — она всегда носила его с собой. «Это прислал мой друг... Ему тоже через три года будет восемнадцать...»

Верю, что ее юному другу будет и двадцать и сорок пять! Ему не пришлось быть в пекле военных бурь, он не знал тягот той далекой поры, но к подвигу воинскому, как к акту

высочайшей человечности, он и его друзья все-таки приобрелись!

Подросткам не терпится скорее стать взрослыми. Но конечно, не о морщинах и седирах грезят они, а торопятся вложить свои силы в то самое настоящее дело, которое, как они уверены, чаще всего находится за рубежом юного возраста. Хорошо запомнившийся мне прораб-воспитатель умел направлять энергию каждого своего юного друга по верному курсу (верному и для самого подростка и для всего нашего общества!). Пусть это не прозвучит слишком возвышенно, но ведь капитанами кораблей юности являемся мы, взрослые, и писатели подчас прежде всего... Значит, от нас зависит, сядет ли иной из этих кораблей на мель или отправятся все они в большое плавание — по курсу доброты и сердечности, мужества и великодушия, готовности к подвигу и борьбе за свои убеждения, к защите того, кто в этой защите нуждается...

«Детство. Отрочество. Юность» — так назвал свое великое творение о начале жизни человеческой Лев Толстой. Это название, мне думается, еще раз убеждает нас: в юную пору каждый прожитый год — целая эпоха. И подростки — совсем не то, что дети, которые во все вносят увлекательный элемент игры. Подростки хотят, чтобы все было всерьез. Они сдержанны, а случается, придирчивы и ироничны. Помню, много лет назад Л. Кассиль предупреждал меня: «Готовьтесь к встречам с десятиклассниками куда более тщательно, чем даже с учеными».

С подростками нелегко: они требуют чуткого отношения к своим переживаниям и стремлениям, а в мир этих переживаний порою не допускают. И все же главное их стремление, думаю, нам понятно: они жаждут не мнимых и показных, а увлекательных, настоящих свершений; они ждут от нас не только любви и заботы, но и уважения к их мечтам и стремлениям.

Обо всем этом не может, не имеет права забывать литератор, посвящающий свое перо юношеству.

* * *

Разумеется, бывает и так, что дочь или сын вправе не согласиться с поступком или даже с поступками родителей. Разве и об этом не повествуют произведения лите-

ратуры, искусства? Но «голос протеста» в таких случаях должен быть абсолютно уверен в своей правоте. А тот, кому принадлежит этот «голос», все равно обязан помнить, что речь идет о людях, подаривших ему жизнь.

Письмо одной старшеклассницы помогло мне однажды (очень давно) написать фельетон, который вначале попал на страницы блокнота, а потом сатирического журнала. Но воспользоваться этим письмом я позволил себе потому, что в конце было написано: «Имена, отчества и даже цитату из книги (да простит меня классик!) привожу не точно, чтобы мама не поняла и не огорчалась: ведь она и в этом случае желала мне только добра».

...Тревога была объявлена в десять часов двадцать минут утра. Именно в это время Галина Петровна схватила со стола увесистый том, чтобы на белой бумаге, в которую дочь ее Маша бережно запеленала книгу, записать телефон «неотложки»: с соседкой на втором этаже случился сердечный приступ, и Галина Петровна теперь напряженно ждала своей очереди. Но тут же она заметила, что среди книжных страниц белеет листок в клеточку, и решила, что будет гораздо педагогичнее записать телефон на нем. Галина Петровна взяла листок и прочла: «Я люблю вас... Видеть вас, слышать вас, думать о вас — это для меня высшее счастье! Я хочу совершить много доброго во имя любви, ради которой живу...»

Галина Петровна затрепетала: уж этот круглый, почти еще детский почерк она не могла спутать ни с каким другим. Все ясно: любовная записка! Итак, началось: ее пятнадцатилетняя дочь, ученица 8-го класса «Г», влюблена!

Но если в первый момент Галина Петровна всего-навсего затрепетала, то уже в следующий похолодела: она поняла, что дочь ее влюблена в человека пожилого, быть может даже дряхлого старика. Ну разве станет она называть на «вы» своих школьных друзей-восьмиклассников!

Тревога была объявлена... Супруг Галины Петровны, как всегда в подобных случаях, «быстрее лани» ретировался в ванную и пустил душ, делая вид, что ничего не слышит. А сирена семейной тревоги между тем уже звучала на всю квартиру:

— Кто из твоих приятелей приходит к нам в дом? А? — кричала жена за дверью ванной комнаты. — Ну конечно... Ты специально, нарочно приглашаешь умных и обаятельных людей!

— А что же мне, дураков приглашать? — сквозь закрытую дверь огрызнулся супруг.

— Зачем ты разрешаешь своим приятелям вести интересные и остроумные разговоры? Ты забываешь, что у нас дочь!

— Кого же мне звать в гости?

— Молодых людей, Машиных сверстников...

— Ну, мы с тобой, знаешь ли, будем весьма невыгодно выглядеть на столь юном фоне.

— Прости, но меня всегда принимают за Машину сестру!

— Надеюсь, за старшую? — попытался сострить супруг.

И напрасно: Галина Петровна заплакала.

...Машенька прибежала из школы, что-то беспечно напевая себе под нос. «Маскируется! Не хочет меня огорчать!..» — подумала Галина Петровна. И решила действовать тонко, исподволь, по всем правилам педагогической науки.

— Машенька... Кто твоя лучшая подруга?

— Женя Калинкина, — не задумываясь, ответила ученица 8-го «Г».

— Ну, а самая... самая лучшая?

Машенька на миг задумалась и уверенно подтвердила:

— Калинкина! А ты думала, кто?

— Я ничего не думала... — горестно вздохнула Галина Петровна. — Ну, а с кем ты можешь быть самой откровенной? Кому первому из всех людей на земле ты открыла бы свою душу?

— Учительнице литературы Антонине Николаевне...

Галина Петровна качнулась, но выдержала и этот удар.

— Ну, а меня... меня ты кем считаешь?

— Мамой! — беззаботно и легко сообразила ответить Маша.

— И только?!

— А кем же еще?

Десятью минутами позже Галина Петровна решила изменить тактику и повести наступление с другой стороны. В качестве главной наступательной силы она решила призвать себе на помощь классическую литературу.

— Машенька, ты задумывалась когда-нибудь всерьез над образом Мазепы? — проникновенно глядя в глаза дочери, спросила Галина Петровна после обеда.

Выяснилось, что именно над этим образом Маша всерьез не задумывалась.

— Помнишь ли ты, какой возрастной разрыв был между ним и юной Марией? А также о том, к чему этот вопиющий разрыв привел?

— Нет, не задумывалась...

— Ведь эту самую... Марию в конце концов увезли к Кащенко: она же свихнулась!

Галина Петровна доверительно уперлась подбородком в подушку с выцветшим попугаем:

— Я сообщу тебе одну тайну... Но не как мать дочери, а так, запросто, как подружка подружке...

Маша, несмотря на свои пятнадцать лет, любила иногда поиграть в куклы и не утратила еще по-детски острого аппетита к секретам. Она прекратила гладить свой белый передник и села рядом с матерью.

— Тайна? У тебя... тайна?! — Маша, видно, не ожидала от Галины Петровны каких-либо неожиданных отклонений в сторону романтики.

— Да, у меня... — Галина Петровна огляделась по сторонам. — Я всю жизнь терпеть не могла старых и лысых мужчин!

Маша на миг вспомнила почему-то о больнице имени Кащенко, куда, по словам матери, увезли безумную Марию.

— Но ведь мой дядя, то есть твой старший брат... лысый, — оправившись немного, проговорила она.

— Он не лысый! — активно возразила Галина Петровна. — Он бреет голову по собственному желанию!

— Ты всегда говорила, что человек поступает «по собственному желанию» не от хорошей жизни!

— Это когда он уходит с работы... Какая ты еще глупая!

Галина Петровна не учла, что дочь ее как раз только что вступила в полосу самого обидчивого и самолюбивого возраста. Маша, независимо тряхнув косами, вернулась к своему недоглаженному переднику и так зло плюнула на горячий электрический утюг, что Галина Петровна нервно поинтересовалась:

— Ты это на кого?

Потом она долго раздумывала, как бы ей окольными путями вновь подобраться к дочери, но выбрала самую что ни на есть прямую, проезжую дорогу:

— Что это ты в последнее время так усиленно наглаживаешься? Для кого?

Маша ничего не ответила.

— Ага!.. Понимаю! — злорадно воскликнула Галина Петровна. — Сегодня к нам придет этот самый папин любимец... Игорь Всеволодович!

— Он сегодня будет? — встрепелась Маша.

«Так-так-так... Кажется, я на верном пути!» — сама себе сказала Галина Петровна.

— Да пойми ты: он так интересно рассказывает об астрономии и всяких там «инопланетянах» нарочно... чтобы тебе понравиться!

— А ты попробуй «нарочно» рассказать что-нибудь интересное! — ехидно парировала дочь.

Обессиленная Галина Петровна решила пойти в лобовую атаку:

— Ну скажи, доченька, умоляю тебя, скажи: ты в кого-нибудь влюблена? Я не выдам тебя... Скажи: влюблена?

— Не скажу.

— А Антонине Николаевне скажешь?

— Скажу!

— Почему?

— Потому что она не допытывается, как ты!

— И Женьке Калининской скажешь?

— И ей скажу!

...Ночью Галине Петровне не спалось. Она перелистывала страницы того самого увесистого тома.

И вдруг она вздрогнула, но не тревожно, а облегченно и торжествующе — на 131-й странице вверху Галина Петровна прочла: «Я люблю вас... Видеть вас, слышать вас, думать о вас...» Ну конечно: ее дочь просто выписала приглянувшуюся цитату, как это советовала делать Антонина Николаевна!

«До чего глупо получилось!» — начала терзаться Галина Петровна. Но затем она решила, что, в общем-то, поступила правильно. Пусть ее беседа с дочерью носит предупредительный, так сказать, профилактический характер. Надо быть бдительной!

Вскоре Галина Петровна заснула, и ей приснилось, что она получает записку от того самого Игоря Всеволодовича, который «нарочно» рассказывал интересные истории: «Видеть вас, слышать вас, думать о вас — это для меня высшее счастье!»

Галина Петровна радостно засмеялась во сне.

— Что с тобой? — разбудил ее супруг, еще не ложившийся спать.

— Ах, тебе этого не понять! — блаженно прошептала Галина Петровна и повернулась на другой бок.

* * *

Страницы блокнота... Они не подчинены сюжетным законам, авторской логике. Смешное и трагичное, важное и мало-значительное перемешаны тут порой чересчур «анархично».

...С детства мечтал Дмитрий стать музыкантом. У мальчика был прекрасный слух, любую песню подбирал он по памяти на рояле и на баяне. И пожалуй, не было в школе ни одного вечера самодеятельности, на котором не выступал бы Дима.

И вот сбылась его мечта: он поступил в музыкальное училище. Кажется, все прекрасно! Днями и вечерами просиживал юноша над клавишами, готовился стать музыкантом. В самый канун войны он окончил музыкальное училище и, вместо путевки в консерваторию, получил повестку, призывавшую его защищать Родину. Он храбро сражался. А иногда звучал в окопах его баян...

— Ничего, Дима! — говорили друзья. — Кончится война — и пойдешь в пианисты!

Но случилось иначе... Весной сорок второго в бою под осажденной, но не сдавшейся Тулой в руках у сапера Дмитрия Р. взорвалась мина, которую он не успел обезвредить. Юноша потерял кисти обеих рук. И рухнула, навсегда погибла его мечта...

Нестерпимо тяжкие дни пережил Дмитрий. Страшные мысли приходили в голову. Что было делать? Как жить дальше? На инвалидность, на пенсию? Но ведь сердце и руки (даже лишенные кистей и пальцев!) тянутся к жизни, к творчеству! На помощь пришли друзья... Они вселили в душу уже отчаявшегося было человека веру в себя, надежду. И Дмитрий решил побороться с недугом!

Кандидат технических наук, с которым он раньше не был знаком, сконструировал особые «рабочие протезы», которые потом уж поступили в массовое «послевоенное» производство. Ученый вернул молодому человеку способность брать и переставлять с места на место предметы. Но этого было мало! Дмитрий решил добиться полной, как говорят, «стопроцентной» трудоспособности. Он начал упорно тренировать свои руки, изувеченные войной.

И тут тоже помогли люди, которых он раньше не знал, но для которых не было «чужих судеб»: врачи, специалисты по лечебной физкультуре, заводские умельцы. Дмитрий дерзнул заняться слесарными и столярными работами, художественной резьбой по дереву, выпиливанием, сам ремонтировал обувь... В это трудно поверить, но это факт: вся мебель в квартире Дмитрия Сергеевича сделана его собственными руками.

Вскоре у Дмитрия завязалась дружба со школой, где учились его дочери. И вновь еще недавно незнакомые люди — на этот раз учителя — занялись его судьбой, как судьбой близкого человека.

Дмитрию Сергеевичу предложили организовать в школе кружок «Умелые руки». Обычное, приевшееся название в этом случае потрясало: «умелыми руками» руководил человек, фактически... лишенный рук.

Директор школы разглядела в Дмитрие умного и тонкого педагога. В этом тоже было призвание его жизни! Только педагогического образования не доставало. По доброй инициативе директора Дмитрий Сергеевич был направлен на курсы при Институте повышения квалификации учителей. Окончил эти курсы — и стал учителем...

Так искусство уважительного сострадания «чужой» беде помогло человеку, который чуть было не отчаялся.

Эта документальная история, конспективно записанная в блокноте, вернула память к годам минувшей войны.

* * *

Перелистываю страницы... И нахожу в блокноте еще одну историю, обращенную к военной поре. Записи сделаны мной в зарубежной поездке.

Это было в одном небольшом городке.

Характер людей проявляется во всем, даже в мелочах, и даже в том, к примеру, как они ходят в кино. Одни являются заранее, когда еще только-только успели убрать фойе, они хотят обстоятельно и неторопливо приобщиться, так сказать, ко всем удовольствиям, связанным с посещением кинематографа: выпить лимонада в буфете, послушать певицу, которой всегда немного сочувствуешь (публика входит, выходит, переговаривается), почитать журналы и газеты,

которые веером разложены на столиках. Эти газеты и журналы с разлохмаченными уголками страниц уже, быть может, были прочитаны раньше, но в кинотеатре они воспринимаются по-иному, чем дома. Ну, а другие зрители, всегда и всюду опаздывающие, врываются прямо в зал, когда свет его постепенно уже покидает, запыхавшись пробираются на свои места, заставляют других ворчливо приподниматься со стульев, а то и вовсе проскакивают в зал во время короткой передышки между кинохроникой и картиной.

Я пришел в кинотеатр заранее, потому что мне было все интересно в этом новом для меня городе. И она тоже пришла задолго до начала сеанса... Но не пила лимонад, не слушала певицу и ничего не читала, а газету, как мне показалось, взяла со столика лишь затем, чтобы скрыть лицо за широкими, словно крылья, распахнувшимися страницами.

Мне вообще показалось, что она прячется от строгой билетерши, как это делают мальчишки, прошмыгнувшие в кино «зайцем» или пробравшиеся на фильм, от которого их усиленно оберегают взрослые и который поэтому особенно притягателен. Она часто и тревожно поглядывала на часы... Нам предстояло увидеть кинокомедию, о которой говорили: «Как ни странно, смешная».

Когда зрителей стали впускать в зал, она, прикрыв лицо воротником пальто, проскользнула мимо билетерши и села на два ряда впереди меня.

Замелькали лаконичные, торопящиеся, как всегда, кадры кинохроники. Я не смотрел на экран: мне казалось, что с ней должно вот-вот произойти что-то неожиданное... И вдруг она вскочила со своего места и закричала:

— Это он! Повторите, повторите еще раз... Я хочу разглядеть! Это он! Я узнала его...

— Вы снова здесь?! — сразу же откликнулся из темноты угрожающий шепот билетерши. — Вы опять мешаете людям?

— Нет, нет... Простите! Я уйду. Я сейчас...

Она быстро пробралась к выходу, и никто не заворчал, не стал в темноте упрекать ее. Я тоже, сам не знаю почему, стал пробираться во мраке по чужим ногам и вслед за ней вышел на улицу.

Она шла опустив голову и не глядя вперед: следовала каким-то заученным наизусть маршрутом.

Город был маленький и, как многие такие городки, вне-

запно, без каких-либо «предупреждений» обрывался, кончался, уступая живописным загородным пейзажам.

Она остановилась у подножия вытянутого холма, напоминавшего диловинное животное, густо заросшее зеленой шерстью и прилегшее отдохнуть.

На самом загривке его сухим, выцветшим обручем одиноко лежал давно уже принесенный кем-то венок.

Женщина остановилась так внезапно, что, казалось, именно здесь был конечный пункт ее постоянного, хорошо заученного маршрута.

Она обернулась, увидела меня и ничуть не удивилась:

— И ваш... тоже там?

Ничего не поняв, я вопросительно приподнял плечи. Тогда она вновь обратила к холму свое лицо, такое изнуренное, что оно было лишено каких-либо примет возраста.

— А мой... там... — Она кивнула в сторону холма.

— Кто? О ком вы говорите? — спросил я полусшепотом, потому что боялся вторгнуться в запретную тему.

Не глядя на меня да и ни к кому определенно не обращаясь, она стала рассказывать о том, что заполняло в тот миг ее всю, не оставляя ни малейшего местечка для других мыслей и чувств.

— У меня был сын. Мы жили бедно, потому что у сына моего не было отца. Мы были вдвоем. Только вдвоем на всем белом свете... Но нам никого и не нужно было, потому что мы очень любили друг друга. Когда я задерживалась на работе, мой мальчик всегда ждал на улице, у ворот: он волновался и припоминал все уличные катастрофы, о которых ему было известно... А я, спасая его от простуд и болезней, так закутывала, что мальчишки во дворе потешались. И дразнили его «посылкой». А потом перестали дразнить. И кто-то из взрослых придумал моему мальчику другое прозвище — Моцарт.

Да, его в шутку так звали, потому что он уже в шесть лет сочинял песенки, которые распевали ребята у нас во дворе. Они теперь выросли... Я встречаю их на улице — они помнят песни моего сына. Вы не верите? Спросите у них. Они помнят...

Сосед с верхнего этажа, скрипач, стал заниматься с моим мальчиком. Совсем бесплатно, потому что мне нечем было платить. «Твоя мама так кутает тебя, будто готовит в пев-

цы,— шутил наш сосед,— а ведь ты будешь скрипачом! Если только не устанешь учиться...»

Потом моего мальчика приняли в музыкальную школу. Это было очень трудно. Поверьте, это было ужасно трудно: таких, как он, не принимали. Но его взяли на бесплатное обучение, потому что он был очень... очень способным. Я понимаю: вы, наверно, думаете, что всякая мать хочет видеть в своем ребенке талант. Но у моего мальчика он действительно был. Так все говорили, все!..

И вот он должен был первый раз пойти в музыкальную школу... Я сшила ему новый костюмчик, а сосед с верхнего этажа подарил ему свою скрипку. Поверьте: он не стал бы дарить ее кому попало! Он был хмурым и неразговорчивым, этот сосед, но он любил моего мальчика. Это был первый день осени. Музыкальная школа начинала свой новый учебный год. Но мой сын не пошел в школу: первые фашистские бомбы полетели в тот день на наш город.

А потом... Потом нас с сыном схватили на улице во время облавы. Ни за что, просто так, на всякий случай: футляр со скрипкой показался подозрительным фашистскому патрулю.

Я всегда кутала своего мальчика, боясь простуд. Раньше я думала, что это самая большая опасность, которая может подстеречь его в жизни. Когда он заболел ангиной, я плакала. А тут стала сильной, и когда фашист в лагере хотел вырвать скрипку из моих рук, я сопротивлялась. Солдат замахнулся, но не ударил меня: другой немец, полный и добродушный, остановил его руку и разрешил моему мальчику играть на скрипке.

Это был «веселый Вальтер», комендант лагеря. Да, да, все его так именно и звали — «веселый Вальтер». Потому что он почти всегда улыбался. Он приходил к нам в барак и заботливо спрашивал: «Нет ли у вас каких-либо претензий?» Люди хотели иметь надежду, пусть обманчивую, призрачную, но хоть какую-нибудь. И они говорили «веселому Вальтеру» о своих несчастьях: «Плохо с печенью... Выпадают зубы...» Он сочувственно покачивал головой и давал советы: «Вам хорошо было бы съездить в Карлсбад, попить минеральной водички. Моя жена была там — и, представьте, великолепный результат! А вам необходимы овощи, витамины: они укрепляют зубы!..» Ни одной издевательской нотки не было в его голосе. И люди слушали его советы. А по-

том, когда он уходил, они, опомнившись, шептали ему вслед: «Иезуит...» А через неделю доверчиво рассказывали о своих несчастьях.

Людей убивали... И каждый раз «веселый Вальтер» уверял нас, что это сделано без его ведома и что он непременно даст какие-то распоряжения. Ему верили: люди искали надежду! А на следующий день снова умирали женщины, старики...

«Веселый Вальтер» заинтересовался моим мальчиком. Иногда он приходил в барак послушать его игру: сидел с закрытыми глазами, слегка покачивался из стороны в сторону в такт мелодии и улыбался.

Вальтер сказал, что и его сын тоже учится играть на скрипке, но что он не такой прилежный, как мой мальчик. Мне даже казалось порой, что Вальтер в душе как отец немного завидует мне. И я была горда, я была просто счастлива! «Напишу своему Курту, чтобы он брал с тебя пример!» — говорил Вальтер моему сыну. И поглаживал его по голове. Дарил ему иногда конфеты...

Однажды, под Новый год, Вальтер взял моего сына к себе в дом. Он хотел, чтобы мой мальчик развлекал гостей в новогоднюю ночь. И сын играл там Бетховена... Его хорошо накормили. Первый раз за все время. Он вернулся в барак после двенадцати, и мы, помню, всю ночь не спали. Он рассказывал мне о том, как были одеты женщины на новогоднем балу. «Когда-нибудь я буду давать концерты, заработаю много денег и куплю тебе такие платья!» — пообещал сын. Мы мечтали о том, что Вальтер скоро освободит нас из лагеря. И мы вновь заживем вдвоем. Только в д в о е м на всем белом свете!

Но в ту новогоднюю ночь из лагеря убежали двое. «Ты нарочно играл, чтобы отвлечь наше внимание! Чтобы им удобнее было удрать!» — кричал на моего сына эсэсовец. И разбил скрипку, которую подарил сосед с верхнего этажа. И увел моего мальчика... Я бросилась из барака на улицу. Я разыскала «веселого Вальтера». Я верила, что он мне поможет: ведь у него тоже был сын, который учился играть на скрипке.

Вальтер сочувственно покачал головой и сказал мне (я запомнила каждое его слово): «Люди не должны нарушать порядок. Ведь это будет очень плохо, если мы все разбежимся в разные стороны. Люди должны знать, что, если они будут

нарушать порядок, из-за этого будут страдать дети. А дети — самое дорогое... Мы с вами это хорошо понимаем». Он улыбнулся, и мне показалось, что он вот-вот спросит: «У вас нет каких-либо претензий?»

Прошло восемнадцать лет... И вот сегодня в кино я увидела «веселого Вальтера». Он улыбался...

— Как? Он здесь?! — вскрикнул я.

— Нет, он там, у себя дома, в Мюнхене. Я помню, что именно в Мюнхене его сын учился играть на скрипке. Я увидела Вальтера на экране в кинохронике. Я его узнала!

Сначала я не верила глазам, подумала, что схожу с ума... Но потом я вновь и вновь приходила в зал, а он все улыбался с экрана... Мой мальчик лежит здесь... И другие лежат — тысячи, много тысяч... А Вальтер улыбается... Как же это перенести? Как?!

Я снова пошел к кинотеатру и снова купил билет на веселую кинокомедию.

В зале я машинально взглянул туда, где на предыдущем сеансе сидела изнуренная горем женщина. Ее стул был пуст...

А потом свет стал медленно исчезать, и по экрану снова побежали лаконичные, торопящиеся кадры кинохроники. И вдруг я увидел нагловатых молодых людей, фанатически внимательно слушавших речь пожилого человека в штатском костюме с добродушной улыбкой на лице. Но слова «веселого Вальтера», видимо, были уж не столь добродушными, потому что они распалили воображение слушателей, и нагловатые молодые люди заорали нечто воинственное.

Кинохроника уже перескочила далеко, за много километров от Западной Германии... А я, как та женщина на предыдущем сеансе, поднялся и, наступая в темноте соседям на ноги, стал пробираться к выходу.

— Что это сегодня творится? Уходят во время сеанса! — всполошилась в темноте билетерша.

Но я продолжал пробираться к двери: мне расхотелось смотреть веселую кинокомедию.

Это не выдуманно. Это было на самом деле. Записи сделаны в зарубежной поездке.

Возвращаясь из кинотеатра, я вспомнил еще одну давнюю встречу, которую, собственно говоря, никогда и не забывал.

...Электричка то приближалась к лесу, желая нырнуть в него и остыть от июльской жары, то пряталась под мостами и в длинных туннелях... Мелькали за окном городки,

в центре которых на высоких мачтах неизменно плескались флажки, словно махавшие нам ярко-красными ладошками.

Пожилая женщина, молчаливо прильнувшая к окну, сказала мне:

— А вот в том лагере когда-то отдыхали мои сыновья — Сережа и Петя... Это было еще до войны.

— Теперь уж большие, значит, — ответил я, с неохотой отрываясь от книги.

Женщина не услышала моих слов, продолжала:

— Это было еще до войны... Помню, когда они уезжали в автобусах с городского двора, я их поцеловала, а они застеснялись: «Что ты, мамочка?! стыдно, увидят...» А дома ласковые были, заботливые... В лагерь, помню, разрешено было ездить только раз в месяц: «родительский день»! Строгости!.. Но я чуть ли не каждый день приезжала — так сказать, нелегально. В заборе там щель была (небось до меня нетерпеливые родители проделали). Возле этой щели мой пост был... Я, помню, мальчикам своим ягоды, фрукты привезу, а они не берут: «Нельзя! Неудобно... Нам и так дают...» Потом все же возьмут пакетики и кулечки, поделятся со своими приятелями. Добрые были... Отец у нас на операционном столе умер... И они хирургами стать хотели. Чтобы такого не повторялось...

— Что же, и станут! — поддержал я мечту Сережи и Пети. — Или не поступили в медицинский?

— Попали...

— Значит, все нормально?

— В сорок первом они поступили, а в сорок втором погибли... Один под Ленинградом, а другой — неподалеку от брата, в Карелии.

Поезд замедлил ход, стал реже и как бы задумчивее стучать под нами колесами. Женщина поднялась, поправила седые волосы, растрепанные ветром...

— Я каждое лето сюда приезжаю, в июле. Мои мальчики как раз в июле здесь отдыхали. Подойду к забору (щель, представьте себе, до сих пор не заделали), посмотрю, как родители по-прежнему нарушают «правила». И уезжаю...

Женщина направилась к выходу.

Я уже не мог читать книгу, я смотрел за окно и думал: «Пусть никогда ни одной матери в мире не придется вот так одиноко выходить на станции, чтобы погружаться в лабиринт горестных воспоминаний, из которого нет выхода!..»



Эхо войн — гражданской и Великой Отечественной, — я уверен, не покинет нас никогда... Напоминая о страшном, кровопролитном, оно, эхо героических сражений, будет требовать, чтобы ужас кровопролитий больше не повторился. Вот почему книги писателей-борцов, писателей-фронтовиков, всех тех, кто талантливо повествует о военных бурях, их героях и жертвах, служат той самой победе мира, которую завещали нам воины.

Николая Островского я бы назвал человеком, «рожденным бурей». Он доказал, что мужественного, идейно убежденного борца обезоружить нельзя. Даже самая страшная болезнь не может отобрать у него все: сердце и мозг остаются и продолжают служить той же идее, которой служили они, когда человек был молод, здоров, полон сил. К счастью, у Николая Островского был еще и талант.

Работая над пьесой по роману А. Фадеева «Молодая гвардия», я обращался и к роману «Как закалялась сталь», потому что Павел Корчагин был молодогвардейцем эпохи гражданской войны и пламенных лет нашего социалистического созидания. Это его поколение вошло в большую жизнь со словами песни: «Мы — молодая гвардия рабочих и крестьян!»

Мы говорим ему: «Здравствуй!» Мы говорим ему: «До свидания!» Мы никогда не скажем ему: «Прощай!» Потому что он, Павел Корчагин, принадлежит к тем литературным героям, которые вновь и вновь приходят и будут приходить к нам и к людям грядущих поколений — то с книжных страниц, то со сцены театра, то с киноэкрана... Неожиданно он «пришел» ко мне в просмотровом зале Останкинского телецентра. Сразу скажу: с той поры, как в далекие школьные годы я впервые познакомился с этим вожаком и кумиром нашей советской юности, у меня не было с ним такой пронзительно-волнующей встречи.

В начале телекартины Павел Корчагин, а вернее сказать, Николай Островский в своем обращении к делегатам IX комсомольского съезда говорит, что все время слышится ему команда: «Приготовься к бою!» И позже, в споре с Тоней Тумановой, которая любила, но не была способна понять его,

Павел утверждает: «Борьба зовет всего меня! Я принадлежу борьбе...»

Быть может, всю жизнь сражался, смертельно рисковал человек, а на собственное счастье не осталось ни одного мгновения? В том-то и состоит главная, определяющая черта характера Павла Корчагина, что он умеет быть счастливым счастьем других, находить в сражении за правое дело величайшее удовлетворение. Даже прикованный к постели, не видящий белого света, он все равно утверждает, что счастлив, потому что работает, творит, борется. Благороднейшее умение ставить интересы общего дела, защиту идеи выше собственных интересов — это тоже неотторжимая черта корчагинского характера.

Пожалуй, самое трудное в искусстве — это, как я уже не раз утверждал, воссоздание человеческого образа. Сценаристы, режиссер и молодые артисты не просто перенесли с книжных страниц на экран телевизора давно любимый нам человеческий характер. Нет, на экране Павел Корчагин — хорошо знакомый нам, но во многом и незнакомый. Каждым поступком своим соответствующий духу книги Н. Островского, но обретший (не изменяя этому духу) новые черты и приметы... Иначе зачем было бы создавать еще одно произведение на столь знакомом нам «материале»?

Давно уж признано, что жизнь кинематографического или сценического произведения, созданного на основе повести или романа, должна быть, разумеется, одухотворена литературным первоисточником, но не скована его властью. Книга породила этот телевизионный фильм, но, как мудрая мать, не потребовала буквального повторения самой себя, безоговорочного повиновения своим законам. Потому-то фильм, сюжет которого заранее известен нам во всех подробностях и деталях, на всем своем шестисерийном протяжении дарит открытия и воспринимается как нечто абсолютно оригинальное и ничего из виденного ранее не повторяющее.

В самом деле... Вроде бы все было известно нам и раньше: и то, что Павка освободит большевика-подпольщика Федора Жухрая, которого поведут на расстрел; и что попадет Павка за это в тюрьму; и что будет жестоко контужен и ранен в стремительной кавалерийской атаке; и что ранение это, как трагическое эхо, отзовется неизлечимой болезнью через многие годы; и что станет Павел чекистом, высокогуманным

в своей беспощадности к врагам; и что, погибая от холода, голода, тифа, будет он вместе с киевскими комсомольцами строить узкоколейку, чтобы спасти от того же самого холода и болезней огромный город, среди жителей которого дети, женщины, беспомощные старые люди; и что он напишет обо всем этом книгу... И что сама работа над книгой будет еще одним высочайшим подвигом: руки не двигаются, глаза не видят, и только воля, память, талант и ум живут, действуют, не поддаются!..

Да, обо всем этом я знал, придя в зал Останкинского телецентра. И все равно не мог оторваться от экрана ни на минуту. Повторяю: не только потому, что встреча со старым другом всегда приятна, а потому, что в этом старом друге я увидел много нового, щедро дополнившего мое давнее представление о Павле Корчагине.

В начале картины Павка увидел сон. Символический, но не «нарочный», не предваряющий «по указке сценаристов» то, что произойдет дальше. Палач пытается юного Павку... И требует: «Отрекись от революции! Отречешься?» — «Нет! Нет! Нет...» — отвечает мальчишка. И в будущем Павел никогда не отрекается ни от своих убеждений, ни от своих замыслов, ни от своих надежд. Отречься — значит изменить самому себе. А измена — это для него самое невозможное!

Павка борется за свободу. Но борец за свободу не может быть анархически «свободен» и «независим» от всего на свете. Павел зависим. Очень зависим! От своей совести, от своих идей, от веры в правоту и мудрость старших товарищей-коммунистов.

Сотня юных бойцов
Из буденновских войск
На разведку
в поля поскакала...

Эта песня стала музыкальным лейтмотивом картины. Она, эта песня, озарена романтикой былых походов и давних сражений.

Но вот вторгается в фильм новая песня. Она просит, она требует:

Только не взорвись
на полдороге,
Товарищ сердце!

Современная песня... Сегодняшний ритм, сегодняшняя поэтическая манера. В абсолютно естественном сочетании глубочайшего уважения к романтике прошлого и современного художественного осмысления событий — одно из проявлений новаторства создателей фильма. Это новаторство видится и во «внешних» приемах (вспомним алую конницу, мчащуюся на врага и словно бы растворяющуюся, тающую вдали).

Я убежден, что «внешние» приемы, если они подлинно художественны, всегда помогают раскрытию внутреннего, глубинного мира произведения.

Мы говорим, что наша юность видит в образе Павла Корчагина достойнейший пример для подражания. А возможно ли ему подражать? Уж не был ли он «сверхчеловеком», лишенным нервов, лишенным способности отчаиваться, страдать?.. В своем обращении к делегатам IX съезда ВЛКСМ трагически больной писатель говорит, что отчаяние порой атакует его, но что «личная трагедия отодвинута неповторимой радостью творчества». Умение при любых условиях, невзирая ни на что, «возвращаться в строй» — это тоже типичнейшая черта корчагинского характера. Вспомним разговор с Ритой Устинович, который уводит Павла от мыслей о личном счастье к борьбе за счастье народное. Вспомним, как нелегко и не сразу приходит Павел к осознанию классовой несовместимости, которая не может позволить ему быть с Тоней Тумановой, хотя ей и была отдана первая любовь в его жизни. Вспомним... Впрочем, не стоит. Слишком много кадров и сцен придется вспоминать! Ведь вся картина утверждает: нет, не «сверхчеловек» Павел Корчагин, а именно идеал человека. Не буднично обыкновенного, а Человека с большой буквы.

И потому был, есть и всегда будет он любимым вожаком юных.

У каждого настоящего поэта и прозаика есть строки, наиболее полно выражающие его отношение к жизни. Есть такие строки и у Николая Островского. Мы часто их повторяем. И все же я повторяю еще раз: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...»

Человек без цели подобен кораблю, пустившемуся в плавание «без руля и без ветрил». Особенно опасно такое путе-

шествие во время штормов и бурь. Павел Корчагин вступил в жизнь в годы эпохальных событий и перемен, когда революционная волна, волна гнева народного поднялась так высоко, как не поднималась еще ни разу до той поры за всю историю человечества. И смела она все, что пыталось преградить дорогу к истинной свободе и человеческому счастью. Только люди, окрыленные ясной целью и готовые во имя этой цели на все, могли выстоять и победить в той борьбе, навечно вошедшей в летопись величайших революционных сражений.

Картина эта несомненно войдет в золотой фонд телевизионных кинопроизведений. Я отдаю себе полный отчет в том, что «событие» — слово ответственное. И все же утверждаю: это — событие, которое не может не потрясти сердца и прежде всего — молодых.

Когда рукопись Н. Островского стала книгой, на нее сразу же отзывались крупнейшие мастера литературы — М. Горький, А. Серафимович, М. Шолохов, А. Фадеев, Р. Роллан... Слова, обращенные к автору книги Роменом Ролланом, говорят о том, что произведение это стало явлением международным. И вот слова его звучат с телеэкрана: «Будьте уверены, Николай Алексеевич: если вы в вашей жизни и знали мрачные дни, ваша жизнь есть и будет светочем для многих тысяч людей. Вы стали единым целым с вашим великим освобожденным и воскресшим народом».

Есть у Аркадия Гайдара сказка о «Горячем камне». На том камне было написано, что достаточно снести его на гору и там разбить, чтобы начать свою жизнь сначала. Проходили мимо волшебного камня люди, останавливались, размышляли... Но никто не захотел жить сначала и по-другому, потому что прошли эти люди по дорогам жизни честно, достойно. «Это ли еще... не счастье?!» — читаем мы у Гайдара.

Не променял бы и сам он свою судьбу ни на какую другую!

Все было в этой судьбе удивительно. Удивительной была юность писателя... Пожалуй, единственный раз в жизни — именно в ту юную пору — Аркадий Гайдар сказал «неправду»: он выдал себя за шестнадцатилетнего, когда ему

было пятнадцать. И сделал это для того, чтобы позволили ему, мальчишке, взять в руки оружие и защищать молодую Советскую власть. Вспоминая те годы, Аркадий Петрович писал: «Я был на фронтах: петлюровском, польском, кавказском, внутреннем, на антоновщине, и, наконец, близ границы Монголии. Что я видел, где мы наступали, скоро всего не перескажешь. Но самое главное, что я запомнил,— это то, с каким бешеным упорством, с какой ненавистью к врагу, безграничной и беспредельной, сражалась Красная Армия одна против всего белогвардейского мира».

Удивительным было и то, что в юные годы командовал Аркадий Гайдар красноармейским полком!

Да, удивительными, достойными преклонения были вся его жизнь и его смерть...

Во время Великой Отечественной войны Аркадий Гайдар был пулеметчиком в партизанском отряде. Вместе с товарищами он ходил в разведку, участвовал в дерзких бесстрашных налетах на оккупантов. И писал, продолжал писать! Однажды фашисты-эсэсовцы залегли в засаде у переезда. И партизанский отряд наткнулся в утреннюю пору на эту засаду. Гайдар — это значит «скачущий впереди». Он и увидел фашистов первым. И мгновенно понял, что только смертью своей сможет предупредить шедших за ним товарищей.

Аркадий Гайдар погиб 26 октября 1941 года. Он сам поступал так, как учил поступать других!

Удивительным был и выдающийся талант этого писателя. Его герои, придя в книгу из жизни, потом вновь возвращались в жизнь, но уже обогащенные счастливым общением с мудрым и добрым сердцем Гайдара. И увлекали они за собой миллионы наших ребят...

В годы войны я видел бригады школьников, которые ежедневно приходили на оборонную стройку. В летний зной и зимою, под леденящими ветрами, школьники помогали возводить новые корпуса. Эти бригады у нас называли «тимуровскими». В рязанском селе в послевоенное время я познакомился с мальчишками и девчонками, которые превратили свой пришкольный участок в научную лабораторию колхоза, эти ребята тоже говорили о себе: «Мы — тимуровцы!» В далеком заполярном городе я видел, как ученики одной из школ с трогательной заботливостью шефствовали над детскими садами, над старыми, больными людьми, а в своей

школьной мастерской наладили изготовление детских игрушек и даже, представьте себе, мебели,— я помню, что, рассказывая об этих мальчишках и девчонках, все называли их дела «тимуровскими»... В одной из пионерских дружин Чехословакии я прочитал сильные и мужественные слова клятвы, которая начиналась так: «Мы — юные тимуровцы...»

Не много, я думаю, в мировой литературе примеров столь могучего воздействия образа, пришедшего с книжных страниц, на реально существующих людей — читателей книги.

Не много на земле воздвигнуто памятников литературным героям. Мне довелось открывать на Ленинских горах, возле Дворца пионеров, памятник Мальчишу-Кибальчишу... В сказке про него говорится:

Плывут пароходы —
 привет Мальчишу!
Пролетают летчики —
 привет Мальчишу!
Пробегут паровозы —
 привет Мальчишу!
А пройдут пионеры —
 салют Мальчишу!

«Салют Гайдару!» — говорит юное поколение нашей страны. «Салют Гайдару!» — говорят юные читатели других стран.

Кажется, это было совсем недавно... А прошло тридцать три года! Первое совещание молодых писателей... Не надо «вспоминать» имена его участников: многие из них (я бы даже сказал — очень многие!) стали гордостью нашей сегодняшней литературы. И вот я чуть было не произнес: «Среди этих молодых литераторов был...» Нет, Михаил Луконин не был «среди», он был самим собой с первого своего шага в поэзии.

Чаще всего, говоря об этом большом поэте, сразу же произносят написанные еще тогда, в уже такую далекую пору строки:

... лучше прийти
с пустым рукавом,
Чем с пустой душой.

Цитируют эти строки не потому, что нечего больше процитировать.

Я бы мог долго читать наизусть стихи поэта-воина. Цитируют именно эти строки потому, что они являются эпиграфом ко всему его творчеству.

Наполненность — а порою даже кажется, перенаполненность! — души нежностью и ненавистью, любовью и непримиримостью, ни на миг не прекращающаяся работа души — это самое главное в поэзии Луконина.

Михаил Луконин в жизни был таким же, как и в творчестве своем. Внешняя суровость и готовность откликнуться на человеческий зов, на людскую беду и нужду с безупречной органичностью сочетались в нем. Порой мы говорим, что отзываться следует не словом, а делом. К поэту такое утверждение подходит не вполне. Бывает так, что прежде всего — именно словом! То есть главным оружием своим, самым значительным, что есть в распоряжении поэта. Отозваться словом — это для поэта и значит отозваться делом. Хотя, разумеется, и руку друга Михаил Луконин всегда протягивал тому, кто в этой руке нуждался.

Такова «необходимость», от которой не могли отречься его талант и его душа... Пожалуй, трудно было найти более подходящее название для книги «главных» стихов Луконина, чем вот это слово, со снайперской точностью определяющее почерк поэта и его позицию в жизни: «Необходимость»!

Михаил Луконин не сочинял и не печатал «проходных» стихов. Он не тревожил попусту свою лиру. Только если была **н е о б х о д и м о с т ь**. Железная и сердечная... Поэтому стихи его всегда о значительном: о подвиге в сражении, о подвиге в трудовом наступлении... О счастье борьбы за счастье.

У всех настоящих мастеров есть учителя. Самих-то учителей, быть может, уже и нет на свете, но их мастерство, их искусство продолжают **у ч и т ь**, вести за собой мастеров новых поколений. Речь, разумеется, идет не о подражательстве, не об эпигонстве, а о продолжении традиций, без которых литература не может существовать. В ней всегда есть истоки и продолжения... Думаю, что учитель Михаила Луконина тот, кого мы по праву именуем великим пролетарским поэтом. Продолжать его путь в поэзии — огромная честь!

Верность жизненному пути поэтов-революционеров и борцов повела Михаила Луконина на бой в годы жесточай-

ших испытаний. Она ни на миг не оставляла его и в поэтическом труде...

И в думах о будущем, а стало быть, о наших юных гражданах. Вот почему (для некоторых неожиданно, а на самом деле закономерно) он из всех творческих комиссий VI съезда писателей СССР выбрал ту, которая занималась проблемами детской и юношеской литературы. И произнес там блестящую речь. Кажется, последнюю в своей жизни. Подводя итоги пути, он обратился к грядущему...

* * *

Мне кажется порою, что
солдаты,
С кровавых не пришедшие
полей,
Не в землю эту полегли
когда-то,
А превратились в белых
журавлей...

И быть может, одним их журавлей, воспетых гамзатовской лирой, стал мальчишка Султанмурат из далекого киргизского аула. Когда смотришь фильм кинематографистов Киргизии «Ранние журавли», эта мысль как-то естественно возникает, хотя Султанмурат не был на «кровавых полях» Великой Отечественной.

Султанмурат не только борется за победу — он за нее погибает... И мы, когда «замолкаем, глядя в небеса», видим его в стае «ранних журавлей», потому что рано, трагически рано распрощался он с жизнью, с землею.

В годы минувшей битвы страна делала все, чтобы уберечь детей своих от страшных тягот военного времени. Но порою уберечь не удавалось... И тогда дорогие наши мальчишки и девчонки вели себя как герои.

Об этом с большой эмоциональной силой рассказывает фильм «Ранние журавли», поставленный по одноименной повести Чингиза Айтматова.

«Родина» по-киргизски — это «земля отцов». Отцы ушли воевать — и на плечи детей легла благородная, но недетски тяжкая ответственность за родную землю и за все, что на

ней в ту пору происходило. Один писатель и педагог, помнится, утверждал, что взрослость — понятие не столько возрастное, сколько нравственное, и что определяется она не датой рождения, указанной в паспорте, а поступками человека. Султанмурат сберегает «землю отцов», совершает то, что, казалось бы, под силу только самим отцам. Он доказывает, что шагнул в мир взрослости до срока, потому что этого требовал долг.

Повторю вновь: вера в высокие нравственные и духовные возможности юных — первая примета истинного воспитателя. Таким воспитателем оказывается раненый фронтовик, председатель колхоза Тыналиев. Он-то и доверяет ребятам главное богатство скотоводов — коней, радение об их безопасности. Фильм проникнут романтикой нерасторжимого союза младших и старших.

Нет подлости страшнее, чем сбить с ног израненного, теряющего силы человека, готового, несмотря ни на что, выстоять, продолжить борьбу за святое, праведное дело. Эту подлость пытаются совершить в непроглядной ночи дезертиры, скрывающиеся в горах. Физически гибнет, находит свое место в летящей по небу стае «ранних журавлей» Султанмурат. Но мы уже породнились с юным рыцарем, полюбили его. Мы убеждены: победа — за ним. За ним, не побоявшимся без оружия преследовать вооруженных обрезами и волчьей злобой бандитов.

Мы благодарны экрану, когда он дарит нам новое свидание с любимым литературным произведением, сохраняя в нем все, что нам дорого, и помогая увидеть его героев вблизи. Победно проплыл по экранам «Белый пароход»... Теперь — «Ранние журавли».

* * *

В минувшую войну теряли не только тех, кто погибал в сражениях, но и живые теряли живых: матери — детей, братья — сестер. «Дети!.. — писал с фронта Аркадий Гайдар. — На десятки тысяч из них война обрушилась точно так же, как и на взрослых...» Обрушилась не только бомбами, но и разлуками, жестоким словом «сиротство».

Промчались десятилетия...

Помочь хотя бы только одной матери найти своего ребенка или хотя бы только одному брату встретиться со своей

сестрой, с которыми они разлучились десятилетия назад, — такое высокое и благородное деяние достойно стать сюжетом повести или поэмы. А вот Агния Барто — поэт, без которого трудно представить себе нынешнее детство, — сумела уже в наши дни, с помощью радиопередачи «Найти человека», которую она организовала и вела, воссоединить почти тысячу семей, разрозненных в годы сражений. Она сумела спустя десятилетия протянуть руку помощи... детству военной поры. Это настоящий гражданский подвиг!

О своих поисках и открытиях, каждое из которых приносило огромное счастье людям, А. Барто рассказала в книге «Найти человека». Страницы этого произведения — рассказ о человеческих судьбах, невыдуманных сюжетах, начало которых всегда трагично (потому что это начало — война, разлуки, потери), а финал которых светел и радостен, потому что этот финал — завоеванный мир, встречи, обретение дома, семьи.

Искусство помнить свое детство, сберегать в памяти его детали и приметы — драгоценное и очень трогательное искусство человеческой души. В историях, о которых рассказывает книга А. Барто, такое искусство не раз оказывалось спасительным, решающим. Ведь именно оно помогало поэту на трудных путях битвы (да, подлинной битвы!) за воссоединение семей, за восстановление разрушенного войной счастья. Искать и находить людей по их детским воспоминаниям — такое психологическое «изобретение» мог сделать лишь тот, кто отдал детям свой талант и свою жизнь, кто досконально знает все их привычки, свойства, особенности.

И вот что прекрасно: в уникальном деле своем А. Барто имела бесчисленное количество помощников-добровольцев — людей разных профессий и возрастов, среди которых, конечно, не последнее место занимали ее юные читатели — те, которые вместе с первыми словами «мама» и «папа» вобрали в свое сердце и в свою память строки ее стихов, которые из философского стихотворения, обращенного к малышам (возможен и такой жанр!), кончающегося словами «Все равно его не брошу, потому что он хороший», поняли: нельзя предавать человека, нельзя бросать его в беде — надо спешить ему на помощь, на выручку!

* * *

В свой блокнот я переписал и короткую заметку из «периодики»:

«Этот обелиск установлен в районе перевала Наур на Главном Кавказском хребте. Здесь в 1942—1943 годах советские воины вели тяжелые бои против немецко-фашистской альпийской дивизии «Эдельвейс». Многие из них погибли, но враг был остановлен, а потом отброшен назад. Чтобы увековечить память о героях этих боев, комсомольцы «Днепроэнерго» доставили сюда и установили на высоте 3000 метров над уровнем моря металлический обелиск, созданный по проекту Владимира Бондаренко. На обелиске укреплена доска с надписью: «Люди не должны жить минувшим горем. Но тех, кто спас их от горя, они обязаны помнить!»

Это слова из повести Анатолия Алексина. Недавно Владимир Бондаренко прислал автору повести письмо, в котором говорится: «Приношу вам свою благодарность как читатель за Вашу повесть и за слова, которые теперь увековечены в металле».

Да не сочтется нескромностью то, что я процитировал эти строки!.. Но они слишком дороги мне.

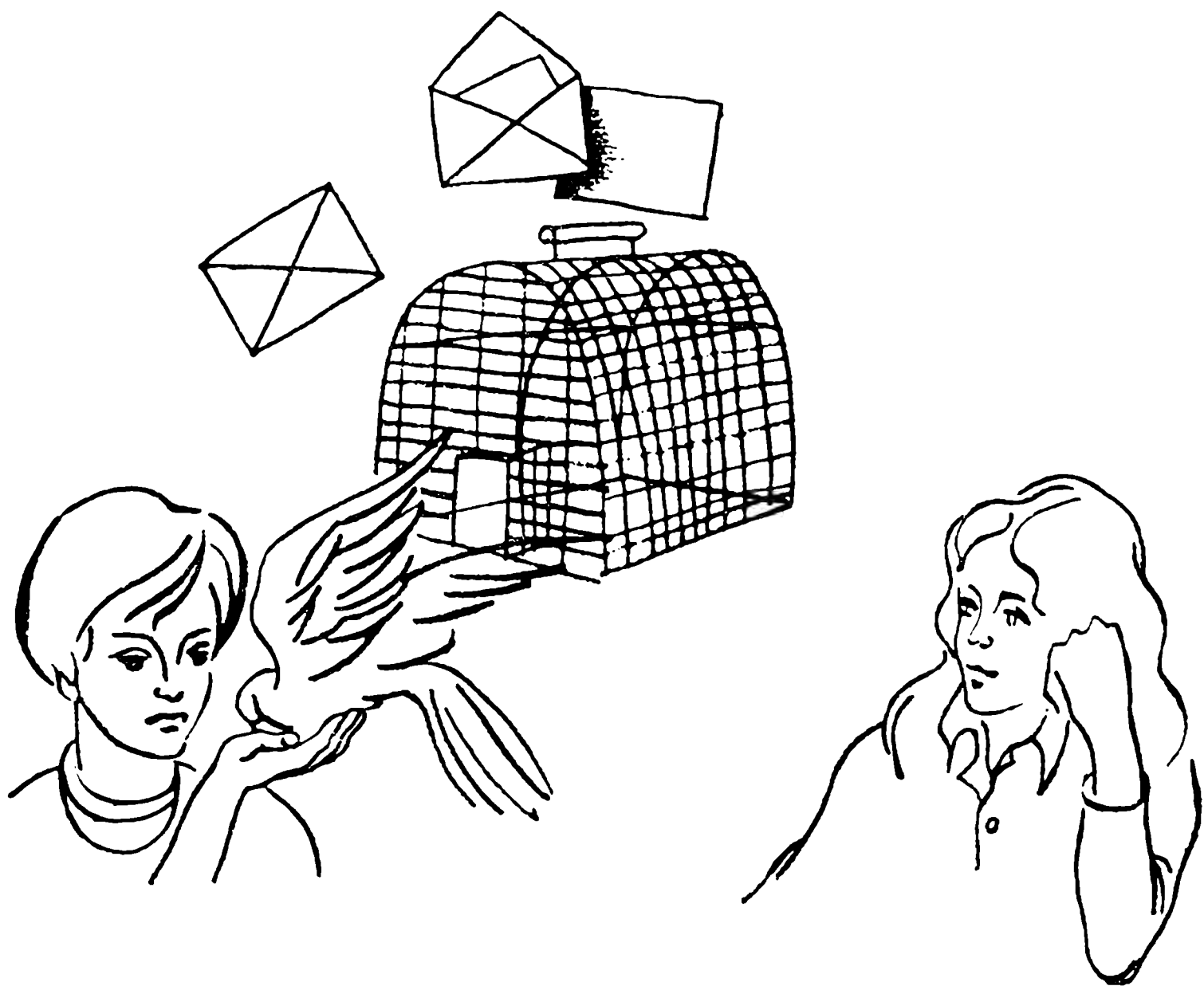
1951—1980 гг.



**ДЛЯ МЛАДШИХ БРАТЬЕВ
И СЕСТЕР**

П О В Е С Т И

КОЛЯ ПИШЕТ ОЛЕ, ОЛЯ ПИШЕТ КОЛЕ



ОЛЯ И КОЛЯ

«Справедливо» — это было любимое Олино слово. Правда, частенько она прибавляла к нему короткое отрицание «не». «Это несправедливо!» — спокойно заявляла она своим глубоким, певучим голосом. И тут же вступала в борьбу за торжество справедливости.

Девочки были влюблены в Олю Воронеж. Прошлым летом Оля носила косы — и в волосах у ее подруг тоже замелькали разноцветные ленточки. Этой весной перед лагерем она постриглась — и подруги ее мигом, без сожаления распрощались со своими косами. Оля чуть-чуть заикалась, и девочки, сами того не замечая, тоже начали слегка растягивать гласные буквы и изящно, еле заметно, как это делала Оля, спотыкаться, словно приседать, на некоторых словах.

Оля редко сердилась. Главным образом, если встречалась ей на пути какая-нибудь неправда, — и девочки тоже старались быть отчаянно принципиальными.

И еще Оля сердилась, даже приходила в неожиданную ярость, когда ее называли красивой. В прошлом году начальник пионерлагеря водил по «Сосновому бору» какую-то делегацию и все время восклицал: «А вот это наша волейбольная площадка! А вот это наша читальня! А вот это наш радиоузел!...»

— А вот это наша красавица! — гордо объявил он, увидев издали Олю Воронец.

Делегация защелкала фотоаппаратами, но на пленку попал, должно быть, лишь Олин затылок: в ответ на слова начальника девочка неучтиво повернулась спиной к гостям и скрылась за деревьями.

В начале августа у лагеря испортилось настроение: стало известно, что в первый день сентября Оля не придет в школу: она уедет очень далеко. Ее отец был геологом. Он отыскал на Урале горную породу, которая была необходима для алюминиевого завода, а теперь отправлялся искать еще что-то на Север, за Полярный круг.

И только один человек в лагере радовался предстоящему Олиному отъезду — это был Коля Незлобин, по прозвищу Колька Свистун. Он любил переговариваться с птицами, к ребятам обращался коротко и грубовато: «Эй, ты!.. Слушай-ка!» — а с птицами беседовал ласково и безошибочно узнавал их голоса.

Но не за это прозвали его Свистуном. А за то, что как-то однажды, в прошлом году, он неожиданно для всех пообещал написать хорошие стихи к родительскому дню, а написал плохие, и родителей пришлось приветствовать в прозе. Правда, стихов этих не видел никто, кроме Оли Воронец. Она должна была читать их в концерте самодеятельности, но в последний момент читать отказалась, заявив, что стихи никуда не годятся.

Оля первая сказала Кольке: «Эх ты, Свистун!...» А он в ответ прозвал ее Вороной: это, кажется, была единственная птица, которую он не любил.

Никто, кроме Кольки, Олю Вороной не называл, а к нему прозвище Свистун приклеилось так прочно, словно было с рождения вписано в метрику.

Из всех споров, которые время от времени затевали по

радио в пионерлагере, начальник больше всего любил дискуссию на тему: «Может ли мальчик дружить с девочкой?» И хотя всем было уже давно ясно, что мальчик дружить с девочкой может, он затевал это обсуждение каждое лето. В этом году его любимая дискуссия сразу стала затухать: спора не получалось. Тогда начальник лагеря выпустил к микрофону Кольку Свистуна, и тот громко, уверенно заявил, что девчонки — предательницы.

Те поняли, кого он имеет в виду, и бросились Оле на помощь. «Ишь ты, молчаливый-молчаливый, а разговорился!.. Высказался!» — верещали по радио девочки. Только успевали включать и выключать микрофон: дискуссия разгорелась с невиданной силой.

А Колька ничего не отвечал. Он вновь мрачно помалкивал. Некоторые считали, что он любил переговариваться с птицами лишь потому, что ему нечего сказать людям. Но на самом деле ему было бы что рассказать, если б он захотел...

О ЧЕМ БЫ ОН МОГ РАССКАЗАТЬ...

Отец проектировал алюминиевые заводы, но когда поднимались их корпуса, нигде — ни на кирпичачах, ни на крыше, ни на трубе — не было написано, что тут есть частица и его, отцовского, труда. К тому же Колькиных приятелей вообще не пускали на территорию завода, и они не могли удостовериться в том, что отец его занят большим, трудным делом. А то, что без Колькиной мамы дворовая волейбольная команда не может сражаться со своими противниками, раньше, когда Колька еще ходил в детский сад, знали все.

Колькину маму никто по имени-отчеству не величал: все, даже ребята, называли ее просто Лёлей... «Вот придет наша Леля с работы, мы вам покажем!» — кричали они волейболистам соседнего двора. И Колька ходил гордый, будто он сам умел гасить так, что все игроки по ту сторону сетки боязливо приседали на корточки, будто это он сам «подавал» так, что мяч стремительным черным ядром пролетал в нескольких миллиметрах над сеткой, чудом умудряясь не задеть ее.

Мама выбегала во двор в узких спортивных брюках и в тенниске. Болельщики встречали ее торжествующим гулом, но она прежде всего разыскивала Кольку и усаживала

его в самый первый ряд зрителей: на садовую скамейку или прямо на траву... И тут уж Колька сидел скромно, строго, не выражая своего ликования, а лишь изредка обменивался взглядами с мамой.

Это было давно, в далеком северном городе, откуда Колька уже уехал, но он помнил все очень ясно и знал, что не забудет этого никогда...

Отец был намного старше мамы. Он не умел играть в волейбол, плавать диковинным стилем баттерфляй и бегать на лыжах так быстро и легко, как умела мама. И она не заставляла его учиться всему этому. Но зато она научила его тоже ходить в спортивной майке с распахнутым воротом, долго гулять перед сном и делать по утрам гимнастику: она вытаскивала на середину комнаты сразу три коврика — для себя, для отца и, совсем маленький, для Кольки.

А еще она научила отца судить волейбольные матчи. И когда отец со свистком во рту усаживался сбоку, возле сетки, он тоже казался Кольке, а может быть, и всем остальным, совсем молодым человеком. Его в те минуты тоже хотелось называть просто по имени... Хотя никто его все же так не называл.

Зато вслед за мамой все уважительно именовали его: «О, справедливейший из справедливых!» И папин свисток был для спортсменов законом. Возвращаясь домой после волейбольного сражения или вечерней прогулки, отец часто говорил маме: «Мне снова легко дышится... Снова легко!» И это было очень важно для отца, потому что он страдал бронхиальной астмой.

Ну, а дома судьей была мама. Она никогда не давала громкого свистка, никогда не напоминала вслух о правилах жизни, но отец и Колька весело и добровольно подчинялись ее решениям, потому что эти решения были честными. Мама тоже часто повторяла: «Это справедливо!» И Колька злился на Олю Воронец еще и за то, что она, как ему казалось, присвоила любимое мамино слово.

Мама работала воспитательницей в детском саду. И Колька был у нее в группе. Иногда он обижался, что к остальным пятнадцати малышам мама была так же внимательна, как и к нему. А может, еще внимательней. Однажды он разревелся по этой причине. Мама высоко подняла его и, серьезно глядя ему в глаза, сказала: «У меня нет никого роднее

тебя. И не будет. Запомни это». Колька успокоился. И запомнил.

В детском саду он не раз слышал, как мамы упростили директора: «Переведите ребят в группу в Леле. Она такая добрая и хорошенькая...» То, что маму называли доброй, было очень приятно. Но слово «хорошенькая» не нравилось Кольке. «Она не хорошенькая, а хорошая!» — про себя возражал он, не понимая, что слово это относилось не к маме, а только к ее лицу — юному, озорному.

Однажды летом отца стали душить частые приступы астмы: климат далекого северного города стал опасным союзником папиной болезни.

«Я увезу тебя к самым лучшим врачам: к реке, к свежему воздуху... И они вылечат тебя! — сказала мама. — Мы заберемя в глушь и будем жить, как робинзоны!»

Втроем они ехали поездом, потом на грузовике, потом шли немножко пешком — и забрались туда, где воздух был сухим, а природа именно такой, какую долгие годы прописывали отцу доктора, приговаривая: «Но все это, конечно, недостижимый идеал. Поэтому обратимся-ка лучше к таблеткам и каплям!»

Доктора не были знакомы с мамой и не знали, что она умела делать «достижимым» все, что нужно было отцу и Кольке.

Раньше дома, по вечерам, мамино возвращение с работы мигом преображало все: утолялся голод, комната становилась уютной и чистой... И если мама задерживалась, Колька и отец чувствовали себя какими-то неустроенными, словно сидели на вокзале в ожидании поезда, который опаздывал и неизвестно когда должен был прийти.

То было дома, в городской квартире... А тут, на берегу реки, мама вдруг проявила такие способности, каких даже Колька с отцом не ожидали. Отец по утрам планировал предстоящий день отдыха, а мама смеялась: «Эх ты, проектировщик! Теоретик мой неисправимый!..» И разжигала печку в домике лесника или даже костер прямо в лесу и варила суп, картошку, кипятила молоко...

Отец посвежел, забыл про свои лекарства. «Теперь мы с вами три богатыря!» — говорила мама. Но однажды вечером легла на бок, побледнела и, увидев испуганное Колькино лицо, заулыбалась как-то неестественно, через силу. Колька вдруг почувствовал, что выражение «земля уходит из-под

ног» — это не выдумка, не преувеличение: ноги его подкашивались от волнения и он не ощущал под собой твердого дощатого пола.

Пожилой лесник, отец и Колька на брезентовой плащ-палатке несли маму в деревню, что была в пяти километрах: к домику лесника нельзя было подъехать даже на телеге. Мама все время держала Кольку за руку (не отца, не лесника, а только его, — Колька навсегда запомнил это!). Она то и дело, быть может почти бессознательно, повторяла: «Ничего... Не волнуйтесь, пожалуйста. Не волнуйтесь...» И только изредка спрашивала: «Еще долго? Еще долго?..» А они, все трое, молчали.

Колька думал о том, что отец, когда ему было плохо, становился по-детски растерянным и, казалось, хотел переложить на окружающих свои страдания или хотя бы поделиться с ними своею болью, мама же все время пыталась снять с их плеч тяжесть и страх. «Не волнуйтесь, пожалуйста. Не волнуйтесь...»

В лесу быстро темнело. Идти было трудно. И все, что еще недавно казалось таким заманчивым — непроходимые заросли, глухое переплетение ветвей, — все это сейчас было враждебно и ненавистно Кольке. «Еще долго? Еще долго?..» — спрашивала мама.

Из деревни они позвонили в райцентр, что был за двадцать пять километров, в больницу. «Скорая помощь» добиралась из райцентра целую вечность, хотя по часам выходило, что ехала она всего около часа.

Молодой человек в белом халате, очень неразговорчивый, даже не поздоровавшись, стал сразу осматривать маму. А потом коротко сообщил: «Аппендицит». Садясь в белую машину с красным крестом впереди, на круглом фонаре, он произнес еще два слова: «Надо успеть». Отец тоже сел в машину. И она умчалась. А Колька даже не догадался сказать... чтобы и его взяли с собой.

Он стоял возле сельсовета, рядом с пожилым лесником и мысленно повторял последние мамины слова, тоже обращенные не к отцу, не к врачу в белом халате и не к пожилому леснику в резиновых сапогах, а только к нему, к Кольке, к нему одному:

— Все будет хорошо. Аппендицит — это ерунда. От этого не умирают...



Мама умерла. Это было давно, в тот год, когда Колька еще только собирался на свой первый школьный урок. А теперь он уже был в шестом классе...

Прошли годы. Но Колька ни на день не забывал строгого молодого человека в белом халате и короткую фразу: «Надо успеть». Почему же они не успели?..

Странная, непонятная людям привычка появилась у Кольки — почти каждого нового знакомого он спрашивал: «У вас был аппендицит?»

«Был, — отвечали ему. — Вырезали. Ерундовое дело!»

И снова все та же неотвязная мысль рвала сердце: «А если бы больница оказалась ближе? А если бы дорога в лесу была проходимее?» Он слышал мамин голос: «У меня нет никого роднее тебя. И не будет».

То далекое лето, поначалу такое беспечное, неотступно стояло перед его глазами и никак не хотело становиться воспоминанием...

ВОЗЛЕ СТАРОГО ДУБА

Начальник лагеря обожал принимать делегации. Тогда в любую жару он появлялся среди душного леса в темном костюме и при галстуке. Как экскурсовод, ходил он с вытянутым вперед указательным пальцем, объясняя, что беседка называется беседкой, а библиотека — библиотекой; похлопывал по плечу всех встречаемых ребят, хотя в остальные дни еле с ними здоровался, и тоном во все вникающего отца родного невпопад задавал вопросы: «Ну, как прошла линейка? Что было на совете лагеря?»

«Линейка» и «совет лагеря» — это были те немногие пионерские термины, которые он знал наизусть. Почти никто из ребят не помнил его имени-отчества, а все так прямо и называли — начальником. Он, казалось, был твердо убежден, что пионерлагерь для того главным образом и существует, чтобы его можно было показывать комиссиям и туристам.

Оля не любила начальника лагеря. И однажды, когда руководство из стройкома оглядело все лагерные объекты, когда начальник утомленно произнес свою любимую фразу:

«Вот так мы и живем!», а руководство благодарно ответило ему: «Хорошо живете!», Оля неожиданно для всех вмешалась в разговор:

— И все это сделал Феликс!

— Кто-кто? — подчеркивая свое особое внимание к «голосу детей», заинтересовалось руководство. — Пионер? Как его фамилия?

— Нет, это старший вожатый... Феликс! Мы его по фамилии не называем.

Начальник лагеря побледнел, а руководство что-то записало в блокнот, на обложке которого было золотом выгравировано: «Делегату профсоюзной конференции».

Феликс тоже не любил начальника и работал в лагере потому, что не хотел на целое лето расставаться с ребятами, которых знал уже три с лишним года: в школе у них он был старшим вожатым. И подрабатывать ему было необходимо.

— Органичное сочетание лирики с прозой жизни, — говорил он.

Еще мальчишкой в Крыму Феликс наткнулся на мину, и ему оторвало правую руку.

«Эхо войны!» — говорил он, поглаживая свой пустой рукав, заправленный за пояс.

Ребята слагали легенды о его левой руке: он мог с ее помощью вскарабкаться на вершину любой, даже самой высокой сосны; сколько угодно раз переплыть широчайшую реку; превратить в подкову кусок металла...

Кольке Свистуну казалось, что характер Феликса был чем-то неуловимо похож на характер мамы: старший вожатый не любил перекладывать на плечи окружающих свои заботы и никому не жаловался на то, как это трудно целые дни проводить в школе, да еще учиться заочно на третьем курсе пединститута, да еще быть начальником городского штаба дружинников. Впрочем, Колька находил мамины черты у всех хороших людей, которые встречались ему на пути.

Да, много разных дел было у Феликса, но ребята больше всего гордились тем, что их вожатый стал главным дружинником в городе. Они рассказывали, что Феликс отважно и хладнокровно «одной левой», как говорили они, распутывал самые жуткие и загадочные преступления.

По вечерам, когда, перебивая друг друга, как заговорщики, то громче, то тише переговаривались деревья, а заросли, окружавшие лагерь, были полны приглушенных шорохов,

девочки, поживаясь, просили Феликса поведать о том, как он справлялся с бандитами и другими особо опасными нарушителями спокойствия.

«Извините... Я, конечно, очень виноват перед вами, но «особо опасных» нету, — полушепотом, в тон девочкам, ответил как-то вожатый. — И не потому, что городок еще маленький и совсем новый. Завод, стройка да тридцать или сорок домов. Надо сосчитать... Если же «опасные» вдруг появятся, мы с ними справимся. Вот увидите! Ненавижу бандитов... Даже «начинающих»! Ненавижу...»

«Вот уви-идите!» — часто повторял Феликс, многозначительно растягивая слово «увидите», словно заглядывал при этом куда-то с высоты своего длиннющего роста.

«Старший вожатый обязан быть длинным, — говорил Феликс. — Ведь он один на всю школу. Так вот, чтобы вам легче было разыскать его, он должен возвышаться. Как я, например».

Иногда Оля Воронец помогала Феликсу и тоже ходила по городу с красной повязкой: он доверял ей. За ними увязывалась и Олина подруга по прозвищу Белка.

В самый последний лагерный день все собрались возле старого дуба. Там всегда провожали лето... Потрескивал костер, словно кто-то тихонько надламывал сухие поленья и сучья. Искры оранжевыми бабочками взлетали и таяли, так и не добравшись до узорчатого шатра, образованного ветвями. Звезды просвечивали сквозь листву, словно подглядывали, что это там, возле костра, происходит?

Вперед вышла председатель совета лагеря Люба Янкевич — длинноногая и нескладная девочка, которая всегда казалась выросшей из своих платьев, стеснялась этого и прятала смущение за нарочитой самоуверенностью. Она объявила:

— Мы сегодня прощаемся не только с летом и лагерем... Мы прощаемся с Олей. Но я убеждена, я уверена, что наша дружба...

Все стали искать глазами Олю Воронец. В темноте это было не так уж легко, и, чтобы перестали вертеть головами, Оля поднялась и вышла к костру.

— До свидания, — сказала она. — Хотя мы можем больше никогда не увидеться...

Феликс тоже вышел к костру. Погладил пустой рукав: он волновался.

— Я хочу попросить Олю переписываться с кем-нибудь... Чтобы он пересказывал Олины письма нам всем.

— Почему «он»? А может быть, это будет о н а? — ревниво вскочила со своего места лучшая Олина подруга Аня Черемисина, прозванная за свои рыжие волосы и непоседливость Белкой. — Может быть, будет переписываться не он, а о н а! — вновь крикнула Белка.

— Я хочу, чтобы это был «он», — с неожиданной настойчивостью повторил Феликс, который обычно не навязывал своих предложений. — Именно «он»! Коля Незлобин... И отвечал ей. Как бы от нашего имени. Не можем же мы в данном случае творить коллективно!

Сухие поленья и сучья в костре стали надламываться гораздо громче: лагерь изумленно затих.

— Он только с птицами разговаривать может, — сказал кто-то из темноты.

Колька сидел далеко от костра. Он молчал, потому что не верил своим ушам. И, словно для того, чтобы он им поверил, в одно его ухо вдруг пополз противный, захлебывающийся слюной шепот:

— Эх ты, тютя! Над тобой издеваются, а ты? Она же тебя перед всеми по гроб жизни опозорила, а ты ей теперь будешь писульки посылать: «Люблю! Целую! Жду ответа...»

Нет, не один Колька в лагере был зол на Олю — ее, оказывается, не любил и наглый паренек Рудик Горлов, хотя вслух об этом говорить боялся. Зато сейчас он прямо втиснулся в Колькино ухо и ужасно при этом плевался, так что Кольке стало не по себе, и он отодвинулся в сторону.

Минуту назад Колька собирался вскочить и крикнуть: «Никогда ей не напишу! Ни одной строчки!», но он не захотел слушаться «мокрых» подсказок Рудика — и промолчал.

А Оля, не скрывая удивления, сказала:

— Пожалуйста... Если мне дадут такое странное поручение, я его выполняю.

— Это просьба, — уточнил Феликс. Но его просьбы и советы были законом, будто и их он давал «одной левой». — Чем чаще вы будете писать друг другу, тем лучше: мы не хотим с тобой расставаться, Оля. Не хотим.

Белка вскочила опять:

— А почему она должна писать именно... Свистуну?..

— Коле Незлобину, — поправил ее Феликс. Погладил пустой рукав — и как бы поставил точку.

КЛЕТКА БЕЗ ПТИЦЫ

Через три года после смерти мамы Колькин отец женился.

В дом пришла Елена Станиславовна, работавшая с отцом в проектной конторе. Она пришла не одна: с нею вместе явилась и ее дочка Неля.

Неля была на год моложе Кольки, но в доме она сразу сделалась старше, как бы важнее, потому что училась в музыкальной школе. В большой комнате, на самом видном месте, было установлено черное блестящее пианино, и оно сразу заполнило собой всю квартиру...

Перед тем как переехать к ним в дом, Елена Станиславовна спросила у Кольки, не возражает ли он против этого. Колька не возражал... Потом она долго беседовала с ним и назвала эту беседу «очень важной для всей их дальнейшей совместной жизни».

Елена Станиславовна сказала, что Колька со временем, конечно, будет называть ее мамой, а Нелю — сестрой; Неля же, тоже со временем, станет называть Колькиного отца папой, а все вчетвером они непременно должны будут стать друзьями.

Она добавила также, что никто в семье не должен иметь «привилегий».

Неля, не «со временем», а прямо-таки с первого дня стала говорить Колькиному отцу «папа», и он несколько дней вздрагивал от неожиданности, когда она его так называла.

— Вот видишь, — сказала Елена Станиславовна Кольке, — Неля хоть и младше, но подала тебе пример.

А Колька не мог... Елена Станиславовна была, наверно, очень хорошей или, как говорил отец, «глубоко порядочной» женщиной, да и Неля ничего плохого пока Кольке не сделала, но друзьями они никак не становились, хоть это, по проекту Елены Станиславовны, обязательно должно было совершиться.

Елена Станиславовна зорко следила за тем, чтобы Колька и Неля в одно и то же время утром вставали, а вечером ложились спать, поровну ели за завтраком, за обедом и ужином (Кольке даже доставалось больше, потому что он, как подчеркивала Елена Станиславовна, «должен стать мужчиной»), но Нелино пианино, ее призвание, ее музыкальное будущее не оставляли в доме даже крохотного местечка для Колькиных увлечений, которые, впрочем, пока и не обнаруживались

(если, конечно, не считать птиц), но, быть может, могли еще появиться...

В доме от Кольки ничего особенного не ждали, были вполне удовлетворены, когда он получал тройки, хотя от Нели строго требовали одних лишь пятерок.

С приходом Елены Станиславовны отцу как-то сразу стало ровно столько лет, сколько было по паспорту, — сорок пять. Он уже не судил волейбольные матчи во дворе (Елена Станиславовна назвала это мальчишеством), не ходил в спортивных рубашках с распахнутым воротом и, хоть Елена Станиславовна чуть ли не каждую неделю водила его к врачам, чувствовал себя очень неважно. «Ты забываешь о своей болезни!» — с укором восклицала Елена Станиславовна.

А мама как раз старалась, чтобы отец об этой болезни не вспоминал...

Да, у новой жены отца характер был совсем другой, чем у мамы. И другой характер стал у всего дома. Он был теперь аккуратным и подтянутым, словно застегнутым на все пуговицы, как строгий темно-синий жакет Елены Станиславовны.

Мамин портрет, которого Колька даже не видел раньше, Елена Станиславовна повесила на самом видном месте, над черным блестящим пианино, и, когда приходили гости, громко всем сообщала: «Это первая жена моего супруга. Она была прекрасной женщиной. И нелепо погибла от аппендицита. Ее звали Еленой Сергеевной...» Кольке хотелось возразить, хотелось сказать, что маму звали просто Лелей. Ему почему-то было неприятно, что полное мамино имя совпадало с именем Елены Станиславовны. Хотя, наверно, он был несправедлив...

* * *

В тот памятный день, когда Колька вернулся из пионерского лагеря, в центре стола красовался пирог, купленный Еленой Станиславовной в соседнем магазине «Кулинария». Мама когда-то сама пекла пироги к праздничным дням и вообще даже в будни любила повозиться на кухне. Елена Станиславовна предпочитала полуфабрикаты и готовые обеды, которые Колька и Неля по очереди (чтобы никто из них не имел привилегий!) таскали в судках из столовой строителей. Елена Станиславовна говорила, что «такая форма

ведения домашнего хозяйства — наиболее прогрессивная и современная, если учитывать занятость наших женщин».

Ко дню Колькиного возвращения Неля выучила новую музыкальную пьесу — бравурную и торжественную, подобную маршам, какими встречают победителей сражений. А Колька появился на пороге с облупившимся на солнце носом и со старым, тоже облупившимся чемоданчиком.

Неля бросилась к своему круглому вертящемуся стулу без спинки, откинула блестящую крышку пианино — и грянул марш. Но она не сумела доиграть до конца...

— Где моя Черная Спинка? — крикнул Колька, заглушая пианино.

Черной Спинкой он называл раненую чайку, которую нашел прошлым летом на реке, возле лагеря, и всю зиму лечил.

— Она... была на кухне, — ответил отец. И двинулся навстречу Кольке с распростертыми объятиями. — Здравствуй!

Колька увернулся от его рук, бросил свой чемоданчик на тахту и выскочил из комнаты. Все трое — отец, Елена Станиславовна и Неля, — переглянувшись, неуверенно двинулись за ним.

В кухне на окне стояла пустая клетка... Это была не обыкновенная клетка, какую можно купить в зоомагазине, — она была самодельная, очень просторная, так что птица чувствовала себя в ней свободно и не должна была наткаться на деревянные перекладыны. Эту клетку Колька построил очень давно, с маминой помощью, и она бы, наверно, вполне подошла даже для ширококрылого горного орла, а не только для скромной чайки. Внутри клетки, в горшочке с землей, рос куст, чтобы птица, если бы она не была речной чайкой, могла, присев на него, вспомнить свой родной лес. Сейчас листики на кусте свернулись в сухие трубочки: его, наверно, давно уж никто не поливал.

Дверца клетки, которая вполне походила на дверь, была открыта. В пустой банке из-под консервов валялось несколько желтых зерен.

— Вы давали ей рыбу? — тихо спросил Колька.

— Нет... У нас не было времени возиться с рыбой, — ответил отец. — А вот зерна...

Колька боялся задать главный вопрос, оттягивал его.

— А ногу ей перевязывали?

— Да... бинтом.

— Но ведь тут, на кухне, темно, жарко... и пахнет газом. Зачем же вы ее... сюда?

— Ты знаешь, Николай... — Отец в ответственные минуты всегда называл его так. — Ты знаешь, что Неля нигде летом не отдыхала, что она много занималась, а птица кричала, хлопала крыльями, чем-то там шуршала. Ну, в общем, мешала ей...

Колька со злостью взглянул на худое и бледное личико Нели. Она и правда все лето была в городе, потому что хотела заниматься с известным профессором — преподавателем консерватории. Профессор этот приехал на два месяца из Ленинграда в гости к своему сыну, инженеру-строителю.

— Черная Спинка, значит, тебе очень мешала? — все так же тихо, избегая еще главного вопроса, спросил Колька у Нели.

— Да, мешала! — звонко, дребезжащим от надвигающегося плача голосом ответила девочка.

— Недаром тебя в школе зовут Писклей!

— Еще бы... Ведь я сестра Свистуна!

— А ты мне не сестра... — выпалил Колька.

— Вот видишь, мама? Ты видишь!.. — Голос Нели становился все тоньше, будто внутри у нее нервно, туже и туже натягивалась незримая глазу струна.

Наконец струна лопнула: разрыдавшись, девочка бросилась обратно в комнату.

До сих пор Елена Станиславовна молчала. В глубине души она считала, что должна была более чутко отнестись к Колиной просьбе, внимательней последить за больной птицей. Она даже готова была вслух признать свою вину, но последняя Колькина фраза мигом изменила все ее намерения.

— Как ты можешь так, Коля? Неля видит в тебе своего брата, она готовилась к твоему возвращению... И эта Черная Спинка действительно мешала ей заниматься!

— Где же она сейчас? — спросил Колька, не слыша ничего, кроме того, что касалось его любимой птицы.

Елена Станиславовна опустила голову.

— Она сдохла, — набравшись мужества, ответил отец.

Колька качнулся... Его поразило и то, что не стало любимой птицы, для которой он привез из лагеря целую банку

мальков, и то, что отец сказал о ее смерти вот так прямо и грубо.

— Она умерла... а не сдохла. Умерла из-за вас! — крикнул Колька, сдерживая слезы, чтобы не быть в этот момент похожим на Нелю. Он схватил огромную клетку и, неловко волоча ее впереди себя, спотыкаясь, побрел во двор.

ХОЛМИК ВО ДВОРЕ

Лечить больных, раненых и обмороженных птиц Колька начал давно. Мама называла его птичьим доктором, а большую клетку, которую они смастерили вместе, — птичьей лечебницей. Колька выпускал своих пациентов на вольную волю, как только они выздоравливали. Птицы нетерпеливо вырывались из клетки, и Кольке от этого бывало немного не по себе.

«Неужели они... совсем не привыкают ко мне? — спросил он у мамы. — Так торопятся улететь...»

«Им просто не терпится показать тебе, как окрепли их крылья. Они хотят убедить тебя, что совсем уже выздоровели и готовы к полету. В этом-то, может, и заключается их благодарность...»

Но не все Колькины пациенты выздоравливали. Как-то зимой он подобрал во дворе вздрагивавший комочек. Что это за птица, он так и не узнал. Колька закутывал ее в вату и байку, ставил компрессы, поил ее сладким горячим чаем. Но птичка никак не согревалась... Кольке казалось, что она даже кашляет и чихает — по-своему, еле слышно. Весной, когда Колька открыл дверцу клетки, птичка никуда не полетела, а, наоборот, забилась в угол, прижалась к деревянным планкам. Вскоре она умерла. Колька похоронил птичку во дворе, на газоне, за изгородью, чтобы никто случайно не наступил на маленький холмик, не разрушил его. Холмик зарос травой и стал казаться маленькой зеленой башенкой, поднявшейся из-под земли.

Сейчас Колька, сидя на скамейке и положив голову на огромную самодельную клетку, думал о том, что его любимую Черную Спинку никто, конечно, не похоронил, что ее просто выбросили куда-нибудь в мусоропровод или в урну, стоявшую во дворе. «На пианино играет! — со злостью думал он о Неле, виня почему-то во всем ее одну. — Музыку любит!

А больную птицу — на кухню: в духоту, в темень... Верно я сказал, что девчонки — предательницы. Все до одной!..»

Как бы вызванный этими его мыслями, сзади раздался певучий голос:

— Послушай, Свистун...

Он узнал Олю Воронец и, не повернув головы, продолжал угрюмо глядеть на зеленый холмик за деревянной изгородью. Тогда Оля сама подошла к изгороди, чтобы Колька мог и ее увидеть, не меняя своей позы. В руках у нее был карандаш и блокнотик.

— Я вот тут последние дела записываю на дорогу. Адреса, телефоны. Мне номер твоей квартиры нужен: нам же с тобой переписываться... придется. В одном доме живем, а квартиры твоей не знаю.

— Сорок третья... — ответил Колька, не отводя глаз от холмика и по-прежнему опершись щекой о пустую клетку.

Оля записала с таким видом, будто ей это было вовсе не нужно, но она просто обязана была: задание — ничего не поделаешь!

Она спрятала свой блокнотик и уже сделала шаг в сторону, но вдруг задержалась и спросила:

— Ты что на газон уставишься?

Колька промолчал. Она не уходила.

— Откуда у тебя такая громадная клетка?

— Сам сделал.

— Зачем такую большую?

— Ты на одном месте... целый день сидеть можешь? — вопросом ответил Колька.

— Нет.

— И птица не может.

— А где она? Выпустил, что ли?

— Нет, умерла...

— И ты из-за этого такой... грустный? Из-за птицы?

— Скажи еще: «Из-за какой-то там птицы!..» Все так говорят.

— Зачем же?..

Оля присела на корточки и снизу заглянула Кольке в глаза.

— Чего тебе? — отмахнулся он. И с ужасом почувствовал, что глаза его сами собой становятся мокрыми. Он изо всех сил напрягся, но ничего поделать не смог — слезы стояли в глазах.

— Что ты? — дрогнувшим голосом сказала Оля. — Из-за птицы?..

Он мог бы объяснить: ему тяжело не только из-за этой... вдруг опустевшей клетки. А и потому, что, вернувшись, он не почувствовал, что приехал домой, хоть на столе красовался пирог и встретили его торжественным маршем. Он мог бы объяснить, что в прошлом году летом переписал из газеты чужие стихи и выдал их за свои и попросил Олю прочитать в родительский день, чтобы доказать Елене Станиславовне и отцу, что тоже чего-то стоит и чем-то на свете увлекается... кроме своих птиц. Оля, как всегда борясь за справедливость, отыскала тогда эти стихи в газетной подшивке (и как только они запомнились ей!), а потом, подойдя к Кольке, тихо, чтобы никто не услышал, но очень отчетливо произнесла: «Позор! Это же воровство». И разорвала стихи на клочки... Другим она сказала, что стихи были просто плохие. «А обещал написать хорошие...» — добавила она при всех, обратясь к Кольке. — Эх ты, Свистун!»

В тот родительский день, после концерта, Колька слышал, как мамы допытывались: «Почему ты не пела?.. Почему ты не выступал? Почему не участвовал в пьесе?..» А отец и Елена Станиславовна ничего не спросили у Кольки. Они вручили ему пакет с фруктами. Такого большого пакета не привезли, кажется, никому. И всё... Но разве Кольке нужны были эти фрукты? Он предпочитал лесную костянику и ягоду рябину, от которой сводило челюсти, но которую его научили любить птицы.

Все это он мог бы объяснить Оле Воронец, когда она, сидя на корточках, упрямо заглядывала ему в глаза. Но он ничего ей не рассказал.

— У тебя две пуговицы на рубашке оторвались, — сказала Оля. — Пришей. Или скажи маме.

— У меня нет мамы.

— Нету?.. А строгая женщина... в темном костюме?

— Это не мама.

— Прости, пожалуйста...

Оля продолжала рассматривать его так, будто до этого дня ей был известен какой-то совсем другой мальчишка, по прозвищу Колька Свистун, а того, который сейчас оперся щекой о пустую клетку, она встретила первый раз. Колька боялся, что слезы предательски потекут по щекам, Оля увидит их и уже не будет сомневаться в том, что он плачет.

Ему очень хотелось, чтобы она поскорее ушла, но не знал, как прогнать ее. И вдруг он вспомнил, что Оля злилась, когда в лагере называли ее красивой, она тут же прекращала разговор и, с ненавистью взглянув на своего собеседника, удалялась независимой быстрой походкой. Он вспомнил это и, не поворачивая головы в ее сторону, сказал:

— А правду говорят, что ты... красивая.

— Ты это на газоне разглядел?

Оля не рассердилась и не сорвалась с места. Колькины слова были ей, кажется, даже приятны. По крайней мере, она пригладила волосы и расправила свою нарядную плиссированную юбку, которая синим полушарием расположилась прямо на траве, Оля продолжала сидеть на корточках.

Неожиданно Кольку выручил Рудик Горлов, появившийся во дворе с фотоаппаратом.

— А-а... Вот я вас и щелкну! — воскликнул он своим шепелявым голосом. — Интересный получится снимочек: «Последняя встреча перед разлукой!» А когда издадут книжицу под названием «Переписка Оли и Коли», мы эту фотографию на первую страничку тиснем...

Рудик любил уменьшительные слова, и оттого его фразы казались приторными и липкими. В четвертом и пятом классах Рудик сидел по два года и поэтому был старше своих одноклассников, а ходил он летом в коротких штанах, которые именовал «шортами». На голове у Рудика был берет с хвостиком, франтовато сдвинутый чуть-чуть набок.

— Беретик сюда направляется, — зло прошептала Оля. Так она называла Рудика. И поднялась с травы. — Ну, я пойду...

Рудик тут же подскочил к Кольке:

— Что? Помешал?.. Вам ведь только переписочку вести поручили, а на коленки перед тобой становиться ей никто пока что не поручил!

Колька не обращал на него внимания. Он смотрел Оле вслед.

— А ты о деньжатах-то, между прочим, подумал? — не отставал Рудик.

— О каких деньжатах?

— Или ты, может быть, очень богатый? Пионер-миллионер?.. Ха-ха-ха! Три раза в месяц письма посылать! Так Феликс вчера сказал? Это же целых пятнадцать копеек

выходит. Полтора рубля, значит, в старом масштабе цен.

Чтобы сумма выглядела повнушительнее, Рудик всегда считал «в старом масштабе».

— По арифметике из двоек не вылезает, а тут, словно счеты, защелкал... — вяло ответил Колька. — Какое тебе дело?

— Ты дурачком-то не будь! А если полтора рубля на десять месяцев помножить, это же пятнадцать рублей выходит! В старом, конечно, масштабе. Феликс еще приказал фотографии города ей посылать. Слышал? Чтобы она, так сказать, была в курсе всех изменений... Что ж, ты из своего карманчика будешь выкладывать? Они дали заданьице — пусть и платят! Что он о ней так заботится?

По-прежнему уставившись на газон за деревянной изгородью, Колька угрюмо осведомился:

— Ты знаешь, как тебя называют?

Рудик наострил уши.

— Беретиком...

— Ну и что?

— Неточное прозвище.

— В каком смысле?

— Змееныш ты... вот!

ПИСЬМА И ТЕЛЕГРАММЫ

Коля пишет Оле

Посылаю тебе первое письмо. В этом месяце останется написать еще два.

К о л я

Оля пишет Коле

Здравствуй, Коля!

Прежде всего хочу напомнить, что меня зовут Олей, хотя из твоего письма этого узнать невозможно.

И что за письмо такое — полторы корявых строчки? Мне от тебя вообще никаких писем не нужно. Но если все-таки пишешь, то уж, как говорится, «будь добр»...

О л я

Коля пишет Оле

Оля!

Мне от тебя тоже никаких писем не нужно. Но все хотят, чтобы ты рассказала о своем заполярном городе. В книжках они, что ли, не могут прочесть? Да о нем, об этом городе, в любом учебнике географии написано!

К о л я

Оля пишет Коле

Здравствуй, Коля!

Я бы тебе ничего рассказывать не стала (читай в учебнике географии!), но раз просят, я кое-что расскажу.

Знаешь, как называют эти места? Северными воротами! Только за обычными воротами бывает улица или переулок, а за этими — море. Здесь я увидела его первый раз...

Раньше я, когда думала о море, всегда представляла себе золотой пляж и отдыхающих. Но здесь никто не загорает и пляжа нет. Тут в море работают: ловят рыбу. Весь порт пропах ею.

Заводы я здесь увидела совсем не такие, как у нас. Наш алюминиевый — это корпуса, трубы. А рыбные заводы плавают и качаются на волнах. Там, прямо на палубах, рыбу разделяют и солят.

А сколько я видела в порту бочек, ты представить себе не можешь! Если бы все они сразу покатились, то грохот, наверно, был бы слышен у нас в городе. А там, где собрались все бочки вместе, воздух от них такой, как у нас в «Сосновом бору»: смола, свежее дерево.

Я все говорю: «У нас на стройке. У нас на алюминиевом... У нас в «Сосновом бору». Никак не могу отвыкнуть. И скучаю я... Даже ты отсюда, издали, выглядишь гораздо симпатичнее. Может быть, и обо мне вспоминают? Папа говорит, что пора уже привыкать к новому месту. Я понимаю, что пора, но ведь по заказу этого не сделаешь — не привыкнешь и не отвыкнешь...

О л я

Коля пишет Оле

Оля!

Все просят тебя не отвыкать... Это ребята просят. А я просто передаю.

К о л я

Оля пишет Коле

Здравствуй, Коля!

Есть одно дело. Я хотела еще тогда, во дворе, рассказать о нем, но тебе было не до меня. Я видела... И Беретик не вовремя появился. Потом думала сразу же написать, в самом первом письме, но как-то не решилась, а сейчас вот пишу.

Дело важное, как говорит моя Белка, «невообразимо».

Готов ли ты проявить находчивость, смелость? Подумай, посоветуйся со своими птицами. Ты ведь, кажется, ни с кем больше не дружишь?

Послушай, что они там тебе напоят, и ответь мне.

Жду письма. Только не двух строчек, а именно — письма.

О л я

Коля пишет Оле

У старого дуба не говорили, сколько надо писать — две строчки или две страницы. Сказали: три письма в месяц, и все.

Сейчас, в начале учебного года, у меня много времени. Поэтому, если очень уж надо, пиши про свое «дело».

К о л я

Оля пишет Коле

Коля!

Если тебе в начале учебного года нечем заняться, советую побольше гулять, дышать свежим воздухом. Можно еще поваляться на диване или сходить лишний раз в кино. А с моей просьбой «от нечего делать» не справишься. Поверь, Коленка: ничего не выйдет! Так что я ее отменяю.

Видел ли ты когда-нибудь людей, имена которых можно прочесть на географической карте? А я вчера видела такого человека. Я всегда думала, что «морские волки» — здоровяки, геркулесы. А этот сутулый старичок сказал мне: «Вот перед чем бури должны отступать!» И похлопал себя сперва по голове, а потом по левому карману. Рудик, конечно, сразу решил бы, что он имеет в виду деньги. А он имел в виду сердце, душу свою морскую. И смекалку!

Помнишь, учительница литературы советовала нам записывать в особую тетрадку слова с двойным значением — ну, например: «ключ от двери» и «горный ключ». Помнишь, тогда на уроке Рудик вскочил и выпалил: «С одной стороны — поэт Блок, а с другой — блок, на который веревку наматывают!» Все смеялись... А он просто хотел показать, что читает поэтов, которых мы еще не проходили.

Ты думаешь: к чему я пишу все это? А к тому, что слово «банка», представь себе, тоже имеет два смысла. Есть, оказывается, у него очень поэтичное значение: возвышение морского дна тоже называется «банкой». И возле такой «банки» всегда водится много рыбы. Отыскать ее — это счастье для моряков! Сутулый, морщинистый старичок, которого я вчера видела, отыскал. Тогда он еще не был старым...

Никто ему сперва не верил. И он все выходил и выходил в любую непогоду, пока не доказал, что рыбы там, возле новой «банки», видимо-невидимо.

«Банку» и назвали его именем. Справедливо! Скучаю я, Колька. По улицам нашим, по Белке, по Феликсу... И письмо тебе длинное пишу потому, что кажется, будто с ними сейчас разговариваю. Передай им это письмо.

Кстати, ты опять забыл, что у меня есть имя: Олей меня зовут.

Коля пишет Оле

Здравствуй, Оля!

Письмо твое передал. Все были рады.

Да, между прочим... Если это так важно, я могу выполнить твое «дело».

К о л я

Оля пишет Коле

Я несколько раз перечитала, Коля, твое письмо. Благо это не заняло много времени: в нем ровно три строчки. Но наконец-то ты написал слово «Здравствуй». Спасибо тебе за это.

А о моем «деле» забудь. Ты пишешь: «Если это так важно...» Да, важно, но не делай мне одолжений. Подумаю, выберу кого-нибудь понадежней и напишу ему письмо. Время не ждет!

О л я

Т Е Л Е Г Р А М М А

Никому не пиши. Все выполняю.

К о л я

Оля пишет Коле

Добрый день, Коля!

У нашего старого дуба, когда, помнишь, так жарко горел костер, никто не поручал нам посылать друг другу телеграммы. Так что ты, можно сказать, даже перестарался.

Но телеграмма твоя пришла вовремя — в тот самый день, когда я уже собиралась поручить свое важное дело кому-нибудь другому. Сидела на уроке и шептала себе под нос имена наших ребят...

И почти все мне кажутся отсюда, издалека, очень хорошими, благородными, а плохое куда-то улечивается из памяти, будто его и не было.

Даже ты, Колька, представляешься мне отсюда просто ангелом. Особенно по сравнению с Вовкой Артамоновым, с которым я сижу за партой. Он раньше один восседал. Меня рядом с ним, на свободное место, и посадили. Он на первом же уроке записку начертал: «Откажись лучше со мной сидеть. Впереди тоже свободное место есть. Давай-ка туда уматывай!»

Я бы могла пересесть, но из принципа осталась. Теперь он на каждом уроке пишет: «Давай, давай отсюда!» Многие его боятся. «Не связывайся!» — говорят. А я с ним и не свя-

зываюсь, это он сам... «Я, говорит, с первого класса всегда один за партой сижу. У меня парта люкс! Ее так все называют. Так что мотай отсюда!»

Подумай, Колька: почему он должен один сидеть, если все сидят по двое? Это же несправедливо. Пусть хоть мину под меня подкладывает — не уступлю!

Я только что из школы пришла, а там с Артамоновым поссорилась и никак успокоиться не могу. Некоторые перед ним заискивают. Отцы у них рыбаки, капитаны... И сами с рождения у моря живут. Смешно: Артамонова испугались!

Но я не об этом хотела тебе писать. Я должна была рассказать о своем важном деле. И очень срочно, потому что мама, которая пока еще находится там, у нас, или, вернее, у вас (никак не могу привыкнуть!), через десять дней уедет. И тогда будет поздно...

В следующем письме объясню. А сейчас очень устала. До свидания!

О л я

Оля пишет Коле

Здравствуй, Коля!

Сейчас тебе подробно все растолкую.

Мама моя задержалась потому, что еще не довела у себя в больнице до полного выздоровления, до выписки то есть, пятерых своих давних больных... Вскоре они выписываются — и тогда мама приедет сюда.

Она-то уедет из вашего города, а две наши замечательные комнаты на первом этаже в доме строителей, где мы жили с папой и бабушкой, останутся. Ты знаешь, как трудно у нас там с квартирами, — эти комнаты сразу займут. И очень важно, Коля (запомни это!), кто туда въедет! Ты должен сделать так, чтобы въехала наша школьная гардеробщица Анна Ильинична — ну, та, которая зимой предупреждает: «Уши спрячь. Воротник подними!»

Я давно уже заметила, что она как придет с работы, так со своими дочками-двойняшками, девчонками лет по пяти, до темноты во дворе гуляет. Я как-то даже спросила ее об этом. «Разве, говорю, они в детском саду не нагулялись?» Она мне стала объяснять, что свежий воздух девочкам очень полезен. А я по голосу ее почувствовала, что воздух тут ни при чем. Стала я тогда соседок потихоньку расспрашивать, и они

мне рассказали, тоже потихонечку, чтобы Анна Ильинична не слышала, что ее семья на десяти метрах умещается — в маленькой комнатухе, при кухне. А ведь их пятеро, представляешь себе! Как же это несправедливо.

У нее еще, оказывается, и взрослая дочь есть — у нас, в десятом классе, учится. И муж Анны Ильиничны заочно какие-то экзамены сдает. Так вот, чтобы двойняшки им не мешали, она, даже не отдохнув после работы, по двору слоняется. И зимой с ними до темноты гуляет. Они-то бегают, им тепло, а она руками по бокам колотит, на одном месте прыгает, а домой не идет: пусть те двое в тишине занимаются! И те-то, конечно, не виноваты. И никто, наверно, не виноват, потому что город наш еще совсем молодой, не обстроился, но Анне Ильиничне от этого, как понимаешь, не легче.

Я много раз ее девчонок к себе забирала, чтобы она навстречу домой подняться могла (они в нашем подъезде на пятом этаже живут) и отдохнула бы хоть немного. А когда узнала, что папу в Заполярье командируют, так сразу решила, что в наши комнаты должна переехать Анна Ильинична со всей своей семьей.

Они сами такие люди, которые за себя не попросят и никаких бумажек собирать не станут. Им кажется, что если по закону положено, то о них и без напоминаний вспомнить должны. Только иногда не вспоминают...

Я все справки за них собрала и в жилищно-коммунальный отдел раз пять бегала. Всем все доказала, все сочувствовали и даже согласились выписать ордер. Но тут Еремкины на дыбы встали.

Это наши бывшие соседи — муж и жена. Ты знаешь их: они между рамами своего окна железную решетку соорудили и часто сквозь нее, как из тюрьмы, во двор выглядывают. Мы им однажды в окно футбольным мячом попали, когда еще решетки не было, так они этот мяч в отделение милиции отнесли.

Я Еремкиным тоже обо всех бедах Анны Ильиничны рассказывала, даже прибавляла кое-что для большего впечатления. Но есть, я заметила, такие люди: им о чужой беде говоришь, а они в этот момент только о себе, только о своих делах думают. И даже рады, что несчастье с кем-то другим случилось, а их стороной обошло. Расскажи им, что где-то землетрясение, а они будут думать: «Как хорошо, что вблизи

от нас нет ни гор, ни вулканов и земля под ногами не шатается!..» Расскажи, что человек умер, они даже фамилии не узнают, а первым делом спросят: «Отчего?» И скажут один другому: «Вот видишь, надо к врачу пойти: провериться!»

Я Еремкиным про Анну Ильиничну рассказывала, а они в этот момент (по лицам их видела!) думали только об одном: как хорошо, что у них большая комната, на солнечной стороне и не при кухне! Ну, а когда они услышали, что мы хотим Анну Ильиничну вселить к ним в квартиру, сразу же о справедливости заговорили. Не по закону, мол, и несправедливо, чтобы в хорошую квартиру дома строителей въезжали люди, которые на стройке не работают. Еремкины все законы наизусть знают, но только, я заметила, всегда так выходит, что законы обязаны срабатывать в их пользу, и справедливость они как-то всегда к своим интересам умудряются приспособливать.

Они стали всюду заявления строчить, и выходило, будто они о правах строителей беспокоятся. А на самом деле они просто не хотят, чтобы сразу трое детей в квартиру въезжали. То есть старшая-то дочь Анны Ильиничны уже взрослая, школу кончает, а двойняшки их насмерть перепугали. Они ведь и со двора ребячьи голоса спокойно слушать не могут, все передергиваются: «Покоя нет! Отдохнуть невозможно!..»

Я слышала, как Еремкина говорила своему супругу: «Когда этот крик издалека доносится, и то хоть убегай на край света. А тут он будет под самым ухом. К тому же учти, что они двойняшки и, значит, вопить будут сразу в два голоса!»

Я могла бы, конечно, ответить ей, что очень хорошо знаю этих двойняшек, что они никогда не орут в два голоса и вообще никак не орут, потому что очень робкие девочки. Но с Еремкиными разговаривать бесполезно, — и я решила их перехитрить. Перед самым моим отъездом письмо в стройуправление написала: мол, в доме проживают дети строителей, а Анна Ильинична работает в школе, где эти самые дети учатся, — значит, и она имеет к строительству отношение. Самое непосредственное! Со мной согласились. И Еремкины приумолкли.

Но, приехав сюда, я вдруг подумала, что они, может быть, снова развернули наступление на Анну Ильиничну. Это было бы очень несправедливо! Я Белке перед отъездом пору-

чила следить... Но она все-таки девчонка, и потом — доверчивая, восторженная. Еремкины могут ее обмануть.

А с тобой им будет труднее: ты — мужчина!

В общем, помоги Белке. Или, вернее, пусть она тебе помогает. Только не смущайся, пожалуйста, когда они станут восклицать: «Мы будем бороться за правду!» Они так всегда говорят, когда им нужно за самих себя постоять. И вообще к словам Еремкиных не прислушивайся: это для них дымовая завеса. Ты лучше планы их разгадай... И разрушь! Надеюсь на тебя!

Это и есть моя просьба.

Ну, пока все. Действуй, Коля!

Я тебе такое длинное письмо посылаю, что оно вполне может сойти за два (от тебя научилась п о д с ч и т ы в а т ь!). Так что я немного передохну, а ты пиши — сообщай, как идут дела.

О л я

Коля пишет Оле

Здравствуй, Оля!

Я сегодня почти всю ночь не спал. Я слышал, как дикторша пожелала всем спокойной ночи, а утром услышал, как заиграли позывные и другая дикторша бодрым голосом сказала: «Доброе утро, товарищи!» И тут же я подскочил к окну: мне показалось, что кто-то уже вселяется в вашу квартиру. Но это грузовик привез в магазин продукты...

Я теперь ни о чем другом ни одной минуты не думаю, а все время размышляю, как мне победить Еремкиных. И если меня сейчас вызовут к доске, наверняка схвачу двойку.

Я думал, ты мне ерунду какую-нибудь поручишь, а теперь я просто... Кончаю писать: учитель стал прогуливаться между партами и сейчас приближается ко мне.

Продолжаю писать уже дома... Нелька с умным видом тарабанит на пианино, и мне очень хочется рассказать ей о твоём задании. Ведь она думает, что я ни на что серьезное не способен. И ее мать, Елена Станиславовна, тоже так думает, и даже мой отец... Вот бы они узнали! Но не беспокойся, я ничего не расскажу: вдруг они проболтаются Еремкиным, и тогда все погибнет. Я решил действовать втайне. И только Белке сегодня на перемене рассказал о твоём письме: ты сама разрешила обратиться к ней за помощью.

Белка выпучила на меня свои зеленые глазищи, даже веснушки ее и рыжие волосы засверкали от изумления.

— Тебе,— говорит,— Оля поручила это дело? Тебе?!

— А что такого особенного? — ответил я.— Мы же с ней переписываемся.

— Переписываться с тобой ее просто насильно заставили. Но чтобы она поручила тебе такое дело? Не верю!

Тогда я достал твое письмо и показал ей, словно пропуск какой-нибудь предъявил или пароль произнес. Она стала это письмо вертеть в руках, со всех сторон разглядывать и даже к окну, на свет его понесла, будто я мог обмануть ее и подделать твой почерк. Потом вернулась и говорит:

— Невообразимо! Мне всего-навсего открыточку прислала, а тебе целый пакет! Что-то там, на Севере, с ней происходит... Климат, наверно, влияет! Говорят, там очень тяжелый климат.

Ты ведь знаешь Белку: тарахтит, руками размахивает.

— Чем это ты,— говорит,— завоевал такое доверие? Ведь она же тебя презирала! И вдруг... Невообразимо! Ничего не пойму!..

Я не стал спорить, потому сам еще недавно считал тебя предательницей, а чем заслужил твое доверие — понять не могу.

Потом Белка немного успокоилась, пришла в себя и сказала, что у нас ничего не получится, потому что Еремкины предупредили: как только твоя мама уедет, они запрут ваши комнаты, никого в них не пустят и будут с утра до вечера «бороться за правду». Они хотят бороться до тех пор, пока эта самая их «правда» не победит.

Анна Ильинична никуда не ходит и не хлопочет. А я со вчерашнего вечера все время соображаю, как ей помочь. Мне бы нужно было не со вчерашнего дня, а может, раньше тебя, Оля, об этом подумать. Потому что я ведь еще в прошлом году был у Анны Ильиничны дома. И все видел...

Это вот как было. Нелька однажды забрала с собой ключи от квартиры, забыла оставить их у соседки. Она у нас часто забывает и путает, но ей все прощается, потому что она — талант, дарование и делает это не просто так, а по рассеянности. Елена Станиславовна говорит, что все талантливые люди «с некоторыми отклонениями от нормы». Ну вот, у Нельки там очередной раз что-то «отклонилось» — и она унесла с собой ключи.

А дело было зимой, и я целых два часа слонялся возле подъезда. Анна Ильинична шла мимо — двойняшек своих из детского сада вела — и говорит: «Ты же в сосульку превратишься!» И забрала меня к себе наверх. Чаем поила, валенки мои на батарею поставила... Я тогда разглядел, как они живут. Старшая дочка на подоконнике задачки решала, муж за столом к экзаменам готовился, а двойняшки прямо тут же, рядом, на кровати своих кукол баюкали. Анна Ильинична все время на кухню выходила, потому что мы в комнате еле-еле помещались. И я с тех пор как увижу где-нибудь строительные леса, так думаю: «Вот бы хорошо сюда Анне Ильиничне переехать! В отдельную квартиру! Или хотя бы в общую, но только чтобы старшая дочка на подоконнике уроков не делала, а двойняшки на кровати в куклы свои не играли...» Честное слово, я так всегда думал! Но не догадался, что можно помочь.

Сейчас случай счастливый подворачивается, а эти самые Еремкины хотят помешать. И неправда, что двойняшки шумят. Я у Анны Ильиничны тогда просидел почти целый вечер, а они только и делали, что потихонечку кукол баюкали. Они постоянно их спать укладывают. Анна Ильинична приучила их к этой игре, чтобы они старшим заниматься не мешали.

Кончаю тебе писать, потому что вернулись с работы отец и Елена Станиславовна. А я так и не придумал еще, как помочь Анне Ильиничне. Ночью придумаю.

Заканчиваю свое письмо опять на уроке. Придумал! Кажется, я придумал! Сегодня ночью у меня родился план. Сейчас пошлю Белке записку, чтобы она никуда не убегала на перемене, а подошла ко мне: нужна ее помощь!

Больше пока ничего писать не буду. Если получится, сразу же сообщу. Если не получится, тоже сообщу.

Крепко жму руку.

К о л я

Коля пишет Оле

Здравствуй, Оля!

Сегодня утром, по дороге в школу, я встретил твою маму. И мы с ней вместе шли до угла. Она — бледная, невыспавшаяся: наверно, «долечивать» трудней, чем лечить. Твоя

мама сказала, что Анна Ильинична в конце концов, наверно, получит ордер, но что Еремкины ей сильно потреплют нервы. И я решил: не позволим трепать Анне Ильиничне нервы, от которых после нашей школьной раздевалки и так уже почти ничего не остается!

И почему это Анна Ильинична должна получить ордер «в конце концов»? Пусть получит его сразу, как только уедет твоя мама. Или даже до ее отъезда... Ведь въехать в новую квартиру — это такое событие! А если человек измучается, он уже потом, от усталости, и не почувствует никакой радости. Еремкины хотят, чтобы так было, но мы им помешаем помешать Анне Ильиничне!

Сейчас уже вечер, Нелька перестала разучивать свои музыкальные пьесы, и я могу спокойно рассказать тебе, как началось это сражение.

Я на первом же уроке написал Белке записку, чтобы она на перемене никуда не убегала, а ждала меня на площадке, возле пожарного крана. Там я коротко, без всяких подробностей рассказал ей о своем плане, и она, конечно, как всегда, стала кричать, что это «невообразимо» (но в положительном смысле!). Она не поверила, что я все это придумал сам, потому что никто бы не мог ожидать от меня «такой невообразимой фантазии». Я спорить не стал.

Я сказал, чтобы Белка ровно в семь часов вечера пришла к подъезду, в котором жила раньше ты и где живем мы с Анной Ильиничной. И еще сказал, чтобы обязательно надела на руку красную повязку, как «дружинница», помогающая Феликсу. И чтобы для меня тоже такую повязку достала.

И тут Белка как выпучит на меня зеленые глазищи, как засверкает своими веснушками: «Ты с ума сошел! Ты думаешь, это так просто — нацепить на руку красную повязку? Тебе Феликс ее доверял?!»

Мне захотелось тут же отказаться от твоего задания. Если вы с Белкой, как и Нелька, как и мой отец с Еленой Станиславовной, считаете, что я ни на что серьезное не способен, так зачем же ты стала писать такие письма, которые в обыкновенный конверт с трудом залезают? Зачем дала свое поручение? Я ведь не лез и ничего этого не просил.

Но потом я нарочно, чтобы сдержаться, вспомнил, как старшая дочка Анны Ильиничны готовит уроки на подоконнике, а двойняшки баюкают своих кукол прямо на застеленной кровати, потому что им больше приткнуться негде.

Вспомнил это — и подумал: «Я ведь не для Белки и не для Оли Воронец должен сражаться с Еремкиными, а ради Анны Ильиничны!»

Белка возмущалась до самого звонка на урок. А на следующей перемене я ей сказал:

— Ты представь себе на минутку, что я — это не я, а что перед тобой твоя лучшая подруга Оля Воронец. Ведь я действую как бы от ее имени!

Она возмутилась еще сильнее:

— Да как ты можешь говорить, чтобы я на минутку вообразила себе, что ты — Оля Воронец?! Я даже на секунду не могу себе этого вообразить. Я даже во сне не смогу себе представить, что ты — это Оля...

Тогда я сказал Белке, чтобы она не приносила мне никакой повязки и сама тоже не приходила в семь часов к нашему подъезду.

— Не подумаю даже прийти! — гордо ответила Белка.

И пришла в половине седьмого. На целых полчаса раньше срока.

Она принесла мне аккуратную, отглаженную красную повязку — такую чистенькую, будто ее никто ни разу в жизни не надевал.

— Чья это? — спросил я.

— Это повязка Оли Воронец! — торжественно ответила она. И повязала мне ее с таким видом, точно орден выдала.

Потом Белка пригладила свои рыжие волосы и спросила:

— Ну, как я выгляжу? Солидно?

— Солидно, — ответил я, потому что она вдруг и правда как-то присмирела, притихла: наверно, от страха.

Белка отошла на несколько шагов в сторону, оглядела меня издали и сказала, что я выгляжу тоже вполне прилично.

Все это происходило на улице, возле подъезда. Потом мы вошли в парадное. И я позвонил в твою бывшую квартиру. Долго никто не откликнулся. Тогда Белка сказала:

— Ты ведь один раз нажал, а один звонок — это к Оле... Ее мама, наверное, еще с работы не пришла. А Еремкины на один звонок никогда не выходят. Хоть три часа подряд на кнопку нажимай! Они у себя в комнате запершись сидят... Оля говорила, что в лото играют. Это у них любимая игра. Я их даже в глаза не видела...

Тогда я позвонил два раза. За дверью сразу зашлепали комнатные туфли, загремели цепочки и засовы...

Я пишу тебе очень подробно, потому что хочу, чтобы ты знала, как идет наша «операция».

Когда Еремкина спросила: «Кто там?» — я бодро, как на перекличке, гаркнул: «Дружинники!» От испуга она сразу открыла.

Я удивился: Белка твоя, на переменках такая смелая, тут растерялась и стала меня в коридор вперед себя пропускать. Хотя я ее, как девчонку, хотел пропустить первой.

Меня же в этот момент, наоборот, какая-то необыкновенная решительность обуяла. И я пошел прямо в темный коридор.

Белка поплелась за мной.

— Коля! Коля, выйди, пожалуйста, — позвала Еремкина.

Я вздрогнул... Но оказалось просто, что ее муж — мой, как это говорится, тезка, а ты меня об этом не предупредила. Оба они оказались очень вежливыми людьми. В комнату, правда, не пригласили, но вынесли нам в коридор две табуретки, на которые мы не стали садиться.

— Вы, наверно, пришли за бумажной макулатурой? — ласково спросила Еремкина.

— Дружинники макулатурой не интересуются, — ответил я. И указал на наши повязки.

Еремкин поправил пенсне, подошел поближе, разглядел повязки и сказал:

— Оч-чень интересно! Дружинники? В таком юном возрасте?

— Представьте себе! — ответил я: смелость на меня немислимая напала. — Мы своему старшему вожатому помогаем: он — главный дружинник во всем городе!

— И чему же мы обязаны?.. — осведомился Еремкин.

— Соседка дома? — спросил я таким голосом, каким обычно задают вопросы управдомы, когда приходят разговаривать со злостными неплательщиками.

— К сожалению, она еще не вернулась с работы, — очень вежливо ответил Еремкин.

И жена его беспомощно развела руки в стороны: дескать, какая жалость!

— Ключей не оставила? — спросил я.

— К сожалению, нет... Но она скоро придет, — сообщил Еремкин.

Жена его опять молча это подтвердила. Потом я убедился, что Еремкина сама-то почти и не разговаривает, а только разными жестами подтверждает то, что говорит ее Коля.

Что твоей мамы не оказалось дома, было для меня полной неожиданностью. Ведь утром я ее предупредил, что мы с Белкой явимся ровно в семь. Наверно, она долечивала своих больных — и не успела. Да... забыл сообщить тебе, что утром, пока мы шли до угла, я изложил твоей маме весь свой план. И она, хоть у нее и нет сил сражаться с Еремкиными, обещала помочь.

— Вы что же, со злостными элементами боретесь? — спросил Еремкин.

— Боремся! — ответил я.

Белка, наподобие Еремкиной, согласно закивала головой: совсем растерялась. И я подумал: «Да, ходить на боевые задания — это не то, что орать в коридоре на своих одноклассников и без толку размахивать руками!» И еще мне показалось, что Еремкины не такие уж плохие люди и что ты, может быть, зря на них накинулась. Может, они просто чего-нибудь недопоняли?

Еремкин, например, сказал, что мы должны сражаться с нарушителями спокойствия и что он, если бы не язва желудка, сам, не задумываясь, надел на рукав повязку. Пижама у него была такая добродушная, вся в нежных цветочках. А у жены был очень уютный халат — тоже в цветочках. Я внимательно их разглядывал, потому что где-то, помню, читал, что своих врагов надо пристально изучать и знать даже лучше, чем друзей.

Еремкины ласково смотрели на нас, словно мы были их дорогими гостями. Они нам чаю предложили. И Белка со страху чуть было не согласилась, но тут в дверях заворочался ключ, и Еремкин радостно сообщил:

— Вот и наша соседка пожаловала!

На пороге появилась твоя мама. Она была в осеннем пальто, а из-под него выглядывал белый халат. Я подмигнул, чтобы она из-за усталости не забыла нашего утреннего уговора. Но она не забыла и очень правдоподобно удивилась прямо в дверях:

— Вы ко мне?!

— Гражданка Воронеж? — спросил я.

Потом уж я вспомнил, что так обращаются только к подсудимым. Но твоя мама не стала возражать и ответила:

— Да, я.

— Мы к вам по делу!

И ткнул пальцем в повязки на рукавах.

— Что случилось? — вскрикнула твоя мама.

— Вы уезжаете? — продолжал я допрос.

— Совсем скоро...

— Очень хорошо.

— Да, это о-чень хорошо... — промямлила мне вдогонку Белка, которая как-то совсем оробела. И даже волосы ее, мне показалось, были уже не такими яркими, а слегка потускнели.

— Почему это... так уж особенно хорошо, что я уезжаю? — удивилась мама. Очень искренне удивилась, — я думаю, она вполне может участвовать в самодеятельности.

— Потому, что в двух ваших комнатах мы собираемся устроить детскую комнату.

— Как это, простите? В двух комнатах устроить... одну? — вмешался мой тезка в пижаме.

— Для несовершеннолетних нарушителей, — пояснил я. — Кроме того, мы хотим шефствовать над малыми детишками, которые днем без присмотра бегают. Помогать им! Воспитывать... Может быть, мы лучше их здесь, у вас, разместим. Вы ведь детей любите?

Еремкины, как по команде, присели на табуретки, которые принесли для нас с Белкой. Но разговаривать продолжали очень спокойно и вежливо.

— Я понимаю, что в нашем городе еще мало детских садов и других внешкольных учреждений, — сказал Еремкин. — За детьми нужен неусыпный надзор. Создавать очаги воспитания! Вы проявляете благородную инициативу. Если, конечно, речь не идет... о нарушителях спокойствия. Но в общей... коммунальной квартире?

— Это ненадолго, — успокоил я. — Пока не построят специальные помещения. Всего на год-полтора...

Еремкины поднялись с табуреток.

— Не волнуйтесь, — продолжал я, — в эти освобождающиеся комнаты есть вход прямо с балкона, с улицы. А двери в коридор мы запрем, чтобы дети вам не мешали.

Еремкины снова сели.

— Они нам не помешают, — сказал Еремкин. — Но мы... можем помешать им. Ну, если детям, например, понадобится

помыть руки или сделать еще что-нибудь... посерьезнее. Они же должны будут обратиться к нашим местам общего пользования, а эти места могут быть заняты: то жена стирает, то я бреюсь. Дети же народ нетерпеливый... Вы это знаете лучше меня: сами еще почти дети!

— Да-а... — согласился я. — Трудности будут. Но другого выхода, к сожалению, нет.

— Им в этих комнатах будет очень тесно, — сказал Еремкин.

— Ну, когда детей соберется много, я думаю, вы разрешите ненадолго выпустить их в коридор... Не всех сразу, конечно, а так, по пять-шесть человек.

— По сколько?

— Человека по три-четыре, — сбавил я на ходу. — Вы же не будете возражать, чтобы дети немного побегали? Или покатались на велосипеде?

— Я, конечно, не буду...

— А я буду! — сорвалась вдруг Еремкина. Она уже больше не хотела поддакивать мужу. — Где это видано, чтобы в коммунальной квартире...

— Нигде не видано, — перебил я ее. — Но у нас новый город, и пока не построят специальных помещений... Впрочем, если не хотите, чтоб в коридоре катались, тогда мы можем организовать детскую комнату с более строгим режимом. Для начинающих нарушителей...

Еремкин усадил свою жену обратно на табурет и спокойно произнес:

— Мы все должны считаться с юношеским, я бы даже сказал — с детским возрастом нашего города. Но именно заботясь о детях, этих ровесниках нашего города, я не смогу допустить... Да о чем разговор! Ведь не вы же решаете все это окончательно? Есть, должно быть, и взрослые люди?

— Есть, — ответил я. — Мы можем проводить вас к начальнику штаба дружины.

— Идемте! — решительно сказал Еремкин. И прямо в пижаме шагнул к двери.

Но я остановил его, потому что еще не успел предупредить обо всем нашего Феликса.

— Нет, лучше пойдем с вами в другой раз. А сейчас мы осмотрим освобождающуюся жилплощадь...

— Пожалуйста, товарищи! — гостеприимно воскликну-

ла твоя мама, будто видела нас с Белкой первый раз в жизни. И распахнула дверь.

Когда мы вышли на улицу, я снял с рукава твою красную повязку и сказал Белке:

— Возьми. Больше она не пригодится.

— Нет, Коля, ты можешь ее пока оставить у себя, — застенчивым и как бы не своим голосом ответила Белка. — Пожалуйста... Оставь ее.

Но я отдал повязку: ведь Феликс не доверял ее мне.

О том, что будет дальше, я тоже подробно тебе напишу.

Сейчас очень поздно. Я решил написать тебе обо всем сразу, за один вечер, потому что сегодня произошло очень много важного. Сажу за столом и пишу...

И никаких уроков на завтра не приготовил. Но это ничего: уроки задают каждый день, а такое важное задание я выполняю первый и, может быть, последний раз в жизни.

Елена Станиславовна сказала, что в коллективе каждый должен считаться с другими, а я не гашу свет и, стало быть, не считаюсь с Нелькой, которой давно уже пора спать.

Кончаю писать.

К о л я

Коля пишет Оле

Здравствуй, Оля!

Ты что-то перепутала: написала мой адрес, а в конверт вложила чужое письмо. Но я это не сразу заметил: сперва прочитал, а потом уж понял, что оно не мне. Так получилось.

В нем ты пишешь Феликсу, что накануне отъезда вы о чем-то поспорили. И что я должен помочь тебе выиграть этот спор. Но как же я могу помочь, если не знаю, о чем вы там поспорили.

А в конце ты упоминаешь о каком-то Тимофее, с которым «все сложно». Ты пишешь, что очень любишь его... Я долго думал, кто такой Тимофей. У нас в школе я не знаю ни одного мальчишки с таким именем. Оно очень простое, но почему-то редко встречается.

Я в чужие секреты лезть не хочу. Но просто интересно: о чем вы поспорили? И кто такой Тимофей, с которым «все сложно» и которого ты очень любишь?

Письмо я отдал Феликсу.

Он сказал, чтобы мы с Еремкиными завтра пришли к нему в штаб дружинников. Вот будет история!

А кто такой Тимофей?..

К о л я

Оля пишет Коле

С нетерпением жду, Коля, твоего следующего письма. Все время мне кажется, что в почтовый ящик что-то опускают — и я выскакиваю на лестницу. Как дальше с Еремкиными? Вернее сказать, с Анной Ильиничной? Это ведь самое важное.

Прости, что послала тебе не то... К твоему адресу я уже привыкла, а Феликсу пишу первый раз.

О чем мы поспорили с Феликсом, пока рассказать не могу. И о Тимофее тоже.

Не обижайся, Коля. Со временем, может быть, все узнаешь.

О л я

Коля пишет Оле

Здравствуй, Оля!

Сегодня, когда мы четверо — Еремкины и я с Белкой — пришли в городской штаб дружинников, наш Феликс был уже там. Мы вошли, а он с очень строгим и деловым видом продолжал писать. Только мельком взглянул на нас и сказал: «Подождите минутку...» Я прекрасно понимал, что Феликс мог бы и сразу начать разговор, но нужно было, как он объяснил мне потом в школе, произвести психологическую атаку.

На стенах висели плакаты: «Хулиган — наш общий враг. Борись с ним!» и «Не пустим в наш новый город старые пережитки!». Эти призывы тоже произвели на Еремкиных очень сильное впечатление. И когда Феликс коротко, не отрываясь от бумаги, предложил им: «Садитесь, пожалуйста!», они еле слышно ответили: «Нет, ничего... Мы постоим!»

А потом еще зазвонил телефон, и Феликс стал говорить в трубку: «Задержанных доставляйте прямо в штаб. Пора навести там порядок!» И хоть Еремкиных никто в штаб не доставлял, но им, наверно, стало казаться, что и они тоже не сами пришли к Феликсу, а что мы их «доставили».

Еремкины раньше никогда не видели Феликса и поэтому

все время разглядывали его пустой рукав и молча удивлялись, как он быстро пишет левой рукой.

— В борьбе с хулиганами пострадал? — шепотом спросил меня Еремкин.

— Миной оторвало! — ответил я.

Еремкин вздрогнул и передал это на ухо своей жене. И хоть беседа еще даже не началась, они оба, как мне показалось, под напором нашей психологической атаки уже полегоньку начали отступать. Лица у них были покорные, робкие...

А ведь когда мы выходили из дома, Еремкин сказал своей жене: «Сейчас мы наведем в этом деле порядок!» Достал из кармана какой-то значок и прикрутил его к пиджаку. Я не мог разобрать, что на значке изображено и написано. Спросил у Белки:

— Это что у него?

— Значок, — ответила она.

— Сам вижу. А за что такие выдают?

— Их не выдают, а в газетном киоске покупают. Там сколько угодно таких. Мой братишка значки собирает...

В штабе Еремкин все время нервно теребил этот значок, словно хотел, чтобы Феликс обратил на него внимание. Но Феликс был не похож на себя. Ведь он всегда бывает таким внимательным, вежливым, а тут положил трубку и, даже не глядя на Еремкиных, спросил:

— По какому вопросу?

— По сугубо общественному! — ответил Еремкин.

— А точнее?

— Хотим вовремя подать вам сигнал!

— О чем?

— О том, что для детей, нуждающихся в присмотре общественности, наша квартира никак не подходит. Просто жаль малышей! Все-таки они наше будущее...

— Почему их надо жалеть? — удивился Феликс. — Я думаю, внесено разумное предложение. Городские организации вполне могут его поддержать! Нарушителей мы к вам направлять не будем, но невинные дети дошкольного возраста... Что вы можете иметь против них?

— Видите ли, я уже объяснял... — снова начал Еремкин, теребя свой значок, купленный в газетном киоске. — Я уже объяснял, что детям там будет очень неудобно: входить прямо с улицы, через балкон...

— Ну что вы! — успокоил его Феликс. — Дети так любят все необычное. Они так любят перелезать через заборы, через перила, балконы. Мы, воспитатели, это прекрасно знаем. Вот давайте спросим у Коли. Тебе бы понравилось входить в комнату через балкон?

— Еще бы! Я бы и домой через балкон залезал, если бы не жил на четвертом этаже!

— Вот видите. Так что не волнуйтесь, пожалуйста.

— А места общественного пользования? — все испуганнее возражал Еремкин. — Как быть с ними? Ведь они не приспособлены...

— Дети будут ходить по очереди, по одному. Мы за этим проследим.

— Я понимаю всю важность непрерывного контроля над детьми, остающимися без родительского надзора! — произнес Еремкин.

— Вот видите, как хорошо! — согласился наш Феликс. — Кажется, мы приходим к общему соглашению.

— Я понимаю, что мы, жители нового города, должны учитывать все сложности первого периода...

Я вспомнил твои, Оля, слова о том, что Еремкин очень любит произносить красивые фразы. Он хочет, чтобы его считали передовым и сознательным.

— Но я еще не высказал своего главного аргумента против детской комнаты, воспитательное значение которой мне абсолютно ясно...

— Какой же это аргумент? — заинтересовался Феликс.

— Видите ли, — вполголоса, будто собираясь доверить тайну, начал Еремкин, — никому из вас, к сожалению, не известно, что эти две комнаты предназначались для одной семьи из нашего дома, которая живет в очень тяжелых условиях. Там трое детей!

— Да-а... — задумался Феликс. — Этого мы не знали. Но в то же время: там трое детей, а тут будут обеспечены постоянным вниманием десятки!

— Сколько... вы сказали? — впервые за всю беседу подала голос Еремкина.

Но муж ее уже собрался с силами и не пошел, а прямо-таки кинулся в бой за справедливость:

— Там, на пятом этаже, мучается в ужасающих условиях семья честных тружеников. Мать работает в школе, где учатся дети строителей. Она, таким образом, имеет самое

непосредственное отношение к нашему дому, воздвигнутому специально для строителей и их семей. Две маленькие девочки... между прочим, двойняшки, мешают получить заочное образование отцу, потому что ему негде заниматься. Вы знаете, какое значение придают у нас заочному образованию! А старшая дочь заканчивает школу, она вот-вот должна выйти на дорогу самостоятельной жизни... И в этот ответственный момент мы должны прийти ей на помощь!

Еремкин, мне казалось, никогда не остановится. Но Феликс поднялся из-за стола во весь свой рост,— и Еремкины сразу устремили глаза вверх, чтобы разглядеть: что он решил?

— Это кажется мне убедительным,— сказал Феликс.— Мы еще посоветуемся с городскими организациями, поразмыслим... Но зерно истины в ваших словах, безусловно, есть...

Каждый раз при словах «городские организации» Еремкины переглядывались.

— Городские организации,— сказал Еремкин,— не могут не посочувствовать положению этой семьи...

Белка в штабе вообще не произнесла ни единого звука. А когда прощалась со мной на углу, наконец-то пришла в себя и воскликнула:

— Невообразимо все получилось! Это, конечно, Оля придумала, я понимаю. Довела свое дело до конца!

Я не стал рассказывать Белке, что утром, до уроков, обо всем условился с Феликсом и что мы с ним разработали план совместных действий. Сперва, правда, он сомневался. Говорил, что сам пойдет в жилищно-коммунальный отдел и все урегулирует, что Anne Ильиничне тут же, «без звука», как он сказал, обязаны выдать ордер. Но ведь люди не всегда делают то, что о б я з а н ы?

Я убедил Феликса, что будет гораздо лучше, если мы сами победим Еремкиных и даже, может быть, их чуть-чуть перевоспитаем.

Феликс сказал:

— Что ж, попробуйте!

И вот я попробовал... Белка уверена, что все это придумала ты. Я не стал спорить. Какая разница, кто придумал. Лишь бы Еремкины не передумали!

К о л я

Да, между прочим, я разыскал у нас в школе одного Тимофея. Он учится в седьмом классе... такой долговязый, на Рудика Горлова похож, потому что тоже сидел в разных классах по два года. Неужели ты его «очень любишь»? Нет, это, наверно, не тот Тимофей. Я просто так его разыскал, ради интереса.

Оле пишет не Коля

Дорогая Оля!

Наш старый дуб будет очень доволен: переписка с Колей так тебя увлекла, что ты посылаешь ему даже те письма, которые предназначены мне. Но сумеет ли он заменить тебя в столь важном для меня деле? Может быть, ты и была права...

Одним словом, как быть с Тимофеем? Может, сказать ему правду? Она ведь всегда лучше... Или еще подождать?

Прости за короткое письмо: дел, как всегда, по горло!

Ф е л и к с

Оля пишет не Коле

Дорогой Феликс!

Думаю, в нашем споре права была я. И Коля поможет доказать это!

Тимофею пока ничего рассказывать не надо. Я не могу, конечно, распоряжаться. Но попросить могу: не торопись, Феликс.

Обо мне ты знаешь от Коли. Привет всем.

О л я

Коля пишет Оле

Здравствуй, Оля!

Сейчас ты очень удивишься. И даже сперва не согласишься мне. Тогда спроси у своей Белки, она тебе все подтвердит.

Вчера вечером я услышал сильный шум и звон на лестнице. Я выбежал на площадку и увидел такое, что сам еле-еле поверил: Еремкин тащил откуда-то сверху (потом уж я по-

нял, что с пятого этажа) узел и таз, а сзади шла Анна Ильинична, тоже с узлами, очень смущенная, и приговаривала:

— Да ведь не уехали еще оттуда... Неудобно как-то случается: мама Олина еще там, а мы ей на голову со своими узлами!

— Ничего, ничего, — успокаивал вспотевший Еремкин. — Тут зевать нельзя. Надо занимать заранее! Я со своей соседкой (это, значит, с твоей мамой) уже договорился...

Увидев меня, Еремкин очень обрадовался и доложил, точно я был для него высоким начальством:

— Можете сообщить своему штабу: общественность дома помогает переселяться!

Мне даже стало немного жалко Еремкина: уж очень он был мокрый и отдышаться не мог.

— Подождите здесь! — скомандовал я.

И он, хоть не знал еще, в чем дело, сразу подчинился:

— Хорошо, подождем!

Я побежал во двор собирать ребят на помощь. Они играли в волейбол, и я попросил судью свистком прекратить игру. Сперва все стали кричать: «Что там такое? Не мог, что ли, подождать?» Когда же я объяснил, что гардеробщица Анна Ильинична переселяется, обе команды прямо в трусах и майках ринулись в подъезд.

К этому времени на площадке нашего этажа уже стояли и муж Анны Ильиничны с огромным сундуком, и дочка-десятиклассница с двумя корзинами.

Наша Нелька испуганно выглядывала из-за двери. Я для смеха позвал ее тоже, но она, ничего не говоря, показала на пальцы: пианисты обязаны беречь свои пальцы и поэтому не должны делать ими ничего такого, что делают все нормальные люди.

Две волейбольные команды сразу превратились в команды носильщиков. Но только не всем, к сожалению, хватило вещей, разгорелся спор, кому нести, а кому нет, и некоторые даже обиделись. Еремкин, как дирижер, размахивал руками и руководил всем этим переселением: вот до чего испугался «детской комнаты»! Но конечно, он о ней ни разу вслух и не вспомнил, а все время делал вид, что заботится об Анне Ильиничне.

Когда мы всё перетасили на первый этаж, он сказал твоей маме:

— Вот видите: у вас было пусто, вещи в Заполярье уеха-

ли, а теперь, последние два дня до отъезда, вы как человек поживете — с мебелью.

Мама не возражала. И сразу так получилось, что это лично он, Еремкин, и Anne Ильиничне помог, и маме твоей доставил удовольствие.

Никто, кроме меня с Белкой, не знал, конечно, почему Еремкин так переменился, и про всю историю с детской комнатой никто ничего не знал. Поэтому ребята удивленно шептались: «Мы-то думали, что Еремкин совсем не такой, а он-то, оказывается, во-он какой!..» Еремкин улыбался: ему нравилось казаться хорошим человеком. И я про себя подумал, что он посмотрит-посмотрит, как это приятно, и, может быть, сделается таким на самом деле. Вдруг, а?... Все может случиться!

А сегодня утром все мы, входя в школьную раздевалку, один за другим повторяли: «Поздравляем вас, Анна Ильинична, с новосельем!..»

Вот и все. Задание твое я выполнил.

К о л я

Коля пишет Оле

Школьный радиоузел объявил конкурс: кто придумает новую необычную игру? И я предложил: пусть радио каждый день созывает мальчишек и девчонок с одинаковыми именами (ну, например, всех Вань или Екатерин) собираться в определенном месте. Сразу станет ясно, каких имен у нас больше всего, а каких меньше.

Школьному радиоузлу эта игра понравилась. И он предложил в мою честь собрать первыми на площадке, возле пожарного крана, всех Николаев. Но я сказал, что все наши Коли на площадке просто не поместятся, и предложил, чтоб для начала собрать лучше всех Тимофеев.

Радиоузел удивился: «Почему именно Тимофеи? Странно! Это имя не такое уж типичное для нашего времени. Но раз ты придумал эту игру, пойдем тебе навстречу!»

На площадку к пожарному крану примчался только один семиклассник Тимофей, который по два года в одном классе сидит. И еще пришел истопник дядя Тимофей, который перепугался, потому что не понял, зачем его так срочно вызывают к пожарному крану: думал, загорелось что-нибудь.

Это все я просто так сделал, ради интереса. А вообще-то какое мне дело, кого ты там «очень любишь». Это твое дело, а не мое.

К о л я

Оля пишет Коле

Дорогой Коля! Спасибо тебе за Анну Ильиничну.

Если бы не письма, я бы тебя так никогда и не узнала. Всегда бы думала, что ты мрачный, злой и только с птицами умеешь быть ласковым. А ты, оказывается, выдумщик. Изобретатель! Никто бы, я уверена, не смог так ловко выиграть сражение с Еремкиными.

Теперь я знаю, какой ты! И, вспоминая о людях, которых когда-нибудь не любила, я думаю: «А может быть, и они были уж не такими плохими? Может, я просто не разглядела их как следует, не разобралась?»

Я так и о Вовке Артамонове думаю, которого здесь все просто по фамилии зовут — Артамонов. Он горд, что его очень боятся. И правда боятся, потому что он выше всех в классе и всех сильнее. Его и уважают: за то, что футбольную команду на матчах «вывозит». Лучший вратарь! Но не любит его никто... Вот я и решила с Артамоновым по душам побеседовать.

— Неужели,— стала я убеждать его,— это очень приятно, когда все боятся? Разве не лучше было бы, если б тебя любили?

А он мне в ответ:

— Если захочу, то полюбят!

— Это как же так?

— Прикажу — и полюбят!

— Как же,— спрашиваю,— ты прикажешь? «Любите меня, а то хуже будет!» — так, да?

Через полмесяца какой-то ответственный футбольный матч — и вот Артамонов сказал мне вчера:

— Хочешь, я тебя со своей парты в два счета выселю? .

— Это как же так? — спрашиваю.

— Очень просто! Скажу, что у меня от сидения с тобой рядом нервы портятся, что ты мне мешаешь к матчу готовиться. Что я из-за тебя буду «не в форме». Вот и все! Еще бойкот всей школой объявят, если останешься... Уходи лучше сама. А то хуже будет!

Так что не на всех, Колька, беседы и письма действуют.

Между прочим, мне на миг показалось, что ты с Урала, опередив мой приезд, сумел созвониться с Артамоновым или даже послал ему телеграмму: он тоже, как и ты, называет меня Вороной... Хотя моя фамилия и сама могла накаркать ему это прозвище.

Ты, Коля, очень хорошо выполнил мое задание. И поэтому я хочу снова обратиться к тебе. С еще одной просьбой. Очень большой... Я и раньше, после нашей встречи у холмика во дворе, хотела сказать тебе... Но один человек со мной спорил. Не верил, что ты справишься. А человек этот очень хороший. Вот я и молчала... Теперь же уверена, что лучше тебя никто выполнить это не сможет. Я еще немного должна подумать. Не торопи меня.

О л я

Коля пишет Оле

Ничего я не понял. Как мы с тобой можем вместе выиграть спор, если я ни с кем не спорил?

Скорей напиши про эту свою просьбу. А то я просто больше терпеть не могу!

К о л я

Оля пишет Коле

Дорогой Коля!

В этом письме я подробно напишу тебе о своей просьбе...

Но сначала скажу о другом. Знаешь, я вдруг подумала, что твои последние письма на письма совсем не похожи. Если сложить их все вместе, получится целая повесть с продолжением. Или рассказ...

Сейчас, Коля, меня зовут на первый этаж, в рукавичную мастерскую, которую я тут организовала. Это неожиданно получилось... Пришел к нам старший вожатый, шумливый такой паренек (совсем не похожий на Феликса!), и спрашивает:

— А ты, новенькая, что умеешь?..

Ответить нужно было, потому что на меня все уставились, и Артамонов уже стал потихоньку ухмыляться. Тогда я взяла и выпалила:

— Вязать умею!..

Артамонов только этого и ждал:

— Свяжи платок моей бабушке!

Его подпевалы загоготали. А я ответила:

— Зачем платок бабушке? Лучше рукавицы для рыбаков!

Ты, Коля, знаешь наш уральский мороз — сухой, обжигающий. А тут воздух влажный, тяжелый от сырости. И холод не обжигает, а как бы заползает внутрь и носишь его в себе. Так что рукавицы, я думаю, пригодятся!

О л я

Коля пишет не Оле

Школа № 3. Шестой класс «В».

Владимиру Артамонову (лично).

Берегись, Артамонов! Пишет тебе верный Олин защитник. Хоть нахожусь я далеко, на Урале, но слежу за каждым твоим шагом. Знай это и трепещи мелкой дрожью!

Ты считаешься лучшим вратарем в школе, потому что остальные вратари еще хуже тебя. Но знай, что если ты хоть один раз назовешь свою соседку по парте Вороной, я сделаю такой удар по твоим «воротам», что будет уже верный гол!

С этого самого дня, с этого самого часа, с этой самой минуты ты, Артамонов, должен умолять Олю Воронец, чтобы она никогда не покидала твоей парты. И чтобы никогда не пересаживалась ближе к доске, где, как мне стало известно, тоже есть одно свободное место. И чтобы не вязала платок для твоей бабушки, а вязала рукавицы для рыбаков!

Никто и никогда не должен знать об этом письме. Разорви его немедленно. Или лучше сожги. Но сначала выучи наизусть! А если узнает о нем Оля Воронец, я буду мстить тебе вечно!

Берегись, Артамонов! Я слежу за тобой!

Коля пишет Оле

Здравствуй, Оля!

Ты в последнем письме сперва пообещала рассказать о своей второй просьбе, а потом забыла.

К о л я

Оля пишет Коле

Дорогой Коля!

Я ничего не забыла. А просто решила еще немного подумать...

Не торопи меня. Ладно?

О л я

Коля пишет Оле

Я тебя, Оля, вовсе не тороплю. Просто мне жалко, что ты не пишешь об этой просьбе. Я бы прямо тут же стал ее выполнять!

И твоей Белке не терпится. Вчера она подошла ко мне на перемене и спрашивает: «Неужели Оля не поручала тебе еще кого-нибудь переселить в новую квартиру?» — «Нет, не поручала...» — ответил я. «Давай тогда сами кого-нибудь переселим! Это потрясающе интересно!..»

Ты, Оля, пишешь, что мои письма немного похожи на повесть с продолжением. Мне это было приятно прочитать... Я сейчас раскрою тебе один свой секрет (издалека, на бумаге, как-то легче раскрывать секреты, чем вслух). Я раньше и правда мечтал сочинять. И даже не просто мечтал...

Однажды прихожу домой — и вижу: Нелька сидит за столом и громко читает один мой рассказ, еще не совсем законченный. Читает и над каждым словом посмеивается. Отец с Еленой Станиславовной тоже еле заметно улыбались, а как меня увидели, сразу проглотили свои улыбки. Чем-то мой рассказ их смешил, хотя он был очень грустным по содержанию.

Я вырвал у Нельки свою тетрадь... А Елена Станиславовна очень медленно произнесла:

— Разве Коля не разрешил тебе... это читать?

— Нет... Я сама, — проямлила Нелька. — А что тут особенного? Он же слушает, когда я играю на пианино. И никакого разрешения не спрашивает!

— Это разные вещи, — медленно продолжала Елена Станиславовна. — Ты поступила нечестно. И должна попросить у Коли прощения.

— Я? У него?! Никогда в жизни! — закричала Нелька. И побежала рыдать в соседнюю комнату.

— Тогда я вынуждена это сделать за свою дочь, — сказала Елена Станиславовна.

Она так сказала, но я чувствовал по ее тону, что не имею никакого права прощать или не прощать ее. И поэтому я ничего не ответил, а вместе с тетрадкой убежал во двор и долго сидел там возле своего любимого холмика. Мне очень хотелось доказать им всем, что вовсе не обязательно смеяться над моими грустными рассказами. И я послал тетрадку в редакцию.

Ответ был очень коротеньким. Там писали, что название рассказа «очень многообещающее», но сам рассказ «разочаровывает, потому что сюжет его выдуман, а не взят из жизни».

Тогда я стал сочинять стихи. И их мне тоже возвращали. Мне казалось, что все дома потихоньку торжествуют. И когда начинали хвалить Нельку за ее способности и трудолюбие, мне всегда чудилось, что чего-то не договаривают, но очень хотели бы мне сказать: «А у тебя никаких способностей нет».

И я так сильно захотел доказать им, что они неправы... Так сильно, что даже, помнишь, украл чужое стихотворение и хотел выдать его за свое. Я никогда не забуду тот родительский день и твое лицо, когда ты рвала на клочки чужое стихотворение.

А если тебе кажется, что письма мои хоть немножко похожи на рассказы или там на повесть, то большое спасибо. Это случайно, само собой получается... Наверно, потому, что в них сюжеты не выдуманы, как было в той моей тетрадке, а «взяты из жизни»?

Я теперь нарочно буду писать письма как рассказы. Со всякими подробностями. Пусть у меня будет хоть один настоящий читатель!

Неужели Артамонов продолжает выживать тебя со своей парты? И издеваться над твоей мастерской?

К о л я

Оля пишет Коле

Дорогой Коля!

Выполнить эту просьбу будет труднее, чем первую. А может, и легче. Но по крайней мере она будет тайной! О ней не напишешь в стенгазете и не объявишь по школьному радио.

Я расскажу тебе о человеке, который там, на Урале, ску-

чает обо мне сильнее всех. Другие, я думаю, скоро меня забудут, а Тимофей — нет... Я знаю это. Его фамилии нет в классном журнале: он учится и живет далеко от нашей школы, на другом краю города.

Впрочем, Тимофея можно вполне называть Тимошкой, потому что ему нет пока еще и девяти лет. Как раз зимою исполнится: двадцать девятого декабря... Но лучше все-таки говори ему «Тимофей». Я первая стала так называть его, и ему это очень нравится.

Года два с половиной назад я заметила, что Тимошка все время толчется в штабе дружинников возле своего старшего брата, которого ты хорошо знаешь, — возле нашего Феликса... Отец и мать их работают на руднике, в семидесяти километрах от города, домой приезжают только по воскресеньям и маленького Тимошку не с кем оставить.

Тогда-то мы с Тимошкой и подружились. Не сразу, конечно... Он долго меня не признавал и говорил брату: «Чего она пристает?» Я хорошо помню его стриженный затылок, которым он ко мне поворачивался. Потом уж я разглядела и его лицо: насупленное и, кажется, наполовину занятое очками. Он стесняется этих очков и, наверно, поэтому такой хмурый...

Я научила Тимошку читать. Помню, приносила ему такие книжки, чтобы он не мог от них оторваться и удрать на улицу.

Потом он заболел. Это была не случайная болезнь... Когда много лет назад, в Крыму, Феликс наткнулся на мину, неподалеку от него стоял годовалый Тимошка. Его отбросило в сторону взрывной волной, оглушило. А через пять лет после этого начались головные боли. Такие сильные, что Тимошка (а он очень терпеливый!) плакал и кричал...

Когда первый раз ему стало плохо, родители были в отъезде. Феликс как раз готовился к экзаменам в институте. Я целыми днями сидела возле Тимошки, а мама моя его лечила. И в больницу мы его не отдали, сами выходили. Мама сказала, что Тимошке надо побольше дышать свежим воздухом. И мы с ним стали гулять. Я выдумывала разные истории, чтобы ему не было скучно: мы отправлялись в «путешествия» или что-то искали. Он очень любит разные поиски и неожиданные находки. Но головные боли все равно возвращались. Они и сейчас еще мучают его. Я часто думаю об этом, потому что люблю Тимофея.

Сначала я просто хотела помочь Феликсу. Он ведь все время занят: то у нас в школе, то в штабе дружинников, то в библиотеке...

Тимошка и привязался ко мне. Так сильно мы с ним сдружились, что я не отважилась сказать ему правду, когда уезжала. Сказать, что уезжаю навсегда... просто не смогла. И пообещала, что скоро вернусь. Даже адреса не оставила: родители, мол, будут ездить с геологической партией где-то недалеко, по Уралу, — и я с ними. А потом, дескать, вернусь обратно...

Тимошка ждет, что я снова приду к нему, как это бывало раньше.

Но вместо меня, Коля, должен прийти ты. И как-то... занять мое место в Тимошкиной жизни. Понял? Тогда уж можно будет сказать, что я, наверно, не приду больше в дом на Лесной улице. Там, в третьей квартире, ты должен подружиться с Тимошкой. Но сперва приди туда тайно от всех и даже от Феликса: может быть, он не захочет, чтобы кто-то еще вмешивался в их жизнь. Меня он сам просил помочь, а тебя не просил. Если ты станешь настоящим другом Тимошки, тогда Феликс обрадуется — и тайна будет не нужна.

Это и есть моя просьба. Тимошка днем всегда дома, ты легко застанешь его. Феликс пишет, что Тимофей даже на полчаса боится уйти куда-нибудь: а вдруг я приду? Принеси ему книги. Лучше всего Жюль Верна. Или что-нибудь такое... И не позволяй снимать очки. Скажи, что они ему «идут», что он в них выглядит совсем взрослым. Скажи между прочим...

И еще раз хочу напомнить: он любит всякие поиски, находки и таинственные истории. А кто их не любит?

Я хочу, чтобы ты привязался к Тимошке. Такого поручения я дать не могу. Но хорошо было бы!

О л я

Коля пишет Оле

Здравствуй, Оля!

Так, значит, Тимофей — это младший брат Феликса? Замечательно! А я думал, это какой-нибудь старшеклассник.

Я еще ни разу не видел Тимошку, но уже немного «привязался». А как подружиться с ним, пока не знаю. Если придумаю, напишу тебе.

Что же ты мне сразу не сказала, что Тимофей — это просто Тимошка? Я бы не искал его по всей школе.

К о л я

Коля пишет Оле

Здравствуй Оля!

После того как пришло твое последнее письмо, я все время думаю: как мне начать разговор с Тимошкой? Я уже три раза внимательно слушал по радио передачи для родителей. И кое-что записал в тетрадку.

Я сначала решил, что буду воспитывать Тимошку по всем правилам педагогической науки. Я даже составил и выучил наизусть текст своей первой педагогической беседы, где было много примеров из жизни, пословиц и поговорок. По радио говорили, что их язык «наиболее убедителен».

Но когда я зубрил эту речь, мне вдруг стало как-то очень скучно. И тогда я подумал, что Тимошка может заснуть, пока я буду произносить все свои пословицы, поговорки и примеры из жизни. Особенно, если он любит Жюль Верна...

Я долго думал — весь день и почти всю ночь. И решил действовать без всяких бесед. А как именно, напишу в следующем письме, потому что как раз в эту минуту отправляюсь к Тимошке: он, наверно, уже вернулся из школы.

К о л я

Коля пишет Оле

Здравствуй, Оля!

Вчера я познакомился с Тимошкой. Было это так.

Я рассчитал, что Тимошкины окна должны быть крайними слева, на первом этаже. Потом пошел во двор, спрятался за углом дома и начал оттуда ухать по-совиному, будто условный сигнал подавать. Сова, знаешь, всегда беспокойно кричит, словно пожарную тревогу в лесу объявляет. Я даже немного перестарался, потому что Тимошка сразу высунулся в окно и стал тревожно оглядываться по сторонам. Я вышел из-за угла и, таинственно прикрыв рот рукою, спросил:
— Ты Тимофей?

— Я... Тимофей! — ответил он.

Я повнимательней оглядел его и говорю:

— Да, вроде похож... по описанию совпадает... Тогда ты мне и нужен!

И полез прямо в окно. Тимошка опомниться не успел, как я уже прыгнул к нему в комнату. Он смотрел на меня исподлобья, недоверчиво.

— А ты кто? — спросил он.

— Нам с тобой поручена «Операция МИО»!

— МИО?.. — переспросил он.

— Это сокращенное слово. Оно обозначает: «Мы ищем Олю»! Понимаешь? Она же адрес переменила, и мы обязаны ее отыскать!

— Мы с тобой?..

— Ну да! Ты ведь был ее самым ближайшим другом! Так мне сказали...

Тимошка с удовольствием подтвердил:

— Да, я был другом.

— Ты хочешь найти Олю?

И тут я увидел, что Тимошка действительно очень скучает по тебе, что он даже, может быть, ничего другого и не хочет, как только найти тебя. Он повернулся ко мне тем самым затылком, про который ты писала, и полез согнутым указательным пальцем под очки.

Потом он настороженно спросил:

— И ты тоже... ее друг?

Он не хочет, чтобы у тебя были на свете, кроме него, еще какие-нибудь друзья. Я ответил Тимошке:

— Нет, я не очень уж близкий друг. Но мы учились с ней вместе. И поэтому мне поручили...

— А Феликс ничего про это не говорил...

— Твой брат не должен об этом знать!.. Ни в коем случае! — полупшепотом предупредил я.

— Почему? — еще больше насторожился Тимошка. — Я ему все говорю.

— А этого говорить нельзя. Понимаешь, мы должны сами, без помощи взрослых, найти Олю! Она уехала и не дает о себе знать. А мы должны отыскать ее.

— Как же мы ее найдем?

— Тут поможет одно мое свойство... ну, которое отличает меня от всех других людей!

— Какое свойство?

— Скоро узнаешь! — пообещал я. И шепнул ему в самое ухо, будто кто-то мог нас услышать: — Нам с тобой и срок дали: двадцать девятое декабря!

Я закатил глаза так, чтобы одни только белки были видны (я умею это делать), загадочно покрутил руками в воздухе, подвигал ушами (я тоже умею) и добавил:

— Кстати, как мне только что стало известно, двадцать девятое — это день твоего рождения!

— Откуда стало известно?..

— Я отгадываю на расстоянии. Это и есть мое особое свойство!

Всем известно, что некоторые артисты дают «сеансы отгадывания на расстоянии». Я стал объяснять:

— Ведь день твоего рождения будет почти через два месяца. Значит, этот день от нас на большом, так сказать, расстоянии. А я его отгадал... Понимаешь?

Тимошка смотрел на меня уже с уважением. И потребовал:

— Отгадай еще что-нибудь!

— Я даю сеансы отгадывания только раз в день, — устало сообщил я. — Потому что это требует сильного напряжения нервной системы.

И вытер лоб рукавом.

— А потом еще что-нибудь отгадаешь?

— Обязательно!

— Феликс тоже умеет показывать фокусы, — сказал Тимошка.

Он сравнил меня со своим старшим братом, и я подумал, что это уже неплохо.

Чтобы закрепить первый успех, я пообещал:

— Двадцать девятого подарок тебе принесу! Ко дню рождения...

Тимошка, видно, не очень ценит подарки. Он промолчал. А я, чтобы выжать из него ответ, добавил:

— Велосипед хочешь?

Он вновь промолчал.

— Ты думаешь, трехколесный, да? Нет, двухколесный, настоящий. Со звоночком! — продолжал я настаивать.

Тимошка только пожал плечами. Мое умение отгадывать на расстоянии произвело на него большее впечатление, чем двухколесный велосипед.

Я хотел еще решительней завлечь Тимошку в «Операцию МИО» и предупредил его:

— Вызывать тебя буду условным знаком: каким-нибудь птичьим голосом. А ты так же точно будешь мне отвечать. Если ответишь — значит, никого дома нет и я могу смело лезть в окно!

— Я по-птичьи не умею, — хмуро ответил Тимошка.

— Как? Ты не умеешь подражать птицам?!

— Нет...

— Ну, знаешь ли, Тимофей! Этого я никак не ожидал! Тогда я немедленно научу тебя. Без этого мы просто провалим все дело. Вот слушай... И повторяй.

Я стал с посвистом прищелкивать, как самый настоящий дрозд, потом надрывно, тоскливо кричать, как чайка, потом несолидно тренькать, как синица...

— Феликс тоже умеет свистеть по-всякому, — сказал Тимошка.

И все же он смотрел на меня почти с восхищением. И даже начал сам потихонечку повторять за мной. А во дворе, под окнами, стали собираться ребята. Тогда мы прекратили наш первый урок.

Напоследок я не только отметил, что очки ему очень к лицу, но даже примерил их и сказал, что сам с удовольствием бы носил такие!

Вот и все, Оля. Я, значит, начал выполнять твою просьбу.

К о л я

Да, совсем забыл! Срочно расскажи мне о каких-нибудь Тимошкиных тайнах: ведь я должен «отгадывать на расстоянии»!

Коля пишет Оле

Все эти дни, Оля, я думал о том, что бы мне еще отгадать на расстоянии, потому что это очень поразило Тимошку. Пока ты еще не успела рассказать мне о его тайнах, я решил отгадать что-нибудь сам, без твоей помощи. И заодно решил подсунуть Тимошке какую-нибудь неожиданную находку. Ты ведь писала, что он очень любит такие находки.

Я обыскал сарай во дворе, пошарил на черном ходу, но ничего интересного не нашел. Нельзя же было подсунуть

Тимошке старый ржавый чайник без носика или сломанный стул без трех ножек!

Тогда я поискал дома и тоже не нашел ничего подходящего. «А не подложить ли ему горшок с маленьким зеленым стебельком, который должен потом разрастись?» — подумал я.

Елена Станиславовна услышала недавно в одной лекции, что полезно выращивать дома разную зелень, особенно у нас в городе, где так сильно дымит завод. На следующий день она притащила десять цветочных горшков с маленькими стебельками. «Эти росточки, — сказала Елена Станиславовна, — превратят нашу квартиру в ботанический сад. И все мы будем вдыхать кислород!»

«Пусть и Тимошка подышит как следует! — решил я. — Подсуну ему цветочный горшок! Елена Станиславовна и не заметит».

И вот сегодня, когда стало уже чуть-чуть темнеть, я взял один горшок и пошел на пустырь, который за Тимошкиным домом. Там я отыскал местечко потаинственней... На краю пустыря начали строить новый корпус, но пока успели поднять вверх только полтора этажа. В сумерках я представил себе, что это не этажи будущего дома, а остатки старой, полуразрушенной стены. Может быть, даже крепости...

Я подтянулся на носках и достал до окна первого этажа.

Поставил горшок на кирпичи, которые скоро будут держать на себе оконную раму.

Потом я подбежал к Тимошкиному дому. Немного пощелкал из-за угла дроздом, раза три ухнул совой. Тимошка тоже ухнул в ответ: мол, все спокойно, дома никого нет. Тогда я забрался на подоконник, спрыгнул в комнату и говорю:

— Слушай меня!.. Сейчас я буду снова отгадывать на расстоянии.

Он замер... Я снова закатил глаза, загадочно покрутил руками, подвигал немного ушами и объявил:

— Тебя ждет одна неожиданная находка!

— Где?

— Ни о чем не спрашивай: ты можешь сбить меня со следа...

— С какого следа?

— Со следа, который ведет к этой находке!

— Какой находке?

— Не задавай вопросов: не выводил меня из состояния...

— Из какого состояния?

— Молча иди за мной!

И Тимошка пошел за мной на пустырь. Время от времени я останавливался, изучал землю и даже принюхивался, искал след.

Когда мы стали подходить к стройке, я зажмурился и сказал:

— Не смотрю, но вижу! Как это странно: еще никто не живет, а в окне уже... цветочный горшок!

— В каком окне?

— Ну, в самом первом от... угла.

Тимошка подбежал поближе, обернулся ко мне и пожал плечами: никакого горшка не было.

— Не может быть! — воскликнул я. Приподнялся на цыпочках, дотянулся до окна и увидел несколько комочков земли на кирпиче.

Это было все, что осталось от неожиданной находки. Кто-то нашел ее раньше нас.

А вечером Елена Станиславовна подняла тревогу: «Где цветочный горшок?»

— Может, он выпал... на улицу? — сказал я.

— Но он же мог разбить кому-нибудь голову! Там, на тротуаре, должны были остаться черепки...

— От головы?

— От горшка! Неуместные шутки. Выгляни, Коля! Внизу не валяются черепки?

Я выглянул и сказал, что никаких черепков нету.

— Наверно, дворник подметал тротуар, — предположил я.

— Нельзя ли взять на полтона ниже. Вы мешаете заниматься! — крикнула Нелька из другой комнаты. Она разучивала новую музыкальную пьесу.

— Ты могла бы попросить об этом вежливей, — так тихо прошептала Елена Станиславовна, что услышал ее только я.

А Тимошка стал, кажется, немного сомневаться, могу ли я отгадывать на расстоянии.

К о л я

Оля пишет Коле

Дорогой Коля!

Моя мама говорит, что к каждому больному нужно подходить индивидуально, учитывая особенности его организма и характера. И к здоровому человеку, я думаю, надо подходить так же. Ты это учел, Коля, при первом разговоре с Тимошкой: он ведь обожает все необычайное и таинственное. И ты, мне кажется, это любишь... Но только очень прошу: не увлекайся чересчур! А то вы так и будете говорить друг с другом шепотом да птичьими голосами...

И не нужно пугать Тимошку совиным уханьем. Он ведь впечатлительный мальчик, а нервничать ему, мама сказала, вредно.

Артамонов стал немного другим. Помалкивает, словно бы призадумался...

И наконец, Коля, самое главное: о Тимошкиных «личных тайнах». Есть у него тайны, но я не могу о них рассказать: это было бы нечестно, несправедливо.

Я раскрою тебе что-нибудь совсем незначительное, чего Тимошка и сам не таит.

Ну вот, например, есть у него такая особенность: он обедает по своей собственной системе — сперва ест второе, а потом уже первое. Так, по-моему, на всем белом свете никто, кроме него, не обедает. И если ты это «угадаешь на расстоянии», он изумится.

Тимошка записывает в тетрадке, сколько раз он прочитал какую-нибудь особенно интересную книжку или посмотрел увлекательный фильм. Я запомнила, что «Гиперболоид инженера Гарина» он читал семь раз, а картину «Подвиг разведчика» смотрел раз одиннадцать или двенадцать. По-моему, все же двенадцать! Угадай и это «на расстоянии». Настольная его книжка — «Швамбрания». Или, верней сказать, — «встольная»: она всегда лежит у него в столе, слева. Он ее никому не показывает, чтобы не взяли читать (это, пожалуй, единственное, чем он не хочет делиться!). А ты возьмишь и отгадаешь — опять, конечно, «на расстоянии»: раскрой, мол, левый ящик стола, там у тебя «Швамбрания» спрятана! Он изумится!

Раз уж сказал, что умеешь отгадывать, так отгадывай, а то он тебе ни в чем верить не будет.

О л я

Коля пишет Оле

Сегодня, Оля, я опять попал в очень тяжелое положение... Потренировал я синицей из-за угла дома, Тимошка тоже ответил мне через окошко по-птичьи, а как только я спрыгнул с подоконника, тут же потребовал:

— Отгадай, где сейчас находится Оля. Если ты правда умеешь отгадывать...

— Понимаешь, Тимошка, я не могу сосредоточиться на том человеке, которого здесь нет.

— Но ты же говорил, что отгадываешь на расстоянии!

— На расстоянии,— стал выкручиваться я,— находятся предметы и события, которые я отгадываю,— ну, например, твой день рождения. Но сам человек должен находиться здесь, рядом со мной. Я даже за руку должен взять этого человека!

— А раньше ты меня за руку не брал.

— Просто забыл. А сегодня обязательно возьму. И потом... Я не могу, видишь ли, отгадывать по чужому заказу, а только по своему собственному.

— Почему? — удивился Тимошка.— А вот у нас в клубе один артист выступал, так ему прямо из зала задавали вопросы. И он отвечал. Только краснел и потел...

— Ну, видишь ли, дорогой мой, это же настоящий артист. А я, можно сказать, из самодеятельности... Зато я не краснею и не потею!

— А «Операция МИО»? — спросил Тимошка.

— Начнется! Потерпи немного. Всему свое время. Я помогу тебе найти Олю, но, как бы это сказать... через тебя самого.

— Через меня?

— Ну да! Потому что ты-то здесь, со мной рядом, тебя-то я вижу и в любой момент могу схватить за руку. Понял?

— Нет.

— Потерпи немного: поймешь!

— А ты дай сам себе какое-нибудь задание,— попросил Тимошка.

— Руку!..— скомандовал я, закатывая глаза и одновременно шевеля ушами. Потом схватил Тимошкину руку, измазанную чернилами, и прошептал: — Ты, Тимофей, записываешь в особой тетрадке, какие книги прочитал и какие фильмы посмотрел.

Тимошка от восторга протянул мне вторую руку. Я схватил ее тоже. Сеанс продолжался.

— Ты, Тимофей, прочитал «Гиперболоид» целых семь раз! А фильм «Подвиг разведчика» смотрел одиннадцать... Нет, нет, погоди... Скажу точнее! Двенадцать раз!

— Можно, я позову ребят со двора? — шепотом попросил Тимошка. — Пусть они тоже услышат!

— Нет, не надо. Это будет отвлекать меня. Я должен максимально сосредоточиться на главном объекте отгадывания, то есть в данном случае — на тебе.

— Еще что-нибудь... — попросил он.

Я огляделся, размышляя, что бы такое мне еще отгадать.

— Только не подглядывай...

— Ты не доверяешь мне? — громко обиделся я. — Хорошо. Тогда я сейчас разгляжу что-нибудь такое, чего не может быть видно, потому что этот предмет лежит в шкафу. Или, например, в письменном столе. Руку!.. Другую!..

Я снова схватил перепачканные чернилами Тимошкины руки, снова закатил глаза, подвигал ушами — и сделал очередное открытие:

— В левом ящике письменного стола у тебя лежит «Швамбрания»!

— Нет, — к моему величайшему удивлению, произнес Тимошка. — Она там все время лежала, но вчера вечером я ее читал и оставил под подушкой.

— Запоздалая реакция! Вот видишь: это уже усталость. Я перенапрягся. На каждом сеансе надо отгадывать что-нибудь одно, — сказал я. И устало бухнулся на диван.

Странную Тимошкину манеру обедать — начиная со второго блюда, я решил оставить на следующий сеанс. А то нечего будет отгадывать!

— Не волнуйся, пожалуйста, — стал утешать меня Тимошка. — «Швамбрания» у меня всегда лежала в левом ящике. Так что можно считать, что ты отгадал. Не волнуйся!

Мой сеанс, несмотря на последнюю осечку, покорила Тимофея. Я видел это и сделал еще одно предположение:

— Не надо было хватать тебя сразу за обе руки. Это не по правилам.

— Но ведь ты все равно отгадал, — продолжал утешать меня добрый Тимошка. И осторожно попросил: — А что-нибудь найти... такое, необычное... ты не можешь? На улице или на пустыре...

— Нет, сейчас не могу. Слишком большое переутомление! Ослабла чувствительность. Понимаешь? В следующий раз я что-нибудь обязательно отыщу!

Мы попрощались. И я выбрался через окно на улицу. То, что я вхожу и выхожу через окно, очень нравится Тимофею. И я было решил вообще не пользоваться в его квартире дверьми. Но, к сожалению, зима наступает.

К о л я

Оля пишет Коле

Дорогой Коля!

Очень хорошо, что ты постепенно завоевываешь Тимошкино доверие. Я ведь и хочу, чтобы он к тебе привязался и совсем не огорчился, когда потом узнает, что я уехала далеко, в Заполярье. Что больше, наверное, не вернусь... Но остается ли у Тимошки время на уроки? Вот что меня волнует.

Артамонов видит, что я получаю письма, и почему-то очень интересуется, от кого именно. Раз пять уже спрашивал.

О л я

Коля пишет Оле

Ты, Оля, напрасно волнуешься о Тимошкиных уроках: я несколько раз проверял, как он выполняет домашние задания, и даже смог сделать ему кое-какие замечания. В этом, конечно, нет ничего удивительного: ведь он во втором классе, а я как-никак в шестом. И все же приятно чувствовать себя учителем... Я теперь все время буду его проверять.

Я, Оля, часто перечитываю твои письма. Сперва я стал перечитывать для того, чтобы научиться отвечать тебе: ведь я раньше никому не посылал писем и ни от кого их не получал.

Иногда мне кажется, что я подражаю тебе: тоже стараюсь рассуждать, что-то вспоминать... Сначала я хотел исправлять эти места, чтобы писать по-своему, а потом решил ничего не исправлять: так интереснее.

С цветочным горшком у меня получился провал. И я решил «подсунуть» Тимошке какую-нибудь другую неожиданную находку. Ведь он и сам меня об этом просил.

Я надумал подарить ему свою деревянную клетку. Птичью лечебницу... Так называла ее мама. Я все равно ведь не могу пользоваться ею дома. У меня на столе стоят теперь два аквариума с водорослями, ракушками и речным песком на дне: рыбы молчат и не мешают Нельке играть на пианино.

Перед тем как подсунуть Тимошке клетку, я решил ее немного отремонтировать: начал стучать молотком, скрести напильником.

— Делать тебе нечего, что ли? — сказала Нелька: испугалась, что я снова открою свою лечебницу.

Елена Станиславовна сделала ей замечание:

— Надо уважать не только свои дела! Не только свои увлечения. Каждый делает то, что умеет: один играет на пианино, другой сочиняет стихи, а третий ремонтирует клетку... И все это для чего-нибудь нужно!

Елена Станиславовна часто любит подчеркивать, что люди, у которых нет никаких особых способностей (например, я), тоже имеют право на уважение и могут приносить не вред, а даже кое-какую пользу.

«Но на самом деле, — думал я, — от Нелькиной игры никому еще пользы не было, а моя клетка принесет радость!»

Ты, Оля, скажешь, что думать так нескромно и несправедливо с моей стороны. Но я зачеркивать эти строки не буду: как написал, так и написал! Потому что нельзя думать, что если человек не умеет играть на пианино и писать стихи, так он уж совсем ни на что не годится.

Я решил, что мы с Тимошкой будем лечить птиц вместе, у него дома.

Теперь уж я знал, что «находку» на пустыре должен кто-нибудь стеречь. А то пока я сбегая за Тимошкой, ее могут унести, как тот цветочный горшок.

И тут мне пришлось немного нарушить твое предупреждение: рассказать про «тайную просьбу» Белке. Я думаю, ничего страшного в этом нет, потому что Белка была твоей лучшей подругой, и она поклялась, что никому ничего не скажет.

Сперва она, конечно, стала восклицать:

— Почему это Оля поручила такое дело тебе, а не мне лично?! Ведь воспитывать маленьких — это женское дело, а не мужское!

Мне пришлось немного приврать, чтоб успокоить Белку. Я сказал:

— Оля как раз и поручила тебе выполнить несколько ответственных дел, от которых на девяносто девять процентов зависит выполнение ее просьбы! Для начала ты должна посторожить клетку.

— Клетку?! — Белка вздрогнула.

— Птичью, птичью!.. — успокоил я.

— А зачем это нужно?

— Пока не скажу. Но Оля очень тебя просила... Ты должна забраться в комнату одного недостроенного дома и последить оттуда за клеткой, которая будет стоять на окне. А я приведу Тимошку.

Вот, оказывается, Оля, какое дело ты поручила Белке! Прости, пожалуйста.

К о л я

Коля пишет Оле

После школы мы с Белкой волокли мою клетку по улице, потом с трудом втиснулись в автобус. Пассажиры ругали нас, потому что клетка мешала им входить и выходить на остановках.

Мы пробрались на тот же пустырь, к дому, который вырос еще на пол-этажа, но все равно казался мне в сумерках полуразрушенной старой крепостью.

Мы поставили клетку на то же самое место, откуда исчез цветочный горшок. Потом я посадил Белку, и она влезла в комнату, где не было еще ни пола, ни дверей. А главное, не было света.

— Спрячься в углу и наблюдай за клеткой, — сказал я. — Никому не позволяй ее унести...

— А кто может ее унести? — перепуганным голосом спросила Белка.

— Мало ли кто! Сиди тихо и следи. Скоро мы с Тимошкой придем... А ты все равно не подавай голоса!

Голос у Белки от страха вообще пропал: она мне ничего не ответила.

Вскоре мы с Тимошкой появились на пустыре. Я снова держал его за руку, снова принюхивался, чтобы найти дорогу к неожиданной находке. А вблизи от недостроенного дома опять зажмурился и сказал:

— Не смотрю, но вижу! Как это необычно: в доме еще никто не живет, а в окне уже стоит птичья клетка!

Тимошка приблизился к дому... И присел на корточки от восторга и удивления.

— Откуда она здесь?

— Чего не бывает на свете! — ответил я.

В темном углу комнаты что-то зашуршало.

— Там... кто-то прячется! — вскрикнул Тимошка.

Я должен был показать себя смельчаком. Поэтому, не задумываясь, забрался на окно, спрыгнул в комнату и крикнул:

— А ну кто здесь есть? Выходи!

Никто не вышел. Белка притаилась в углу.

— Показалось!.. — сообщил я Тимошке.

— Какая клетка! — восторгался он, открывая дверку. — Целый птичий домик!

— Она самодельная, — объяснил я. — Таких в магазинах не продают.

— Хоро-ошая! Феликс тоже умеет разные вещи из дерева делать.

Послушать его, так Феликс вообще все умеет: и отгадывать на расстоянии, и по-птичьи разговаривать, и клетки делать.

— Мы найдем больную птицу и будем ее лечить, — сказал я. — У тебя дома.

— Нет, лучше в школе, — неожиданно возразил Тимошка. — У нас там есть живой уголок. Принеси клетку прямо туда. Сейчас заberi, а потом принеси.

— Принести?

— Если тебе нетрудно... Там ведь живой уголок.

Я удивился его просьбе. Но делать было нечего: пришлось тащить клетку обратно домой.

К о л я

Оля пишет Коле

Я, Коля, столько раз перечитываю каждое твое письмо, что Артамонов сказал: «Наизусть, что ли, учишь?»

Хочу и я сообщить тебе об одной неожиданной новости. О самой неожиданной! Артамонов стал чуть ли не моим закадычным другом. И объясняет это знаешь чем? Тем, что я организовала рукавичную мастерскую. Он меня, дескать, за это стал очень уважать. Мы, между прочим, решили вязать для

рыбаков и теплые фуфайки тоже. Артамонов трубит об этом на всю школу.

Он стал совсем не похож на себя и даже причесывается на пробор, чего, говорят, раньше никогда не было. Он уступил мне свое место возле окна, потому что оттуда видно море. Я теперь на уроке поглядываю в сторону порта и вижу корабли под разными флагами и рыболовецкие траулеры. А когда весной окно раскроют, тогда, наверно, и запах моря будет долетать до меня...

Когда Артамонов узнал, что я по вечерам задерживаюсь в мастерской, он сказал, что будет заходить за мной: дескать, я живу на окраине города и могу заблудиться. Я не хочу его обижать: пусть провожает.

Мой портфель в его руках кажется совсем маленьким, каким-то игрушечным. Сам-то он ходит в школу с такой брезентовой сумкой, что в ней помещаются его футбольные бутсы.

Когда мы шли в первый вечер, он очень смущался и никак не мог найти тему для разговора. Тогда я попросила его: «Расскажи что-нибудь о футболе!» Он очень обрадовался, что я помогла ему, и не закрывал рот до самого дома.

Представь, он знает наизусть фамилии вратарей всех команд, которые играют по классу «А» и по классу «Б». Помнит, кто из них сколько пропустил мячей в прошедшем сезоне.

Я сказала:

— Если бы ты свою память на что-нибудь серьезное употребил... А? Был бы замечательный результат!

Он не обиделся.

Артамонов пригласил меня в будущее воскресенье на хоккей. Я пока еще не согласилась. Но, честно говоря, он не такой уж плохой парень. Мне сперва показалось, что он похож на нашего Рудика Горлова. Но теперь я вижу, что совсем не похож...

О л я

Коля пишет не Оле

Школа № 3. Шестой класс «В».

Владимиру Артамонову (лично).

Я, тайный Олин защитник, продолжаю следить, Артамонов, за каждым твоим шагом. Ты правильно сделал, что

пересадила Олю Воронец поближе к морю. И хорошо, что хвалишь ее на всю школу.

Но провожать ее до дому тебе никто не поручал! И менять прическу не обязательно. Учти это! Продолжаю свое наблюдение. Не вздумай показать ей это письмо. А то, как ты сам говоришь, «хуже будет»!

Коле пишет не Оля

Школа № 1. Шестой класс «А».

Коле Незлобину (лично).

Слушай, ты, тайный защитник! Не думай, что я испугался твоих угроз. Получи свои письма обратно.

А с Анной Ильиничной и Тимошкой у тебя неплохо выходит. Оля мне рассказала.

Защищать ее нечего: она в этом не нуждается. Все.

А р т а м о н о в

Коля пишет Оле

Я, Оля, только и делаю, что таскаю свою клетку туда-сюда. А ведь она большая и тяжелая. Ты сама видела.

Сегодня притащил ее к Тимошке в живой уголок.

Там я понял, что дело не только в «уголке».

— Они говорят, что Оле надоело со мной дружить... И не верят, что она уехала,— сказал Тимошка.— Вот и пусть знают, что у меня есть новый приятель!

Он долго ходил со мной по школьному коридору и всем представлял:

— Это Коля Незлобин, мой приятель. Он учится в шестом классе!

Он познакомил меня с ежами, рыбами, белыми крысами, черепахой и сонным ужом. Ни одна клетка не пустовала, кроме моей, самодельной. Я решил, что нужно срочно найти больную птицу и снова открыть лечебницу.

К о л я

Оля пишет Коле

Дорогой Коля!

Я рада, что Тимошка уже назвал тебя своим приятелем. Он очень сдержанный и не бросается такими словами. Ты не забыл, что у него 29 декабря день рождения? Сделай так, чтобы ему было весело и хорошо. Отметь в календаре: двадцать девятое декабря.

О л я

Оля пишет Коле

Дорогой Коля!

Я пришлю Феликсу справку о том, что ты «перевыполнил задание» и вместо трех писем в месяц иногда присылаешь больше.

Пусть так и будет.

О л я

Коля пишет Оле

Я, Оля, не могу пересказывать твои письма, как хотел Феликс. Если меня спрашивают про тебя, я отвечаю: «Скучает!» И повторяю про холод, который вползает и остается внутри...

Вчера так получилось, что я у Тимошки во дворе прямо столкнулся с Феликсом. Он возвращался домой.

Феликс не удивился, что встретил меня:

— Когда Тимошка сказал, что у него появился новый приятель, я сразу понял, что это ты.

— Почему?

Феликс ничего не ответил.

Он притянул меня к себе: не то обнял, не то хотел со мной в шутку побороться. Я толком и не понял.

К о л я

Коля пишет Оле

Здравствуй, Оля!

Мне тоже кажется, что мы с Тимошкой чуть-чуть уже привязались друг к другу.

Сегодня мы пошли на улицу искать будущего обитателя деревянной клетки. Мы делаем это уже не первый раз, но пока отыскать не можем.

У нас, Оля, уже наступила зима. Мороз хорошо отдохнул и соскучился по своей работе. Во дворе даже лопнуло одно дерево. И лежит на снегу расколотое пополам, будто у него случился разрыв сердца.

Мы с Тимошкой шли по улице, лепили белые холодные комочки и швыряли их перед собой: кто дальше? Дальше все время бросал я. Но Тимошка сказал, что Феликс своей левой рукой может закинуть снежок так далеко, что его и найти не смогут. И еще, оказалось, что у Феликса летом камешки скачут по воде столько раз, сколько у меня никогда скакать не будут. Я согласился с Тимошкой...

Птицу мы не нашли.

— Неужели ни одна не обморозилась? — горевал Тимошка.

— Это же хорошо! — воскликнул я. — Значит, все живы-здоровы! И пусть наша лечебница подольше пустует. Знаешь, как было бы хорошо, если бы все больницы и поликлиники пустовали!

Но его это, кажется, не утешило.

К о л я

Оля пишет Коле

Дорогой Коля!

Помнишь, как ты вначале присылал мне письма в полторы строчки? А сейчас пишешь чаще, чем я. И это вовсе не удивительно: выполнять задания гораздо труднее, чем давать их, поэтому тебе есть о чем рассказать и о чем посоветоваться.

Артамонов сидит со мной рядом и передает тебе привет. Я давно рассказала ему о нашей переписке.

Почему он так изменился? Просто девчонка, которая живет в Заполярье и о которой помнят на Урале, заслуживает, по его мнению, уважения. Так я по крайней мере думаю. Конечно, хотелось бы, чтоб он и тех, о ком на Урале не заботятся, тоже уважал. Я ему об этом скажу.

Пиши мне...

О л я

Коля пишет Оле

Я, Оля, и правда стал перевыполнять норму: пишу тебе чаще, чем ты мне. Елена Станиславовна думает, что это я уроки так аккуратно готовлю, и даже несколько раз поставила меня в пример Нельке: «Видишь, как Коля старается. Ему, может быть, учение нелегко дается, а он старается...» И откуда она взяла, что мне «учение» трудно дается?

Нелька однажды спросила меня:

— По какому это предмету так много задают на дом?

— По литературе,— ответил я.— Домашние сочинения!

— Так часто задают сочинения?..

— Так часто. Вот перейдешь из своего пятого класса в шестой, тогда узнаешь!

Сейчас пишу тебе на уроке: не терпится сообщить одну новость. Вчера я поссорился с Нелькой... Из-за твоих писем. Я раньше всегда успевал вынимать их из ящика утром, до школы, вместе с газетами. А вчера я проспал, и Нелька сама полезла в почтовый ящик. Она мне целый день не отдавала твое письмо, а отдала лишь вечером, когда отца и Елены Станиславовны не было дома.

Я спрашиваю:

— Ты почему его целый день с собою таскала?

А она в ответ:

— Думала, что тебе будет неудобно при взрослых...

И такую при этом физиономию скорчила, что я не выдержал и спросил у нее:

— Ты что себе вообразила, а?

— Ничего особенного! — ответила она.— Просто понимаю теперь, почему ты стал таким нервным.

Села на свой круглый, вертящийся стул и начала потихоньку ехидно наигрывать арию герцога «Сердце красавицы...».

Я подошел и захлопнул крышку. Сказал, что если мои птицы мешали ей играть, то она мне мешает делать уроки.

— Опять домашнее сочинение? — спросила Нелька.

Я ей не стал объяснять, что нам возле старого дуба поручили переписываться, а принялся нарочно громко учить английский язык...

Прощай, меня вызывают к доске. Не поминай лихом!

К о л я

Вчера у Тимошки болела голова. Он не сказал мне об этом. Но я, как только пришел к нему, сразу заметил, что он бледный и грустный. На столе лежало мокрое полотенце: наверно, он им голову обвязывал.

Ты писала, что ему надо побольше гулять. И я сказал: — Пойдем еще разок поищем птицу!..

И мы пошли. Но как-то так получилось, что мы птицу почти не искали, а разглядывали город.

Один заводской корпус стоит как металлический скелет и понемножку обрастает кирпичами...

Когда я смотрю на новые дома и цеха, я всегда думаю о людях, которые умеют их строить. И не понимаю, как это у них получается...

— Знаешь, как много понастроили таких же вот городов, как наш! — сказал я Тимошке. — Интересно было бы переписываться с кем-нибудь из другого нового города! Который, например, в Заполярье...

— Давай переписываться! — подхватил Тимошка.

— Ну, для этого нужно, чтобы там жил какой-нибудь близкий нам человек.

— А некоторые и с незнакомыми переписываются. Я читал...

— Ну, это совсем не то. А вот если бы далеко-далеко, в Заполярье, жил какой-нибудь наш с тобой друг! Или подруга...

Я уже не первый раз объяснял Тимошке, как это великолепно иметь друзей в Заполярье.

Ты, Оля, заметила, что на Лесной улице, где Тимошка живет, нет никакого леса. Другая улица называется Театральной, а театра на ней нету. Кто-то, значит, свои мечты выразил. И они могут исполниться...

— Где же твоя «Операция МИО»? — спросил вдруг Тимошка. — Ты ведь обещал найти Олю!.. Помнишь?

В этот миг ко мне явилась идея!

Я схватил Тимошку за руку, закатил глаза и воскликнул:

— погоди, Тимофей! погоди!.. Ни слова!.. Пришла пора начать нашу операцию. Я чувствую на расстоянии, что тебя ждет встреча с Олиным посланцем. Или с «посланкой»! Потому что это женщина. Или, точнее сказать, девчонка!..

— Какая девчонка?

— Не знаю. Но видишь, я начинаю искать Олю как бы... через тебя: ведь эта «посланка» должна с тобой встретиться!

— А где она? — всполошился Тимошка.

— Пока еще не знаю. Но через несколько дней я напрягусь и отгадаю это на расстоянии.

Так я сказал Тимошке, потому что мне нужно время, чтобы выполнить свой замечательный план. То есть он будет замечательным, если из него что-нибудь выйдет.

К о л я

Коля пишет Оле

А дальше, Оля, было так. Я изложил Белке свой замысел и сказал:

— Ты снова должна помочь мне. Ты должна разыграть роль... как бы это сказать... Олиного посланца. Или, точнее, «посланки»... Хотя такого слова, кажется, нету.

Мы договорились, что встретим ее на берегу реки, там, где за городом сразу же начинается лес. Я сказал, что она должна выйти к нам прямо из вечерних зарослей... Чтобы на Тимошку это произвело впечатление. Белка предлагала другие необычные места: нашу центральную площадь, вестибюль школы, клуб. Я чувствовал, что она боится выходить из леса или, вернее сказать, боится в х о д и т ь туда, чтобы потом выходить обратно. И тогда я воскликнул:

— Опять боишься? Да? Преодолей свою трусость. Думаешь, мне легко выполнять эти задания? Но я же выполняю! Борюсь сам с собой. И выполняю.

— Хорошо. Я выйду из леса точно в назначенный час. Только напиши об этом Оле, ладно?

И вот я пишу. Белка преодолела свой страх — и, когда мы с Тимошкой, перейдя через мост, спустились на берег реки, она вдруг показалась меж сосен... Она возникла чересчур быстро, потому что все же боялась стоять в зимнем лесу одна. Я попросил ее одеться для этого случая как-нибудь странно — и она нацепила на голову мамину шляпу, а перед собой выставила нераскрытый мамин зонтик, будто мушкетерскую шпагу.

Ее вид ничуть не подействовал на Тимошку, хотя он, как ты писала, очень впечатлительный ребенок. Он весело заорал:

— Это же Олина Белка! Я ее знаю!..

— Сейчас она не Белка...— прошептал я ему в самое ухо.— И если ты будешь орать, мы ничего от нее не узнаем.

«Посланка» остановилась чуть-чуть в отдалении от нас и голосом, совсем не похожим на свой собственный, спросила:

— Кто из вас Тимофей?

Это я попросил ее называть Тимошку полным именем.

— Да что ты, Белка? Ты же знаешь меня!..

— Вот именно! — шепнул я ему.— Тебя знает Белка. А сейчас перед нами фактически другой человек. Запомни это! И не задавай лишних вопросов. Только слушай и запоминай!

— Слушай и запоминай! — вслед за мной повторила Белка.— В день своего рождения ты, Тимофей, обнаружишь самую неожиданную находку. Это будет Олин подарок!

— Где найду? — не удержался Тимошка.

— Там, куда слетаются вести со всех концов света!

— А куда они слетаются?

— Сами догадайтесь! Я исчезаю...

С этими словами твоя «посланка», Оля, дрожа от страха (хоть этого, конечно, не было видно!), скрылась в лесу.

— Давай догоним ее, а? — предложил Тимошка.— И заставим сказать, где сейчас Оля! Ведь она должна знать, если от Оли пришла...

— Как это «заставим»? Пытать ты ее будешь, что ли?

— Девчонок не бью,— ответил Тимошка. И опять всполошился: — Давай проследим, куда она пойдет, а? Будем идти по ее следу... Давай! Может, она прямо отсюда к Оле отправится?

— Следить? Подглядывать? Как тебе не стыдно, Тимофей! Я просто не узнаю тебя!..

Он махнул рукой и мрачно направился к мосту. Но когда мы были уже на середине моста, вдруг сказал:

— Сколько у меня будет подарков ко дню рождения! И от Оли... И двухколесный велосипед!

Я приостановился... Значит, он не забыл о моем обещании? И зачем я брякнул тогда, в первый день нашего знакомства, насчет этого велосипеда? Зачем?!

К о л я

Оля пишет Коле

Дорогой Коля!

Я еще не поняла, в чем именно заключается твой замечательный план.

А двухколесный велосипед ты подарить обязан. Тимошка не забудет про твое обещание, не надейся. Обманывать его нельзя... Я уже писала об этом, но хочу еще раз напомнить.

О л я

Коля пишет Оле

Здравствуй, Оля!

Послушай, что было дальше.

Я еще в тот самый первый день знакомства с Тимошкой заметил, что он довольно-таки скрытный парень. Вот, например, старается не показывать, что скучает по тебе, сдерживается. Но у него то и дело эта самая тоска наружу прорывается.

На следующий день после встречи с твоей «посланкой» я пришел к Тимошке и вижу, что учебники и тетрадки разложены на столе, но он в них не смотрит. А лицо грустное-грустное.

Он пристально взглянул на меня и спрашивает:

— А может быть, Оля никуда не уехала? Может быть, она просто не хочет больше дружить со мной и преспокойно сидит дома?

— Ну, ты, Тимофей, просто того... перезанимался немного. Я сам был бы рад, если бы она никуда не уехала. Но увы...

— А как же она тогда свой подарок передаст? И где Белка ее видела? Скажи, Коля! Очень прошу тебя...

И отворачивается, чтобы согнутым указательным пальцем под очки слазить, словно у него глаза чешутся.

Я стал утешать его:

— Не расстраивайся, Тимофей! Насчет «посланки» я точно сказать не могу. Но Оля уехала... Это я точно знаю.

— Нет, не верю. Не верю...

— Ну ладно! — не выдержал я. — Идем к ней домой. Вернее сказать, туда, где раньше был ее дом. И там все проверим. Ты знаешь, где Оля жила?

— Нет, не знаю. А то бы я уже давно проверил! Она

сама ко мне приходила. И в классе у меня часто бывала. Ребята завидовали...

— А я знаю, где она жила. В моем подъезде. На первом этаже, как и вы с Феликсом... Идем туда!

Мы подошли к твоей бывшей квартире... Я совсем забыл, что Белка предупреждала меня нажимать на кнопку два раза, если я хочу, чтобы Еремкины вышли. Нажал один раз, а они все равно открыли дверь. Сам Еремкин открыл! На о д и н звонок! Представляешь себе?

Но сейчас ты еще больше удивишься: он мне обрадовался, будто давно уже ждал меня в гости.

— Навестить решил? Очень приятно. Вас двое? Заходите, пожалуйста!

Мы зашли... И вот тут ты, Оля, так удивишься, что даже не поверишь мне! На диване у Еремкиных я увидел двойняшек Анны Ильиничны, которые уже не баюкали шепотом своих кукол, а прямо ногами, в ботиночках, прыгали по дивану. И Еремкиным это, представь себе, нравилось!

— В них столько энергии! Столько энергии! — восклицали они.

Я подумал, что если в двойняшках и дальше будет столько энергии, Еремкиным скоро придется покупать новый диван.

Я был поражен всем этим и даже забыл, для чего пришел. Но Еремкина сама мне напомнила.

— Детям простор нужен, — сказала она. — Сам знаешь, раз у тебя младший братишка есть. — И указала на Тимофея.

Еремкины стали хвастаться, что девочки выучили наизусть много стихотворений. Двойняшки стали читать в два голоса, а Еремкины шевелили губами, буззвучно повторяя те же самые строчки: боялись, что девочки забудут, запнутся. И я вспомнил, что так же вот беззвучно, очень волнуясь, мама подсказывала мне стихи, когда я однажды выступал на утреннике в детском саду. Потом я уже никогда больше на утренниках не выступал...

Двойняшки еще и пели разные песенки. А Еремкины на всякий случай беззвучно им подпевали.

Уходя, уже в дверях, я громко сказал:

— А Оля, значит, уехала?

— Уехала! — ответил Еремкин. — И такую нам, знаете, приятную замену вместо себя оставила...

Я поскорее простился, потому что боялся, как бы Тимошка

не спросил, куда именно ты уехала (это бы разрушило план, о котором знаем только мы с Белкой).

Потом Анна Ильинична мне сказала:

— Сама не заметила, как это случилось: полюбили Еремкины моих девочек. Дети могут сердце смягчить...

Она верно сказала: я чувствую, как Тимошка тоже меня смягчает. Но не в этом дело.

С Анной Ильиничной-то я уже на другой день говорил. А сразу после того, как мы ушли от Еремкиных, случились еще очень важные события. Я о них в следующем письме расскажу.

К о л я

Коля пишет Оле

Здравствуй, Оля!

Я должен рассказать тебе, что еще случилось, когда мы вышли от Еремкиных.

На улице я взглянул на Тимошку, который от смущения не проронил у Еремкиных ни одного слова, и говорю ему:

— Что, убедился?

Он печально кивнул головой.

И тут сзади нас догнал шепелявый голос Радика Горлова:

— Ну как, Свистун, не скучаешь ли по Вороне? Ты ведь птиц любишь! Помню, как она тут перед тобой на коленках стояла...

— Какая ворона? — тихо спросил меня Тимошка.

Но Радик услышал его вопрос.

— А ты, дитя неразумное, не знал Ворону? Была у нас такая, Оля Воронеж... Все справедливую из себя строила! А потом каркнула, крыльями взмахнула и улетела...

Радик собирался еще что-то сказать — наверно, про нашу с тобой переписку. Но Тимошка стянул с носа свои очки и сунул их мне:

— Подержи, Коля. Одну минуточку! А то разобьются...

И я еще даже ничего не успелобразить, как он, худенький, как пруттик, подошел к нелепо долговязому Радик, приподнялся и вlepил ему затрещину.

Радик в драку не полез: или стыдно было отвечать Тимошке, который еле доставал ему до плеча, или меня боялся. Он стоял на месте, без толку размахивая руками, и кричал:

— А ну еще попробуй! Еще хоть разок!..

Тимошка деловито приподнялся на носках и еще раз звонко стукнул Радика. Тот продолжал вопить:

— А ну еще попробуй!..

Но Тимошка пробовать больше не стал. Он, не оглядываясь, ушел со двора. Я догнал его...

Мы до самого Тимошкиного дома не разговаривали. И я до самого дома держал в руках его очки.

Потом мы стали прощаться. Тимошка натянул на нос очки. И тут что-то камушком упало с дерева.

Мы увидели в снегу маленький, взъерошенный комочек сероватого цвета.

— Воробей,— сказал я.— Замерзнет...

Тимошка «скорой помощью» бросился к птичке. Он бережно положил ее на ладонь, будто на носилки, прикрыл другой ладошкой. Воробей еле дышал... Тогда Тимошка опустил его в свою меховую рукавицу. Птичка там вполне уместилась.

Я смотрел на Тимошку — и мне как-то не верилось, что это он только что зло и решительно ударил два раза Радика Горлова. Как-то не верилось...

Вот и снова начнет работать птичья лечебница! Но главным врачом теперь будет Тимошка, а я — вроде бы «консультантом».

К о л я

Коля пишет Оле

Здравствуй, Оля!

Не знаю, что делать с этим двухколесным велосипедом! И зачем я пообещал купить его? Если бы еще был трехколесный, я бы целый месяц не ходил в кино, не завтракал в школе — и скопил деньги, а на двухколесный мне не скопить. Странно: два колеса стоят почему-то дороже, чем три!

У отца я просить деньги на велосипед не хочу: он ведь недавно купил мне аквариумы, чтобы я не занимался больными птицами. И потом, он стал чаще задыхаться по ночам, врачи посоветовали ему поехать в санаторий на целых два месяца. Отец сказал, что на месяц ему дадут бесплатную путевку. А на второй? И еще дорога туда и обратно... Я очень волнуюсь, Оля. И не хочу сейчас ничего просить у отца.

Тимошка возится с птичьей лечебницей. А в день рождения он получит от твоего имени подарок, которого больше всего ждет... Скоро ты узнаешь, что за подарок!

Может, он на радостях забудет об этом велосипеде? Как ты думаешь? Может, отменить этот велосипед?

К о л я

Т Е Л Е Г Р А М М А

Коле Незлобину (лично).

Ничего не отменяй. Деньги высылаю.

О л я

Оля пишет Коле

Дорогой Коля!

Сегодня я выслала тебе по почте деньги. На двухколесный велосипед вполне хватит. Ведь это я втянула тебя во все свои «задания». Мама и папа меня поняли. И хватит на эту тему...

В письмах я все больше узнаю тебя, Коля! Раньше я тебя вовсе не знала. И не ценила. Ты был таким молчаливым... Теперь мне кажется, что ты сберегал слова для своих писем.

Артамонов кланяется тебе и говорит, что если бы ты жил у нас в Заполярье, было бы хорошо.

Расскажи, как Тимошка первый раз сядет на свой собственный двухколесный велосипед. И что за подарок вы ему готовите от моего имени?

О л я

Коля пишет Оле

Дорогая Оля!

Я получил все, что ты мне послала! Спасибо!

С твоим денежным переводом сперва получилась целая история. Почтальонша не хотела выдавать мне деньги, потому что у меня нет никаких документов, «удостоверяющих личность получателя». Я принес ей школьный дневник, а она говорит:

— Это не документ. Здесь нет карточки и печати!..

Я ей говорю:

— Хотите, все соседи подтвердят, что я и есть Коля Незлобин?

А она мне отвечает:

— Я их подтверждение к переводу не приколю. Тут номер паспорта нужно проставить и отделение милиции, где получал...

Я ей говорю:

— Но я его еще вообще не получал. Нет у меня паспорта! Тогда она вдруг спрашивает:

— А к кому ты вписан?

И оказалось, представь себе, что каждый из нас вписан к кому-нибудь в паспорт: к отцу или к матери. Я теперь вписан к отцу. И умещаюсь там, внутри, всего на одной строчке. А раньше был, наверно, у мамы...

Отец, Елена Станиславовна и даже Нелька успели заглянуть в твой перевод. И все трое очень удивились. Нелька сказала:

— Тебе гонорар за рассказ прислали?

— Да, прислали... Представь себе! — ответил я.

— Ближе, чем в Заполярье, его напечатать не могли?

— Ты, Неля, нехорошо говоришь, — остановила ее Елена Станиславовна. — Ведь он уважает твое творческое призвание...

Я спорить не стал: пусть думают, что уважаю. Но я чувствовал, что Елена Станиславовна не зря стала меня защищать, что она хочет подступиться ко мне с каким-то вопросом.

Она тихо, чтобы Нелька не слышала, спросила:

— От кого эти деньги, Коля?

— Там написано, — ответил я.

— Для чего они тебе? И на что ты собираешься их потратить!

— Это мое дело!

Тут вмешался отец:

— Как ты смог сегодня убедиться, Николай, ты еще не вполне самостоятелен. Ты вписан в мой паспорт, и я, стало быть, отвечаю за твои поступки.

— Тебе не придется за них отвечать. Я ничего плохого делать не собираюсь.

— Почему же ты не можешь нам прямо сказать?

Отец волновался. И, как всегда в таких случаях, у него начался кашель. И стал он сразу беспомощным: полез искать в карманах платок, не нашел его и прикрыл рот рукой, как бы извиняясь за свой кашель.

Мне показалось, это я виноват в том, что астма стала душить отца. И чтобы он больше не волновался, я сказал все, как есть:

— Должен купить подарок одному маленькому мальчику. Честное слово! Можете проверить.

— Мы не собираемся тебя проверять. Мы тебе верим...— сказала Елена Станиславовна.

Она сказала это для того, я думаю, чтобы успокоить отца. Или в самом деле поверила.

Привет Артамонову.

Еще раз спасибо.

К о л я

Коля пишет Оле

Дорогая Оля!

Сегодня день рождения Тимошки.

В газетах часто попадаются фразы: «В день пятидесятилетия... В день восьмидесятилетия...» И я свое обращение к Тимошке так прямо и начал:

— В день твоего девятилетия ты, Тимофей, вполне заслужил два сюрприза, которые, в общем-то, нельзя назвать сюрпризами, потому что ты их очень давно ждал!..

Еще за неделю до этого я спросил у него:

— Ты к кому вписан: к маме или к папе?

— Как это — вписан? — не понял Тимошка.

Ну, я ему тоже объяснил, что каждый из нас обязательно к кому-нибудь вписан. И потребовал, чтобы в воскресенье, когда приедут родители, он выяснил этот вопрос. И чтобы попросил на недельку оставить дома тот паспорт, в который его вписали...

— Они не оставят,— сказал Тимошка.

— Тогда надо что-нибудь присочинить. В этом не будет ничего страшного, потому что потом ты расскажешь им и Феликсу всю правду.

— Какую правду? Я сам ничего не знаю.

— Не торопись. В день своего девятилетия все узнаешь!

— Паспорт они не оставят,— упрямо твердил Тимошка.

— А ты скажи, что в школе хотят устроить проверку: кто к кому вписан. Понятно?

Когда Тимошка стал в воскресенье все это растолковывать своим родителям, в комнату неожиданно вошел Феликс. Он-то прекрасно знал, что в школах ничего такого не проверяют. Но промолчал. И только на следующий день, когда родители уехали к себе на рудник, сказал Тимошке:

— Расскажи-ка мне, что ты затеял?

— Я тебе в день рождения расскажу,— пообещал Тимошка.— Тут хотят какие-то подарки мне подарить...

— Что, подарки стали по паспортам выдавать?.. Хорошо, договорились. Подожду до двадцать девятого.

— А куда мы понесем мамин паспорт? — спросил меня Тимошка в то утро, когда я поздравил его с девятилетием.

— Куда слетаются вести с разных концов света... Помнишь, что сказала Олина «посланка»?

— А куда они слетаются?

— Я должен угадать на расстоянии! Дай мне руку... Самое трудное отгадывание за всю мою жизнь! Учти это и не дыши!

Тимошка затаил дыхание, а я закатил глаза так глубоко, как еще никогда не закатывал, и говорю:

— Все ясно... Скорей на главную почту! Именно туда слетаются вести с разных концов света: письма, газеты, телеграммы!

— А что там будет? Какой подарок? — спрашивал он меня на бегу.

— Не знаю. Этого я не отгадывал...

Мы подошли к стеклянному окошку, где выдают корреспонденцию до востребования. И я сказал:

— Давай мамин паспорт!

Он протянул его мне, а я — девушке, сидевшей за стеклом.

— Вот здесь, видите, написано: «Тимофей. Сын...» Ему письмо должно быть, этому «сыну Тимофею».

Девушка стала быстро-быстро перебирать пальцами толстую пачку писем, открыток и извещений. Вытащила одно письмо и стала перебирать дальше.

— Не ищите,— посоветовал я.— Ему пока только одно письмо прислали...

— Откуда вы знаете? — пожала плечами девушка. И перебрала пальцами всю пачку до конца.

А потом протянула мне письмо и паспорт Тимошкиной мамы.

Я думал, что девушка высунется из окошка, оглядит «сына Тимофея», удивится, что он уже получает письмо до востребования, но она не удивилась и не стала выглядывать: ко всему, видно, привыкла.

Я торжественно вручил письмо Тимошке:

— На, возьми. Это первый подарок ко дню рождения. Ты его заслужил!

— Прочти...— сказал оробевший Тимошка.

— Нет, сам читай. На конверте же написано: «Тимофею». Значит, ты сам должен вскрыть и прочитать.

Он осторожно, чтобы не повредить лежавшее внутри письмо, надорвал конверт. И вытащил белый листок, на котором был написан твой, Оля, адрес. Всего полторы строчки... Но Тимошка очень долго изучал белый листок.

Это письмо до востребования я послал три дня назад.

Конечно, я мог бы просто сказать Тимошке, где ты сейчас живешь. Но мне показалось, что так интересней: Тимошка в день рождения получает письмо и твой долгожданный адрес прямо по почте, из окошка, откуда он еще никогда в жизни писем не получал!

— «Операция МИО» завершена! — торжественно воскликнул я. — Мы нашли Олю.

— Она долго будет там? — спросил Тимошка.

— Много лет... Мы ведь хотели, чтоб в Заполярье жил какой-нибудь наш знакомый. И чтобы мы с ним переписывались!

— Она будет мне писать? — спросил он.

— Конечно... Можешь не сомневаться!

В общем, Тимошка нашел, как и обещала ему «посланка», самую дорогую для него находку: тебя, Оля!

— Дай мне адрес, а то потеряешь, — предложил я.

— Нет, — коротко ответил Тимошка. И засунул письмо под пальто, в какой-то свой заветный карман.

Мы пошли в магазин покупать двухколесный велосипед.

Малыши, я заметил, очень долго выбирают себе подарки, а Тимошка прямо ткнул пальцем в первый попавшийся велосипед и сказал:

— Этот!

— Может быть... другого цвета? — спросил я.

— Какая разница? — ответил Тимошка.

Я сказал:

— Это второй подарок от Оли!

— От Оли?! — не понял Тимошка.

— Она прислала деньги. Вот и все,— объяснил я.

Он сам вынес велосипед на улицу... Но рассказать тебе, Оля, как Тимошка впервые сел и поехал, я не смогу, потому что он еще не поехал. В магазине негде было кататься, и на заснеженной улице тоже.

Это было немного странно: мы несли по зимнему городу велосипед... Должно быть, люди так же удивленно оборачивались бы на нас, если б мы летом, в жаркий день, несли по улице зимние санки.

Кажется, просьбу, Оля, я выполнил... Нет, я не занял твое место в Тимошкиной жизни. Просто там, в его жизни, хватило места для нас двоих...

К о л я

Оля пишет Коле

Дорогой Коля!

Ты преподнес два подарка Тимошке. Но вроде и мне...

А Тимошка совсем не огорчился, когда узнал, что я уехала в Заполярье? Думаю, что ты просто не заметил, не разглядел. Он ведь скрытный мальчишка. Не может быть, чтобы он совсем не огорчился...

О л я

Оля пишет не Коле

Дорогой Феликс!

Я победила в нашем споре! Колька доказал, «на что он способен».

Обо всей моей теперешней жизни вы знаете от него. Правда, Белка пишет, что он мало рассказывает... Но разве Колька виноват, что я в своих письмах чаще не о себе писала, а об этих самых «заданиях» и просьбах, которые он выполнял.

Привет всем. И поцелуй Тимошку. Пусть он меня не забывает.

О л я

Оле пишет не Коля

Дорогая Оля!

Я очень рад, что проиграл пари.

Да, Коля доказал, «на что он способен». Этого я и хотел.

Ф е л и к с

Оля пишет не Коле

Уважаемая Елена Станиславовна и отец Коли (не знаю, к сожалению, вашего имени-отчества)!

Даже сюда, до самого Заполярья, докатились слухи о вашем замечательном сыне Коле Незлобине! Он очень находчивый, смелый и добрый. Но главное — очень способный!

Коля ведь и рассказы хорошо пишет, и стихи. Только он вам их не показывает, потому что скромный и, наверно, стесняется...

Мы хотим, чтобы вы им гордились! Конечно, в душе... А виду можно особенно и не подавать. И конечно, не говорите ему об этом письме, потому что он рассердится и расстроится.

Если вы не верите, что письмо это из Заполярья, посмотрите на почтовый штемпель — и убедитесь!

Завидуем, что у вас такой замечательный сын!

От имени «заполярников»

О л ь г а В о р о н е ц

В л а д и м и р А р т а м о н о в

Коля пишет Оле

Дорогая Оля!

Вчера Елена Станиславовна сама накормила моих рыб. В обоих аквариумах... Когда я вошел в комнату, отец держал в руках тарелку с хлебными крошками, а она сыпала крошки в воду и при этом почему-то приговаривала: «Цып-цып-цып...»

Я до того удивился, что даже не поблагодарил их. А Елена Станиславовна сказала, что «рацион у рыб должен быть разнообразнее», что она возьмет у одного инженера в проектной

конторе книгу Брема и узнает точно, чем их «следует кормить».

Что случилось с ней? Не могу понять!
Жду твоих писем!

К о л я

Да, забыл... Тимошка очень скучает. Честное слово!

Оля пишет Коле

Дорогой Коля!

У меня к тебе есть еще одна просьба. Пришли мне, пожалуйста, свою фотокарточку. Артамонов тоже очень хочет взглянуть на тебя. Правда, у меня есть фотография всего нашего класса, и я сказала Артамонову: «Отыщи здесь Колю!» он в десять лиц ткнул пальцем, а в тебя нет, потому что ты на этой фотографии совсем не такой, какой ты на самом деле. Ты там мрачный, угрюмый... Одним словом, Колька Свистун! Я раньше думала, что ты такой и есть. А теперь хочу иметь фотографию настоящего Коли Незлобина, того самого, с которым я переписываюсь.

О л я

Коля пишет Оле

Дорогая Оля!

Карточку свою я выслать тебе не могу, потому что никогда не фотографировался. Я долго думал, что же делать, но фотографироваться не пошел. Как-то не хочется... Я посылаю тебе фотокарточку моей мамы. Говорят, что я очень похож на нее. Правда, карточка маленькая и с белым уголком: мама снималась для паспорта. Перед самым нашим отъездом, в то лето... У нее кончался срок паспорта. Он, кажется, даже кончился, и мама шутила, что ее не пропишут в лесу.

Мама тогда собиралась в дорогу, чтобы нам с отцом хорошо было отдыхать. Ей некогда было зайти за карточками, и она попросила меня. Я зашел... И сейчас эти карточки у меня, все шесть. Я никогда не расстаюсь с ними, они у меня лежат в боковом кармане. Одну я посылаю тебе...

Знаешь, Оля, мне почему-то кажется, что мама, когда

была девочкой, по характеру чем-то напоминала тебя. И потом, она тоже часто говорила слова, которые любишь повторять ты: «справедливо» или «несправедливо».

Посылаю карточку тебе...

Через четыре месяца снова начнется лето. И наверно, там, возле старого дуба, нам с тобой не поручат больше переписываться. Но мы, может быть, все равно будем, а? И в будущем году, и через шесть лет, и через десять? И вообще всегда.

К о л я

Оля пишет Коле

Дорогой Коля!

Я получила фотографию твоей мамы. Она действительно на тебя очень похожа. Или, вернее, ты на нее. Вы очень похожи друг на друга.

Я думаю, что тебе возле старого дуба могут снова поручить переписываться со мной: все-таки ведь, наверно, не совсем еще забыли меня?

Но я хотела бы, чтоб тебе не давали такого задания. Лучше пусть Белка пересказывает мои письма. А мы с тобой будем переписываться так, без всяких заданий, и ты ничего никому не пересказывай.

А может, когда-нибудь нам с тобой и не придется писать письма, потому что мы будем снова жить в одном городе, и даже на одной улице. И даже в одном доме, как раньше. Ведь может так быть? Как ты думаешь?..

О л я

Заполярье — Урал — Москва, 1963 г.

ГОВОРIT СЕДЬМОЙ ЭТАЖ!..



ПЕСНЯ ПОД ОКНОМ

Ровно в девять утра грянула песня. Она была такой громкой, что казалось, певец вскарабкался на водосточную трубу под самые окна, а подпевавший ему хор расположился где-то на ступеньках пожарной лестницы.

Со сна Лешка не мог понять: откуда во дворе эти голоса и музыка?

Из коридора слышался голос соседки Калерии Гавриловны:

— В воскресенье поспать не дадут!

— Спать надо ночью, а утром как раз нужно петь! — возразил голос шофера Васи Кругляшкина.

Конечно, было воскресенье: в обычные дни по утрам шофер Вася не разговаривал с ворчливой соседкой — это

отнимало слишком много времени и вполне можно было опоздать на работу. К тому же, как говорил Вася, «шофер должен беречь нервы во избежание уличных катастроф».

Лешка выглянул в окно... Вот это новость! Почти на самую верхушку старого деревянного столба взобрался новенький, блестящий громкоговоритель. Где-то там, внутри репродуктора, умещались и певцы-солисты, и целые хоры, и духовые оркестры...

Ветхий, покосившийся столб будто приосанился и даже чуть-чуть выпрямился: его еще никогда не использовали для таких высоких и торжественных целей. Он бывал стойкой футбольных ворот, на него наклеивали разные объявления, обматывали вокруг него веревки, на которых сушилось белье... А тут старый деревянный столб пел, декламировал, гремел маршами. Откуда-то сверху, из-под самой крыши, к столбу струнами тянулись натянутые провода.

Лешка был поражен: впервые за много лет во дворе произошло событие, о котором он не знал заранее. Скорей в коридор, к телефону...

С кухни тянуло сухим, неприятно щекочущим теплом газовых конфорок. Шофер Вася Кругляшкин, поставив ногу на перевернутый таз, доводил до немыслимого блеска свои новые желтые полуботинки.

— От вашего гуталина невозможно дышать! — заявила Калерия Гавриловна.

Это было странно: Вася даже не притрагивался к гуталину — он натирает свои ботинки кусочком старого, выцветшего коврика, который, по его словам, «когда-то был персидским».

Вася подчинился и вышел в коридор.

— Здорово, Алексей!

Всех ребят в доме Вася называл полными, «взрослыми» именами: Алексей, Татьяна, Ефим... Хотя самого шофера ребята запросто именовали Васей.

Как только Лешка коснулся трубки, соседка тотчас сообщила:

— А я вот была недавно в одном доме, так там детям вообще не разрешают подходить к телефону!

Лешка набрал номер и три раза отчетливо произнес:

— Дош! Дош! Дош!..

— Начал выражаться! — констатировала соседка.

Вася Кругляшкин не вытерпел:

— ДОШ — это, если на то пошло, сокращенное слово: «Домовой штаб»! Только и всего.

— Вот именно: «Домовой»! — не сдавалась соседка. — Все они — домовые!

«НЕ СМЕЙ...»

Троекратно повторенное слово «ДОШ» означало сигнал немедленного сбора. Лешка мог бы и попросту сказать: «Приходите во двор!» Но это было не так интересно. К тому же он заметил, что в ответ на такое обычное приглашение ребята не особенно торопились. Ну, а таинственный сигнал заставлял срываться с места, забыв обо всем.

Уже через пять минут три члена «Домового штаба» — Вадик, Тихая Таня и сам Лешка — были в условленном месте: за дровяным сараем.

Не хватало только Фимы Трошина.

— Всегда он опаздывает! — удивляясь такой странной привычке, пожал плечами Лешка.

Вадик огляделся по сторонам, многозначительно сморщил носик и полусшепотом, доверительно сообщил:

— Его отец вчера опять того... И ведь боится, чтобы не увидели: по сторонам озирается. А я вот увидел! Сам!.. Своими собственными глазами!

Вадик всегда и все видел «сам, своими собственными глазами». Просто удивительно было, как это его глаза везде поспевали.

— С пьянством надо бороться! — провозгласил Лешка.

Тихая Таня, усевшись на камень, который прочно врос в землю и часто заменял ей скамейку, читала аппетитно растрепанную книгу. Услышав о Фиминем отце, она вздохнула, перевернула страницу и продолжала читать.

Это никого не удивило, к этому все привыкли. Лешка знал, что Таня, хоть и погрузилась в книгу, все слышит и может в самый неожиданный момент вставить какое-нибудь замечание.

Продолжая читать, она сказала:

— Фимин отец — вовсе не пьяница. Вы ведь знаете, почему он... Мама у них умерла...

— Так это уж когда было! — возразил Лешка.

— Значит, продолжает переживать.

— Ладно! Начнем без Фимы,— сказал Лешка и взглянул на Вадика: — Ты вот у нас все замечаешь: и кто новые занавески купил, и кому шкаф из магазина привезли. А это что?..

Лешка поднял указательный палец, как бы заставляя всех прислушаться к маршу, гремевшему на весь двор.

Вадик удивленно потянул своим носиком, словно понюхал музыку:

— Это? Оркестр...

— Да! У нас во дворе — музыка, оркестр, а ДОШ ничего не знает? ДОШ! Хозяин двора! Кто-то репродуктор повесил, откуда-то с чердака пластинки запускают... А мы только слушаем и удивляемся. Для чего мы тебя в штаб выбрали, а? Не знаешь? Чтобы ты нам обо всех новостях докладывал... Вовремя!

— Я и доложу! — всполошился Вадик. — И доложу! — Он с опаской оглянулся на сарай, точно в нем мог кто-то сидеть и подслушивать. — Репродуктор этот... новенький вместе с Васей Кругляшкиным устанавливал!

— Какой новенький? Который бандуру таскает?

Тихая Таня оторвалась от книги:

— Не бандуру, а виолончель.

— Вот-вот! Я сам видел. Своими собственными глазами!

— Понятно,— сказал Лешка. — Вася, значит, устанавливал, а этот... который в семнадцатую квартиру въехал, ему помогал?..

— Всё было наоборот!

— Что наоборот?

— Вася ему помогал, а тот командовал: тут подвернуть надо, там провод закрепить... И на столб он лазил. И на чердак! Высунулся оттуда и орет...

— Кричит,— не отрываясь от книги, поправила Тихая Таня.

— Ну, пусть кричит... «Лови, Вася, провод! — кричит. — Лови другой!»

— А Вася?

— Ловил.

— И что же?

— Поймал!

— Врешь ты все!

— Вру? Да я своими собственными глазами!.. Он, этот новенький, и яму возле столба вырыл. Я для проверки подо-

шел совсем близко, на дно заглянул. Глубокая! Метра два или три, не меньше. А потом конец железной проволоки в круг свернул и на самое дно бросил. «Заземление!» — говорит.

— Музыкант?! Они знаешь как за пальчиками своими следят! Сломать боятся или вывихнуть. Не мог он яму копать.

— Копал! Я сам видел: копал! А потом... — Вадик оглянулся, обвел взглядом сарай. — А потом, я видел, как он из этой своей бандуры... из виолончели то есть... что-то такое непонятное доставал...

— Что он мог оттуда доставать? — Лешка махнул рукой. — Она же внутри пустая, эта виолончель!

— Он не из нее, конечно, а из футляра... Который на небольшой черный гроб смахивает.

— Гроб с музыкой! — засмеялся Лешка.

— Очень остроумно, — не отрывая глаз от книги, заметила Таня.

— Та-ак... Значит, новенький? Двух месяцев не прошло, как въехал, — и уже распоряжается! — Лешка отшвырнул ногой кусок кирпича. — Тогда мы объявим этому репродуктору бойкот. Не будем его слушать!

— Уши затыкать, что ли? — не понял Вадик.

Тихая Таня подняла на Лешку удивленные глаза и перевернула страницу:

— А по-моему, надо его использовать... этот репродуктор. Передачи можно устраивать. Как по настоящему радио!

— Правильно! — подхватил Лешка. И забежал вдоль сарая. — Устроим свою радиостанцию! Концерты, беседы всякие, передачи для родителей... Я именно это и имел в виду! А после будем на вопросы радиослушателей отвечать... если сумеем...

Так было всегда. Тихая Таня молчала-молчала, а потом вдруг высказывала какое-нибудь неожиданное предложение. Но коротко, в одной фразе... Лешка тут же, на лету, подхватывал Танину идею, развивал ее — и через полчаса всем уже казалось, что именно он, Лешка, все придумал. И сам он искренне в это верил.

— Каждый день будем передачи устраивать! — торжествовал Лешка. — И утром и вечером!..

— Может быть, и ночью тоже? — спокойно поинтересовалась Таня. — Так хорошо будет, оригинально: все спят, а мы себе говорим, говорим...

— Ночью нельзя... Только по вечерам будем устраи-

вать,— проговорил Лешка, с опаской поглядывая на Тихую Таню. Она промолчала, и тогда он продолжил уверенней: — По вечерам! Все с работы приходят — и будут слушать. Мы докажем этому несчастному виолончелисту, что повесить репродуктор на столб и пластинки крутить — еще не все! Это — ерунда... А вот передачи — другое дело. Пе-ре-да-чи!.. ДОШ всегда что-нибудь придумает! Правда?

— Еще бы! — торопливо поддакнул Вадик.

— «Еще бы»! — передразнил его Лешка.— А самого главного ты не узнал!

— Чего это?

— Откуда они музыку запускают! С чердака, что ли?

— На чердак я не лазил...

— И не полезешь: испугаешься!

— Я? Полезу!

— Ладно уж! Вместе туда пойдем... А по дороге и Фимку захватим.

Ребята подошли к дому и стали на разные голоса кричать:

— Фимка-а! Фима-а!

В окне пятого этажа показалось серое, небритое лицо:

— Он сейчас спустится!

— Когда протрезвится, добреет,— процедил Лешка.— Папаша...

Фима был хилым, пригнувшимся, будто от невидимой ноши, которая лежала на его узких плечах. Выделялись темные, усталые глаза с воспаленными веками.

— Опять ревел? — угрюмо спросил Лешка.

Тихая Таня, пристально взглянув на него, отчетливо произнесла:

— Плакал, ты хочешь сказать?

— Ну, пла-акал...— поправился Лешка.— Какая разница!

Он взглянул на окно, из которого недавно выглядывало небритое лицо, и погрозил кулаком.

— Ты кому? — удивился Фима.

— Кому? Ясно, кому!

Фима опустил голову и тихо, заикаясь, сказал:

— Не смей...

НА СЕДЬМОМ ЭТАЖЕ

В доме было шесть этажей... Пологий склон крыши утыкали телевизионными антеннами, каждая из которых напоминала Лешке руль деревянного самоката. В трех местах, на одинаковом расстоянии друг от друга, возвышались полукруглые холмики чердачных окон. Из среднего окна вниз, к столбу, тянулись провода. Они были туго натянуты, и Лешке вдруг показалось, что двор — это арена цирка, а в воздухе, над ареной, натянута проволока, на которой отчаянные эквилибристы будут отважно, без сетки, показывать свои номера.

Лешка так долго изучал окно чердака, и провода, и старый деревянный столб, что даже Тихая Таня не вытерпела:

— Ну, я пошла.

— Мы все пойдем! — встрепенулся Лешка. — Туда, на седьмой этаж — на чердак то есть! И все выясним. Почему радио замолчало? Только растравили людей. Безобразие!

— Можно подумать, что это он все устроил, а кто-то взял и испортил... — негромко произнесла Таня.

Она иногда говорила о присутствующих в третьем лице.

«И почему это вход со двора называется «черным»? — сам с собой рассуждал Лешка. — Наверное, потому, что здесь не меняют перегоревшие лампочки, всегда темно, и вполне можно свернуть себе шею...»

Сзади раздался испуганный голос Вадика:

— Наступил на кого-то!

Кошка взвизгнула — и уже через мгновение откуда-то сверху круглые, словно электрические пуговицы, уставились на ребят зеленые глаза.

— Я надеюсь, ты не отдавил ей лапу? — тихо спросила Таня.

— Если бы отдавил, она бы так быстро не убежала, — ответил Вадик.

— Смотреть надо под ноги!

— Я смотрю-ю, но только ничего не ви-ижу, — оправдывался Вадик, который, как и все, побаивался Тихую Таню.

— Даже «своими собственными глазами» не видишь? Вадик тут же наткнулся на пустое ведро.

Лешка воскликнул:

— Здесь какая-то комната... И дверь!

В самом деле, среднее чердачное окно было с трех сторон огорожено неоштукатуренной кирпичной коробкой. Кирпичи были уже не красные, а выцветшие, побуревшие от времени. Кладка не была закончена и не добралась до высоких чердачных перекрытий. Из-за неровных, зубчатых стен сооружение напоминало миниатюрную древнюю крепость. Туда вела дверь со ржавыми скобками. Замка не было, а круглые отверстия скоб были соединены и тщательно обмотаны проволокой. К двери была прикреплена бумажка, а на ней печатными буквами написано: «Посторонним вход воспрещен!»

Лешка стал разматывать проволоку. Фима Трошин подошел сзади, осторожно взял Лешку за руку и, застенчиво заикаясь, сказал:

— Не надо этого делать. Ведь написано...

— Написано: «Посторонним вход воспрещен!» — резко обернулся Лешка. — А мы — не посторонние! Мы — члены «Домового штаба». Штаб — хозяин двора!

— Все равно не надо, — повторил Фима.

И Лешка отошел от двери.

ОЛЕГ И ЕГО БАБУШКА

Еще в детском саду Олег выучил наизусть и полюбил песенку «В лесу родилась елочка». Это была очень простая и короткая песенка, но именно с нее начались все неприятности. Бабушка решила, что у внука исключительный слух и что с таким «абсолютным слухом» абсолютно необходимо учиться музыке.

Олега торжественно повели на экзамен в музыкальную школу. А обратно привели тихо, растерянно: педагоги не обнаружили у мальчика музыкальных способностей.

— Чтобы не найти у него слуха, надо самим быть глухими! — сказала бабушка.

Она добавила также, что первый провал внука как раз говорит о его незаурядном даровании: Шаляпина в молодости тоже не приняли в хор, а оперу «Травиата» на первых представлениях освистали.

Бабушка знала историю музыки. Она играла на рояле «для себя» и любила концерты-загадки по радио. Когда-то она мечтала стать пианисткой, но мечты ее не сбылись —

и теперь Олег должен был преуспеть в искусстве за двоих: за себя и за бабушку.

Бабушка находила, что внешне Олег похож на юного Паганини. Никто из семьи Брянцевых не был лично знаком с Паганини в его юные годы, и все же папа посмел утверждать, что у того было худое, вытянутое лицо, обрамленное черными смоляными волосами, точно нагуталиненными. Олег же был круглолиц, и над его доверчивыми голубыми глазами свисала мягкая шелковистая челка.

Одним словом, полного совпадения не было. Но бабушка уверяла, что в глубине глаз у Олега светятся те же «вдохновенные угольки», что и у «загадочного скрипача-итальянца». Это видела только бабушка. А для всех остальных глаза Олега источали полнейшее спокойствие и добродушие.

Чтобы положить начало музыкальной карьере внука, бабушка даже пошла на хитрость. Ей удалось однажды ответить на десять из тринадцати вопросов «радиоконцерта-загадки». Заказное письмо в редакцию бабушка послала от имени внука, и вскоре дикторша слегка удивленным голосом объявила по радио, что «вторую премию завоевал ученик четвертого класса Олег Брянцев, умно и толково ответивший на десять вопросов» и что «успех мальчика свидетельствует о хорошем преподавании музыки в его школе».

Музыку у Олега в школе вообще не преподавали: никак не могли найти подходящего педагога. Но после этого случая сразу нашли. Еще бы: из других школ стали приходить для обмена опытом! Бабушка ликовала...

— И обмана здесь нет! — заявляла она. — Ведь Олег сидел рядом... Я с ним советовалась!

По профессии бабушка была бухгалтером. Уже несколько лет она получала пенсию, но когда наступала пора годовых финансовых отчетов, старые сослуживцы обращались к Алевтине Степановне за помощью. Они скучали без бабушки: вместе с ней из бухгалтерии «ушла музыка». Бабушка постоянно что-нибудь напевала. С одной мелодии она незаметно переходила на другую, хотя в каждой песне знала лишь несколько строк, и то не вполне точно.

Олег не хотел огорчать бабушку и согласился учиться музыке. Но какой инструмент выбрать?

— Пианистов много, — рассуждала бабушка. — Скрипачей тоже... Пожалуй, лучше всего виолончель!

— Я не люблю виолончель: ее тяжело таскать, — легкомысленно возразил Олег.

Это решило все. Бабушка вскипела:

— Разве можно так подходить к музыке? С таких позиций? Тяжело таскать! В искусство ничего не дается легко, запомни это!

Так была куплена виолончель.

Два раза в неделю, после обеда, Олег отправлялся к частному педагогу. А под вечер бабушка справлялась по телефону о первых успехах внука. Частный педагог был в восторге. Олег, по его мнению, так хорошо успевал, что ему было бы полезно заниматься не два раза в неделю, а каждый день. Бабушка была счастлива, но от ежедневных уроков все-таки воздержалась: это было слишком дорого.

— А как заманчиво было бы заниматься каждый день! — вздыхала она. — Ты бы скорее стал виртуозом!

И вот два месяца назад бабушкина мечта начала неожиданно осуществляться...

Брянцевы обменялись и переехали в новую квартиру: в старом доме не было лифта — бабушке стало трудно подниматься на пятый этаж. Олег перешел в другую школу. И, вернувшись как-то после занятий, он сообщил:

— А в этой школе есть музыкальный кружок! Можно заниматься хоть каждый день. И совершенно бесплатно!

На радостях бабушка заплатила частному педагогу за целый месяц, хотя Олег занимался всего двадцать дней:

— Пусть не обижается!

— Чего ему обижаться? — проворчал отец Олега.

— Он многое теряет! — воскликнула бабушка. — Когда-нибудь Олег прославил бы его, как своего первого учителя.

— Ну, это еще бабушка надвое сказала.

— Я — бабушка! И никогда не говорю «надвое». Я говорю прямо и определенно: мой внук будет музыкантом!

Отец хотел, чтобы Олег стал толковым инженером...

— Ты мечтаешь, чтобы он повторил твой путь? — говорила бабушка. — Но пойми же: у него иные способности. И другое призвание! Смычок и струны — вот что он будет держать в руках всю свою жизнь...

Однако часто по вечерам Олег держал в руках рубанок, напильник и плоскогубцы. Он допоздна столярничал в ван-

ной комнате, что мешало соседям мыться и очень тревожило бабушку:

— Надо беречь руки... Твоя судьба — в твоих руках! Верней сказать, в пальцах.

— Знаю, бабушка, — добродушно соглашался Олег. — Я их и развиваю — пальцы. Так в музыкальном кружке советуют: строгайте, говорят, пилите!

«Может быть, это новые методы музыкального воспитания? — рассуждала бабушка. — В наше время музыканты не пилили и не строгаили... Но может быть, сейчас... В век НТР! Хотят как-то породнить технику с искусством?»

Все этажерки и книжные полки в квартире были сделаны руками Олега. Когда приходили гости, бабушка вполголоса, тайком от внука, хвасталась:

— Он! Все с а м!.. Своими руками!

И потом громко, чтобы слышал Олег, восклицала:

— Но главное — это музыка! Он живет в мире звуков... мелодий! И каждый день — представьте себе, каждый день! — ходит на занятия. А вот Моцарт, говорят, был не очень прилежным мальчиком...

Да, Олег, в отличие от «неприлежного» Моцарта, ходил на занятия ежедневно. Дома он перестал упражняться: вся работа, как он рассказывал, шла в музыкальном кружке, под наблюдением опытейшего педагога — «бывшего музыкального светила».

Несколько раз бабушка порывалась пойти в школу и познакомиться с новым музыкальным руководителем внука.

Но отец Олега останавливал ее:

— Я уже был там... И могу удостоверить: действительно блестящий музыкант! Зачем же надоедать?..

И бабушка, тяжело вздыхая, откладывала знакомство с «бывшим светилом».

К своему музыкальному инструменту Олег стал относиться гораздо бережней и нежнее. Футляр он держал закрытым, чтобы никто не трогал виолончель руками. Он не бросал инструмент где попало, а хранил его на особой полке, возле своей постели. И даже бабушке не разрешал к нему прикасаться.

— В этом коллективе он — как в оркестре! А там — один за всех и так далее... — радовалась Алевтина Степановна. — Разве частный педагог мог научить его такой аккуратности? Близо никого к виолончели не подпускает. Бережет.

Дорожит... На занятия спешит как на праздник! Искусство поглотило его целиком.

Бабушка, скромная женщина, заговорив о музыке, начала произносить такие высокопарные слова, которые в другое время ни за что бы не пришли ей на ум.

Олег занимался в музыкальном кружке даже по воскресеньям.

«ГРОБ С МУЗЫКОЙ» ИЛИ...

Брянцевы жили на первом этаже... Выйдя из парадного, Олег сразу направился к окну. Он знал, что бабушка непременно высунется на улицу с криком:

— Ох, я совсем забыла!..

В те полминуты, за которые Олег успевал дойти от дверей квартиры до окна, у бабушки в голове рождались самые срочные советы и наставления. Если же у нее ничего не рождалось, она просто напоминала о том, что в Москве бурное уличное движение, все шоферы летят как угорелые, и поэтому, переходя улицу, да еще с виолончелью в руках, надо быть бдительным. Нельзя ни о чем задумываться! Даже о музыке... Так было и сегодня.

Чтобы успокоить бабушку, Олег механически кивнул головой.

— У нас самый опасный перекресток! — не унималась она. — Вчера чуть было не задавили... Будь осторожен!

Бедная бабушка! Ей и в голову не приходило, что Олег вообще не дойдет до перекрестка, а, тайно оглянувшись и убедившись, что она уже скрылась в окне, свернет во двор.

По улице Олег шел не торопясь, рассеянной и задумчивой походкой, как подобает музыканту. А по двору он зашагал торопливо, сосредоточенно, как человек, имеющий срочное и абсолютно земное дело.

По-хозяйски оглядев на ходу старый деревянный столб и поблескивавший на солнце репродуктор, Олег скрылся за дверью черного хода.

По лестнице он поднимался не ощупью, не спотыкаясь на каждом шагу, как Лешка с приятелями, а уверенно и быстро: путь этот был хорошо известен Олегу. Кажется, даже чердачные кошки привыкли к нему и не путались под ногами. Лестница была узкая, и свой громоздкий черный

футляр Олег обхватил обеими руками, крепко прижав к груди.

Скрипнув дверь, обитой ржавым железом, Олег зашагал по чердаку так же уверенно, как и по лестнице. Вдруг чей-то незнакомый голос заставил его остановиться:

— Вася? Кругляшкин?.. Это ты?

— Кто тут? — отозвался Олег.

Вадик приподнялся на цыпочки и зашептал Лешке в самое ухо:

— Это же новенький... Я вижу «гроб с музыкой»!

— И что за глазищи у тебя! Как у кошки... — не то насмешливо, не то с завистью ответил Лешка и, отстранившись от Вадика, брезгливо вытер ухо рукавом курточки.

В этот момент новенький как раз подошел к членам ДОШа. Длинный Лешка сверху оглядел коренастую фигуру Олега и «гроб с музыкой», который тот все еще прижимал к груди. Казалось, он прикрывался черным щитом от возможного нападения...

Вид у Лешки и в самом деле предвещал конфликт. Он стал вполоборота, приподнял правое плечо, а голову втянул в плечи, как боксер, изготавившийся к бою. Худощавое лицо его напряглось, а глаза (это было видно и в сумраке) находились в состоянии поиска: чем бы уязвить новенького?

Олег же как ни в чем не бывало опустил свой черный футляр, подошел к двери и стал не спеша откручивать проволоку.

— Почему это на улице замолчал репродуктор? — начальственным тоном поинтересовался Лешка.

— Испортился, наверное, — не оборачиваясь, ответил Олег.

— Полчаса пошумел — и уже испортился?

Тихая Таня дернула Лешку за рукав:

— Ты же пришел в гости...

— Кто пришел в гости?! — шепотом вспылил Лешка. — Я?! Мы? Это он приехал к нам в гости из другого дома!

Лешка хотел добавить что-то еще, но встретился в чердачном полумраке со спокойно-насмешливым Таниным взглядом — и замолчал.

К счастью, Олег уже совсем раскрутил проволоку, заменив замок.

Тактичный и вежливый Фима спросил:

— Можно войти?

— Можно! — ответил Лешка, хотя Фима обращался совсем не к нему.

Все вошли в недостроенную комнату с чердачными балками вместо пола, мрачно нависшим чердачным сводом вместо потолка и с голыми кирпичными стенами.

На самодельном столе, напоминавшем длинный деревянный верстак, возвышался радиоусилитель. По его неказистой верхней «одежде», едва-едва прикрывавшей хитросплетения металлических внутренностей, можно было сразу сказать: усилитель самодельный. К нему прижался небольшой микрофон, рядом стоял электропроигрыватель, тоже самодельный, с пластинкой, застывшей на диске. Другие пластинки были горкой сложены в картонную коробку. Вытянув свою тонкую шейку, с любопытством выглядывал в окно электропаяльник. Кусками застывшей лавы валялась на столе канифоль.

Лешка, разинув рот, склонился над радиоусилителем. На него смотрели серебристые алюминиевые патроны конденсаторов, радиолампы; разноцветные патрончики «постоянных сопротивлений» с хвостиками проводов; круглые, словно из-под вазелина, коробочки «переменных сопротивлений»; катушки трансформаторов: хоть отматывай проволоку и шей что-нибудь металлом, если найдешь подходящую иголку.

Придя наконец в себя, Лешка спросил.

— Ну и что же здесь не в порядке?

— А ты посмотри... — ответил Олег. — Может, лампа бабахлит. Или трансформатор пробило...

Лешка авторитетно обследовал сверкавшие стеклом и серебром внутренности усилителя и укоризненно покачал головой:

— Как же это вы без инструментов живете? Один паяльник торчит — и всё... Тут без инструментов не обойдешься!

Добродушное лицо Олега не выразило ни замешательства, ни досады.

— Тебе инструменты? Пожалуйста!

Он наклонился и взвалил на верстак свой громоздкий черный футляр. Покопавшись в потайном брючном кармашке, он достал ключ и открыл необычной формы замочек (должно быть, собственной конструкции), запиравший футляр.

Олег откинул черную крышку — и Лешка замер от изум-

ления: в глубоком футляре были аккуратно разложены стамески, рубанок, напильники, плоскогубцы, мотки проволоки и даже баночки с гвоздями и шурупами.

— А где же эта самая... виолончель? — прошептал Лешка.

Его приятели на миг онемели.

— Что это у тебя там?.. — осмелел Вадик.

Олег остался невозмутимым. Он вынул плоскогубцы и спросил у Лешки:

— Нужны? А в общем, орудуй сам. Бери все, что нужно!

— Значит... это не «гроб с музыкой»? Это...

— Оригинальный музыкальный ящик с немзыкальными инструментами, — подсказал Олег.

Лешка слегка порозовел, с недоумением повертел в руках плоскогубцы, еще ниже склонился над усилителем, для чего-то приблизил к нему ухо и поставил твердый диагноз:

— Да, лампа виновата! И трансформатор тоже...

Олег молча подошел к усилителю, проверил адаптерные гнезда, затем включил электропроигрыватель — и двор внизу заполнился песней. Той, что часа полтора назад заставила Лешку вскочить с постели.

— Сам? Сам, что ли, выздоровел? — недоумевал Лешка.

— А чего ему выздоравливать? Он и так был здоров.

— Так, значит... значит, ты...

— Просто хотел узнать, как ты разбираешься в технике. Вот и всё.

— Меня? Проверять?! Как разбираюсь? Да уж не хуже тебя!

— Хуже, Алексей! Хуже, если на то пошло, — раздался сзади голос Васи Кругляшкина, говорившего как бы вразвалочку, по-воскресному.

И вид у Васи был самый что ни на есть воскресный. Полуботинки блестели так, что вполне могли бы соперничать с новенькими металлическими деталями радиоусилителя.

— Хорошо ты, Вася, всё это сделал! Оборудовал, так сказать! — Лешка обвел руками длинный деревянный верстак. По праву соседа он называл Васю на «ты».

Вася сдвинул на затылок кепку с коротким козырьком и покачал головой:

— Чужих заслуг присваивать не люблю. Помощником

был, не отказываюсь. А главный, если на то пошло, инициатор и исполнитель...

Олег демонстративно застучал молотком.

Чтобы переменить тему, Фима Трошин спросил:

— Кому, интересно, эта комната... раньше принадлежала?

— Сами не знаем, — ответил Олег. — И откуда она здесь, на чердаке?

— Я узнаю! Сегодня же узнаю! — воскликнул Лешка, которому не терпелось хоть в чем-то себя проявить.

— Не хвались! Откуда ты можешь узнать? — вполголоса одернула его Таня.

Но Лешка не хвалился: он действительно мог узнать.

«МАДАМ ЖЕРИ-ВНУЧКА»

До революции дом принадлежал акционерному обществу «Мадам Жери и дочь». Сама мадам давно удрала за границу. А дочь ее долго жила на третьем этаже, в квартире номер девять. И занимала в этой квартире всего-навсего одну комнату.

После «Жери-дочки» наследников не осталось, и в комнату ее въехала Калерия Гавриловна Клепальская. Лешка прозвал новую соседку «мадам Жери-внучка».

На двери девятой квартиры, возле звонка, висела табличка, на которой черной тушью было выведено: «Уткиным — 1 звонок, Кругляшкину — 2 звонка». А где-то в стороне зловеще поблескивала маленькая черная кнопочка, и рядом, под целлофановым ограждением, — категоричный наказ: «Только Клепальской!»

На всех жильцов девятой квартиры приходился один облезлый металлический ящик с дырочками — «Для писем и газет». «Мадам Жери-внучка» отдельного ящика не заводила по той причине, что газет она не выписывала и писем ни от кого не получала.

Несколько месяцев в своей жизни Калерия Гавриловна была на «воспитательной работе» — она собрала небольшую дошкольную группу и гуляла с ней по бульвару, обучая малышей французскому языку и хорошим манерам. Когда ребята хорошими манерами уже вполне овладели, они забросали свою воспитательницу снежками — и группа была

распущена. Калерия Гавриловна перешла на работу «в искусство»: стала продавать театральные билеты. Всех знаменитых артистов она называла теперь по именам, как своих старых знакомых. Она точно знала, у кого из них какой характер и какая семья.

По вечерам она вела долгие разговоры по телефону со своими подругами из других театральных касс:

— А что, если я попрошу у вас «Спящую красавицу» взамен «Пиковой дамы»? Я обещала одной своей приятельнице «Лебединое озеро», а достала только «Бахчисарайский фонтан»...

Однажды Калерия Гавриловна принесла Лешке билет на премьеру в Театр юного зрителя. И если с той поры он когда-нибудь отказывался выполнять ее просьбы (сбегать в магазин или вынести мусорное ведро), «мадам Жери-внучка» восклицала:

— И это благодарность за те культурные удовольствия, которые я тебе доставила?!

В наследство от бывшей домовладелицы Калерии Гавриловне досталась разбухшая от времени книга в кожаном переплете, пахнувшая сыростью и стариной. Лешка знал, что это — дневник «старшей мадам», в котором было подробно рассказано обо всех деловых операциях акционерного общества.

В последнее время дневник подпирал кухонный стол «мадам Жери-внучки», пострадавший во время недавнего перемещения из дальнего угла к окну. Калерия Гавриловна в результате напряженных переговоров и прямых агрессивных действий захватила самое удобное место на кухне.

— Я въехала в квартиру позже всех. Я, можно сказать, ваша гостя! — заявила она. — И вы должны идти мне навстречу!

* * *

Лешка вбежал на кухню, когда там уже никого не было: покончив с воскресным обедом, жильцы отдыхали или пошли подышать свежим воздухом.

Лешка присел на корточки и стал вытаскивать из-под стола старинную книгу. Посуда, прикрытая кухонным полотенцем, со зловещим звоном поползла вниз. Лешка еле успел

удержать ее. Тогда он, недолго думая, переместил горку тарелок и блюдец прямо на пол...

«Дневник мадам Жери-старшей» — было написано на первой странице. А ниже, в скобках, добавлено: «Жериковой».

Как просто, оказывается, звучала настоящая, не сокращенная на иностранный манер фамилия бывшей домовладелицы!

В дневнике мадам Жери-старшая писала лишь о делах: с кого надо получить, кому «накинуть» квартплату и каким способом из одной обыкновенной комнаты сделать две...

На странице семьдесят седьмой Лешка остановился. Там было написано: «И как же это я, дура старая, промахнулась. Чердак-то стоит пустешенек! Надо бы и там понаделать комнат...»

Но даже одной комнаты мадам не успела закончить: осталась кирпичная коробка. Так вот, значит, откуда она!.. Сейчас Лешка помчится во двор и всем докажет, что он вовсе не хвалился, как думает Тихая Таня, что он и в самом деле узнал историю таинственной комнаты на чердаке...

— Что?! Блюдца на полу? Сервиз на полу? Среди грязи... Среди микробов! — раздался крик сзади.

Лешка обернулся и увидел Калерию Гавриловну.

— Ты что здесь делаешь? Что?!

— Я... читаю...

— Библиотека на полу! Как ты посмел тронуть мою посуду?

— Хотел починить ваш стол! Вот и осматриваю! — выпалил Лешка.

— А книгу зачем взял? — с недоверием поинтересовалась Калерия Гавриловна.

— Книгу?.. Она мешала мне столик осматривать. Ну и почитал заодно. И такое я вычитал! Вот послушайте, Калерия Гавриловна: «Чердак-то стоит пустешенек! Надо бы и там понаделать комнат...» На чердак хотела людей загнать! И одну комнату построила даже. То есть почти построила...

— Да уж, о н и умели вести хозяйство! — вздохнула Клепальская. — А теперь эта комната небось пустая стоит?

Глаза Калерии Гавриловны вспыхнули от внезапной идеи. Но Лешка их потушил:

— Нет, не пустая! Там будет радиостудия. И мы будем каждый день передачи устраивать. Как сегодня утром...

Слыхали? Настоящие передачи, а не просто пластинки крутить...

— Как сегодня?! — От этой вести Калерия Гавриловна слегка качнулась. — Ну уж простите! Я слушать не стану. Сразу же выключать буду...

— Для этого придется залезать во-он на тот столбик! Вы по деревьям лазить умеете?

Калерия Гавриловна выглянула во двор и смерила глазами покосившийся столб с репродуктором, похожим на серебристый колокол, повернутый круглым «жерлом» к окну.

Глаза «мадам Жери-внучки» сузились, предвещая грозу. Лешка поспешил вернуться к кухонному столу:

— Мы его починим! Вот увидите! И не какие-нибудь протезы, а настоящие новые ножки поставим...

— Кто это... мы?

Лешка не ответил. Но он имел в виду «виолончелиста» Олега.

ГОВОРIT СЕДЬМОЙ ЭТАЖ!

Захлебываясь, Лешка рассказывал друзьям историю, в которую, кажется, сам искренне верил:

— Положение было трудное: на кухне все время взрослые. Да и вполне естественно: воскресенье! Долго я ждал подходящего момента, и вот наконец все ушли... Но надолго ли? Неизвестно! В моем распоряжении были минуты... Но я рискнул. Подошел к столу «мадам Жери-внучки» и вытащил из-под него книгу. Чуть прямо не надорвался. Стол тяжеленный: посуда, мясорубка, кастрюли... Только я, значит, вытащил, стол наклонился — и вся посуда зазвенела, поехала вниз. Одной рукой придерживаю посуду, а другой книгу листаю... Чует мое сердце, что где-то здесь должно быть написано про чердак! А почерк — ужасный, ни одного слова не разберешь. Вполне понятно: домовладелица! Нарочно так писала, чтобы простые люди разобрать не могли... Но вот нахожу нужную запись! И тут... возникает Клепальская! Как она закричит! Как в обморок кувырнется!.. Я одной рукой посуду придерживаю, другой ее обмахиваю, в чувство привожу, а глазами продолжаю по строчкам шнырять. И до конца дочитал! Узнал историю этой таинственной комнаты! «Жери-внучка» скандалит...

— Она же в обморок кувырнулась? — подала голос Тихая Таня.

— Сперва упала, а потом... поднялась. Пришла в себя! И как закричит: «Что ты с моим столом делаешь?» Меня осенило... «Помочь вам хочу. Столик осматриваю... Мы его починить собираемся». В общем, историю этой комнаты выяснил. Буквально с риском для жизни!

Шофер Вася еще до Лешкиного прихода сказал, что надо «навсегда покончить с мрачной обстановкой на чердаке» и превратить черный ход в «светлый». Сам Вася Кругляшкин отправился домой за электропроводкой. А Фима Трошин обещал достать лампочки — отец его работал электромонтером.

— Он мне всё даст! — сказал Фима.

— Ну да, потому что виноват: напился опять! Я сам видел! — затараторил Вадик.

Фима вплотную подошел к нему:

— Не твое дело, понял?

— Я ведь просто так... Мне тебя жалко, — пролепетал Вадик, которому щуплый Фима вдруг показался широкоплечим.

— Я в твоей жалости не нуждаюсь... Сплетник! — не спеша выговаривая каждое слово, произнес Фима. И пошел вниз за лампочками.

Все это произошло минут пятнадцать назад... Сейчас на чердаке были четверо: Лешка, Олег, Тихая Таня и Вадик.

— Я такое дело придумал! — таинственно произнес Лешка. — Держитесь за балки, а то упадете. Свою радиостудию откроем! Здесь, на чердаке...

— Здорово, а? Только Лешка мог... Это вам не пластинки запускать! — льстиво отреагировал Вадик.

— Стоящее дело, — сказал Олег. — Каждый день радиопередачи?

— Каждый день! — Лешка забежал по чердаку. — И всё по-настоящему... Как на взрослом радио! Там «Последние известия» — и у нас «Последние известия», там лекции — и у нас лекции, там отвечают на вопросы радиослушателей — и мы будем отвечать!

— Так уж копировать не обязательно, — возразил Олег.

— А мы будем кое-что менять, по-своему делать. Ну вот, к примеру, там «Последние известия», а у нас «Самые последние...», там «В последний час», а у нас — «В последнюю секунду». Или вот... Бывают такие передачи: «Для вас, сту-

денты!», «Для вас, молодежь!», «Для вас, пионеры!» А у нас в доме много пенсионеров живет...

— Моя бабушка пенсионерка, — подтвердил Олег.

— Вот мы и устроим свою передачу. Там, значит, «Для вас, пионеры!», а у нас будет «Для вас, пенсионеры!»

— Мне кажется, хорошо бы устроить «Беседы с родителями», — предложила Тихая Таня. — А то они нас каждый день воспитывают, а мы их...

— Хорошо! Обдумаем! — руководящим тоном произнес Лешка. — Еще какие есть предложения?

— Я вот что думаю... — задумчиво, как бы советуясь сам с собой, произнес Олег. — Мы ведь и высмеивать всякие недостатки имеем право. Будут у нас, к примеру, почти в каждой квартире свои корреспонденты... И пусть обо всем сообщают! Что хорошо — хвалить будем, а что плохо...

— Высмеивать! — подхватил Лешка. — Выжигать, как пишут в газетах, «огнем сатиры»! Разные отсталые элементы перевоспитывать будем. Нашу «мадам Жери-внучку»! Или Фимкиного отца...

— Ти-ише! — Вадик прижал палец к губам и огляделся по сторонам. — Тут без тебя такое было! Фимка этого не любит... Защищает отца!

— Приятельские отношения! — воскликнул Лешка. — Как он может защищать пережитки? А мы его и не спросим даже. Перевоспитаем папочку — сам же потом в ножки поклонится! Та-ак...

— Я хочу поддержать Олега... насчет корреспондентов, — сказала Тихая Таня.

— Конечно! — подхватил Лешка. — Я уже давно об этом подумал: радиопосты, так сказать. Я буду в девятой квартире, Вадик — в тридцать шестой, ты — в тринадцатой.

— А Олег? — спросила Таня.

— Олег?.. Что ты о нем так беспокоишься? И он будет. У себя дома, в семнадцатой. Ох и бояться нас станут! Чуть что — пожалуйста в эфирчик!

Лешка потер руки от удовольствия.

— Зачем... чтобы боялись? — Олег наклонил свою круглую белесую голову.

— Я не в том смысле! Нас плохие люди будут бояться. А для хороших мы будем друзья и помощники!

Олег снова опустил голову: он не любил громких слов. Когда шофер Вася и Фима Трошин, нагруженные электро-

проводами и лампочками, вернулись на чердак, судьбы ближайших передач были уже решены. Оставалось только распределить обязанности.

Но это оказалось не так легко: Лешка хотел захватить все должности и посты. Сперва ему очень захотелось быть диктором. Он ясно представлял себе, как весь двор и весь дом слушают его голос. И жильцы думают: «А кто бы это мог быть?» Даже родная мама не сразу узнает его... И вдруг он провозгласит: «Вел передачу Алексей Уткин!»

Лешка уже было выхлопотал себе звание «главного диктора», но тут, как всегда неожиданно, в разговор вмешалась Тихая Таня:

— Ты не можешь быть диктором: у тебя голос ломается. Ты часто, я заметила, пускаешь петуха...

— Что-о? Какого петуха?!

— Пожалуйста, не кричи... У всех мальчишек в твоём возрасте ломается голос. И никто из вас не может быть диктором.

— А у девчонок не ломается?

— Нет.

— Значит, главным диктором будешь ты?

— «Главным» я не хочу. А просто дикторшей могу быть. И ещё пусть Петя Блошкин, из первой квартиры...

— А Петька почему? У него что, голос уже поломался?

— У него голос поставлен. Понял?

— Куда поставлен? Как это голос может быть «поставлен»?

— Ну, это значит... он владеть им умеет. Потому что давно поет в хоре.

Вадик заспешил Лешке на помощь:

— Петя не может быть диктором: у него фамилия некрасивая — Блошкин. Смеяться будут!

— Не фамилия украшает, — произнесла Таня. — Вот у тебя, например, фамилия — первый сорт: Вербицкий! А посмотреть на тебя, так...

— Не обо мне разговор! — взвизгнул Вадик. — А Петя пусть другую фамилию придумает! Пусть подберет себе... этот самый...

— Псевдоним, — подсказал Олег.

— Вот-вот! Чтоб не смеялись.

— Ладно! Хватит! — навел порядок Лешка. — Пусть будет Блошкин со своим «поставленным голосом»! Пусть. А кем же тогда буду я? — Лешка задумчиво по-

ходил по чердаку.— Хорошо... Я буду главным по «Самым последним известиям». И корреспонденты будут мне подчиняться.

«Мировая должность! — решил про себя Лешка.— Все, что делается в квартирах, буду узнавать первым!»

— И еще я возглавлю... «Беседы с родителями»!

«Все, что не смогу сказать маме и папе в глаза, буду говорить по радио. В замаскированном виде!..— сам с собой рассуждал Лешка.— Тут уж им, хочешь не хочешь, а придется послушать!»

— С родителями пусть Олег беседует,— возразила Тихая Таня.— И Лева Груздев из двадцать девятой квартиры. Они более рассудительные. И тактичные...

Олег замотал головой:

— Я буду следить, чтобы что-нибудь не испортилось. За усилителем, за динамиком... А то какие же получатся передачи, если техника вдруг откажет?

Вася Кругляшкин поддержал его. И «беседовать с родителями» было поручено Лева Груздеву — лучшему шахматисту в доме.

— Тогда я буду отвечать за «Нокаут в эфире»,— заявил Лешка.

— Это что же — спортивный раздел? — поинтересовался Вася Кругляшкин.

— Нокаут — в переносном смысле,— пояснил Лешка.— Мы такой критический отдел заведем. А то всякие эти «Смех сквозь слезы», «За ушко да на солнышко» и прочие «Вилы в бок» уже надоели. Пусть будет свое название. Оригинальное!

«Кого захочу, того и продерну,— про себя думал Лешка.— Все будут бояться меня. Трепетать!»

Но Таня и здесь подала тихий голос:

— Туда нужно Фиму назначить: он — самый добрый. И никого нокаутировать зря не станет.

— А я что же? — воскликнул Лешка.— Нет уж... буду ответственным за «Нокаут»!

Слова «главный» и «ответственный» были любимыми Лешкиными словами.

Неторопливо складывая инструменты в свой музыкальный футляр, Олег обратился к Лешке:

— Хочешь, мы тебя просто главным назначим? Ну, самым главным и самым ответственным? Над всеми! —

Олег взглядом остановил Таню, которая уже хотела ринуться вперед с возражениями.

И тут произошло чудо: Тихая Таня подчинилась немому знаку и промолчала.

— Самым главным?.. — на миг растерялся Лешка. — Я не знаю... Как другие думают по этому поводу?

— А мы что? Мы согласны! — поспешил Вадик, преданно заглядывая Лешке в глаза. И шепотом добавил: — А я кем буду?

— Ты? — важно переспросил Лешка, уже входя в роль «самого ответственного». — Ты будешь главным наблюдателем, поскольку у тебя глаза особенные — всё видят! А отдел твой так и назовем: «Своими собственными глазами». Не плохо, а?..

Все согласились, что это неплохо.

На чердаке пробыли до самого вечера. Вниз спускались, не спотыкаясь, не наступая на кошек: всюду ввинтили лампы.

Олег шел последним, бережно прижимая к груди громоздкий черный футляр.

— Дома небось скажешь, что целый концерт для виолончели с оркестром разучил? — негромко спросил у Олега шофер Вася. — С утра до вечера пропадал.

— Уж придется...

— Врать-то не надоело?

— Ох, надоело! Но выхода не найду. Бабушку жалко.

— Поискать надо!..

Тихая Таня замедлила шаги, дождалась Олега и все же поинтересовалась:

— Зачем мы Лешку «ответственным» выбрали?

— Так просто... Раз ему хочется, пусть попробует. Может, на пользу пойдет?

— О чем вы тут? — голосом «самого главного» спросил Лешка. Ему не ответили. — Слушай, Олег, загляни попозже в нашу квартиру: надо Клепальской стол починить. Я обещал.

— Обещал? И почини! — вмешалась Тихая Таня. — Или ты теперь только распоряжаться намерен?

— Ну почему? Мне нетрудно, — сказал Олег.

Все разошлись по своим подъездам.

Лешка и шофер Вася медленно поднимались к девятой квартире, на третий этаж.

— Помогал ты Олегу репродуктор устанавливать, усилитель монтировать и вообще... — сказал Лешка. — А мне — ни слова! Сосед называется...

— Тебя хотел проучить.

— За что?

— ДОШ ты свой организовал. Я думал, хорошее дело, а оказалось ДОШлое... Бегали, за сарай прятались, таинственные физиономии корчили. И кричали: «Домовой штаб — хозяин двора! Хозяин двора!» Я и решил помочь Олегу, чтобы вам доказать: доброе дело суеты и треска не требует. Понял, если уж на то пошло?..

Они стояли возле своей квартиры. Лешка не знал, что ответить.

— А название-то для радиостанции мы не придумали! — вспомнил Лешка, возвращаясь к своей новой «должности». И почесал затылок. — По-моему, хорошо так: «Говорит чердак!» Ведь с чердака все началось?

Вася Кругляшкин потерябил свою кепку с коротким козырьком.

— Чердак?.. Слово какое-то некрасивое. Давай лучше — «Говорит седьмой этаж!». Ведь это седьмой получается, раз над шестым расположен...

— Я так и думал! — воскликнул Лешка. — Так и хотел: «Говорит седьмой этаж!»

— Давай сейчас, на лестнице, примем историческое решение, — предложил Вася.

— Какое?

— ДОШ «самоликвидируется», а радиостанция остается!

— Надо посоветоваться, — промямлил Лешка. — Хотя бы вот с Тихой Таней.

— Она согласна. У тебя, правда, останется всего одна должность вместо двух.

— Дело не в этом.

— И в этом, Лешка. Сознайся, если уж на то пошло. Тебе ведь важно, чтобы не штаб существовал... а руководитель штаба. Мне-то сознайся!

«КАК У ВЗРОСЛЫХ!..»

— Я выброшусь в окно! — заявила на кухне Калерия Гавриловна Клепальская. И поплотней закрыла форточку: она боялась сквозняка. — Он выживает меня при помощи звуков!..

Это относилось к Лешке, который не выключал радио ни утром, ни днем, ни вечером. Он буквально прирос к буфету, на котором стоял коричневый ящик с узкими прорезями. Приемник был включен на полную мощность, потому что Лешка боялся чего-нибудь не расслышать.

Для того чтобы поговорить, мама и папа теперь уходили на кухню.

Лешка не просто слушал радио — он даже записывал те фразы, которые повторялись особенно часто. В тетради, на обложке которой было написано «Говорит седьмой этаж!», появились такие записи: «Наш корреспондент сообщает... Сегодня наш корреспондент побывал... У нас в гостях находится... Сейчас в нашей студии... Слушайте беседу нашего международного обозревателя... Пойте вместе с нами!..» и тому подобное.

Лешка мог теперь разговаривать только на одну тему. Олег сперва деликатно выслушивал его, а потом даже он стал отмахиваться.

Только Вадик покорно внимал своему повелителю.

— Понимаешь, — который уж раз втолковывал Лешка. — У нас все должно быть по-настоящему! Как у взрослых... Хорошо бы и нам про кого-нибудь сказать: «У нас в гостях находится!..» А? Как ты считаешь?

— Да кто же потащится в гости на чердак? — усомнился Вадик.

— Чепуха! Ничего ты не понимаешь. Для начала мы будем приглашать в гости друг друга: ты пригласишь меня, а я приглашу тебя. Ну, а потом, может, и кто-нибудь из взрослых заявится. Вполне возможная вещь... И еще хорошо бы завести передачу «Пойте вместе с нами!».

— Да кто же с нами захочет петь? У нас голоса... это самое... ломаются.

— Во-первых, не слушай Таню. Нашел авторитет! — Лешка опасливо оглянулся. Но Тани не было. — А во-вторых, я Петю Блошкина заставляю! Он же в хоре поет, у него голос поставлен. — В запале Лешка сам процитировал Тихую

Таню.— Прикажу и будет петь. Я же теперь о т в е т с т в е н н ы й. А прикажу — и станцует!

— Ну, этого по радио не увидишь. Это уж лучше по телевизору показывать,— осмелился возразить Вадик.

Лешка поморщил лоб и, как бы по секрету, сказал:

— А что? Может, еще и телевидение свое устроим.

Однажды вечером Вася Кругляшкин разыскал Лешку в ванной комнате:

— Моешься? Ну ладно, не вылезай... Тут школьный приятель звонит, о здоровье твоём спрашивается.

Если бы Лешка был не в ванне, а, допустим, в реке, он бы нырнул под воду.

— Заболел ты, что ли? — спросил Вася.

— Ну да, заболел! — наполовину вылезая из ванны и оглядываясь по сторонам, будто кто-то мог услышать его, сказал Лешка.— Заболел... Радиостанцией нашей я заболел! Никому ведь, кроме меня, дела нет. А я... за все отвечай! Вот и пропустил два дня. Я взрослое радио слушал. Опыт, что ли, перенимал! Ведь такое дело у нас в доме первый раз... за всю историю. А в школу я уж пять с половиной лет каждый день хожу! И почти столько же еще ходить буду. У нас, понимаешь, все по-настоящему должно быть, по-взрослому!..

— А получается как-то по-детски. Намылить тебе шею, а?

Вася Кругляшкин покинул ванную комнату. А Лешка растерянно потрогал свою шею, которая и без того уж была намылена.

В ПОСЛЕДНЮЮ СЕКУНДУ!

Внимание! Внимание!

В последнюю секунду!..

Ровно секунду назад произошло огромное событие в истории дома номер семь дробь три: начала работать радиостанция «Говорит седьмой этаж!».

Дорогие товарищи жильцы! Теперь каждый день, ровно в двадцать часов ноль-ноль минут по местному времени, вы будете слушать наши радиопередачи.

Слушать их вам придется обязательно, потому что в каждой передаче может быть что-нибудь сказано о вас, о ваших детях или других ближайших родственниках, а также о квартире,

в которой вы проживаете. И представьте себе: если вы не услышите передачу сами, вам придется потом бегать по всему дому и узнавать: что сказали и как сказали? А другие жильцы могут что-нибудь перепутать — и тогда вы будете долго волноваться, переживать.

Так что уж лучше не пропускайте наших передач! Вот и всё. Передача «В последнюю секунду!» окончена. Вел передачу ПетяBloшкин.

А теперь слушайте...

У НАС В ГОСТЯХ НАХОДИТСЯ...

По распоряжению Лешки первым в гости к микрофону был приглашен он сам. Диктор ПетяBloшкин вел беседу точно по тексту, который Лешка сочинил накануне. Перед Петей лежали вопросы, а перед Лешкой — ответы.

— Сегодня у нас в гостях находится всем вам хорошо известный Леша Уткин из квартиры номер девять,— подражая интонациям настоящих дикторов, начал Петя.— Здравствуйте, товарищ Леша Уткин!

— Добрый вечер,— ответил Лешка.

— Согласны ли вы, товарищ Леша Уткин, ответить на некоторые вопросы, которые нас волнуют?

— Согласен.

— Большое вам спасибо! Мы слышали, что по вашей личной инициативе во дворе был организован «Домовой штаб». Правда ли это?

— Да, это правда. По моей инициативе.

— Еще мы знаем, что вы — самый главный и ответственный за все радиопередачи.

— Да, это верно. Меня выбрали ответственным.— И, немного подумав, Лешка добавил одну фразу к заранее подготовленным ответам: — Меня выбрали единогласно!..

— А не поделитесь ли вы с нами, товарищ Леша Уткин, своими мыслями?

— Что ж, поделюсь. В ближайшее время я собираюсь...

Но что именно собирается делать Лешка в ближайшее время, жильцы дома так и не узнали, потому что в репродукторе раздался запыхавшийся голос Тихой Тани:

— Всё по твоей инициативе, да? Прославляешь себя? И ты, Петечка, тоже хорош: читаешь по бумажке, как попугай! А если бы я не пришла?..

— Тише ты!.. Тише! — на весь двор прошептал Лешка.— Петя, оттащи ее от микрофона!

— Что?! Я сейчас такое скажу...

Петя Блошкин наконец овладел собой и невозмутимым дикторским голосом сообщил:

— Передача «У нас в гостях!» по техническим причинам отменяется.

САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ!

Дорогие товарищи жильцы! Если у вас что-нибудь поломалось — ну, там ножка от стола отлетела или утюг перегорел,— не огорчайтесь: мы решили организовать во дворе мастерскую!

Надеемся, что у каждого жильца в скором времени что-нибудь сломается — и тогда мы придем вам на помощь!

Название у мастерской уже есть — «Что сломалось — всё починим!», а помещения у нее пока еще нет. Но это ничего! Мы решили открыть мастерскую в старом деревянном сарае. Про этот сарай наш местный поэт сочинил такие стихи:

Идет по городу молва:
Стоит сарай,
А в нем — дрова!
Не только малые детишки —
Все люди смотрят с удивленьем:
Кому,
Зачем нужны дровишки
В домах с центральным отопленьем?!

Наш специальный корреспондент из квартиры номер девять сообщает, что дровишки эти привезла с собой из старого дома Калерия Гавриловна Клепальская. Там, в старом доме, не было центрального отопления, и дрова согревали Калерию Гавриловну, а здесь, у нас, они «не светят и не греют». Но Калерия Гавриловна привыкла к своим дровам, и ей грустно с ними расставаться. Один наш специальный корреспондент

пролез в сарай со стороны крыши и точно выяснил, что дрова эти давно уже сгнили.

Мы уверены, что Калерия Гавриловна станет, наконец, сознательной и выбросит свои гнилые дрова. Тогда уж мы не станем лазить в сарай через крышу, а войдем туда просто через дверь и откроем свою мастерскую! Тем более, что, как сообщает другой корреспондент, кухонный столик Калерии Гавриловны совсем разваливается. И мы его в благодарность починим вне очереди!

ПЕРЕДАЕМ ОБЪЯВЛЕНИЯ!

Внимание! Внимание!

Сегодня мы начинаем собирать инструменты для новой мастерской. Пункт сбора — квартира номер семнадцать. Сдавайте их прямо в окно, после трех часов дня, Олегу Брянцеву. В дверь не звоните и не стучите, чтоб не тревожить соседей. Если в окно случайно высунется бабушка, не убегайте: она только с виду сердитая.

Несите напильники, стамески, рубанки, тиски, электропаяльники и вообще всё, что может пригодиться. И даже то, что, по вашему мнению, не может пригодиться, тоже несите: на месте посмотрим! Если инструменты испорчены, не беда: мы их починим. Но если они новые, это все-таки лучше!

Спешите! Фамилии жильцов, которые сдадут инструменты в первые три дня, будут объявлены по радио. Представляете себе, как приятно будет послушать вам самим и всем вашим родственникам!

Теперь слушайте, юные жильцы нашего дома! «Домовой штаб» просит вас в течение трех дней составить точные списки всех самых интересных книг, которые есть в ваших личных библиотеках. Не бойтесь, пожалуйста: никто не думает их отбирать. Просто мы хотим устроить «великий книгообмен». Что это такое? А вот послушайте! К примеру, у юного гражданина Икс есть книга «Таинственный остров», он давно ее прочитал и хочет прочитать книгу «Остров сокровищ», которую имеет в своем шкафу юный жилец Игрек, интересующийся как раз первым из названных только что «островов». Тут-то и происходит временный «книгообмен». В результате Игрек получает один «остров», а Икс второй — со всеми его «сокровищами». И так далее... В общем, это понятно.

Книги лежат себе на полках, пылятся и скучают без дела... А тут они будут все время в ходу!

Только предупреждаем: всякий, кто будет рвать обложки или книжку вместо скатерти под тарелку с супом подкладывать или вообще «зачитает» ее — сразу попадет в страшную радиопередачу, которая будет называться «Нокаут в эфире».

— Ну, «страшная» — это чересчур. Читаю механически... — сама себя поправила Тихая Таня.

— Зачем же ты... в микрофон? — слышался Лешкин шепот. — Дискредитируешь передачу!

Таня выключила микрофон и ответила:

— Лучше редактируй свои тексты! Я еще от себя несколько слов добавлю...

— Каких?!

— Сообщу, что открыть мастерскую не мы придумали, а лично Олег.

Она включила микрофон, на весь двор сообщила об этом... И завершила «по тексту», сочиненному Лешкой:

— Вот и все, что мы хотим сообщить. Вела передачу Таня Крутилина.

СНОВА... «У НАС В ГОСТЯХ!»

— Начинаем очередную передачу «У нас в гостях!». Сегодня у нас в гостях находится дворник дядя Семен.

— Мне по гостям ходить некогда, — раздался хриплый бас дяди Семена. — Я по делу на чердак зашел.

— Простите, дядя Семен, вы хотите сказать «на бывший чердак»? И вообще мы хотим предупредить, что вас сейчас слушают очень многие люди, — нежно, тоном гостеприимного хозяина пытался ублажить дворника диктор Петя Блошкин.

— Чердак — он и есть чердак! Неизвестно еще, как пожарная охрана про все это выскажется. Захватили кладовку самовольно и устроили неизвестно что!

— Вы хотите сказать, что мы организовали радиостудию «Говорит седьмой этаж!»? — отчаянно старался наладить беседу Петя.

— В домовое книге шесть этажей значится. И всё тут! — не сдавался дядя Семен.

— Продолжаем нашу дружескую беседу,— сообщил радиослушателям Петя Блошкин.— Может быть, вы, дядя Семен, недовольны юными жильцами нашего дома? Расскажите, пожалуйста, радиослушателям, чем именно вы недовольны!

— А всем недоволен! Во дворе вы много торчите — вот что. Сидели бы по домам, уроки бы готовили — вот и был бы порядок.

— Ну, дядя Семен, если никто не будет во двор выходить,— начал терять самообладание Петя,— так это уж будет не двор... А как бы сказать... заповедник. Или запретная зона!

— Больно умные стали,— мрачно ответил дядя Семен.

— А мы бы хотели наладить с вами...

— Не трожь кишку! Поливальную кишку не трожь! — закричал репродуктор на столбе. И в ту же секунду радиослушатели увидели дядю Семена, высунувшегося из полукруглого чердачного окна. Он свирепо грозил пареньку, который там, внизу, окатывал девчонок холодной струей.

Потом дворник скрылся. А передача «У нас в гостях!» продолжалась.

— Знаете ли вы, дядя Семен, что мы недавно у вас, в домоуправлении, прочитали очень интересную книгу,— вступила в беседу Тихая Таня.

— Нашли место! В библиотеку бы записались...

— Такой книги ни в одной библиотеке нет. Она знаете как называется?

Дядя Семен молчал.

— «Домовая книга»! Это не та, конечно, которую мадам Жери вела, а наша, новая. И вот из нее мы узнали, что в нашем доме проживают, оказывается, три маляра, два штукатура, два каменщика и еще много других мастеров, которые на стройках работают. Вот бы с их помощью ремонт сделать! А, дядя Семен?!

— Вы бы лучше за собой последили! Все стены в подъездах своими именами исписали и другими всякими неприличностями...

— Это мы замажем белилами,— раздался голос Олега Брянцева.— И стены покрасим! И вообще будем участвовать...

— Чтобы удобнее по чистому писать было?! Места, что ли, уже не осталось?

— Дружеская беседа с дворником дядей Семеном закончена,— провозгласил Петя Блошкин.

ЗАГЛЯНЕМ В КВАРТИРЫ!

Наш специальный корреспондент из квартиры номер десять передает, что вчера утром юная жилищка Валя Пузырева залезла в ванну и просидела там ровно один час тридцать четыре минуты. Валя учится во второй смене, и ей некуда было спешить. А Валины соседи ушли неумытые.

Сперва соседи деликатно просили Валю выйти, потом они стали стучать в дверь, но Валя не отвечала. Тогда заволновались... Думали даже, что Валя утонула — тем более, что она не умеет плавать. Стали дергать дверь и даже пытались сорвать ее с петель.

Валя подала голос и заявила:

— Я первая заняла ванну — и имею право в ней сидеть сколько хочу!

Всем давно известно, что в ванне не сидят, а моются. Жильцы пытались объяснить это Вале, но долго они объяснять не могли, потому что опаздывали на работу.

Позже, в беседе с нашим корреспондентом, Валя заявила, что она дочитывала в ванне одну увлекательную книжку.

Говорят, что сегодня Валя достала толстый роман. Бедные жильцы квартиры номер десять: им придется идти в баню!

...Наш международный обозреватель передает из квартиры номер пять. Вчера, ровно в два часа дня, из школы сюда прибыл Стасик Гаврилов. В коридоре прибывшего Стасика встречали его мама, бабушка и младшая сестренка Рита. Стасик передал им свое пальто, шапку и портфель, а никаких дружеских приветствий — в виде, например, слов «здравствуйте» или «спасибо» — не передал.

В честь почетного гостя был дан обед, во время которого Стасик ни с кем не обменялся речами и даже ни одного слова не произнес, а только дипломатическими кивками головы давал понять, чтобы ему принесли первое блюдо, потом — второе, а потом уж — и третье.

После обеда, прошедшего в напряженной обстановке, Стасик несколько раз неясными движениями губ давал понять, что ему что-то не нравится. Но что именно ему не нравилось, так никто и не понял.

После обеда почетный гость отправился в приготовленные для него покои, то есть на диван, и проспал около полутора часов.

В это время мама и старая бабушка натирали пол, а младшая сестренка Рита на кухне мыла посуду.

Поднявшись наконец с дивана, почетный гость отправился на экскурсию во двор в сопровождении своих приятелей из других квартир.

Вечером в честь почетного гостя был устроен просмотр телевизионной программы. Вместе с ним в первом ряду находилась его младшая сестренка Рита, которой давно уже пора было спать. Но спать она не могла, потому что высокий гость не разрешал выключать телевизор до тех пор, пока не кончились все передачи и дикторша не пожелала спокойной ночи.

Уроки высокий гость в этот день не готовил. В личной беседе с нашим корреспондентом он заявил, что у него нет ни одной тройки. Это верно: ни одной тройки у него действительно нет, зато есть три двойки.

В беседе с нашим корреспондентом бабушка Стасика ничего не сказала, а только тяжело вздохнула. И мама ничего не сказала, но тоже вздохнула. А младшая сестренка, десятилетняя Рита, сказала, что «это не брат, а какой-то заморский барин!». Еще она обозвала своего брата «наследным принцем». Устами младенца, как известно, глаголет истина!

...Наш специальный корреспондент из квартиры номер двадцать три передает, что сегодня днем юная жиличка этой квартиры Зиночка Перепелкина установила новый рекорд продолжительности телефонного разговора: она не вешала трубку в течение восьмидесяти девяти минут, хотя все остальные жильцы чуть было не повесились!

Надо сказать, что прежний рекорд продолжительности телефонного разговора (семьдесят две минуты!) также принадлежит Зинаиде Перепелкиной.

В беседе с нашим корреспондентом Зиночка заявила, что свое вчерашнее спортивное достижение она не считает пределом.

Мы не хотим соперничать с Зиной по части продолжительности разговоров и поэтому заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу.

До завтра!..

Ровно в двадцать часов ноль-ноль минут по местному времени ждем вас на подоконниках, а также на скамейках во дворе, возле деревянного столба.

До свидания!

БЕСЕДУЕМ С РОДИТЕЛЯМИ!..

Дорогие родители! Мы теперь часто будем беседовать с вами. И вы даже не сможете нас перебивать, чтобы сделать какое-нибудь замечание. Мы будем помогать вам воспитывать нас и бороться с нашими недостатками, которые известны нам лучше, чем вам. Простите, пожалуйста! Вот сегодня мы расскажем вам одну историю, в которой ничего не выдуманно. Эту историю сообщила нам одна наша специальная корреспондентка. По вполне понятным причинам имени ее мы называть не будем. Из этой истории вы узнаете, как... Но лучше расскажем всё по порядку.

...Наступил май, и квартира сразу опустела. Уехала с мужем на курорт соседка, очень нервная, которая всегда жаловалась, что наша нынешняя специальная корреспондентка, которой тогда было всего девять лет, вертится под ногами (а она никогда и не вертелась!).

— Ну, теперь ты полная хозяйка в квартире,— сказала мама.— Довольна?

Но будущая специальная корреспондентка не была довольна. Наоборот, она была очень и очень огорчена. Сперва мама не догадывалась, в чем дело, а потом поняла: она боялась оставаться дома одна. Днем было еще ничего, но вот ночью, когда мама дежурила в больнице, будущая корреспондентка места себе не находила. Вернее, она находила место, но в другом доме: убегала ночевать к своей подружке, которая тоже живет в одной из квартир нашего дома.

Мама приходила с ночного дежурства рано-рано утром, а будущая корреспондентка возвращалась от подружки несколько позже. Вернувшись в очередной раз, она увидела, что мама спит, а на столе лежит записка: «Ты, значит, отчаянная трусиха? Просто стыдно. Ведь уже в третий класс перешла!»

Будущая корреспондентка и сама не знала, чего именно она боится. Сколько раз давала себе слово, что выдержит, не убежит к подружке,— и каждый раз убегала.

Как-то, уходя на ночное дежурство, мама сказала:

— Следи за телефоном. Должен быть один звонок! Очень важный...

— Понимаю,— сказала будущая корреспондентка.

Маме часто звонили от больных, которых она лечила.

Звонили и по ночам. Кончая разговор, мама подчеркивала:

«Звоните, если нужно будет. Пожалуйста, не стесняйтесь!»

Мама ушла, а будущая корреспондентка стала читать книжку и время от времени поглядывала на телефон. Она думала, что важный звонок раздастся очень скоро, а его не было. Когда спустились сумерки, будущая корреспондентка заволновалась. Она глядела на телефон умоляющими глазами, и, словно сжалившись, он зазвонил.

— Автобаза? — раздался в трубке неестественно хриплый голос.

Это показалось странным и подозрительным: может, проверяют, пуста ли квартира?

«Хоть бы он поскорей еще зазвонил! — думала будущая корреспондентка, находившаяся тогда в девятилетнем возрасте. — Я бы узнала, в чем дело, сообщила маме на работу — и потом убежала!» Но телефон не звонил.

Откуда-то сверху раздались мужские голоса. Они то затихали, то становились громче. Это тоже показалось очень таинственным. «Странно!» — со страхом подумала будущая корреспондентка. Подошла к окну и внимательно оглядела подоконник, потом высунулась и осмотрела карниз. Ни на карнизе, ни на подоконнике никого не было. «Так это же радио у соседей, наверху!» — вдруг догадалась она. На миг ей стало смешно. Но только на миг, потому что в следующий момент было уже не до смеха: ей почудилось, что в коридоре скребутся мыши.

Прислушалась к шороху... Но тут хлопнула металлическая крышка — и она поняла, что это почтальон опустил вечернюю газету.

И вдруг будущей корреспондентке почудилось, что мыши действительно скребутся, но только не под полом, а где-то вверху, на потолке. «Что за ерунда! Мыши не могут быть там...» — рассуждала она. Это, однако, не очень успокоило будущую корреспондентку, и она стала прислушиваться к странному шороху. До нее донеслись и отдаленные звуки вальса. «Дунайские волны!» — с облегчением подумала она, словно услышала голос знакомого. — Соседи танцуют и шаркают ногами!»

Но успокоилась будущая корреспондентка опять ненадолго. Каждый скрип половиц заставлял ее вздрагивать, замирать...

«Нет, так больше нельзя!» — решила она.

Открыла парадную дверь... Но тут же подумала: «А звонок?

Ведь он очень важен для мамы. Наверное, будут звонить от какого-нибудь тяжелобольного!»

Она захлопнула дверь, заперла ее на все замки и даже на цепочку, потом прилегла на диван, укрылась байковым одеялом и стала вспоминать все книги и фильмы, где говорилось о бесстрашных людях и отважных поступках. Но и литература будущей корреспондентке не помогла. Так она и заснула.

Под утро ей приснился сон. Она стоит на площадке парадной лестницы, дверь заперта изнутри, а в пустой квартире звонит, надрывается телефон. Она знает, что это тот самый очень важный для мамы звонок, но попасть в квартиру не может. И вообще не может двинуться с места, как это часто бывает во сне.

Будущая корреспондентка открыла глаза. Было уже светло, телефон и в самом деле звонил. Она скинула одеяло, побежала к аппарату, сняла трубку и услышала мамин голос:

— Ты дома? Не убежала?

— Нет, мама, не убежала.

— Ну, тогда я хочу сказать, что ты молодчина!

— Но ведь важного звонка не было... Я ждала, а его все не было и не было.

— Как же не было? — засмеялась мама. — Мой звонок — это и есть тот самый важный звонок!

...Дорогие родители! Сейчас мы рассказали вам о воспитательном опыте мамы одной из наших корреспонденток, которая сумела победить трусость своей дочери. Мы постарались записать эту историю со слов корреспондентки подробно, как документальный рассказ. Мы теперь часто будем рассказывать о методах передовых родителей. А имен и фамилий называть не будем, так что не стесняйтесь, пожалуйста, и пишите нам, на «седьмой этаж». Обменивайтесь опытом воспитания, дорогие родители, с помощью самих подопытных, то есть с нашей! Вел передачу Петя Блошкин.

ДЛЯ ВАС, ПЕНСИОНЕРЫ!

Внимание! Внимание!

Говорит седьмой этаж!

Обычно наша передача начинается в двадцать часов по местному времени, то есть тогда, когда почти все взрослые уже приходят с работы.

А сегодня мы включили свой микрофон в пятнадцать часов, или, попросту говоря, в три часа дня. А почему? А потому, что передача наша будет для тех, кто уже не ходит на работу, кто своей долгой и, как это говорится, безупречной трудовой жизнью заслужил право отдохнуть. Мы так и назвали свою передачу: «Для вас, пенсионеры!»

Мы решили устроить концерт из разных произведений: в часы отдыха приятно послушать музыку, стихи и, невзирая на возраст, потанцевать! Теперь мы почти каждый день будем устраивать такие концерты. В общем, в нашем доме пенсионеры скучать не будут!

Все вы, конечно, заслужили право на отдых. Это факт! Но все время отдыхать тоже нелегко: от этого можно до того устать, что не обрадуешься! И вот мы хотим, дорогие пенсионеры, сделать так, чтобы и вам было не скучно отдыхать и нам польза была.

Недавно мы прочитали вслух домовую книгу. Из нее мы точно узнали, что в доме номер семь дробь три живут пенсионеры семнадцати разных профессий.

Мы узнали, что в двадцать третьей квартире живет инженер-пенсионер, который много лет проработал на авиационном заводе, а в шестой квартире — опытный слесарь. Может быть, они помогут нам организовать мастерскую «Что сломалось — всё починим!». Инструментов мы столько собрали, что к Олегу Брянцеву в комнату не протолкнешься: склад, да и только! Вы бы помогли нам немножко...

Или вот мы хотим хореографический кружок организовать, чтобы танцевать уже по всем правилам. А в тридцать первой квартире как раз проживает бывшая балерина.

Откликнитесь, пожалуйста, на наш призыв, дорогие пенсионеры!

Кстати, должны сказать, что некоторые жильцы уже начали откликаться. Спецкор из девятой квартиры передает, что Калерия Гавриловна Клепальская выразила желание вести по радио уроки французского языка и беседы о хороших манерах.

Это здорово! Вот, например, изучим мы все французский язык, придем в соседний двор, начнем разговаривать, а нас никто понимать не будет. И мы сможем говорить всё, что нам вздумается. И «Графа Монте-Кристо» сможем прочитать в подлинном виде, потому что Александр Дюма-отец писал, как известно всем, по-французски.

Ну, а про хорошие манеры уж и говорить не приходится!

Они нам всем пригодятся. Потому что, как сообщают наши спецкоры из разных квартир, многие юные жильцы валяются днем на кровати в ботинках и брюках; вилки держат так, будто хотят проткнуть тарелки насквозь; а с девочками обращаются так, что д'Артаньян всех их по очереди вызвал бы на дуэль...

Мы поддерживаем ценную инициативу Калерии Гавриловны. И еще хотим сообщить, что, согласно непроверенным данным, Калерия Гавриловна согласна освободить дровяной сарай и отдать его нашему «Домовому штабу». Об этом сообщил в последнюю секунду все тот же специальный корреспондент из девятой квартиры.

И наконец, самое последнее. Мы хотим, чтобы товарищи пенсионеры помогли нам отвечать на вопросы радиослушателей. Мы задумали проводить передачи: «Спрашивай что хочешь — все равно мы ответим!» Уже получены девяносто восемь первых вопросов. Из них семьдесят три задал Жорик Калугин из первой квартиры. Жорик интересуется всем: ракетами, и макетами, и счетными машинами, и Марсом, и Юпитером, и атомной энергией... Мы не сможем подробно ответить на эти вопросы. А некоторые пенсионеры могут: ведь среди них — целых два доктора и три кандидата наук! Это мы прочитали в домовой книге. И просим кандидатов и докторов помочь нам. Без их помощи нам придется переименовать свою передачу и назвать ее так: «Спрашивай что хочешь — все равно не ответим!»

А сейчас начинаем концерт! Сначала старинные вальсы, которые так любят пенсионеры...

КТО ЭТОТ КОРРЕСПОНДЕНТ?!

— Кто он? Кто этот корреспондент? — бушевала на кухне «мадам Жери-внучка». — Я найду его! Я его разоблачу!..

Лешка заперся в комнате. Но и туда долетали угрозы Калерии Гавриловны:

— Это же безобразие! Я вовсе не собираюсь лезть на чердак и беседовать оттуда о хороших манерах! Французский язык?.. Пусть они сначала по-русски научатся разгова-

ривать! А сарай? Да никогда в жизни! Никогда в жизни я не выброшу свои дрова, которые хранились столько лет. Которые мне так дороги! Ни за что на свете!..

— Это настоящее издевательство! — жаловалась она по телефону своей приятельнице. — Они говорили обо мне в передаче для пенсионеров. Что, интересно, они хотели этим сказать? Я, видишь ли, согласилась освободить сарай! По каким-то там непроверенным данным... Пусть сначала проверят, а потом оповещают весь дом! Ну конечно... Ты совершенно права, просто из принципа! Ни за что не освобожу этот сарай!

Получив поддержку приятельницы, Калерия Гавриловна вновь зашумела в одиночестве на кухне. Крик ее был прерван появлением шофера Васи Кругляшкина.

Шофер Вася был в рабочем комбинезоне, с мылом и полотенцем в руках.

— Вот именно: их надо научить хорошим манерам! — отчеканила «мадам Жери-внучка». — И я пойду в домоуправление! Пусть они заставят замолчать этих чердачных корреспондентов. Каждый день концерты для пенсионеров! Просто решили уморить старых людей: спать невозможно, нельзя отдохнуть. И эти возмутительные сообщения!

— Какие сообщения? — непонимающе заморгал глазами Вася. — Вас же прославили на весь дом! Вы такое придумали — просто не ожидал!

— Вы еще многого не ожидаете! — воскликнула Калерия Гавриловна. — В домоуправление! Они обязаны охранять жильцов от произвола...

С этими словами Калерия Гавриловна выбежала на площадку парадной лестницы.

Вася подошел к Лешкиной двери:

— Выходи, Алексей!

Лешка с опаской выглянул в коридор.

— Это ты ловко придумал! — похвалил его Вася. — Начал, значит, ее «учить хорошим манерам»? — Вася вздохнул: — Только что из этого выйдет? Видал, как взвилась?

— Не видел, но слышал.

Соседка из десятой квартиры открывала почтовый ящик. Увидев Калерию Гавриловну, она всплеснула руками:

— Я так рада! У моей Верочки по французскому языку одни тройки. Хотела репетитора пригласить. А теперь вы по-

можете ей, дорогая Калерия Гавриловна! Прямо по радио. Это же замечательно! И бесплатно! Вы многим поможете...

— Я им всем «помогу»! — впопыхах проговорила «Жеривнучка» и ринулась вниз.

Но на втором этаже ее задержала пожилая чета. Супруги часто пребывали в восторженном настроении. Они ходили только вместе и даже говорить умудрялись как-то сообща, в один голос.

— Прекра-асно! Просто прекра-асно! — дуэтом запели супруги. — Спасибо за наших внуков и внучек!

— Пожалуйста! На здоровье... — несколько растерявшись и уже без прежней злой энергии проговорила Калерия Гавриловна.

На первом этаже ее встретила уборщица, с ведром и тряпкой в руках. От этой неулыбчивой женщины жильцы много лет слышали лишь одно: «Ноги надо вытирать! Дома небось вытираете!..»

Но сейчас она была многословной:

— Вот научите, научите их хорошим манерам, Калерия Гавриловна! Тогда небось будут ноги в парадном вытирать. И на стенах не будут писать... Научите их!

— Я их научу! И заодно проучу!

Домоуправление находилось в соседнем подъезде, в полуподвале.

Выскочив во двор, Клепальская остановилась. Дорогу ей преградили пенсионеры, которые только что, сидя на лавочке под деревянным столбом, слушали радиопередачу. Все стали поздравлять Калерию Гавриловну и даже пожимать ей руки:

— Хорошо придумали! Очень с вашей стороны благородно! Решили, значит, подарить свои знания подрастающему поколению? Это для нас — пример! И сарай, значит, решили освободить? Открыли простор детской инициативе и самостоятельности!

— Да-да... Решила подарить... И открыть простор... — пролепетала Калерия Гавриловна, отвечая на приветствия и рукопожатия.

— Ну, не будем задерживать!.. Примите еще раз...

Бегом спустившись в полуподвал, Калерия Гавриловна решительно распахнула дверь домоуправления и прямо с порога воскликнула:

— Слыхали? Я возвращаюсь на воспитательную работу!

— Слыхали! А как же, слыхали...— ответил управдом, облокотившись на кипу справок и паспортов.— Этот «седьмой этаж» всех нас того... К делу приставил! Хочу даже сам лично по ихнему радио выступить и благодарность объявить: стены в подъездах, представьте себе, в порядок приводят! И насчет сарая вы правильное решение приняли...

— Да, приняла! Если детям надо — пожалуйста! Мне не жалко!

ЗАКОН ТОМА СОЙЕРА

Тетя Полли, как известно, заставила Тома Сойера красить забор как раз в день субботнего отдыха. И именно в тот далекий день Том «открыл великий закон», который звучит так: «...для того чтобы мальчику или взрослому захотелось чего-нибудь, нужно только одно — чтобы этого было нелегко добиться». Лешка не очень твердо помнил законы физики и математики, которые проходил в школе, но закон Тома Сойера знал наизусть.

Получилось так, что мастерская «Что сломалось — всё починим!» назначила первый «пробный» ремонт как раз на воскресенье, то есть, как и тетя Полли, на день отдыха. А еще накануне Лешка узнал, что в воскресенье только на одном-единственном утреннем, десятичасовом сеансе идет кинокартина, которую он раньше «пропустил» и о которой Калерия Гавриловна говорила: «Бесподобная!..»

Еще накануне Лешка купил билет. Он решил, что если начать работу в восемь утра, то к десяти вполне можно освободиться.

Мастерская «Что сломалось — всё починим!» старательно подготовилась к тому, чтобы уничтожить во всех подъездах написанные на стенах «имена и другие всякие неприличности», как выразился дворник дядя Семен. Целую неделю обучались у самого настоящего маляра, жившего в квартире номер шестьдесят один. Он же достал на время кисти, стремянки. Добыл известь и краски... Так, все было готово!

По предложению Тихой Тани каждый должен был работать на том этаже, где живет, чтобы прежде всего уничтожить свои собственные художества. Особенно Тане хотелось, чтобы Лешка повозился со стеной своего этажа, потому что именно на этой самой стене года четыре назад он нарисовал уродца с косичками и подписал: «Танька — дура!»

Ровно в восемь утра Лешка установил стремянку, подтащил ведро с известью и кистью. И приступил к делу. Он припомнил все советы, которые давал настоящий маляр из шестидесят первой квартиры. Но Тихая Таня и здесь проявила вредность характера: она никак не хотела исчезать со стены. Лешка наложил на нее уже несколько слоев извести, а косички и вытаращенные глаза, чуть побледневшие, всё смотрели и смотрели на него.

Лешка не раз вынимал из кармана куртки узкий синий билетик, любовно разглядывал его и убеждался, что начало сеанса именно в десять часов утра, а не в одиннадцать и даже не в десять тридцать. Времени до десяти оставалось все меньше и меньше. Что было делать?

Тут-то Лешка и восстановил в памяти знаменитый закон Тома Сойера. И решил им воспользоваться. Он вспомнил, как Том заставил-таки своих приятелей красить забор, сделав вид, что сам получает от этого огромное удовольствие и что права на такую почетную работу надо добиться.

Лешка вспомнил, что бедняга Том тащил к забору ведро с известью в роскошное весеннее утро, когда хотелось гулять, бегать, прыгать — одним словом, делать все, что угодно, но только не красить забор. И в это утро тоже сияло весеннее солнце... Но больше всего Лешку тянуло в кино. Из двух соседних квартир на этаже один за другим появились ребята, которые не работали в новой мастерской и потому могли легко и свободно бежать на улицу.

Но они не бежали. Остановились возле Лешки, с удивлением разглядывали стремянку, кисть и даже совали носы в ведро с известью. Каждый обязательно восклицал:

— Что это ты делаешь?

Первым воскликнул Женька, добродушный, доверчивый паренек, который не только разрешал, но даже сам предлагал всем во дворе кататься на своем двухколесном велосипеде и носить свою «капитанку» с якорем и лакированным козырьком.

Женька с завистью взирал на Лешку, хотя по натуре вовсе не был завистлив. Он намазал известь на палец, понюхал и чуть было не попробовал ее на вкус.

— Отравишься! — остановил его Лешка.

— Дай-ка я тоже... — сказал Женька.

Лешка взглянул на него свысока, поскольку был на стремянке. И с жалостью:

— Очень хочется, да? Понимаю! Всем хочется! Не ты, как говорится, первый, не ты последний. Меня уж тут человек десять просили. Прямо умоляли, в ножки кланялись.— Лешка, как всегда, начинал перебарщивать.— Но я не могу...

Доброму Женьке отказ был непонятен:

— Не можешь? Почему?

Лешка огляделся по сторонам:

— За-пре-ще-но! Мы ведь учились... Целый месяц опыт перенимали! — Лешка увеличил срок обучения ровно в четыре раза.— Тебе бы, Женька, я разрешил... Но это же уметь надо!

Отказывать Женьке было неудобно: Лешка до того накалался однажды на его велосипеде, что лопнули камеры сразу на двух колесах. И все же он решил немного помучить своего доверчивого соседа по этажу:

— Пойми: это не всем доверяют. А только тем, кто чем-нибудь отличился...

Женьке пришлось скромно признать, что ничем особенным он пока еще не отличился.

— Ну что ж,— грустно сказал он.— Я пошел...

Сделал несколько медленных шагов вниз по лестнице. И лишь тогда Лешка сжалился:

— погоди...

Женька вернулся. Но тут открылась дверь десятой квартиры и вышла Женькина сестра, высокомерная, подтянутая семиклассница Лида, которая не замечала мальчишек во дворе и постоянно упрекала своего младшего брата в «бесхарактерности и мягкотелости». Лида хотела пройти мимо, слегка кивнув головой. Но не смогла, остановилась и тоже заглянула в ведро, перепачканное известкой.

— Что это ты делаешь, Леша?

— Крашу стены. Из всего дома отобрали самых достойных и поручили... Точнее, доверили!

Лиде и в голову бы не пришло заниматься малярными работами, но то, что она не попала в число «самых достойных», оскорбило ее.

— А кто это, интересно узнать, отбирал?

— Комиссия! — тут же нашелся Лешка.— По всем квартирам ходили. Тебя, наверное, не было дома...

— Очень странно. Я, между прочим, два раза помогала маме делать ремонт и умею красить не хуже тебя. Хочешь, покажу?

— Нельзя, нельзя! — Лешка с отчаянным видом спрыгнул, закрыл собой ведро, стремянку и побледневшего на стене уродца с косичками. — Сказали, что никому нельзя...

— А тебе можно? — перебила она.

— Мне можно!

— Ну знаешь, уж если тебе доверили, то мне и подавно можно!

— Что с вами поделаешь?! — бессильно взмахнув руками, сдался наконец Лешка, заметив, что маленькая стрелка на ручных Лидиных часах угрожающе приближалась к девяти с половиной... — Ладно уж! Раз у тебя, Лида, есть опыт... — Лешка вынул из кармана синий узкий билетик. — Через два часа я вернусь — и стены, надеюсь, будут как новенькие!

Счастливый Женька стал уже взбираться на стремянку, но в эту минуту показался «отдел технического контроля» в составе Тихой Тани и Фимы Трошина. Вслед за ними не спеша, вытирая пот со лба, поднимался и Олег Брянцев.

— Ага! — злорадно воскликнула Тихая Таня. — Наш Лешенька уже эксплуатирует наемную рабочую силу!

— Да что вы? Я просто...

— Ведь было же русским языком сказано, что неопытных, не прошедших курс обучения не допускать! — уже спокойным, деловым голосом наставительно произнесла Таня.

Семиклассница Лида презрительно взглянула на нее, учившуюся в шестом классе:

— Мы с Женей два раза ремонтировали квартиру. Вместе с мамой... Так что, пожалуйста, не беспокойся.

— И потом, я... передал им свой опыт, — промямлил Лешка. Но потом воспрянул духом: — Сами же говорили: «Надо всех приобщать к делу!» Вот я и... приобщил целую семью: брата и сестру!

Таня заметила у него в руке узкий синий билетик.

— А это что?

По праву представителя «отдела технического контроля» она взяла билет, перевернула его:

— Все ясно: собрался развлекаться, а другие за него будут работать! Олег в семь часов встал — и всё уже на своем этаже сделал. А ты?

— Что, я?.. На свои деньги купил билет, чтобы вручить его, как премию, тому, кто первый закончит! Значит, Олегу... Получай, Олег, заслуженную тобой награду! Мне не жалко...

И скорей беги: через десять минут начинается. Вот что я придумал! Неплохо?

Все это Лешка выпалил одним духом, сам еще толком не понимая, хороша или плоха его выдумка.

— Здорово ты придумал! — поддержал добрый Женька, свесившись со стремянки.

Лешка сунул билет в руку растерявшемуся Олегу и воскликнул:

— Да, друзья мои, это — идея!

— Которую ты не перехватил ни у кого на ходу, — неожиданно съехидничал застенчивый Фима Трошин.

«ПОЛЕТ ШМЕЛЯ»

На «седьмой этаж» прислали письмо.

Большое спасибо вам, юные друзья, за вашу заботу о ветеранах! Не забываете вы о нас, стариках... А о молодых иногда, к сожалению, забываете. И, в частности, о молодых дарованиях. А ведь они есть! И живут в нашем доме. Недалеко за примером ходить: живет на первом этаже юный виолончелист Олег Брянцев. Почему же мы не слышим по радио его виолончели? Она может и должна звучать! Надеюсь, что мое письмо не останется без внимания!

Одна пенсионерка.

На первое письмо «взрослой радиослушательницы» нельзя было не ответить. Лешка на правах «самого главного» созвал совет на чердаке.

— Какие будут предложения?

— Это моя бабушка написала, — сказал Олег. — Не выдержала!

— Откуда ты знаешь?

— Уверен.

Вадик ехидно хихикнул:

— Вот ты для своей бабуси и поиграй. Таковую, знаешь, песенку... старую, но с другими словами: «Жил-был у бабушки внук музыкальный!»

— Ты бы помолчал, — оторвавшись от книги, произнесла Тихая Таня и перевернула страницу.

Олег стоял в стороне, прислонившись к деревянному

столу-верстаку: «Что теперь делать? Как объяснить бабушке?.. Одна хитрость тянет за собой другую... И теперь все должны искать выход из созданного мной положения!»

Олег сердито боднул головой воздух:

— Пойду и скажу ей всю правду...

— Правильно,— поддержал его Фима Трошин.

Шофер Вася Кругляшкин стоял у окна и, казалось не слушая ребят, разглядывал провода, тянувшиеся вниз — к деревянному столбу. Но когда Олег решительным жестом подтянул пояс и с видом «была не была!» направился к двери, Вася нагнал его и остановил:

— Постой, Олешка! Мы, если уж на то пошло, устроим концерт для твоей бабушки. И виолончель зазвучит! Сегодня же вечером. У кого-нибудь есть пластинки с записью виолончели?

— У нас дома есть, конечно...— не понимая еще, что именно задумал шофер Вася, медленно ответил Олег.

— Нет, ваши пластинки не нужны: бабушка их наизусть знает. А еще у кого-нибудь есть?

— Я поищу,— ответила Таня.

— И я посмотрю,— пообещал Лева Груздев, любитель шахмат и музыки, который, по словам Тани, «всегда был погружен в самого себя».

— Принеси к восьми часам. Я сам сегодня поведу передачу, если уж на то пошло. А сейчас объявим...

Вася подошел к усилителю, включил его и каким-то не своим голосом произнес в микрофон:

— Внимание! Внимание! Говорит седьмой этаж! Только что мы получили письмо от «одной пенсионерки». Она упрекает нас: говорит, что мы проходим мимо творчества местных молодых дарований. Сегодня вечером мы исправим эту ошибку. Мы продемонстрируем творчество вашего соседа по дому Олега Брянцева! Слушайте радиопередачи!

Вася выключил микрофон и взглянул на недоуменные лица своих юных приятелей.

— Как же это? Зачем?..— с укором проговорил Олег.

— Все будет как надо! — Вася хлопнул его по плечу.— Тащите пластинки... Я вас не подведу!

* * *

До вечера бабушка успела побывать во всех квартирах, где жили ее знакомые:

— Вы слышали, сегодня вечером выступает мой внук! Так прямо и объявили: «Мы продемонстрируем творчество вашего соседа Олега Брянцева»! Не забудьте послушать. Я прошу вас...

«Только бы не пошел дождь! — беспокоилась она. — А то все сорвется... Закроют окна — и ничего не услышат! И садик внизу будет пуст».

Но погода была за бабушку... И реклама сыграла свою роль: к восьми часам вечера лавочки были заняты и из окон повысовывались лица радиослушателей. Сама бабушка расположилась в центре двора у садового столика. Она облачилась в свое лучшее платье и выглядела именинницей.

А на «седьмом этаже» шла подготовка... Никто из ребят еще не понимал, что именно затеял шофер Вася Кругляшкин.

Лева Груздев, «погруженный в себя» любитель шахмат и музыки, принес долгоиграющую пластинку.

— Концерт для виолончели с оркестром в четырех частях, — сообщил он.

— С оркестром не пойдет! — сказал Вася. И отложил пластинку в сторону. — У нас здесь оркестра нету.

— Как это «у нас здесь»? — не понял Лева.

Но Вася ему не ответил. Он взял пластинку, которую принесла Тихая Таня.

— «Полет шмеля» из оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», — прочитал он. — Это чистая виолончель, да? Без всякого сопровождения? Без, так сказать, примесей...

— Соло! — подтвердила Тихая Таня.

— И хорошо! У нас ведь тут нет никакого сопровождения.

Фима Трошин первым разгадал Васин замысел:

— Это будет нечестно, — заикаясь заметнее, чем обычно, проговорил он. — Это обман...

— Я не хочу! — твердо сказал Олег.

Вася подмигнул им обоим:

— Успокойте свои нервишки. Прошу тишины! Пластинку на диск! Включаю...

Таня послушно опустила пластинку на диск самодельного электропроигрывателя.

— Внимание! Внимание! Говорит седьмой этаж! — начал Вася.— Двадцать часов ноль-ноль минут по местному времени. Начинаем нашу очередную радиопередачу! Сегодня мы продемонстрируем творчество юного жильца нашего дома Олега Брянцева. Слушайте «Полет шмеля» из известной вам оперы Римского-Корсакова!..

Стремительным сказочным шмелем закружились, зажужжали по двору виртуозные звуки виолончели.

— Это все-таки нехорошо... получается...— шепотом произнес Фима Трошин.

— Чужим смычком жар загребать! — с затаенной завистью поддержал его Лешка.

— Соблюдайте спокойствие: микрофон включен! — сказал Вася.

— А я выключу! — неожиданно вспыхнул Олег.— Это же настоящий обман! Фима прав...

Вася расширил зрачки и трагическим шепотом произнес:

— М н е не доверяете?! Дайте послушать музыкальную классику в тишине и покое!

Все притихли. А шмель кружил по двору, то долетая до самого чердака, то спускаясь вниз — к садовому столику, к гордой, не верящей своим ушам Алевтине Степановне.

Виолончель умолкла... Ее сменил голос шофера Васи:

— Мы обещали показать вам творчество Олега Брянцева. И продемонстрировали его! «Полет шмеля» передавался благодаря радиоусилителю, который смонтировал Олег Брянцев. По проводам, которые он протягивал, через динамик и репродуктор, которые он устанавливал во дворе... Итак, вы познакомились с творчеством Олега. И с результатами его творчества! Дорогая Алевтина Степановна, бабушка Олега, вы вправе гордиться внуком! Вы хотели, чтобы он любил свой инструмент? Он и любит инструмент, а вернее даже сказать — **и н с т р у м е н т ы**: напильник, паяльник, рубанок и так далее — инструменты, без которых ничего на свете бы не было. И этого дома бы не было. И мы уверены, что вы одобряете это. Ну, а музыкальный номер исполнял лауреат Всесоюзного конкурса!

ЭХ ТЫ, ВОСПИТАТЕЛЬ!..

В двадцать часов ноль-ноль минут в репродукторе что-то зашуршало, задвигалось. Жильцы дома ожидали услышать голос, который обычно начинал радиопередачи: «Внимание! Внимание! Говорит седьмой этаж!..» Но вместо этого они услышали два голоса, которые спорили друг с другом.

— Ты этого не сделаешь! — сказала Тихая Таня.

— Сделаю: я — ответственный! — шепотом, старавшимся звучать начальственно, возразил Лешка.— Ой... микрофон!

Репродуктор замолчал. Потом вновь ожил — и голос Пети Блошкина сообщил:

— По техническим причинам передачи начнутся через полчаса. Извините, пожалуйста!..

Полчаса ссорились на «седьмом этаже» Таня и Лешка.

— С пьянством надо бороться! — упрямо твердил Лешка.

— Он не пьяница,— спокойно отвечала Таня. Она положила микрофон на деревянный стол, села на него и даже близко Лешку не подпускала.

— Он уже два дня подряд приходит домой выпивши. Вадик видел.

— Видел! Своими собственными глазами! — угодливо заверил Вадик.

— Ну вот!.. — продолжал Лешка.— Значит, мы обязаны это пресечь. Тем более, что Фима переживает. Ревел даже...

— Плакал,— поправила Таня.

— Ну, плакал... А отец его стесняется, когда видят, что он выпивши...

— Еще как стесняется! Я сам видел. Сам... Своими собственными глазами! — зачастил Вадик.

— Вот видите! — Лешка заходил по радиостудии.— Значит, у него есть совесть. И если мы его вовремя «продернем», он все поймет и исправится. Я такой фельетончик сочиню, что умереть можно!

— Сам умирай! — предложила Тихая Таня.— А других убивать не имеешь права.

— Ты поверь мне,— пытался втолковать Лешка.— Кто «Жери-внучку» перевоспитал? Я!.. У меня есть опыт. Кроме того, я — ответственный! И приказываю тебе включить микрофон...

Приказывать Тане было рискованно: последнюю фразу Лешка произнес по инерции.

Передача началась через полчаса, но Лешкин фельетон, от которого «прямо умереть» можно было, так и не прозвучал.

Это случилось семь дней назад. Но Лешка решил до конца не отступать.

— Ладно... Если еще хоть раз увижу его пьяным, запрусь один в студии и так его пропесочу! — заявил он Тихой Тане. — Ты уж не помешаешь! Защитница нашлась... С пьянством надо бороться. А ты, Вадик, следи!

И тот выследил... Ровно через неделю, вечером, он, запыхавшись, ворвался в девятую квартиру и, стараясь обогнать себя самого, с порога провозгласил:

— Все нормально: попался!

Ни с кем в коридоре не поздоровавшись, он вбежал к Лешке.

— Мои беседы о хороших манерах пока еще действовали не на всех, — бросила ему вслед Калерия Гавриловна.

Но Вадик было не до «манер».

— Видел! Сам видел!.. Своими собственными глазами!

— Кого? — всполошился Лешка.

— Фимкиного отца — вот кого!.. В винный магазин зашел. «На троих» выпьет... Или «на двоих». В подъезде чужого дома... И украдкой, чтобы никто не заметил, к себе будет красться. Он всегда так делает. Я сколько раз видел. Собственными глазами!

— Опять, значит, за свое?! — угрожающе произнес Лешка. — Ну нет! Сегодня не прокрадется!

— Давай раньше времени включим микрофон, пока Танька не пришла, и фельетончик твой прочитаем! — захлебываясь от предчувствия скандальной истории, предложил Вадик.

— Нет у меня фельетона! — горестно вздохнул Лешка. — Таня тогда взяла его с верстака и разорвала.

— А ты наизусть!

— Наизусть я не помню. Да еще волноваться буду и все перепутаю. У меня... у меня... — Лешка торжествующе забегал по комнате. — У меня есть другой план! У-ух, какой! Он, значит, людей стесняется, когда выпьет, да?

— До ужаса стесняется! — поспешил заверить Вадик. — Кого-нибудь заметит во дворе — и сразу прячется.

— Сегодня не спрячется! Скорее наверх! На чердак!..
Вскоре, на полчаса раньше обычного, заработал серебристый, похожий на колокол, репродуктор:

— Внимание! Внимание! — провозгласил на весь двор Лешкин голос.— Всех жильцов просим немедленно выйти к своим подъездам. Повторяем!.. Всех жильцов дома просим немедленно выйти во двор, к своим подъездам!..

Через пять минут во дворе дома номер семь дробь три образовалась толпа. Многие жильцы, послушавшись Лешку, недоумевали возле своих подъездов. Они переглядывались и спрашивали друг друга:

«В чем дело? Зачем надо было выходить?..»

На «седьмой этаж» не прибежали, а буквально взлетели Олег, Тихая Таня, Фима Трошин, Лева Груздев и Петя Блошкин. С тем же вопросом они набросились на Лешку и Вадика:

— В чем дело? О тебе, Фимочка, беспокоимся,— объяснил Лешка.— Папочка твой опять в угловой винный магазин заглянул. Вот он сейчас сквозь строй соседей пройдет — и под влиянием общественного возмущения, может быть, перевоспитается! Тогда уж тебе не придется плакать! Поверь мне...

— Здорово придумано! — поддакнул Вадик.

Фима побледнел и, ни слова не сказав, бросился вниз по лестнице.

«Только бы не опоздать!» — думал он, перепрыгивая через ступени.

Очутившись на улице, Фима, не глядя по сторонам, перебежал дорогу в неподобающем месте и устремился к угловому винному магазину...

Он столкнулся с отцом в дверях. В руках у отца был пакет с яблоками и две бутылки фруктовой воды.

— Папа!.. Ты?! — Фима пристально взглянул ему в лицо.

— Я... — мягким, Фиминым голосом ответил отец.— Что с тобой?..

* * *

Внимание! Внимание! Говорит седьмой этаж!

Всех жильцов дома номер семь дробь три просим снова подняться в свои квартиры. Мы просто решили устроить

физкультминутку: пробежку по лестнице во двор. Мы хотели, чтобы вы после рабочего дня подышали немного свежим воздухом. Физкультминутка окончена!..

Петя Блошкин выключил микрофон. И все сразу, как бы рванувшись со старта, набросились на Лешку.

— Что сейчас говорят жильцы?! — вопрошал Петя Блошкин. — Таким дураком меня выставил: «Устроили физкультминутку»! А что было говорить? Взрослых людей заставили по лестницам бегать!

— Это уж чересчур! — воскликнул даже «погруженный в себя» Лева Груздев.

— Он же у нас «самый главный», он всё может, — объяснила Тихая Таня. — Выдумал отвечать на вопросы радиослушателей! Ну, и что получилось? Завалили нас этими вопросами, а мы ответить не можем: сами не знаем... К докторам наук каждый день бегать стыдно: они же из «докторов» в больных превратятся. Вася Кругляшкин предупреждал. А Лешка свое: «Я — главный!»

— Мы вот сейчас освободим его от этой должности! — предложил решительно вынырнувший из «самого себя» Лева Груздев. — Переведем на другую работу, с понижением!

Тихая Таня преспокойно уселась на деревянный стол-верстак и сказала:

— Он любит командовать? Вот и пусть отвечает за уроки гимнастики: «Раз-два, встали! Раз-два, нагнулись! Раз-два, пошли!..» И опыт у него есть: устроил сегодня «физкультминутку»!

Всем понравилось Танино предложение — и его утвердили единогласно, при одном неуверенно воздержавшемся: чувствуя, что Лешка теряет власть, Вадик притих.

— Кто же теперь... будет «главным»? — робко спросил он. Знать это ему было необходимо.

— А зачем нам «самые главные»? — Олег пожал плечами. — Хватит! Будем «на равных»... Так лучше. Ведь правда?

Он подошел к Лешке, взглянул на его печальную физиономию:

— Эх ты, воспитатель!..

СНОВА... ГОВОРIT СЕДЬМОЙ ЭТАЖ!

— Послушайте, какое мы получили письмо! — довольно громко обратилась ко всем Тихая Таня, усевшись на край верстака. — Пишет нам женщина преклонного возраста.

— Откуда ты знаешь? — спросил Олег. Вооружившись малярной кистью и по локоть засучив рукава, он красил деревянный стол-верстак.

— Откуда я знаю, что она преклонного возраста? Из самой первой строки: «В этом доме я живу почти шестьдесят лет...» Молодая женщина не может столько жить! Слушайте дальше: «И вдруг в нашем старом дворе зазвучал юный голос: «Внимание! Внимание! Говорит седьмой этаж!..» Этот «этаж» очень быстро проник на все этажи, заглянул во все квартиры. Он стал уничтожать очень живучих микробов. Спецкоры начали проводить в квартирах полезную дезинфекцию. Нравственную, я бы сказала... И знаете, мне стало казаться, что в чем-то изменился внешний вид нашего дома. Его не перекрасили, потому что серые гранитные глыбы красить нельзя. И все-таки дом наш немного помолодел!»

— Сегодня же надо огласить это письмо! — предложил Лешка. — Пусть все узнают...

— Сами себе благодарность объявим? — перебил Олег.

— Нескромно получится, — застенчиво, заикаясь, поддержал его Фима.

— Письмо нам адресовано, а не всему дому, — подвела итог Таня.

— Ну, как хотите... — Лешка с грустью и укором огляделся, подчеркивая, что он одинок. Вадик стоял далеко от него и тоже в одиночестве: он еще не определил, с кем рядом ему надо стоять. — Мое дело — физкультминутки устраивать... — продолжал Лешка. — Нескромно! Не сами же мы это письмо сочинили...

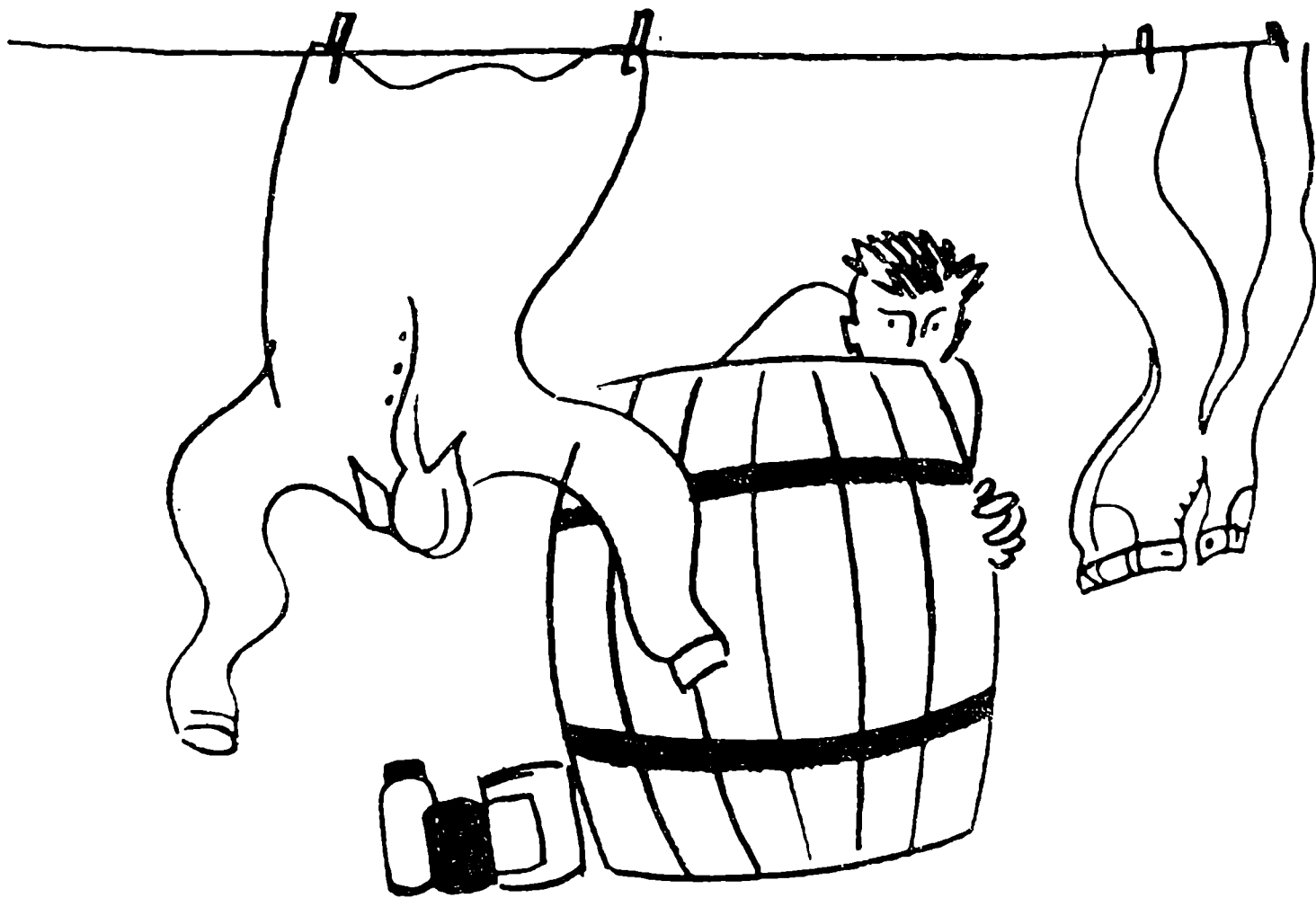
Тихая Таня спрыгнула со стола: Олег с кистью и краской уже добирался до нее.

— Споры прекращаются, — объявила она. — Пора начинать передачу. Включаю микрофон...

И вновь ожил внизу, на столбе, серебристый репродуктор, похожий на колокол:

— Внимание! Внимание! Говорит седьмой этаж!..

НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ СЕВЫ КОТЛОВА



Часть первая ПОД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ *С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ...*

Это началось на уроке немецкого языка.

Я поднял руку и сказал:

— Анна Рудольфовна, можно закрыть окно? А то прямо мурашки бегают...

Анна Рудольфовна сняла пенсне, не спеша оглядела окно, потом всю нашу парту и, наконец, меня в отдельности.

— Свою просьбу вы, Котлов, вполне могли бы изложить по-немецки. Кроме, разумеется, слова «мурашки», которого мы еще не проходили.

Анна Рудольфовна была единственной учительницей в нашем классе, а пожалуй, и во всей школе, которая называла учеников на «вы». С этим «вы» у нас случалось много разных историй. Вот, например, скажет Анна Рудольфовна ученику, стоящему у доски: «Вы свободны», — и мы все дружно вскакиваем со своих мест.

Получив разрешение, я взобрался коленками на подоконник, еще шире раскрыл окно и высунулся на улицу.

— Котлов, зачем столько лишних движений? — сказала Анна Рудольфовна. — Чтобы сделать простой перевод с немецкого, вы зачем-то наваливаетесь на парту, сопите и даже высовываете язык. А чтобы закрыть окно, вылезаете на улицу.

Я ничего не ответил Анне Рудольфовне и еще больше свесился вниз. Наконец я все разглядел, спрыгнул на пол и, тяжело вздохнув, направился к своей парте.

— Котлов, вы же забыли закрыть окно, — сказала Анна Рудольфовна.

И в самом деле... Забыл! Надо было выкручиваться.

— А я, Анна Рудольфовна, вижу: люди внизу без пальто идут. Ну, значит, думаю, потеплело уже!

— Потеплело? — Анна Рудольфовна развела в стороны свои пухлые, короткие руки, которые хотелось назвать «ручками». — А как же ваши мурашки?

— Все нормально! — бодро ответил я и сел на свое место.

— Ничего не понимаю! — по-немецки воскликнула Анна Рудольфовна. И с размаху, даже не примериваясь, насадила пенсне себе на нос.

Мой сосед Витька Бородкин, по прозвищу Витик-Нытик, прошептал так, словно великое открытие сделал:

— У тебя, Котелок, башмаки только что в починке были, да?

— Откуда ты знаешь?

— А бумажки к подошвам приклеены. — Витька подмигнул: вот, мол, какой я сообразительный. — Ты на коленях стоял, а я твои подметки разглядывал.

И любит этот Витька всякими пустяками заниматься!

Я взял ручку, как всегда навалился на парту и написал на белом клочке: «В «Авангарде» идет «Под чужим именем». Заграничная! Во всю стену — человек в черной маске, со шпагой и в сапогах с отворотами».

Витька ответил на том же клочке: «Значит, опять завтракать не придется? Очень есть хочу».

Я с презрением посмотрел на голодного Нытика, для которого какие-то несчастные пончики в масле были важней черной маски, шпаги и сапог с отворотами. «Можешь проедать свои деньги! — со злостью написал я. — В кино нас все равно не пустят».

— Почему-у? — сразу забыв про пончики, разочарованно прошептал Витька.

На белом клочке больше не было места, и я тоже ответил шепотом:

— Потому что чертову бумажку повесили.

«Чертовой бумажкой» мы называли зловредное объявление о том, что «дети до 16 лет не допускаются». А как мы в тот день мечтали быть в «Авангарде»!

«И неужели это правда, что взрослые люди, в особенности женщины, хотят выглядеть помоложе? — думал я. — Не верю! Только сумасшедший может убавлять себе года. Ведь для взрослых — все на свете удовольствия. Вот мой старший брат, Дима. Он может смотреть в кино любую картину, и во взрослую читальню записаться, и вечером на симфонические концерты ходить. Ну, я, положим, не особенно рвусь на симфонические концерты. Но почему все-таки ему можно, а мне нельзя?..»

В общем-то, мои рассуждения ни к чему не привели. Так что можно считать, что все началось не на уроке немецкого языка, а после этого урока, когда Анна Рудольфовна, прощально помахав пенсне, сказала нам: «Ауфвидерзеен!» — и мы вырвались на большую перемену.

Я сразу побежал на четвертый этаж, к своему старшему брату Диме.

С каждым этажом ребята все выросли, а большая перемена становилась все тише. На втором этаже носились, кричали, свистели и толкались самые лихие, самые буйные — пятые и шестые классы. На третьем этаже тоже шумели и бегали, но уже не дрались и не свистели. А уж на четвертом были тишина, спокойствие и даже свои правила уличного, или, верней сказать, коридорного, движения: старшеклассницы под руку и в обнимку ходили по самому центру коридора, а старшеклассники с умным видом жались у стен и подоконников.

К Диме я бежал за деньгами на завтрак. Мама уверяла,

что если дать мне эти деньги утром, дома, я их до школы не донесу.

На большой перемене, солидно порывшись в своем кошельке, Дима всегда предупреждал:

— Сейчас же прямым ходом — в столовую. И бери не селедку, а что-нибудь существенное. Я проверю! Смотри, Котелок!..

Проверять-то он, конечно, не проверял, а говорил все это просто так, чтобы унижить меня в глазах своих товарищей. Но и на этом Дима не успокаивался: он напяливал свои очки в толстой оправе, как у Ботвинника, разглядывал меня и обязательно делал какие-нибудь замечания.

— Эх, Севка, уже всю рубашку помял! Если бы сам гладил, так не мял бы, наверное!..

— Эх, Севка, всю куртку в чернилах вымазал! Если бы сам покупал, так, наверно, не мазал бы!..

Честное слово, мне казалось, что Дима никогда не был в пятом классе, а так прямо и родился на свет важным девятиклассником в роговых очках! Да, хорошо быть взрослым человеком: всегда можно поизмываться над своим младшим братом да еще со всех сторон похвалы за это получать: «Ах, какой ты заботливый! Ах, какой воспитатель!»

В тот день Дима, как обычно, выдал мне деньги, приказал по дороге в буфет никуда не сворачивать и уже приготовился сделать замечание, но не успел. Мимо нас какой-то подпрыгивающей, воробьиной походкой проходила Дими́на классная руководительница — сухонькая старушка. Она, между прочим, учила ребят математике еще тогда, когда не то что я, а даже мой папа на свет не родился. Старушка остановилась, заглянула снизу мне в лицо и сказала Диме:

— Котлов, это твой младший брат! Я так и подумала. Вы похожи, как две капли воды. — Взяв меня за пуговицу, она спросила: — В каком ты классе?

— В пятом «В».

— В пятом? Какой рослый! Меня обогнал и тебя, Котлов, скоро перерастет.

— Да, в смысле роста он не подкачал, — ответил Дима таким тоном, будто во всем остальном я очень даже подкачал.

— Похож. Удивительно похож! — повторила старушка. — Только вот зрение он себе еще не успел испортить. А так, если не считать очков, одно лицо. Тебя как зовут?

Я, помню, не сразу ответил, потому что в ту самую минуту меня осенила одна очень важная идея. Просто потрясающая! Вот с этого все и началось...

МНЕ — ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ!

На последнем уроке все рисовали цветочные лепестки, тычинки и пестики. И Витик-Нытик тоже рисовал, деловито посасывая кончик чернильного карандаша. Губы у него сделались синие, словно он целый день в реке сидел. Я толкнул Витьку в бок — и один пестик сразу стал длиннее других.

— Ну-у, во-от еще!.. — заныл Витька. — Все испо-ортил!..

Зарывшись в учебник и будто разглядывая рисунки, я прошептал:

— Вопрос есть. Очень важный!

Витькины уши зашевелились от любопытства.

— Как ты думаешь, наш Димка фотографируется в очках или без очков? А?

Витька жалобно вздохнул:

— Издеваешься, да?

Это была Витькина болезнь: ему всегда казалось, что кто-то над ним насмехается, что кто-то его обижает или одурачивает.

— Бородкин, тебя удивляет структура цветка? — спросила ботаничка. — У тебя есть вопрос?

— Да не-ет... — протянул Нытик. И снова взялся за рисование.

«В очках или без очков? В очках или без очков?» — все время думал я и, сам того не замечая, строил из лепестков и тычинок короткие фразы: «Под чужим именем... Под чужим именем...»

Домой мы с Витькой бежали, задевая прохожих и бормоча извинения, которые, кроме нас самих, никто, конечно, не слышал. Витька еле поспевал за мной, но и задыхаясь от бега, он умудрялся все же потихоньку скулить:

— Ну скажи-и, в чем дело? Ну скажи-и... Сам знаешь, а мне не говори-ишь...

Я отмахивался от него:

— Вот дома все проверю, тогда и скажу. Подожди у парадного... Я мигом!

Мама считала меня растяпой номер один. Но были еще

растяпы номер два и номер три — Дима и папа. Им было категорически запрещено таскать с собой документы: «Обязательно потеряете! Или в троллейбусе вытащат».

— А если я вдруг нарушу правила уличного движения, — восклицал папа, — и у меня потребуют паспорт?

— Не делай этого! — преспокойно отвечала мама. — Человек без паспорта не должен нарушать никаких правил.

И дома паспорта лежали не где-нибудь в открытом ящике, а прятались в книжном шкафу: папин — в третьем томе Мамина-Сибиряка, а Димин — в восьмом томе Малой советской энциклопедии.

Я стал нетерпеливо листать страницы: перед глазами замелькали портреты, диковинные машины, скелеты рыб и древних животных. Но паспорта не было... В спешке я и не заметил, как тонкая темно-зеленая книжечка выскользнула из тяжелого синего тома. Паспорт валялся на полу, у моих ног, — тот самый паспорт, который мама всегда брала только двумя пальцами, как драгоценность.

Я поднял паспорт, раскрыл его — ну ясно, я так и знал! Дима нарочно сфотографировался в очках, чтобы испортить все дело. Вставил свои глаза в противные черные рамочки и еще ехидно улыбался сквозь них: вот, мол, ничего у тебя не выйдет!

На самом деле Дима вовсе не улыбался, а очень даже напряженно смотрел куда-то вдаль. Но это я после разглядел.

Я подошел к зеркалу, взглянул на Димину фотографию, а потом на себя, еще раз на фотографию — и на себя. Лица, конечно, похожи. Но вот очки...

Дима часто называл меня «великим комбинатором». Я еще тогда не читал книжки про «великого комбинатора» и думал, что это какой-нибудь симпатичный, умный и находчивый человек. Дима называл меня так не даром: ведь я никогда не унывал больше пяти минут, а на шестой минуте уже находил выход из любого положения. Так было и на этот раз.

Я вспомнил, что в левом ящике письменного стола лежат мамины очки. На работу мама ходила без очков и надевала их только по вечерам, когда читала, да еще в кино захватывала.

«А есть ли какая-нибудь разница между мужскими и женскими очками? — подумал я. — Сейчас узнаю!»

Я достал из письменного ящика гладенький пластмассо-

вый футляр, вынул очки. Они были не в толстой роговой оправе, как Димины, а с тоненьким черным ободком. Но ведь каждый человек может, например, разбить свои очки и потом купить другие. Или даже иметь две пары очков: одни домашние, а другие, так сказать, парадные, выходные. Конечно, может!

Я надел очки на нос, подошел к зеркалу — и увидел какую-то расплывчатую, бесформенную физиономию. Казалось, что я переглядываюсь сам с собой сквозь мутное стекло. Как же я буду ходить в этих очках по улице? Но тут я вспомнил, что мама, отрываясь от книги и желая сделать мне какое-нибудь замечание, всегда глядела поверх очков. Я сдвинул металлическую дужку на кончик носа и взглянул на себя поверх тоненьких черных ободков. А потом — на Димину карточку, на карточку — и на себя. Права была старушка учительница: одно лицо!

Не снимая очков, я помчался вниз. Витька чуть сумку не выронил:

— Ты-ы?..

— Нет, не я. Вовсе не я! Перед тобой девятиклассник, круглый отличник учебы и дисциплины Дмитрий Котлов. Не веришь? Проверь, пожалуйста!

С этими словами я протянул Витьке паспорт.

— Опять издеваешься? Опя-ять?..

— А что, разве не похож?

— Похож-то похож, но...

— Раз похож — значит, дело в шляпе, — перебил я Нытика. — Пойду в кино под чужим именем. Понял?

— А я-я?..

— Что ты?

— А я домой, да?..

— Так ведь паспорт у меня один. Был бы у тебя старший брат — и ты бы пошел в кино. Если бы был похож на него! Сам виноват...

— А ты на Димкин паспорт сразу два билета возьми.

— Возьми!.. Билеты не берут, а покупают. Понял? За деньги! А ты свои деньги в буфете проел. Ведь проел, да?

Витька грустно кивнул головой и снова затянул:

— Возьми-и меня... Я только издали посмотрю, как у тебя с билетом получится... И сразу уйду. Только посмотрю. Возьми-и, Котелок! Котело-очек!..

Мне стало жалко Нытика: ну разве он виноват, что у него

нет старшего брата, а есть только одна младшая сестра, да и та на него ни капельки не похожа? И аппетит у него какой-то ненормальный: вот взял и потратил все деньги на пончики. Таких людей жалеть надо.

«ПРИГОТОВЬТЕ ПЯТЬДЕСЯТ КОПЕЕЧЕК!»

Смотреть все время поверх очков оказалось не так-то легко: глаза очень уставали. Да и кончику моего носа было как-то не по себе: сперва он только чесался от металлической дужки, а потом вовсе онемел под тяжестью маминых очков. Тогда я подтянул дужку к переносице и стал смотреть сквозь стекла. Все кругом сразу расплылось.

И тут я подумал: «Зачем же так истязать свои глаза и свой собственный нос? Зачем? Буду надевать очки только, как говорится, при предъявлении документа. Не мог раньше додуматься!»

Я спрятал очки в боковой карман куртки — и все вокруг опять стало нормальным: люди как люди, деревья как деревья и солнце в небе как солнце — круглое, золотистое, с ровными, а не расплывчатыми краями.

Ноги мои задвигались легче, веселее. И даже так весело, что мы с Витькой перебежали улицу в неподложенном месте. И сразу спину мне защекотал свисток милиционера.

Обычно в таких случаях мы с Витькой ныряли в первый попавшийся магазин. Витька и сейчас так сделал. А на меня напала необычайная храбрость. Я быстро посадил очки на кончик носа и вразвалочку, не торопясь зашагал к милиционеру.

— Куда ты? Куда-а? — кричал из дверей магазина Витька.

Но я уже был на середине улицы.

— В чем дело? — спросил я у милиционера.

— Был бы постарше, мы бы тебе показали, в чем дело!..

— А что именно вы бы мне показали?

— А то именно, что документики бы твои проверили!

— Ах, документы? Пожалуйста!..

Я вытащил паспорт и протянул его милиционеру. Тот козырнул мне и сразу перешел на «вы». Но от этого «вы» мне легче не стало.

— Так у вас, оказывается, паспортчик имеется?! —

почему-то очень обрадовался милиционер.— Порядок! Вот мы вашу прописочку проверим. Так... Все нормально. Тогда, будьте любезны, приготовьте пятьдесят копеечек.

Милиционер попался обходительный: он так и сыпал уменьшительными словечками, а себя почему-то величал во множественном числе.

— Что вы просили приготовить? — переспросил я.

— Пятьдесят копеечек, молодой человек! Бывшую пятерочку, так сказать! Штрафик вам уплатить придется. Если бы вы каким-нибудь мальчишкой неосознательным были, тогда, понимаете, другой разговор. А то паспортчек имеете! Взрослый, можно сказать, гражданин. Понимать должны. Так что будьте любезны.

Я вспомнил нашего учителя математики. После чьего-нибудь удачного ответа у доски он с удовольствием потирал руки и говорил: «Получите-ка свою пятерочку». Сейчас положение было совсем другим: пятерочку надо было не получать, а отдавать.

В кармане у меня лежало всего сорок копеек. Но и их я вовсе не собирался отдавать этому ласковому милиционеру. Для вида я пошарил в карманах и говорю:

— Вот несчастье: бумажник дома забыл!

— Ага, очень даже понятно,— усмехнулся милиционер.— Правила нарушать вы не забыли, а бумажник, значит, забыли.

— Значит, забыл...

И зачем меня понесло сюда, на середину улицы? Забыл про свои ш е с т н а д ц а т ь лет? Удрать бы сейчас! Но удрать я не мог: паспорт был в руках у милиционера. Он разглядывал его так внимательно, словно хотел наизусть выучить все, что было выведено на водяных знаках густой черной тушью.

А в это самое время пешеходы у него за спиной перебежали улицу где хотели. «Хоть бы спасибо сказали! — со злостью думал я.— А то бегут — и никакого внимания!»

Вид у меня, наверное, был очень расстроенный, потому что милиционер поспешил успокоить:

— Не волнуйтесь, молодой человек. Мы вам повесточку домой подошлем. Тогда уж, правда, побольше заплатить придется. Но ничего не поделаешь, раз бумажник забыли. Вот я ваш адресочек сейчас перепишу.

И он переписал мой «адресочек» в растрепанный блокнот, состоявший из отдельных листков. Потом протянул паспорт,

снова козырнул и зашагал себе как ни в чем не бывало по середине улицы.

А я вернулся на тротуар.

— Ну что? О чем ты с ним разговаривал? — набросился на меня Витька.

— «О чем, о чем»! — огрызнулся я в ответ. — Хорошо вам, молокососам, без паспорта!..

ПОПАЛСЯ!

В кассе остались только самые дорогие билеты. Значит, нужно было ждать, пока начнется очередной сеанс и кассирша станет продавать билеты на следующий. А ведь до этого она еще закроет свое окошко и будет минут двадцать стучать деревянным штампиком по синей билетной книжке, словно азбуку Морзе выстукивать.

В нашем распоряжении было часа полтора. Что же делать?

Я сразу вспомнил про взрослую библиотеку. Она была совсем рядом, на углу, но попасть туда я раньше никак не мог: записывали только по паспорту. «Вот пойду сейчас и попрошу книжку про великого комбинатора. Надо же узнать в конце концов, с кем сравнивает меня Дима!» Я много раз слышал, как Димины приятели читали эту книжку вслух и хохотали так, что однажды летом дворничиха сразу пришла: «Надо и совесть знать: всех пенсионеров во дворе распугали!»

А мне было не до смеха: меня каждый раз выставляли в другую комнату. Я, конечно, прилипал ухом к замочной скважине, но из-за их дурацкого хохота ничего толком не мог понять. Чаще всего Димины приятели читали главу про какой-то шахматный турнир. Дима ее прямо всю наизусть знал...

«Сейчас и про турнир прочитаю и вообще посмотрю, что уж там такого смешного», — думал я, с трудом открывая тяжелую дверь читального зала, всю увешанную объявлениями о литературных конференциях и обсуждениях.

— А я-я?.. — заныл Витька. — Ты будешь смеяться, а я буду здесь ходить как дурак, да-а?..

— Если можешь, ходи как умный. Мне не жалко.

— Сам ты уж больно умный. Хи-итрый ты! Вот!.. —

Витька опустил голову и обиженно заколесил по прохладному и темному вестибюлю.

— Можешь объявления почитать. Тоже интересно! — крикнул я уже сверху.

И тут меня кто-то схватил за руку.

— Вы что, молодой человек, на бульвар пришли?

Седая, бесшумно передвигавшаяся женщина в синем халате была возмущена, но говорила шепотом.

Мне, между прочим, всегда казалось, что у библиотекарей какие-то особые голосовые связки. «Это у них чисто профессиональное, — объяснил мне Дима. — Знаешь, от вечной темноты можно ослепнуть, а от вечной тишины — потерять половину своего голоса».

— И вообще мы детей не обслуживаем, — произнесла библиотекарьша так тихо, словно рядом спал тяжелобольной человек и она боялась его разбудить. — Мы только по паспорту записываем.

— Вот и прекрасно! — тоже вполголоса воскликнул я. — Нечего здесь всяким несовершеннолетним слоняться. Пожалуйста!..

Я протянул паспорт — и вдруг мне показалось, на библиотекарьше не синий халат, а синяя милицейская форма и что в руке у нее не толстый граненый карандаш, а полосатый орудовский жезл. Точь-в-точь как ласковый милиционер, только еле слышно, она сказала:

— Так у вас, оказывается, паспорт есть? А вести себя в читальне не научились! Были бы вы каким-нибудь там шестиклассником, тогда другое дело. А то — взрослый человек!

Библиотекарьша обвела меня сердитым взглядом, как говорится, с головы до ног — и неожиданно жалость появилась у нее в глазах, точно она хотела сказать: «И какой же ты чахлый для своего возраста! И какой же ты щупленький!»

— Ладно уж, запишу вас, так и быть.

Она направилась к своему столику, по краям которого стояли длинные узкие ящики с карточками. И тут я с ужасом вспомнил, что ведь Дима давно уже записан в этой самой читальне.

— Не надо меня записывать, — схватил я библиотекарьшу за синий рукав. — Не надо... Я уже и так... давно к вам хожу...

— Где же ваш читательский билет?

— Билет?.. Ах, билет?! Я его дома забыл.

— Тогда придется паспорт в залог оставить.

— Конечно! — обрадовался я, нацепляя на нос мамины очки. — Возьмите себе на здоровье!

Библиотекарша удивленно подняла на меня глаза, но ничего не ответила.

— Мне бы «Двенадцать стульев», — попросил я уж так тихо, что она и не расслышала толком.

— Стулья? Да, да, стулья для читателей имеются, конечно. Пожалуйста, садитесь, — сказала она, все еще жалостливо разглядывая меня. — Садитесь. Вы что-то слегка побледнели.

Я, конечно, побледнел, когда она заговорила про читательский билет. Но теперь уж опасность миновала.

Седая библиотекарша была похожа на старую, добрую учительницу, и ей, наверно, было трудно сердиться.

— Мне бы книжку «Двенадцать стульев»... Книжку... — уже громче попросил я.

Она довольно ловко для своих лет поднялась по деревянной приставной лестнице и вытащила потрепанную книжку, плотно зажатую соседними томами. Книжный ряд тут же сомкнулся, и даже щелочки не образовалось. Библиотекарша задумчиво погладила «Двенадцать стульев», будто прощаясь с ними. Потом взглянула на корешки других книг, утешая их: ничего, мол, ваша соседка скоро вернется на свое место. Спускалась она с лестницы гораздо медленней, чем поднималась, нежно прижимая «Стулья» к груди.

Книга эта сразу, уже одним своим видом, мне очень понравилась. Я любил зачитанные книжки с пожелтевшими страницами и зубчатыми, потрепанными краями. У таких книг даже запах особенный: понюхаешь — и сразу читать захочется.

Я вошел в читальный зал, весь уставленный солидными, важными столами. Я еще ни разу в жизни нигде не заседал, но мне всегда казалось, что именно за такими вот длинными столами происходят разные скучные заседания...

В зале была мертвая тишина. И только сами книги, которые чувствовали себя полными хозяевами, чуть-чуть нарушали ее: они осторожно переговаривались, шелестя страницами. Все сидели с опущенными головами, словно провинились в чем-нибудь.

Я пошел к самому дальнему столу, за которым сидел один только человек — пожилой, лысый дядя. На улице

стоял конец апреля, а дядя был в белых полотняных брюках и белой рубашке с отложным воротником. Словом, одет он был до того по-летнему, что мне показалось, будто в читальном зале жарко и душно. На столе возле него лежали белая панама и палка с гнутой, похожей на крендель, ручкой.

Читая журнал, лысый дядя согласно покачивал головой.

Я стал перелистывать «Двенадцать стульев» и вскоре понял, что Дима сравнивает меня с самым настоящим жуликом. «Ну ладно! — подумал я. — Вот прочту побольше книг и найду, с кем тебя сравнить, Димочка!.. Найду какого-нибудь злодея!»

Но потом я перестал злиться, начал потихоньку хихикать, и это доставило почему-то лысому дяде большую радость. Можно было подумать, что он вместе со мной читает книгу и ему тоже смешно.

Наконец я добрался до главы о шахматном турнире и уж захохотал во все горло. В дверях возникла старая библиотечарша. Вид у нее был такой, словно в доме начался пожар и пламя уже пожирало самые ценные книги.

— Как вы себя ведете?!

Вместо меня ей ответил лысый дядя:

— Ничего особенно. Просто молодой человек очень заразительно смеется, а смех — это те же витамины! Послушайте, как он хохочет. Нам с вами так уже не похохотать!

— Но хохотать надо про себя! — шепотом возразила она.

— Нет, вы послушайте только, что здесь написано! — воскликнул я, думая рассмешить библиотечаршу. — Здесь написано: «Великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни...» Всего второй раз! А полез сражаться на тридцати досках!..

— Ну и что? — преспокойно спросила библиотечарша. — Это вовсе не значит, что можно безобразничать в читальном зале. Смейтесь, пожалуйста, про себя. Иначе я-вас просто выведу отсюда.

— Не дают развернуться молодому организму, — вздохнул добрый лысый дядя.

А я продолжал читать про шахматный турнир. Я, честно говоря, не очень-то понимал, как это можно «хохотать про себя». Но все же старался: зажимал рот рукой, фыркал то в рукав, то в носовой платок, а то прямо в книжку.

Глава о турнире с каждой строчкой становилась все смеш-

нее. Когда, наконец, «великий комбинатор» проиграл двадцать девять партий из тридцати возможных, мне очень захотелось прочитать эту главу Витьке Бородину. «Ходит сейчас один по вестибюлю, читает объявления, — с жалостью подумал я. — Небось уж все их наизусть выучил!» Витька хоть и был нытиком, но мы с ним все-таки родились в одном доме, дружили, как говорила мама, «буквально с пеленок» и всю жизнь за одной партой сидели.

Да и вообще я очень любил пересказывать своим приятелям и папе с мамой фильмы, которые мне нравились, и книжки любил перечитывать вслух. Читая, я все время предупреждал: «Ох, сейчас страшно будет!.. Ох, сейчас смешно будет!..» И если мои слушатели и правда волновались или смеялись, я получал огромное удовольствие. Мама говорила, что это «непроизводительная трата времени». А папа не соглашался с ней и утверждал, что в моем характере понемножку «все же торжествует общественное начало».

Мне очень хотелось прочитать Витьке главу из «Двенадцати стульев». Но как это сделать? Как вынести книгу в вестибюль?

План созрел быстро: засуну «Двенадцать стульев» в штаны, под ремень, и выйду, как будто для того, чтобы попить газированной воды. Пить мне и правда хотелось. Все было ясно... Но как только я начинал засовывать эти «Двенадцать стульев» под ремень, лысый дядя поднимал на меня свои добрые глаза, а мне приходилось перемещать книжку немного повыше и прижимать ее нежно к груди, как это делала старая библиотекаря.

Лысый дядя умилялся чуть не до слез:

— Ах, до чего наша молодежь любит литературу!

Когда же наконец он углубился в свой старый журнал и на несколько минут оставил меня в покое, оказалось, что надо расстегнуть пояс, потому что «Двенадцать стульев» в брюки не лезут. Для маскировки я вытащил рубашку из брюк, и тут добрый дядя вновь с любовью взглянул на меня. Заметив некоторое изменение в моем туалете, он очень удивился.

— Как-то жарко, знаете. Душно... — объявил я и стал обмахиваться краем рубашки, вытащенной из брюк.

— Температура вполне терпимая. И даже прохладно, я бы сказал. Но, может быть, вам не по себе, молодой человек?

Добрый дядя перегнулся через стол и схватил меня за кисть руки. Но пульс у меня оказался абсолютно нормальным.

— Да нет, ерунда,— тихонько вырвался я.— Сейчас все пройдет.

— Не говорите так, не говорите. Сердце — очень загадочный механизм. От него можно ждать всяких сюрпризов и неожиданностей. Вот я — врач, а и то не поручусь за свой двигатель внутреннего сгорания.— Он похлопал себя по груди.— Так что понюхайте немного нашатыря.

Он достал из потайного кармашка брюк маленький пузырек и, перегнувшись через стол, поднес его к моему носу. Пузырек был вонючий, но пришлось глубоко вдыхать...

Два раза чихнув, я почувствовал заметное облегчение, заправил рубашку обратно в брюки, а добрый дядя посоветовал мне:

— Если еще когда-нибудь почувствуете духоту, охлаждайте прежде всего голову, а не живот. И дышите всей грудью, как во время гимнастики...

Я обещал действовать именно таким образом.

Еще некоторое время добрый дядя ворчал по поводу излишней перегрузки учащихся домашними заданиями, огорчался, что я так рано испортил свое зрение и уже вынужден носить очки. Но вот наконец он взглянул на часы, сказал: «Мне пора!» — и направился к выходу.

Теперь уж ничто не могло помешать мне. Я запихнул книжку в брюки, под пояс, и тоже пошел к двери. Я старался идти как можно уверенней, но шаг у меня получался каким-то напряженным, деревянным. «Двенадцать стульев» неприятно щекотали живот и все время грозили вывалиться наружу.

Увидев меня, старая библиотекарьша привстала и наклонилась над столиком:

— Вы куда же собрались, молодой человек?

Согласно паспорту я за один день постарел сразу на четыре года, но никогда еще мне так часто не напоминали о моей молодости: все — и милиционер, и добрый дядя, и старая библиотекарьша — называли меня «молодым человеком». А раньше меня называли просто мальчиком, без всякой добавки... «молодой».

— Попить что-то захотелось,— объяснил я библиотекарше.

— Попить? Так у нас ведь графин на каждом столе.

— Ах, графин? Я что-то не заметил. Мне, знаете, газированной воды захотелось. С сиропом...

— А книжку вы в читальном зале оставили?

Я хотел было сказать: «Да, конечно, оставил!», но сама книга не дала мне соврать — она, будто по приказу библиотекарши, стремительно нырнула в левую штанину моих брюк. Я вскрикнул, согнул ногу в колене, как аист, и схватился за штанину. Разговаривали мы шепотом, а вскрикнул я полным голосом, так что библиотекарша от неожиданности вздрогнула и схватилась за край стола. Так мы оба и вцепились руками: я — в штанину, а она — в стол.

— Что с вами, молодой человек?

— Судорога свела...

— Судорога? Странно! А почему у вас брючина так раздулась?

— Опухоль. Нога что-то опухла...

— А вот я вам сейчас разотру ее — и судорога пройдет. — Библиотекарша подошла ко мне. — Да вы не стесняйтесь: у меня уж внуки такие, как вы.

— Не трогайте! Не трогайте... мою ногу, — зашептал я. — Там воспаление...

— Воспаление хитрости, как говорит моя маленькая внучка. — С этими словами библиотекарша проворно вытащила книгу из моей левой штанины и потрясла ею в воздухе: — Вы хотели похитить книгу? Источник знаний?! — воскликнула она.

— Я не хотел похитить... Я только Витьке показать... Вынести на минутку — и сразу обратно...

— Сейчас вот занесу вашу фамилию в наш «черный список врагов книги» — и больше сюда не показывайтесь. На порог вас не пустим!..

Она достала из ящика мою темно-зеленую книжечку, переписала все данные о бедном Диме в свой «черный список» и буквально швырнула мне паспорт.

Я молча взял его и поплелся вниз.

Витька все еще петлял по вестибюлю. Заметив меня, он испугался:

— Что случилось, а?

— Молчи, Нытик несчастный! Все из-за тебя... Из-за тебя нашего Диму больше никогда не пустят в читальню. Никогда!.. И он умрет необразованным человеком! Понял?

ОДИН НА ДВОИХ

В очереди у кассы я оказался самым первым, так что мог даже опираться на маленький деревянный подоконничек. Само стеклянное окошко было еще закрыто, сквозь щелку пробивался желтый электрический свет, и было слышно, как кассирша штампует билеты.

С другой стороны на деревянный подоконничек опирался еще и милиционер, следивший за порядком. Он был не похож на того милиционера, который переписал в растрепанный блокнот мой «адресочек»: этот был гораздо нарядней — весь какой-то начищенный и выглаженный.

Милиционер был очень вежлив и внимателен к людям, стоявшим в очереди за моей спиной.

— Очень прошу вас, товарищи, прижмитесь к стене. Вам же удобнее будет: никто не заденет, не толкнет (он именно так и сказал: «не толкнет»). И не волнуйте себя, пожалуйста. Билетов много, всем достанется.

Но даже самые воспитанные и вежливые люди не вполне доверчиво относятся к мальчишкам, появляющимся во «взрослых местах». Словно мы обязательно должны сделать что-нибудь скверное...

— Чего ты здесь разлегся? — совсем другим голосом, точно в нем сидело два разных человека, сказал мне милиционер. — Все равно не получишь билетов.

Услышав эти слова, Витька, прятаясь в углу, возле автомата, обрадовался и глупо заулыбался: вот, дескать, ничего у тебя не получится. Сейчас вместе домой пойдём!

Я поверх маминых очков взглянул на милиционера, потом с презрением — на Витьку, вынул из бокового кармана Димин паспорт и помахал им в воздухе.

— Тогда извиняюсь, — сказал милиционер и зашагал по вестибюлю. — Сейчас будем кассу открывать, товарищи. Прижмитесь к стеночке, получше прижмитесь.

Милиционер, заложив руки за спину, как победитель, один расхаживал по вестибюлю, а все прижимались к стенке.

Наконец кассирша убрала фанерную дощечку, закрывавшую окно, и по очереди пронесся ветерок: «Дают! Дают!..» Очередь ожила, зашевелилась.

Я поверх очков взглянул на кассиршу, которая, как все кассирши кинотеатров, была строгой, не глядела на людей, а только на билеты и деньги.

— Какие у вас самые дешевые? — спросил я, поверх очков изучая разложенные на столике синие билеты и план зала, в котором еще не было зачеркнуто ни одного места.

Кассирша подняла на меня глаза (это было очень плохим признаком!) и безразличным голосом процедила:

— Есть по двадцать. А тебе сколько лет?

Я опять помахал Диминым паспортом и протянул в окошко двадцать копеек, запотевших у меня в ладони. А взамен получил узкий синий билетик на свое самое излюбленное место — в первом ряду партера.

Когда Витька понял, что домой ему все же придется идти одному, он очень загрустил:

— Ну во-от. Всегда так получа-ается...

Мы стояли в темном углу, возле автомата. Молодой человек в пиджаке болотного цвета, как скамейки на нашем бульваре, подскочил к телефону, быстро-быстро набрал номер и заворковал:

— Мусенька, я достал самые лучшие места. Восемнадцатый ряд! Как ты любишь... Самая серединка.

— Называется, достал! — усмехнулся я. — По пятьдесят, наверно... У меня вот по двадцать копеек — это я понимаю!

Витька вздрогнул:

— Ты по двадцать достал?! Так, значит, еще двадцать копеек... осталось? Ведь десять-то ты со вчерашнего дня сэкономил. Я по-омню! Чего же мне билет не купил?

— Не догадался!

— Ну да-а, не догада-ался. А еще дру-уг называется. Теперь мне домой идти, да-а?..

Мне было стыдно перед Нытиком: «Как же я... забыл?»

— А ты чего сам-то молчал? — набросился я с досады на Витьку. — Где ты был раньше?

— Я думал, у тебя ничего не вы-ыйдет... Я думал, не получится... Да еще по двадцать копеек... Откуда я знал?

Вдруг несчастный Витик оживился:

— Слушай, Котелок, а если тебе еще раз в очередь встать? Ради дру-уга! А? И мне достанешь билет. А? Тогда вместе пойдем!

— Да как же я второй раз?.. Нельзя.

Витька ничего не ответил, а молча, опустив голову и грустно постукивая себя портфелем по коленкам, побрел к выходу.

Мне стало жаль несчастного Нытика. «И как же я не

догадался сразу попросить два билета? Про возраст кассирша спросила... Вот я и растерялся. Что теперь делать? Не идти же Витьке домой одному. Это нехорошо будет, не подружески как-то».

И я снова поплелся в очередь. Но уже не к окошку, а в самый-самый конец. И по всем правилам, как требовал милиционер, прижался к стене. Я прижался и даже слегка пригнулся еще и для того, чтобы не слишком вылезать вперед и не попадаться на глаза милиционеру. Но он, прохаживаясь перед очередью, как полководец перед строем, все же заметил меня:

— Вам что, молодой человек, одного билета мало? Спекулировать собираетесь?

— Н-нет... Я не спекулировать. Я товарищу очередь занял.

— Товарищу? А где ваш товарищ? В Анапу уехал?

«При чем тут Анапа? — подумал я. — Вот радуется, вот торжествует: думает, припер меня к стенке в прямом и переносном смысле! А я не поддамся...»

— Товарищ мой в Анапу не ездил. Ему там нечего делать. Вон он стоит. — Я преспокойно кивнул на Витьку и вышел из очереди, как бы уступая ему свое место. Побледневший от страха Нытик прижался к стене вместо меня.

— И ему тоже шестнадцать стукнуло? — немного растерявшись, спросил милиционер.

— Еще как стукнуло! — бодро соврал я. В самые трудные минуты на меня находила отчаянная решительность.

— И какая же мелкота пошла! — буркнул милиционер. Он презрительно оглядел Нытика, который от страха уж совсем съежился.

Проверять у него паспорт милиционер все же не стал: побоялся, что вновь выйдет осечка.

Но кассирша-то паспорт потребует — в этом я был уверен. Голова моя работала, как говорится, с полным напряжением. Что-то внутри так и подмывало меня не сдаваться.

Я сунул Витьке Димин паспорт:

— Покажешь кассирше. Только не раскрывай, а так... издали помаши. Ясно?

— Я-ясно, — жалобно ответил мне Нытик. Он до того перетрусил, что ему уж, наверно, и в кино идти не хотелось.

— А деньги? — вспомнил он. — Паспорта мало... Деньги нужны!

Я сунул ему в руку двадцать копеек.

— Ничего не полу-учится,— промямлил Витька.

Честное слово, смотреть на него было противно. Через каждые две минуты он оборачивался и повторял:

— Вот уви-идишь, ничего не полу-учится...

Я бы вытащил трусливого Нытика из очереди, отобрал у него паспорт и деньги... Но у меня появился прямо-таки спортивный интерес: надо достать еще один билет. Обязательно!

Чтобы не видеть кислой физиономии Нытика, я отвернулся к двери и стал изучать улицу. А в это время с грузовика в глубокую яму, вырытую на краю тротуара, осторожно опускали липу с длинными переплетенными корнями и застрявшей в них землей. Железные пальцы подъемного крана ухватились за ствол.

«Интересно, откуда привезли эту липу? — подумал я.— И где она росла раньше? Наверно, где-нибудь на пестрой полянке. Слушала она себе пение птиц и не думала, что привезут ее сюда, на шумную улицу, и посадят прямо напротив кинотеатра. И что каждый вечер под ее ветвями вместо птичьих песен будут раздаваться одни и те же слова: «У вас нет лишнего билетика? Лишнего билетика нету?»

Мои мысли были прерваны испуганным криком Нытика:

— Это мой паспорт! Мо-ой!..

Я обернулся и увидел ужасную картину: кассирша встала со своего места, от злости чуть не просунула голову в узкое окошко и, потрясая раскрытым Диминым паспортом, кричала:

— Я по нему уже продавала билет. Где ты его взял? Говори, где!..

— Это мой паспорт. Мо-ой!..— бубнил бледный Нытик.

— Взгляни на фотографию... Это ты? А где очки? Потерял? Пока владелец не найдется, не отдам документ!..

Увидев, что Димин паспорт в опасности, я бросился к кассе.

— Владелец уже нашелся! Нашелся владелец! Я тут...

— Ах, это ваш? А как же к нему попал?

— Н-не знаю...

— Не знаете? Может, он украл?

При слове «украл» милиционер грозно двинулся к Витьке. Нытик присел на корточки. Надо было спасти его!

— Он не украл. Не украл...— быстро заговорил я, обра-

щаясь то к кассирше, то к милиционеру.— Он не украл. Это я сам дал ему. Просто так, на время... Поносить...

— Ах, поносить дали? — еще сильнее возмутилась кассирша.— Так вы свой паспорт у администратора полúчите. Вход с улицы, за углом.

Она уселась на свое место.

Очередь неодобрительно оглядывала нас с Витькой. А одна ехидная гражданка, из тех, что всегда вмешиваются в чужие дела, поджала тонкие губы-полоски и спросила:

— У вас что же, молодой человек, один паспорт на двоих? Очень оригинально!

Я навалился на знакомый деревянный подоконничек.

— Отдайте мой паспорт. Отдайте!

Но кассирша не обращала на меня никакого внимания. Она опять глядела только на билеты и деньги да отрывисто повторяла:

— Вам какой ряд? Вам какой?

— Отдайте мой паспорт!

Люди в очереди принялись возмущаться и оттирать меня от окошка.

— Не мешайте, молодой человек. Вам русским языком сказано: полúчите у администратора!..

ПАСПОРТ В ПЛЕНУ

Итак, паспорт оказался в плену.

Администратор был взъерошенный человек, который, казалось, не спал двадцать ночей подряд. Он сидел в голубом закутке. За его спиной было полукруглое окошко, закрытое голубой, под цвет закутка, фанерой. В окно то и дело стучали, но администратор не открывал его, а только пожимал плечами и произносил одну и ту же фразу: «Вот люди!»

Войдя в комнату, я спрятался за шкафчиком, так что со стула, стоявшего в углу, меня не было видно. На этом самом стуле сидел, опираясь на палку с толстым гнутым наконечником, мой сосед по читальне — добрый лысый дядя.

Администратор не обратил на меня внимания. Он пристально следил за своими пальцами. А пальцы его барабанили по стеклу, лежавшему на столе и уже треснутому во многих местах. «Добарабанился!» — подумал я.

Лысый дядя между тем говорил:

— Поймите, что ко мне приехал зять из Актюбинска. Я не видел его уже пять лет!

Администратор продолжал барабанить, следя за пальцами, словно боялся сбиться с мотива.

— Может быть, и ваша дочь скоро выйдет замуж. И у вас тоже будет зять.

— Моя дочь учится в третьем классе, — не поднимая головы, буркнул администратор.

— Ну, так она лет через десять выйдет замуж.

Стекло стало потрескивать.

— Ну хорошо, хорошо... Допустим, ваша дочь никогда не выйдет замуж и у вас вообще не будет зятя.

Допустив это, администратор так хватил кулаком по столу, что стекло разлезлось в стороны по трем старым трещинам, как по швам.

— Успокойтесь, пожалуйста, — мягко сказал лысый дядя.

— Да что вы меня успокаиваете, как ребенка! В Москву каждый день приезжают тысячи зятьев, и я не могу всех их устроить вместе с тестями на девятичасовой сеанс. Не могу!.. Идите сейчас, на дневной...

— Но мой зять приехал в командировку — и днем он не может.

— А я не могу вечером!

Зазвонил телефон. Администратор снял трубку, и лицо его стало милым, а волосы, казалось, причесались сами собой.

— Здравствуйте, Лев Петрович, — замурлыкал администратор, схватившись за трубку двумя руками, точно боялся, что голос Льва Петровича убежит. — Пожалуйста, пожалуйста... Наши двери раскрыты для вас. На любой! Да хоть целый ряд занимайте...

— Значит, у вас все-таки есть билеты на девятичасовой сеанс? — раздался голос лысого дяди, который в этот момент был не таким уж добрым. — Льву Петровичу, значит, и без зятя «пожалуйста», а мне...

Администратор замахал руками: дескать, ладно, получите свои билеты, только разговаривать не мешайте!

Повесив трубку, он порылся в ящике стола, достал оттуда маленький квадратный листок, поднял глаза, чтобы найти ручку, и тут наконец обратил на меня внимание:

— А тебе что?

Я подошел поближе и увидел, что паспорт мой преспокойно лежит на столе.

— У меня вот... отобрали...

Администратор поспешно схватил паспорт и переложил в ящик, будто я мог стащить его.

— Паспорт, молодой человек, вы не получите. В школу отошлем!

— Отдайте... Я больше не буду. Никогда не буду...— угрюмо пообещал я.

Тут лысый дядя, который снова стал добрым, узнал меня и поднялся мне навстречу.

— Какими судьбами? И за что арестовали ваш паспорт? Он прижал палку к груди и заверил:

— Мальчик не мог сделать ничего дурного.

— Он не мальчик! — зло отчеканил администратор.— Был бы он мальчиком — тогда другой разговор. А то ведь вполне самостоятельный человек. Паспорт уже имеет!

Господи, как же мне надоела эта фраза: «Был бы он... тогда другой разговор...» Как я хотел поскорей положить паспорт на место, в восьмой том Малой советской энциклопедии, и поскорей вернуться в свои безопасные, симпатичные двенадцать лет! Как я хотел!.. Но сделать это было не так-то легко.

— Хорошо. Допустим, что он взрослый человек,— продолжал заступаться за меня добрый дядя.— Но он все же не мог совершить ничего дурного. Я видел недавно, с каким подлинным упоением читал он книгу. А человек, любящий литературу, не способен на плохие поступки. Не спо-со-бен! Литература возвышает и очищает... Он не мог сделать...

— Не мог сделать?! — Администратор с жалостью взглянул на лысого дядю: как, мол, плохо вы разбираетесь в людях.— Да он, если хотите знать, передал этот паспорт своему другу, не достигшему положенных шестнадцати лет. Чтобы тот незаконным путем купил в кассе билет!

Тон был такой, словно я что-то украл или что-то поджег.

Добрый дядя взглянул на меня, как бы спрашивая: «Неужели все это так?» Я опустил голову. Видя мое смущение, администратор совсем разошелся:

— Не получит он паспорт. Не получит! Учить их надо!

— Совершенно справедливо,— подхватил добрый дядя.— Надо учить! Вот и давайте лучше побеседуем с молодым человеком. Может быть, нам удастся убедить его.

— Здесь не детский сад! И не исправительная колония!
А я стоял и упрямо твердил:

— Отдайте мой паспорт. Отдайте!..

— С юридической точки зрения, вы не имеете права отбирать паспорт. Вот побеседовать, объяснить, даже в крайнем случае сообщить в школу...

За этот «крайний случай» и ухватился администратор. Перебив доброго дядю, он сказал:

— Ладно. Хорошо. Паспорт я ему отдам. Но в школу позвоню обязательно!

— А вот мы побеседуем с молодым человеком, обратимся к его совести... к его чувствам, — не отступал добрый дядя. — И тогда, я предполагаю, отпадет надобность в вашем звонке.

— У этих типов нет никакой совести! — взорвался администратор. — И не к чему нам с вами обращаться. Просто не к чему! Вы — культурный человек, газеты читаете, вероятно. Что там пишут? «Не проходите мимо!» А вы?.. Проходите и даже, можно сказать, пробегаете. Наверно, еще и прикуривать детям на улице даете и билеты у них покупаете по двойной цене. Знаем мы таких! Читали!.. И хватит!

— Вот именно: хватит! — поднялся добрый дядя. — Довольно. Вы — сторонники карательных мер, а я — воспитательных. И мы с вами никогда не договоримся. Я вот уже второй раз сегодня наблюдаю, как этого молодого человека ругают, но даже не пытаются побеседовать с ним, объяснить...

— Мне некогда тут болтать со всякими сорванцами, — ответил администратор.

— А чем вы так уж заняты, интересно знать? — с ехидством, которого я никак не ожидал от него, спросил добрый дядя. — Билеты Льву Петровичу организуете?

Я понял, что ни добрый дядя, ни его зять из Актюбинска в кино сегодня не попадут.

Администратор достал мой паспорт из ящика и, держа его в руке, спросил:

— Так какой номер школы?

Я мог бы, конечно, назвать любой номер. Любой!.. Но я так много хитрил и обманывал в тот день, что мне вдруг очень захстелось сказать правду. Да и перед добрым дядей было неловко: он так верил в возможность моего исправления! И я назвал номер своей школы, как-то даже не подумав в ту минуту, что опасность грозит вовсе не мне, а Диме. Ни в чем не повинному Диме!

Администратор зашелестел страничками Диминого паспорта. Добрался до прописки и стал изучать ее, чуть не разглядывая на свет.

— Да... По району совпадает. Странно!.. — сказал он. — Завтра же позвоню директору. Учить их надо!

Добрый дядя смотрел на администратора с жалостью, как на конченого человека.

— Не верите вы людям! А ведь столько, я предполагаю, разных фильмов пересмотрели. Могли бы уж научиться!..

Не дожидаясь ответа, он вышел из голубого закутка, зло постукивая своей палкой и совсем позабыв о билетах на девятичасовой сеанс, — вот до чего рассердился!

Я, спрятав Димин паспорт в боковой карман курточки, поплелся вслед за ним.

Добрый дядя нарочно шел медленно, чтобы я мог догнать его. А когда я догнал, он остановился и сказал:

— Вот вы, молодой человек, читали сегодня книгу двух блестящих сатириков. Читали? И вполне законно восторгались ею. А не подумали вы о том, что, будь эти сатирики сейчас живы и узнай они о вашем сегодняшнем поступке, вы бы вполне могли стать мишенью для их пера. И очень удобной мишенью.

Добрый дядя не знал, что я уж давно сделался этой мишенью: ведь не зря же, оказывается, Дима сравнивал меня с «великим комбинатором»! Я ничего не ответил, а только опустил голову и пошел дальше. Он сжалился и постучал своей палкой, требуя, чтобы я вернулся.

— А вообще-то, молодой человек, запишите телефон одного моего друга по гимназии — специалиста в области желез внутренней секреции. Он, я предполагаю, поможет вам... Как бы это сказать?.. Ну, подрасти немного... Окрепнуть! И в плечах стать пошире. А то вы несколько хилы для своего возраста. Да-да... несколько жидковаты.

«ХВАТИТ С НАШЕГО ДИМЫ, ХВАТИТ!»

Витька ждал меня на улице. Он бродил вдоль кинотеатра, волоча портфель чуть не по тротуару и постукивая им то по одной, то по другой ноге. Вид у него был печальный и виноватый.

— Все из-за меня-я? Да-а?..

Я махнул рукой.

— Пошли домой. Там разберемся.

— Домо-ой? А как же билет?

И тут только я вспомнил, что в кармане у меня лежит билет на очередной сеанс.

— В кино я не пойду. Иди сам, если хочешь.

Я протянул Витьке билет. Он осторожно взял его, потом вернул мне. Потом снова взял и стал разглядывать все печати и штампы, которыми, как лиловой татуировкой, был раскрашен весь билет.

— Не-ет, один я не пойду. Давай продадим лучше. За двадцать копеек сразу купят.

— Продавать?! — набросился я на Витьку. — Как ты сказал: продавать? Нет уж, хватит! На сегодня с нашего Димы хватит!..

— А при чем тут ваш Дима?

— Очень даже «при чем»! Подумают, что мы спекулируем, задержат, а влетит снова Диме. Хватит!

Я со злостью разорвал билет на мелкие синие клочки и, как говорится, развеял их по ветру.

«Бедный Дима! — думал я ночью, ворочаясь с боку на бок, и вздыхал. — Ни в чем не виноватый! И бедный... из-за меня!»

Дима уже дважды интересовался, почему я не сплю и не получил ли я двойку. Потом он спросил, не выдал ли я себя где-нибудь за участника экспедиции в Антарктиду. Дима был уверен, что я способен решительно на всякую выдумку. Не дождавшись моего ответа, он безмятежно, как младенец, засопел носом.

Если бы он знал, что его ждет завтра! Пришлют домой штраф — это раз. Не пустят в читальню — это два. Пожалуются директору школы — это три. Ну, штраф — еще полбеда. Несколько дней не буду завтракать — мне ведь не привыкать! — и все заплачу. А как быть с читальней и с директором школы?

Надо завтра рассказать Диме... Предупредить его! Нет, не завтра, а сейчас же, сию минуту! Я вскочил с кровати, прошлепал по полу и дотронулся до Диминого плеча.

— Ты не спишь?

Идиотский вопрос! Будто я не видел, что он спит как убитый... Еще два-три более энергичных толчка — и Дима ожил. Он открыл глаза. И, как всегда бывает со сна, не сразу

понял, где он и что происходит. Наконец во всем разобрался и преспокойно спросил:

— Что? Опять какая-нибудь идея?

Мне и по ночам иногда приходили в голову идеи, наедине с которыми я никогда не мог оставаться до утра. Я будил Диму и рассказывал ему о своих планах. Но он их не мог оценить по достоинству и называл «бредом» или еще более странно и грубо — «собачьей чушью».

А тут дело было весьма серьезным.

— Димочка, я должен рассказать тебе...

— Завтра, завтра!

Если бы он знал, что будет завтра!..

Шлепая обратно в постель, я думал о том, что носить паспорт в кармане и считаться совершеннолетним человеком — это не таксе уж легкое дело. Да, совсем не простое!

* * *

Директор нашей школы Елена Кирилловна сидела в маленькой комнате за маленьким столом. С одной стороны был телефон, а с другой — развернутый, словно книжка на деревянной подставке, календарь. Все это, вместе взятое, называлось у нас в школе «кабинетом директора».

Елена Кирилловна была такая же невысокая и полная, как вчерашняя библиотекарьша, такая же седая и такая же полудобрая-полустрогая.

Еще в канцелярии школы, которая была как бы приемной перед «кабинетом директора», я поклялся себе быть твердым, отважным и сознаться во всем до конца. Но как только Елена Кирилловна подняла на меня строгие и какие-то изучающие глаза, я понял, что сказать всю правду не смогу ни за что на свете. Я переступал с ноги на ногу, как журавль в зоопарке, оглядел подоконник, который был уставлен работами нашего кружка «Умелые руки», и вкрадчиво спросил:

— Елена Кирилловна, вам сегодня еще не звонили?

Она неожиданно рассмеялась и почему-то схватилась при этом за сердце.

— Не звонили, говоришь? Да он у меня, — она указала на телефон, — вообще не умолкает. Голосит себе целый день и разрешения не спрашивает.

Желая подтвердить, что Елена Кирилловна говорит прав-

ду, телефон уверенно зазвенел. Голос у него был слишком громкий для маленькой комнаты.

— Легок на помине!

Елена Кирилловна сняла трубку и помрачнела.

— Нет, нет, обсуждать это по телефону не буду. Чтобы поговорить о своем сыне, о его судьбе, вы обязаны найти время и прийти в школу. Обязаны!

«Ну, если она родителей так отчитывает, — подумал я, — то что же будет со мной?!»

Рассерженная телефонной беседой, Елена Кирилловна и ко мне обратилась строже:

— Так о каком звонке ты говоришь?

— Из «Авангарда»...

— Откуда?

— Из кинотеатра...

Елена Кирилловна вновь оживилась:

— А зачем? Хотят пригласить на какой-нибудь фильм?

Я через силу заулыбался, показывая, как это было бы хорошо, если б директоров школ по телефону приглашали в кино. Но улыбался я очень недолго.

— Что же мне должны были сообщить из «Авангарда»? — по-деловому осведомилась Елена Кирилловна.

— Про моего старшего брата. Про Диму Котлова...

— Из девятого «А»? Знаю. Хороший у тебя брат.

— Он-то сам по себе хороший... — залепетал я. — А получилось с ним нехорошо. То есть не с ним... а с одним другим человеком... Понимаете?

— Не понимаю.

— Ну, в общем, вам скажут, что Дима передал свой паспорт одному своему другу, чтобы тот тоже купил билет...

— А разве билеты по паспортам продают? Вот что значит редко ходить в кино, совсем от жизни отстала.

— Да нет, — успокоил я Елену Кирилловну. — Это не всем. А только нам, кому еще шестнадцати лет не исполнилось. Понимаете?..

Елена Кирилловна подперла подбородок кулаком, а пальцами другой руки стала барабанить по стеклу, лежавшему на столе. Но не зло, как администратор в «Авангарде», а легко, еле слышно, точно пальцы ее вместе с головой тоже о чем-то задумались, что-то соображали.

— Та-ак... Начинаю понимать, — медленно произнесла

Елена Кирилловна.— Неужели Дима Котлов мог пойти на такой поступок?

— Нет, он не мог пойти! И не пошел! И никогда не пойдет!.. Честное слово, никогда не пойдет! — захлебываясь, стал защищать я не виноватого Диму.— Это был не Дима... А совсем другой мальчик из нашей школы...

— Разве в нашей школе есть еще один Дима Котлов? — удивилась Елена Кирилловна.— Котлов... Редкая, я бы сказала, редкая фамилия!

— Не знаю... Наверно, больше нету... А того, другого мальчика, который паспорт передавал, совсем не Димой звали.

— Не Димой? Но как же к этому другому мальчику попал Димин паспорт? Украл, что ли?

— Нет, нет, он не украл. Не украл! Он просто взял на время... Поносить...

— Чужой паспорт? И Дима об этом знал?

— Нет, он ничего не знал!

— А ты?

— Я?.. Тоже не знал. То есть я догадывался... Но только так... слегка... Совсем немножко догадывался. Понимаете?

— Хочу понять.— Елена Кирилловна подперла подбородок сразу обоими кулаками.— Значит, один мальчик, как ты говоришь, не украл, а просто взял без спросу поносить Димин паспорт. Ходил с ним по городу, купил по нему билет в кино да еще передал его своему приятелю.

— Ну да! — обрадовался я.— Все правильно. Вы все поняли!

Елена Кирилловна взглянула на меня так, что я сразу перестал ликовать.

— А кто же, интересно, этот великий изобретатель?

— Один мальчик...

— Твой товарищ?

— Нет, он не мой товарищ... Он мой знакомый. Но не товарищ... То есть чей-нибудь он, может быть, и товарищ... А для меня — просто знакомый... И всё...

— Так надо же немедленно сообщить об этом твоём «не совсем товарище» в милицию: он, может быть, и сейчас разгуливает по городу с чужим паспортом и творит неизвестно что!

Елена Кирилловна уже дотронулась до телефонной труб-

ки, но я, наверно, так изменился в лице, что рука ее остановилась.

— Не надо звонить в милицию... — попросил я. — Не надо. Он уже не разгуливает с паспортом. Этот мальчик... Он уже вернул его на место. И паспорт лежит себе преспокойненько в книжном шкафу. Честное слово!

— А ты откуда знаешь?

— Я видел...

— Видел? И почему же не схватил, не задержал его — нечестного человека, который причинил такую неприятность твоему брату?

— Я не успел схватить. То есть я схватил, а он вырвался... — И для большей убедительности добавил: — Чуть рукав у меня в кулаке не остался!

— Здорово ты схватил! А кто же все-таки этот таинственный мальчик?

Я опустил голову и опять стал по-журавлиному переминаясь с ноги на ногу. «Хоть бы телефон зазвонил, что ли?» — с тоской думал я. Но, всегда такой голосистый, он тут, как нарочно, не подавал голоса. Настроение у меня было плохое. Ведь я шел к директору, чтобы сказать правду, а получилось так, что еще больше заврался и окончательно все запутал.

Елена Кирилловна улыбнулась, но сдержанно, не хватаясь за сердце.

— Ты не хочешь выдать товарища? Правильно. Не выдавай. Приходи с ним вместе ко мне. Я буду здесь часов до семи вечера. И мы оба с ним потолкуем. Хорошо потолкуем, чтобы он во всем разобрался... А то ведь еще и не то придумает! Надо его вовремя остановить.

— А он уже сам... остановился! — начал я вновь убеждать Елену Кирилловну, для чего-то приподнимаясь на цыпочки и прижимая руки к груди. — Он уже все давно понял! И сам остановился... Он больше не станет придумывать ничего плохого... а одно только хорошее...

— Он тебе обещал, что ли?

— Ну да!

— Отлично. И все-таки вы с ним приходите ко мне. Сегодня же. Договорились, Сева? Я буду ждать вас. До семи вечера.

РОВНО В СЕМЬ

В тот же день наша соседка очень удивлялась на кухне:

— Что это случилось с Севоборотом? (Так «остроумно» — Севоборотом, а иногда даже Севобормотом — звал меня соседкин муж, известный всему дому шутник, который очень хвастался своим агрономическим образованием.) Что случилось с нашим Севочкой? Раньше он, если замечали, никогда не ходил открывать парадную дверь — хоть до утра звони, хоть руками стучи, хоть ногами колоти! А сегодня на каждый звонок выскакивает. «Светопреставление»!

Я и правда выбегал на каждый звонок: ведь я знал, что должны принести штрафную повестку, а она ни в коем случае не должна была попасть в руки к Диме или вообще к кому-нибудь, кроме меня.

«Вот бы Дима ушел сейчас из дому!» — мечтал я. Но Дима вовсе не собирался уходить. Удобно устроившись на диване, он решал шахматную задачу. Перед ним, на самой большой подушке, до которой мама и дотрагиваться запрещала, лежал раскрытый номер «Огонька» и шахматная доска. В одном углу ее одиноко притаились четыре фигурки. Дима ерошил волосы, поправлял очки и чесал свой затылок так, что мне казалось, он доскребется в конце концов до самой коры головного мозга. Но задача, как назло, не решалась. «А вот мы так пойдем, — бормотал себе под нос Дима. — А вот если мы так попробуем?»

Каждый раз, возвращаясь в комнату, я как бы невзначай сообщал:

— Говорят, на улице погода замечательная!

— Вот ты и пойди погуляй, — не отрываясь от доски, советовал Дима.

«Сам пойди погуляй!» — про себя огрызался я. И продолжал вслух:

— А вот сейчас Петр Ефимович пришел. Говорит, скворцы уже прилетели и все почки за одну ночь полопались. Два часа по улицам бродил, невзирая на ревматизм!

— Делать нечего твоему Петру Ефимовичу.

Но я не сдавался:

— Сейчас Лидии Архиповне дверь открывал... Пошла, говорит, за ботиночками для Борьки, три часа по городу про-

ходила — и забыла купить: такой воздух на улице. Прямо, говорит, опьяняющий!

Лидия Архиповна просто не нашла для своего трехлетнего Борьки подходящего номера и вовсе не восторгалась погодой, а на чем свет стоит ругала «торговую сеть».

Но вот Дима радостно смахнул фигуры с доски на диван, схватил подушку и подбросил ее под самый потолок (видела бы мама!).

— Эврика! Эврика!.. Упорство горы сокрушает!

Он побежал в коридор, к телефону, чтобы сообщить своему другу об очередной «сокрушенной горе». И как раз в эту минуту раздался длинный звонок в парадную дверь. Никто из наших соседей так не звонил. Я бросился открывать. Ну ясно! Всё! Конец... Я попался! На площадке стоял пожилой небритый почтальон с сумкой, в которой разносят не письма и не газеты, а деньги, важные извещения и повестки. Дима был совсем рядом, у телефона, а почтальон держал в руке повестку — небольшую, желтенькую и очень ехидную.

— Это мне... мне, — зашептал я, вырывая у него повестку из рук. — Давайте я распишусь.

И быстро-быстро расписался в разлинованном журнальчике на глазах у растерявшегося почтальона.

Но тут вмешалась наша соседка — жена знаменитого шутника с высшим агрономическим образованием по имени Виктория Александровна.

— Кому здесь почта? — поинтересовалась она, вытирая руки о фартук.

Я замахал повесткой:

— Мне, мне... Не беспокойтесь, пожалуйста.

— Да, гражданину Клячину, — охотно подтвердил почтальон.

— Не Клячину, а Клячину́, — поправила соседка: она очень не хотела сознаваться, что ее фамилия произошла от некрасивого слова «кляча». И вдруг, сообразив, в чем дело, она закричала: — Так это же нам! Посылка!.. Мандарины из Самарканда! Я жду их, как свежего воздуха, а он взял и держит в руке! — Она выхватила повестку, чуть не разорвав ее. — Теперь мне все ясно! Теперь я понимаю, почему письмо от дяди из Архангельска идет уже вторые сутки. И куда девалась позавчерашняя «Вечерка»!..

— Она по воскресеньям не выходит! — только и мог я крикнуть в ответ. И скрылся в комнате.

Я слышал, как Дима долго извинялся за меня перед соседкой, а она отвечала ему:

— Нет, Дима, к вам я ничего не имею. Никаких претензий. Вы вполне интеллигентный молодой человек.

Вслед за этим «молодой интеллигент» появился в комнате и поплотней прикрыл дверь, что означало: «Жди серьезного разговора!»

— Зачем ты схватил повестку? — начал Дима.

— Я думал, что это нам.

— Как же ты мог «думать», если там по-русски написано: «Клячину»?

— А что, я обязан все слова... от начала до конца читать? Я посмотрел на первую букву и на последнюю, вижу — «К» и «У». Я и подумал, что это — «Котлову».

— Оригинальный метод. Ты, может, скоро будешь в каждом слове только одну первую букву читать? Замечательная рационализация: скоростное чтение!

Я отбивался вяло, потому что, честно говоря, мне за эти два дня смертельно надоело врать. Я хотел выпутаться из всего этого вранья, но одна ложь незаметно цеплялась за другую, одна выдумка тянула за собой еще десять. И я ничего не мог поделать.

— Ты безнадежный человек, — сообщил мне в конце нашей беседы Дима. — Тошно с тобой разговаривать. Пойду в читальню.

Час от часу не легче! Шутка сказать: он пойдет в читальню! Да кто его туда пустит?!

Я схватил Диму за руку.

— Зачем тебе идти в читальню? Что там интересного? И потом, ты же устал... Вон какой бледный! Пойди лучше в Сокольники; на выставку собак. Там знаешь какая выставка! Есть такие страшные псы, что собака Баскервилей по сравнению с ними просто жалкий щенок.

Дима только плечами пожал.

— А в парке культуры, между прочим, открыли выставку женского платья, — сообщил я. — Сам по радио слышал...

Брат взглянул на меня, как на безумного.

Что было делать? Как задержать Диму хоть на пятнадцать минут? А потом, я знал, придет с работы папа, начнет-

ся разговор о международных событиях — и Дима про читальню забудет.

Я взглянул на наши стенные часы с пожелтевшим от старости циферблатом и опять схватил Диму за рукав.

— Ой, сейчас ведь будут «Последние известия»! И сводка погоды на завтра. А ты завтра как раз на массовку собираешься... Значит, надо послушать!

— Сам послушай, а потом мне расскажешь.

— Я могу чего-нибудь не расслышать... или забыть! Ведь ты же сказал, что я безнадёжный человек. Это правда!

Я тяжело вздохнул.

— Да, на тебя надежда плоха, — согласился Дима и присел на диван.

Замысловатая старинная стрелка с резными тоненькими прожилками и заржавевшими бугорками приближалась к семи. Вот уж и голос диктора, словно напоминая мне о чем-то важном, предупредил: «Проверьте ваши часы!» Радио на миг замолчало, потом из репродуктора стали падать знакомые глухие удары...

И тут я вскочил со стула. Семь часов!.. Без одной минуты семь! Меня ждет Елена Кирилловна. Сейчас она тоже проверит часы и уйдет из маленькой комнаты, которая именуется «кабинетом директора». Я выскочил в коридор. Слава богу, телефон был свободен. Возле него на желтом ботиночном шнурке косо висела телефонная книга. Я отыскал букву «Ш», потом слово «Школа», потом среди сотен школьных номеров номер своей школы и набрал его дрожащей рукой.

— Елена Кирилловна? Это я, Сева Котлов...

— Почему же не пришел твой приятель? Этот таинственный мальчик...

— Он приходил! Приходил, Елена Кирилловна. И вы видели его... Утром, помните? И он уже всё понял. Честное слово!

Елена Кирилловна сказала, чтобы этот мальчик завтра еще раз зашел к ней для серьезного разговора. Она так сказала... Но я не испугался! Я даже обрадовался. Да, да, обрадовался! Мне показалось, будто с плеч свалилось что-то тяжелое, такое тяжелое, что даже пол под ногами качнулся.

— Ладно, Елена Кирилловна! Он... то есть я... Обязательно зайду!..

Соседка Виктория Александровна крикнула из кухни,

что «если с таким остервенением вешать трубку, рычаг окажется на полу». Но я ничего не ответил соседке. Я легко и весело зашагал в комнату, хотя разговор мне там предстоял не легкий и, уж конечно, не очень веселый...

1956 г.

Часть вторая

«ТАЙНЫЙ СИГНАЛ БАРАБАНЩИКА»

10 НОЯБРЯ 1957 ГОДА

Вчера вечером, когда я слонялся без дела по коридору, мама сказала:

— Займись-ка лучше дневником. Это очень хорошее дело! Каждый день записывай в тетрадку все самое важное. А когда-нибудь, через много-много лет, тебе будет интересно прочитать ее своим детям или даже внукам и вспомнить, как ты был маленьким.

— Не маленьким, а школьником среднего возраста! — поправил я маму. — Так ведь и в книгах пишут: «Для среднего школьного возраста».

— Ну, пусть так, — согласилась мама. — Только пиши о себе всю правду, ничего не сочиняй. А то тебе же самому не захочется читать свой дневник, если в нем будет неправда.

— Через много-много лет я уж забуду, правда это была или неправда...

— Ничего не забудешь: детство не забывается.

Ну, маме это, конечно, виднее!

Доставая из ящика письменного стола «общую» тетрадку в клеенчатом переплете, я думал: «А может быть, я стану не просто взрослым, а каким-нибудь знаменитым человеком? Все люди сразу захотят узнать разные подробности о моем детстве. И вот эта самая тетрадка в клеточку им поможет. Тогда уж она будет храниться не в моем сломанном ящике, который можно открывать только щипцами да плоскогубцами (голыми руками его не возьмешь!), а где-нибудь в музее, под стеклом».

Для начала я изрисовал всю обложку и края первой страницы человеческими головками, фигурками животных, хво-

статými росписями. Первую фразу я начинал три раза и три раза нарочно зачеркивал: я знал, что так именно поступают со своими рукописями знаменитые прозаики и поэты.

Но что делать дальше, я не знал. Тогда я пошел в библиотеку и набрал много толстых и тонких книг. Это были дневники известных людей: путешественников, ученых, писателей... Они все очень подробно описывали в дневниках свою жизнь и жизнь ближайших родственников. Прямо изо дня в день: и кто что сделал, и кто что подумал, и кто что кому сказал. Они и природу описывали, и свои мысли, и настроения. Я тоже так буду делать.

Потом я почитал Димин дневник, который лежит в ящике того же стола, только с другой стороны. Ну, Дима пишет главным образом о книгах, которые он прочитал, о международных событиях и о своей общественной деятельности. Мне кажется, это не очень интересно записывать. О международных делах можно будет потом, через много лет, узнать из газет и журналов. А в дневнике уж лучше писать о собственной, как говорят, *личной* жизни.

Я попросил всех наших домашних — маму, папу и Диму — для начала помогать мне, проверять иногда мой дневник (если, конечно, понадобится!). Потом сел и сделал в тетрадке эту самую *первую* запись.

11 НОЯБРЯ

Сегодня, ровно в 10 часов 20 минут утра, мне в голову пришла гениальная идея: посадить Лёльке Мухиной в парту живого ежа! То есть я не сразу дошел до этого. Сперва я хотел сунуть ей живого ужа.

Это случилось опять на уроке немецкого языка, у той же самой Анны Рудольфовны. Лелька зачем-то полезла в парту. А там лежала мокрая тряпка, которой доску вытирают. Лелька со страху так заорала, что из соседнего класса прибежали две девочки узнать, не случился ли с кем-нибудь приступ аппендицита.

Потом Анна Рудольфовна целых пол-урока объясняла нам, что трусость — это очень плохое человеческое качество. И что композитор Бетховен в своем произведении «Эгмонт» как раз воспевал храбрость, а трусость никогда и никто на свете не воспевал. Все это Анна Рудольфовна объясняла нам

по-немецки, чтоб «приучить нас к разговорной речи». Но так как мы к разговорной речи еще не привыкли, она почти каждую фразу со вздохом переводила на русский язык.

Так прошло пол-урока...

И тогда я подумал: как же завизжит Лелька, если сунуть ей в парту не какую-то мокрую тряпку, а самого настоящего живого ужа! «Надо,— решил я,— сперва вынуть чернильницу».

Сидит-сидит Лелька на уроке — и вдруг через кругленькое отверстие в парте появляется... змея. То есть Лелька так будет думать, что появилась змея, а на самом деле это будет обыкновенный уж из нашего с Витиком-Нытиком живого уголка. Тут уж Анне Рудольфовне придется читать лекцию о смелости не меньше урока. А может, и переменку прихватит!

Но потом я подумал: если сунуть ужа в начале большой перемены, когда все убегают из класса, он за двадцать минут может преспокойно уползти и не появится в круглом отверстии для чернильницы. Нет, лучше посадить в парту живого ежа: он заснет в темноте, а иголки его и во сне колются.

Решено: не буду сегодня учить немецкого. Ведь завтра вместо урока будет настоящий спектакль!

12 НОЯБРЯ

Сегодня, в самом начале большой перемены, я сделал всё, как было задумано. Положил Лельке в парту живого ежа, которому мой брат Дима дал очень странное имя — Нигилист. Я поинтересовался, кто это такие — нигилисты и за что Дима так обозвал ежика, которого я сам нашел в лесу прошлым летом. «За то, что он никого не признает и всех подкалывает!» — ответил Дима. Мама называла ежика «Севкой номер два», потому что я, по ее мнению, тоже бываю колючим. А мы с Витиком-Нытиком называли его просто Борькой. Одним словом, у ежа было целых три имени, и он ни на одно из них не откликался.

Значит, положил я своего колючего Борьку в парту. И не просто в парту. Я засунул его прямо в мухинский портфель, оказавшийся довольно-таки вместительным, и запер на блестящий серебристый замочек.

Ежик не уж: он не выползет из портфеля!

Счастливый как никогда, побежал я на большую перемену.

Целых двадцать минут я носился по этажам и даже спустился вниз, где занимались первоклассники. Я изучил всю их стенгазету. Это было не трудно, потому что в ней было всего две маленькие заметочки, написанные огромными печатными буквами, и много разных картинок, нарисованных цветными карандашами: дома, похожие на сундуки с широкими трубами и толстыми хвостами дыма; пароходы с такими же трубами и хвостами; паровозы — тоже с трубами и тоже с хвостами. Я уж давно заметил, что малыши очень любят рисовать трубы и дым. И почему это? В мире ракеты летают, атомные электростанции строятся, а у них дым столбом!

В общем, я старался сделать так, чтобы поскорей промчалась большая перемена: уж очень мне не терпелось узнать, что произойдет на уроке.

А случилось совсем неожиданное.

Я ничего не слышал и ничего не видел, кроме рук Лельки Мухиной. А они, эти маленькие, беленькие ручки, лежали на крышке парты, словно отдохнули после большой перемены, потом поправили волосы, а потом... Потом они отправились в парту за учебником. Я затаил дыхание: «Что сейчас будет?!» Лелькины руки скрылись внутри. Вот сейчас... Сейчас Лелька вскочит и завопит на весь класс, на всю школу, на всю улицу! И все ребята тоже вскочат и побегут на помощь Лельке. А потом увидят нашего мирного Борьку и будут долго-долго хохотать. Вот сейчас, вот сейчас... Но ничего такого не произошло. Лелька преспокойно достала учебник, по-девчачьи аккуратно завернутый в белую бумагу. Отыскала нужную страницу и стала водить пальцем по строчкам.

Я не верил своим глазам! Как же так?! Ведь Борька лежал в портфеле поверх всех учебников и тетрадок. Она не могла, просто не могла не наткнуться на его колючки! И все-таки, желая еще больше удивить меня, Лелька снова полезла в портфель и достала оттуда тетрадь с аккуратной розовой ленточкой и такой же чистенькой розовой промокашкой.

Это было какое-то чудо!

Чтобы я не так уж сильно удивлялся, Анна Рудольфовна сказала:

— Котлов, раскройте учебник и работайте вместе с нами! Я сунул руку в портфель... И тут действительно раздался

крик! Но не Лелькин, а... мой собственный. Я вскочил на ноги и стал дуть на руки. И все ребята повернулись ко мне. Анна Рудольфовна поднялась со своего стула.

— Что у вас такое, Котлов?

— Тут эти... Ну, как их?.. Которые колются... Гвозди! — сказал я, посасывая уколотые пальцы.

Лелька Мухина жалостливо покачивала головой.

Чтобы ребята перестали вертеться, Анна Рудольфовна решила вызвать меня к доске: там уж меня все сразу увидят.

— А эти самые... пальцы?.. — промямлил я.

— Вы, надеюсь, будете отвечать не пальцами, — строго сказала Анна Рудольфовна. — Разве голова и язык у вас тоже повреждены?

Я поплелся к доске. Но даже не это огорчало меня — одна мысль сидела в голове: «Каким образом Борька попал обратно ко мне в парту? Или он тоже, как и собака, верный друг человека и всегда находит хозяина?»

Хорош друг! Ничего себе... Всё испортил! Прав был наш Дима, когда назвал его Нигилистом. Типичнейший нигилист!

13 НОЯБРЯ

С Витькой невозможно стало ходить по улице — он то и дело вскрикивает: «Ой, спутник летит! Спутник летит!..» Иногда ему кажется, что он видит сразу два спутника, один из которых прямо у него на глазах обгоняет другого. Вокруг нас собираются прохожие... Витька тычет пальцем в небо, и все задирают головы. Но кто-нибудь догадывается раскрыть газету, где черным по белому написано, что в это самое время спутник должен пролететь над Порт-Саидом или где-нибудь над Аддис-Абебой.

— А мне показалось... — разводит руками Нытик. — Вон там, вон там! Видите?..

И каждый раз оказывается, что это были разноцветные огоньки на крыльях и хвосте самолета или была самая обыкновенная падающая звезда.

Я решил провести наблюдения за искусственными спутниками серьезно и вполне научно. И хотя некоторые видели их, как говорится, невооруженным глазом, я все-таки решил вооружить наши с Витькой глаза.

Но чем вооружить?

Мы перерыли все старые сундуки и чемоданы, пропахшие нафталином, но никаких, даже самых старых, подзорных труб и телескопов у наших родителей не оказалось. А между тем в «Последних известиях» по радио передали, что завтра, ровно в 6 часов 10 минут утра, спутник пролетит над Москвой. Что было делать? Я уж совсем приуныл.

Но вечером раздался телефонный звонок, и Витька, захлебываясь, торжествующим шепотом сообщил мне со своего нижнего этажа:

— Ура! Нашел старый бабушкин бинокль. Театральный!.. Левая трубка не работает... То есть она работает, но только в одну сторону.

— Как в одну?

— Уменьшает!..

— Это нам не нужно: спутник и так маленький.

— Зато другая и увеличивает тоже! Знаешь, как увеличивает!

— Ну, тащи его сюда!

Ровно через три минуты мы с Витькой уже заперлись в ванной комнате и стали разглядывать бинокль его бабушки. Это был очень старинный бинокль. И красивый: сам весь белый, из камня какого-то (Витька сказал, что из перламутра), а ручка и ободки золотые.

Я посмотрел в один глазок — и ванна показалась мне маленькой-маленькой, как крышка от мыльницы. А посмотрел в другую трубку — и ванна стала огромной: хоть втроем туда залезай! Посмотрел на рыжую кошку Мурку, прикорнувшую на табурете, и она показалась мне настоящим тигром, уса-тым и страшным.

— Бабушка с этим биноклем в театр ходила!.. — мечтательно произнес Нытик.

— Подумаешь, в театр! Всякую там ерунду смотрела!.. А мы вот увидим спутник. Понимаешь, искусственный спутник Земли! Твоя бабушка должна быть счастлива за свой бинокль, что ему на старости лет выпала такая честь! Понял?

Решено: завтра, в половине шестого утра, мы уходим из дома для научных наблюдений!

14 НОЯБРЯ

Мне казалось, что всю ночь я не спал. Но это было, наверно, не совсем так, потому что мне снились сны. А раз они снились, значит, я все же немного спал. Мне снились спутники и космические корабли, в одном из которых были мы с Витькой. Какая-то планета хитро улыбалась вверху, словно дразнила нас... И мы с Витькой стали добираться до нее. Мы совсем уж почти добрались, но нам помешал будильник.

Я протянул руку, чтобы остановить звонкий дребезжащий голосок, но будильника на стуле не было. Вот удивительно: ведь вчера я поставил его именно сюда! А теперь он трезвонил откуда-то с книжного шкафа. Опять чудеса!

Зато рука моя наткнулась на что-то большое, твердое и продолговатое. Я быстро зажег настольную лампу, и Дима сразу заворочался и заворчал на своем диване:

— Эгоист! В темноте не может одеться!..

Одеться в темноте я бы, конечно, сумел. Но я никак бы не мог разглядеть предмет, лежавший на стуле возле кровати. А это был настоящий полевой бинокль! Да, да, бинокль! Такой же точно, как те, с которыми ходят и в которые разглядывают поля сражений знаменитые полководцы на картинах и в кинофильмах. Я подумал, что все еще сплю... Подбежал к дивану и тряхнул брата за плечо:

— Дима, я сплю?

— Завтра ночью ты будешь спать в коридоре!

Нет, это был не сон! Такую фразу мог произнести только мой старший брат Димочка. И только наяву...

Но откуда же полевой бинокль? Откуда?! Я осторожно погладил его, прижал к груди, а потом взглянул сквозь его стекла на Диму. Брат сразу уехал на своем диване куда-то далеко-далеко, чуть ли не на край света... Я перевернул бинокль — и увидел прямо перед своим носом огромное, свирепое и малознакомое (потому что без очков) Димино лицо.

— Сейчас же погаси свет!

Одевался я в коридоре. Соседка-старушка уже зажигала газовую плиту.

— И что ты так рано поднялся, Сева? Это нам, старикам, не спится. А тебе?..

— На спутник хочу поглядеть, тетя Паша.

— А зачем же вставать так рано? Поглядел бы днем: светлее и видать лучше.

— Так он, тетя Паша, понимаете ли, в определенное время пролетает. Днем его не будет.

— Ну погляди, погляди. Потом расскажешь на кухне. Это ты молодец...

Вышел из комнаты папа в пижаме и с каким-то конвертом в руке.

— Тебе, Сева, вчера поздно вечером прислали бинокль... Я положил его на стул, возле кровати. И еще вот это просили передать.

— Как «прислали»? Как «просили»? Кто именно просил?!

— Человек какой-то...

Папа протянул и зевнул.

— Мужчина или женщина?

— Не знаю. Кто-то из соседей дверь открывал, а я не разглядел... Кажется, мужчина.

— «Кажется»! Как это можно было не разглядеть?!

Папа не спеша, будто ничего такого не случилось, пошел в ванную комнату.

В конверте лежала записка. Она была напечатана на пишущей машинке:

Посылаем тебе полевой бинокль для наблюдений за спутником. Завтра же, после уроков, оставь его в своей парте — и сразу уходи! Только не вздумай следить. Если вздумаешь, будет беда!

Внизу стояли три большие печатные буквы: «ТСБ».

Что это значило? Кто прислал мне бинокль? И эту записку?! И что такое «ТСБ»? Ведь никто... никто, кроме меня и Витьки, не знал, что мы собираемся наблюдать за спутником!

Но размышлять было некогда — скоро уж этот самый второй в истории спутник должен был появиться над Москвой! И я побежал к вешалке...

На улице было утро. Или, верней сказать, только так считалось, что это утро, а в действительности еще стояла самая настоящая ночь. Было совсем темно. И шел мокрый снежок. Было холодно. Витька поеживался и по своей противной привычке скулил:

— Ну да-а, тебе хорошо-о: у тебя те-еплое пальто. А у меня куртка... Да-а, тебе хорошо-о: ушанку надел. А у меня ке-епка... А что ты прячешь под пальто?

— Тайна!

— Покажи-и... Ну покажи-и...
— Не скули! Вот придем на бульвар...
— Покажи сейча-ас!..
— Замолчи!
— А я тогда бабушкин бинокль не дам!
— Ха-ха-ха! — произнес я громовым голосом прямо Витьке в лицо. — Сдалось мне твое театральное старье! Отправь его в музей. Понял? У меня есть кое-что поважнее!

И тут я вытащил свой полевой бинокль. Витьку на утреннем морозе пот прошиб.

— Бинокль?! Откуда?..
— Тайна!.. Сам не знаю.
— Как не знаешь?..

Но мы как раз пришли на бульвар. Все лавочки были уже заняты. И это в шесть утра! Люди были с телескопами, с подзорными трубами. Но только у меня в руках был полевой бинокль!

Рядом с нами на лавке сидел старичок — маленький, сморщенный и замерзший. А телескоп у него был огромный, на высоком треножнике. Этот телескопище был похож на какую-то птицу с тонкими ногами и длиннющим клювом, только без крыльев.

— Тише, тише, молодые люди! — зашептал он. — Вы присутствуете при великом событии!..

И мы с Витькой стали переговариваться торжественным шепотом. Я долго разглядывал в свой могучий бинокль и бледное небо, и снежинки, каждая из которых казалась огромным пушистым комом, и памятник великому русскому писателю.

А где-то внизу ныл Витик:

— Дай мне-е... Дай посмотре-еть...

Я оторвался от своего аппарата и взглянул на Витьку. Он со стареньким бабушкиным биноклем в руках выглядел смешным и жалким.

— На, посмотри немного, — сказал я.

Витька впился в круглые стеклянные линзы. И тут по всему бульвару началась перекличка: «Летит? Летит!..» Витька тоже заорал как полоумный:

— Лети-ит!..

Я вырвал у Нытика бинокль и направил его прямо в небо. И вдруг сердце у меня забилося так сильно, что я даже при-

держал его локтем: я увидел, как по темному небу мчится красная звездочка. Наша! Красная!

— Ур-ра! — завопил я на весь бульвар.

И замерзший старичок тоже вдруг разгорячился и подхватил хриплым голосом:

— Ур-ра! Ура, друзья мои!.. Второй спутник в истории человечества. И опять на ш!

Когда мы с Витькой шли обратно домой, я говорил ему:

— Помяни мое слово: космические корабли будут курсировать ежедневно по расписанию, как поезда или речные трамваи. Мы с тобой отправимся на космическую экскурсию и вспомним это раннее утро. Мы станем уже такими, как замерзший старичок на бульваре... Но все будут смотреть на нас с восторгом, потому что мы видели второй в истории спутник! Так будет...

Я это знал абсолютно твердо.

А вот откуда появился вдруг полевой бинокль, я не знал. Откуда же он появился?!

17 НОЯБРЯ

Летом можно гонять в футбол, зимой играть в хоккей. А что делать осенью? На улице слякоть, грязь и вообще противно. Ребята стали приставать к председателю совета отряда Толе Буланчикову:

— Придумай что-нибудь! Ну придумай... Не зря ведь мы тебя выбрали!

Толя морщил лоб, чесал затылок, важно вертел в руках самопишущую ручку, но ничего умного не изобрел. Тогда он созвал совет отряда совместно с активом.

— Пионер — всем ребятам пример, — сказал Толя. — Он должен все время совершать хорошие, общественно полезные дела!

— Это мы без тебя знаем! — крикнул кто-то. — Ты что-нибудь интересное предложи! Новенькое!

— Давайте подумаем вместе. Всем коллективом! — сказал Толя.

— Собирать металл! — крикнули сзади.

— Мы всегда собирали, собираем и будем собирать металлолом, — сказал Толя. Заглянув в тетрадку, словно не помнил наизусть, он добавил: — Из собранного нами ме-

талла можно изготовить десять новых автомашин «Волга»!

— Сколько «ЗИЛов»? — ехидно поинтересовался кто-то.

— Насчет «ЗИЛов» я не в курсе.

— Знаем! Слыхали... Ты что-нибудь еще придумай!

— Давайте собирать бумажную макулатуру, — пропищала со своей парты Лелька Мухина.

— Как тебе известно, Леля, мы и в этом не отстаем! — Буланчиков снова заглянул в тетрадку. — Из собранной нами макулатуры можно сделать двадцать тысяч новых тетрадок. И мы будем продолжать эту работу.

— А что-нибудь еще!.. Что-нибудь... чего еще не было!

— Может быть, Сева Котлов нам поможет? — сказал Буланчиков. — Он ведь у нас великий изобретатель!

Все повернулись, стали смотреть на меня и ждать. И наверно, от этого у меня произошло полное затмение мозгов.

Так ничего и не придумав, мы разошлись по домам.

19 НОЯБРЯ

В последнее время я так привык к чудесам, что даже перестал обращать на них внимание. И я почти не удивился, когда нашел сегодня в парте записку, опять отпечатанную на пишущей машинке:

Эх, вы, горе-изобретатели! Неужели ж вы забыли, что почти в каждом доме есть люди, которые, увы, нуждаются в помощи: пенсионеры, инвалиды войны? И еще! Прямо напротив школы вырос новый дом. Неужели не заметили? Да ослепли вы, что ли? Дом еще надо немного принарядить: очистить от мусора, протереть окна и так далее. Тоже ведь неплохое дело, а? Мозгами пора шевелить, ребятки!

И опять в углу стояли три буквы: «ТСБ».

Я сразу помчался к Толе Буланчикову и потребовал внеочередного созыва совета отряда совместно с активом.

— Мы же только позавчера собирались, — сказал Толя. — Нельзя устраивать заседательскую суетню!

Любит он чужие, замысловатые фразы!

— Никто суетиться не будет! Нас ждут гениальные общественно полезные дела! Понял?

На совете отряда я аккуратно изложил все, о чем было напечатано в таинственной записке. Правда, о самой записке

я забыл упомянуть. И все решили, что новые, «гениальные» дела придуманы лично мною. Все хвалили меня, называли «светлой головой», «великим изобретателем» и даже «гордостью класса».

Только Витька заныл:

— Да-а... У нас на весь дом один пенсионер... Оди-ин! И Севка его обязательно захватит.

— Как тебе не стыдно! — возмутилась Наташа Мазурина. — Вы можете вдвоем шефствовать над этим пенсионером. Что, если он совсем слабый, больной?

— Это хорошо-о, если больной, — протянул Витька. — А если здоровый?!

— Ты не должен так говорить! — вскрикнула Наташа, самая сознательная девочка в нашем шестом классе «В». — И вообще мы должны быть благодарны Севе Котлову: ведь это он всё придумал!

Я стал быстро-быстро собирать книжки, а впрочем, какая разница, кто это придумал? Важно, что дела интересные. Это ведь самое главное! А кто придумал, я, между прочим, и сам не знаю. От кого приходят эти записки? И кто такой «ТСБ»? Кто?!

30 НОЯБРЯ

Степан Петрович живет в нашем подъезде на третьем этаже, но мы с Витькой раньше очень редко его встречали. У Степана Петровича, оказывается, больные глаза, он плохо видит и поэтому почти не спускается вниз. Чаще всего он просто сидел в комнате или дышал воздухом на своем балконе. А балкон этот выходил не во двор, а в переулок, где нам с Витькой делать было совершенно нечего.

В общем, мы редко видели Степана Петровича. А он помнил нас только маленькими, когда мы еще не ходили в школу и не гоняли в футбол. Мы тогда ездили в белых колясочках по бульвару и вели самый настоящий паразитический образ жизни: спали, ели — и всё.

Мама сказала, что наш подшефный пенсионер станет теперь самым несчастным человеком на свете и что общественность или райсобес должны немедленно спасти его от нашего шефства. Так и сказала: «Спасти!»

— Ничего подобного! — возмутился я. — Мы будем за

ним ухаживать: варить обед, бегать за всякими там покупками, убирать комнату и читать ему книжки!

Мама заявила, что после того как мы один раз сварим обед, надо будет вызвать минимум двух уборщиц, чтобы они скребли кастрюли, в которых все пригорит, чистили плиту и мыли пол. Она не верила в наши хозяйственные способности.

И зря! Я сразу всё блестяще устроил. Для начала распределил обязанности: Витька варит обед, бегаёт за покупками и убирает комнату, а я читаю Степану Петровичу газеты и книги.

Витька, конечно, не согласился. И занял:

— Ну да-а... Выбрал самое ле-егкое!

— Не легкое, а ответственное! Я взял на себя политическую часть шефской работы! Ты понял?

Тем более, скоро оказалось, что обед варить вовсе не нужно — это делала соседка Степана Петровича. За Витькой остались только магазины да уборка комнаты... И он выполнял эти обязанности с большим удовольствием. Он даже научился различать сорта мяса: что для супа, а что для котлет. На рынке Витька торговался очень успешно... Тут пригодился его характер: он так долго ныл, что ему в конце концов уступали.

Витька, запыхавшись, влетал в комнату и победным голосом сообщал:

— Сегодня купил молоко на три копейки дешевле!

— Зачем это, Витя? — спрашивал своим глуховатым голосом Степан Петрович и протягивал вперед руку: разговаривая с человеком, он обязательно должен был держать его за плечо или за локоть.

Витька подходил поближе и объяснял:

— Так интересней! А то скучно: подошел, заплатил деньги, купил... Никаких происшествий!

Каждое утро Степан Петрович получает четыре газеты. И я читал ему вслух... Сперва я волновался и читал с выражением, будто стихи декламировал. Степан Петрович попросил, чтобы я делал это просто и тихо, как разговариваю с приятелями, а не надрывал бы себе попусту горло. И я стал читать по-человечески.

Но дело, конечно, не в этом. А в том, что, читая каждый день по четыре газеты, я стал очень образованным в политическом отношении. Я лучше всех в нашем классе знал теперь

о важных событиях, которые происходят у нас в стране и даже далеко-далеко за ее границами.

Я рассказывал ребятам, что даже буржуазные газеты восторгаются нашими спутниками. Потому что не восторгаться ими нельзя!

Чтобы ребята не сомневались, я громко и абсолютно наизусть произносил названия зарубежных газет: «Унита», «Дейли Уоркер». И всяких «не дружественных», как говорил Степан Петрович, изданий: «Фигаро», «Темпо»...

Лелька Мухина заявила как-то, что я все перепутал и что «Фигаро» — это вовсе не название газеты, а имя одного парикмахера из оперы «Севильский цирюльник». Лельку подняли на смех, и она разревелась.

Я читаю Степану Петровичу и книги тоже... У нас возникли небольшие, как пишут в газетах, «разногласия». Я больше всего люблю книги про войну, а Степан Петрович такие книги не очень любит. Ему тяжело вспоминать о войне... В 1945 году, под городом Кенигсбергом, его сильно контузило, и он с тех пор плохо видит. И два сына его погибли на фронте... Их фотографии висят на стене, над кроватью Степана Петровича, в черных, до блеска отполированных рамках. Когда Витька начинает убирать комнату, Степан Петрович всегда просит его не трогать эти рамки, чтобы он случайно не поцарапал их, не испортил, чтоб не разбил стекло. Степан Петрович сам ухаживал за этими фотографиями.

У Степана Петровича большая, лохматая голова. И вся белая. А на лице рябинки попадают... Когда я читаю книгу или газету, Степан Петрович вдруг задумывается и опускает свою большую, седую голову низко-низко... Я тогда могу замолчать, прекратить чтение, а он и не замечает. Я даже уйти могу — он и этого не заметит. О чем он думает? Что вспоминает?..

А иногда он становится очень веселым — и тогда угощает нас. Неудобно получается: Витька купит чего-нибудь к чаю — и мы сами все это едим! В такие минуты Степан Петрович сравнивает нас со своими ребятами — с теми, которые на стене, в черных отполированных рамках: «Мои вот сладкого не любили. Кислое им, бывало, подавай: капусту там, огурцы...», «И м о и тоже читали вслух. Я тогда еще видел вполне нормально. А они все равно читали... Друг у друга книжку выхватывали — один говорит: «Моя очередь!», а

другой: «Нет, моя!..» И всё предупреждали: «Вот сейчас будет самое интересное, вот сейчас!..»

— И я иногда так делаю...

Степан Петрович в ответ тихо погладил меня по плечу.

Одним словом, мы шефствуем над Степаном Петровичем. И я так увлекся, что даже целых одиннадцать дней не вспомнил про дневник. А сегодня всё сразу и выложил!

Нет, не всё. Я совсем забыл рассказать об одном загадочном происшествии. Оно и Степана Петровича касается...

Спускаюсь однажды на третий этаж, вынимаю из почтового ящика все четыре газеты, вхожу в комнату — и вдруг вижу на стене, возле балкона, полевой бинокль. Тот самый! Честное слово, тот самый, который я, согласно приказу, положил после уроков в свою парту. Я тогда все в точности выполнил: не стал подглядывать, куда исчезнет бинокль, кто именно придет за ним. И может быть, зря... Сейчас бы я уже не ломал себе голову, не путался бы в разных дурацких догадках: кто и откуда узнаёт заранее о всех моих планах, кто вмешивается в них?!

Я-то полевой бинокль положил в парту, а он... здесь, у Степана Петровича, на стене оказался!

— Степан Петрович, это тот самый бинокль, да? — спросил я тихо.

— Какой «тот самый»?

— Ну, который был... возле моей кровати...

— Возле кровати? Ты что-то путаешь, Сева. Это мой боевой спутник! Он на всех фронтах со мной побывал. И столько всякого видел, что удивляюсь, как его линзы от ужаса не ослепли. Смерть он видел. И кровь. Много крови...

— А его никто у вас... не забирал? Его ведь вчера на стене не было. Он сегодня появился...

— Один сосед по дому брал его: астрономией интересуется.

— Ах сосед?

Нет, сосед Степана Петровича, конечно, не мог переслать бинокль в нашу квартиру: мы с ним не знакомы вовсе! А может, это не тот бинокль, в который мы с Витиком-Нытиком за спутником наблюдали? Может, это просто двойник?.. Много, наверно, одинаковых биноклей на свете! Да, конечно...

А все же странная какая-то история. И вообще много загадочного происходит со мной в последнее время. Что все это значит? Не пойму. И никто, я уверен, не поймет. Может, рас-

сказать все это старшему брату Диме? Нет, нельзя: он на смех поднимет, он не поверит. А за колючего Нигилиста просто со свету меня сживет... Лучше дам ему проверить свое сочинение на тему «О чем я мечтаю».

Я всегда показываю Диме свои сочинения... И его дневник, его тетрадки по литературе тоже люблю почитать на досуге. Он, между прочим, недавно написал сочинение про любовь в стихах Пушкина, за которое ему сразу поставили пять с плюсом. Я еще никогда не получал такой отметки.

А это сочинение — «О чем я мечтаю» — мне было особенно трудно писать. Ведь я мечтаю об очень многом: и о космических путешествиях, и об альбоме с марками (особенно с треуголками!); и о том, чтобы наш Димка хоть раз в жизни получил двойку или хотя бы троечку с минусом и перестал быть для меня, как говорит мама, «живым укором»; и о том, чтобы меня хоть когда-нибудь, пусть даже лет через десять, приняли в нашу общешкольную футбольную команду (хотя я ведь тогда уж не буду школьником!); и о том, чтобы мою фамилию как-нибудь случайно пропустили в классном журнале — и тогда бы целую четверть меня не вызывали к доске; и о том, чтобы **р а з г а д а т ь** все таинственные случаи, которые произошли со мной в последнее время...

2 ДЕКАБРЯ

Моя парта стоит у самого окна, и мне было хорошо видно, как сперва, на другой стороне улицы, появилась красная кирпичная коробка — всего в какой-нибудь метр высотой. Потом коробка стала расти, расти — обогнала наш второй этаж, потом и третий, а потом всю нашу школу переросла. И вот наконец дом построен! Его оштукатурили, словно в новое белое платье одели, и он сразу стал таким чистеньким, что к нему и подходить было страшно: а вдруг дотронешься до стены — и след останется? Стены-то дома были чистыми, почти белоснежными, а вокруг него и внутри скопилось столько мусора, что, казалось, и за месяц не разгребешь.

Мы решили устроить субботник... Вернее сказать, это был не субботник, а «вторничник», потому что дело было во вторник. Но все говорили: «У нас сегодня субботник! У нас субботник!», хотя до субботы оставалось еще целых четыре дня.

Я первый раз попал в новое, еще не заселенное здание.

Ходил по комнатам и все думал: «А кто, интересно, будет жить в этой комнате? Может, какой-нибудь старый холостой ученый, каких в пьесах часто показывают, а может быть, целая семья — отец, и мама, и сын. И этот самый сын, может, будет в нашу школу ходить и даже в наш класс. А вдруг?.. Все они будут жить здесь долго-предолго, дом уже постареет, его начнут ремонтировать, и никто не будет знать, что самыми первыми побывали в этой комнате мы, друзья из шестого «В»!.. А что, интересно, будет стоять у этой вот стены: тахта или, может быть, стол? Или пианино? А что повесят сюда, между окнами?»

Я так размечтался, что Толя Буланчиков сделал мне замечание:

— Ты работать пришел или на экскурсию?

И я стал работать.

Было решено, что для облегчения женского труда носилки будут таскать пионер и пионерка: парень — впереди, а девочка — сзади.

Мне досталось работать с Наташей Мазуриной. Как я уже, кажется, говорил, это самая сознательная девочка в нашем классе. Учебник истории она уже прочла весь до конца и сейчас изучает его по второму разу. Представляете себе, каково мне было работать с этой Наташей! Она то и дело поправляла меня: то я носилки не так держу, то пол поцарапал, то стекла протираю слишком сильно, и они, по ее мнению, могут «выдавиться».

К концу дня я очень устал, но вовсе не от носилок и не от работы, а от нудного Наташкиного голоса. Как только позади раздавалось ее знаменитое «и не совестно?!», лоб мой сразу становился холодным и мокрым. Один раз мы устроили отдых. И тогда Наташа Мазурина задумчиво сказала:

— А хорошо бы украсить чем-нибудь эти комнаты к приезду жильцов!

— Ну да-а... — возразил Нытик. — Им и новые квартиры, им и подарки...

— Тебе не совестно?! — воскликнула Наташа.

Но Витьке не было совестно, и она замолчала.

— А что мы можем подарить, ребята? Давайте вместе подумаем! — обратился к нам Толя Буланчиков.

Мы все вместе подумали немного и все вместе ничего не придумали. И тогда снова взялись за носилки, лопаты и тряпки.

В самый разгар работы на весь дом раздался ужасный, прямо-таки душераздирающий крик. Я, конечно, узнал голосок Лельки Мухиной. Мы все помчались в соседнюю квартиру, где работала Лелька. Оказалось, что из кучи мусора выглянул кусок электрического провода, а Лелька решила, что это змея. Змея в новом доме! До этого могла додуматься только она... Ах, почему я до сих пор не засунул ей в парту живого ужа?! Представляю себе, что было бы! Или, может, этот уж к концу перемены окажется вновь в моей собственной парте, как и еж Борька? Чудеса, чудеса!..

В общем, мы во время своего «вторничного» субботника очистили от мусора только один первый этаж. А в доме-то еще целых шесть этажей! И зачем такие высокие дома строят?!

3 ДЕКАБРЯ

Сегодня у нас в школе вывесили «молнию». Через весь длинный лист ватмана протянулся красный заголовок: «Ценная инициатива». А чуть пониже синей краской было написано: «Равняйтесь на них!» Это на нас, значит, на наш отряд: на меня, на Толю Буланчикова, на Витика-Нытика, на сознательную Мазурину и даже на Лельку Мухину. «Молния» очень надеялась, что «все отряды подхватят славный почин и помогут строителям очистить оставшиеся шесть этажей от мусора и стройматериалов».

«Молния» сверкнула так ярко, что прямо-таки ослепила всех наших ребят,— они ходят по коридору гордые, задрав носы, а их нахваляют: «Молодцы!», «Проявили инициативу!», «Додумались!» — и все такое прочее. Даже строгий учитель истории заявил сегодня, что мы, устроив субботник, «оказались достойными наследниками лучших традиций»! Вот как замечательно получилось...

И никто, конечно, не догадывается, что все это вовсе не наш «славный почин» и не наша «инициатива», а выдумка какого-то неизвестного мне человека, который отпечатал на пишущей машинке и сунул в парту маленькую записочку. И который поставил вместо своего имени три непонятные буквы: «ТСБ»...

6 ДЕКАБРЯ

Есть в нашем отряде кружок «Умелые руки». В него записались и те, у кого умелые руки, и те, у кого неумелые. Это Толя Буланчиков так решил, что все должны записаться.

— Каждый нормальный человек должен что-нибудь уметь, — сказал Толя. — И вообще пусть умелые влияют на неумелых!

Толя был прав: каждый нормальный человек что-нибудь да умеет. Вот я, например, сколачивал клетки для нашего живого уголка, а Витик-Нытик мне гвозди и молоток подавал — он это умеет!

А потом, когда выставку устроили, на моих деревянных клетках оказались таблички с такой надписью: «Работа пионеров Вити Бородкина и Севы Котлова». Витька впереди меня очутился, потому что он по алфавиту раньше идет.

Больше всего на выставке было девчачьих работ: вышивки, вязания, салфеточки, наволочки всякие и прочая ерунда. Это я тогда, когда выставку осматривал, думал, что ерунда. А потом...

Прибегаю я однажды в класс после второй перемены (это была именно вторая перемена, потому что Дима сверху, со своего четвертого этажа, мне деньги на завтрак принес и я успел в буфет сбегать), сажусь на скамейку, лезу в парту за тетрадкой — и вдруг рука моя натывается на что-то колючее. «Что такое?! — думаю. — Неужели наш Борька Нигилист оставил в парте свою иголку?» Подул на палец, открыл крышку и вижу: разломанным пополам перышком приколотая записка. Опять записка! И опять на пишущей машинке напечатанная! А напечатано в ней было вот что:

И почему только тебя, Котлов, «великим комбинатором» называют? Медленно у тебя в башке подшипники крутятся, и не в ту сторону. Если так и дальше пойдет, тебя неминуемо из Котелка в Кастрюлю переименуют. А теперь читай внимательно! Не знаете вы, куда девать изделия своего кружка «Умелые руки»? Догадаться не можете? Свалили их в шкаф — и они там гниют себе на здоровье, моль ими питается. А разве не лучше подарить все это людям, которые в новый дом вселятся? Положите в каждую комнату коврики, салфетки, вязания... И пусть девочки

вышьют на каждом подарке цветными нитками: «С новосельем, товарищи!» Разве плохо? А если у вас подарков не хватит, бросьте клич на всю школу: ведь почти в каждом классе есть кружок «Умелые руки»! Соображать надо!

Ну, а в уголке, конечно, стояла та же самая подпись: «ТСБ».

И снова мы созвали экстренный внеочередной совет отряда. И снова все кричали, что я «просто гений» и «гордость класса», что у меня «золотая голова» и так далее. А я отвечал, что вовсе здесь ни при чем. Тихонько отвечал, чтобы не все слышали... Но и те, которые услышали, не верили мне: «Скромница ты наша! Это украшает человека!.. Всю жизнь будь таким скромным!» И я обещал быть таким всю свою жизнь.

А потом девочки вышли на ковриках и салфеточках разноцветные поздравления. И мы уже собирались снова идти в новый дом, но тут взбунтовались некоторые мальчишки:

— А как же наши работы?!

Девчонки в ответ заголосили:

— А что делать с вашими моделями глиссеров и подъемных кранов? Может, вон в той комнате старушка жить будет и ей ваши глиссеры совсем ни к чему? И что делать, например, с Севкиными клетками? Тоже дарить? Представляете себе, как будет мило: входит человек в новую квартиру и видит — посреди комнаты стоит здоровенная клетка и на ней надпись: «С новосельем, товарищи!»

— А если переделать клетку в мышеловку? — вылез с предложением Нытик.

— Как тебе не совестно?! — вскрикнула Наташа Мазурина. — Разве в новых домах бывают мыши?! Мыши и клопы — это наследие прошлого! Понятно тебе?

Мы, мальчишки, сказали, что без наших подарков дело не пойдет. А девчонки сказали, что они тогда одни, без нас, пойдут в новый дом и разложат там коврики. Тогда мы сказали, что расставим возле дома посты и не пропустим их. А Наташа Мазурина сказала, что у нас внутри сидит наследие прошлого...

— Ты хочешь сказать, что там сидят клопы и мыши?! — грозно поинтересовался Коля Тимохин, самый сильный у нас в смысле мускулов и самый слабый в смысле учебы, и дернул Наташу за косу.

Тогда Толя Буланчиков забрался на подоконник и, с трудом установив тишину, предложил отложить на один день «торжественную церемонию внесения подарков в новый дом».

— Мы все крепко подумаем, как быть! — сказал Толя. — Всем коллективом!

И все разошлись по домам очень задумчивые...

7 ДЕКАБРЯ

Что же нам все-таки сделать, чтобы не одни только девчачьи подарки в новом доме красовались? Неужели мы, мальчишки, будущие, можно сказать, мужчины, не сможем соорудить что-нибудь очень-очень нужное для новых жильцов?! Гораздо, ну, прямо в сто раз более нужное, чем всякие там салфеточки и подушечки?! Об этом я думал и вчера вечером, когда лег в постель, и сегодня утром, когда бежал в школу.

Я очень спешил в класс, так спешил, что раза три споткнулся на ровном месте. И один раз услышал за своей спиной: «Ишь как младший Котелок в школу катится! По урокам соскучился!..» Это, наверно, сказал кто-нибудь из старшеклассников — из тех, кто знал и «старшего Котелка», то есть нашего Диму. В школу я торопился вовсе не потому, что соскучился по урокам. Нет, я просто был уверен, что в парте меня ждет очередная записка от загадочного «ТСБ». Уж он-то подскажет нам выход из положения! Нельзя, ни за что нельзя уступать девчонкам... Они же потом до самого десятого класса, до самого последнего выпускного вечера будут насмеяться над нами и презирать нас!

Я подлетел к своей парте, откинул крышку, но никакой записки там не оказалось. Не было записки от «ТСБ»!

Забравшись на подоконник (я заметил, что именно там, на подоконнике, мне в голову приходят самые прекрасные мысли!), я стал думать. «А что бы мне мог подсказать «ТСБ», если бы он хотел подсказать? — думал я. — Он бы, наверно, прежде всего узнал, что мы умеем делать в столярной мастерской. Так... А что мы там делаем? Доски для стенгазет. Это новым жильцам не нужно. Ого, если жильцы начнут критиковать друг друга в стенгазетах — такая каша заварится!.. Еще мы делаем скворечники. Но если новым жильцам не нужны клетки для зверей, так и скворечники для птиц им,

наверное, ни к чему. Еще мы собирались делать в своей мастерской... Мы собирались...»

Я соскочил с подоконника и на весь класс заорал:

— Табуретки! Ура! Табуретки!..

Ну конечно! Вот что надо дарить новоселам: табуретки! Они всем нужны! Они обязательно должны стоять в каждой кухне, возле стола или возле плиты. И мы их сколотим! Принесем их на кухню еще до приезда жильцов... Вот будет сюрприз! Приезжают люди, заходят на кухню — и видят: стоит новенькая, аккуратная, симпатичная табуреточка! И на другой кухне тоже, и на третьей.

Все представители мужского пола в нашем классе поддерживали мой план. Со всех сторон неслось:

— Это — дело! Не то что салфетки и коврики! Мы девчонкам докажем!

— Мы докажем! — кричал Витик-Нытик.

— Уж лучше молчи! — цыкнул я. — Ты докажешь! Опять будешь гвозди и молоток подавать?

Наш отрядный поэт Тимка Зубов сочинил песенку:

Ах, детки, детки, детки,
Сколотим табуретки!
На кухни их поставим —
И свой отряд прославим!

На перемене мы помчались в столярную мастерскую и изложили учителю свой план. Он в себя не мог прийти от восторга:

— Наконец-то вы оценили уроки труда! Труд — это великое дело, ребята! Он превратил обезьяну в ученика, в школьника, в человека!

Мы в ответ так галдели, что можно было не сомневаться: произошли от обезьян. И совсем недавно...

10 ДЕКАБРЯ

Вот и пришла зима!

Вообще-то говоря, мороз уже давно пощипывал лицо и руки, я давно надел зимнее пальто и шапку-ушанку, которые потом еще целых пять дней пахли нафталином. Но снега все не было. А зима без снега — это, по-моему, не зима. И вдруг

позавчера утром я увидел, что наши подоконники заросли белым мохом, улицы побледнели, деревья стали седыми. Кружились мохнатые звездочки... И хоть в воздухе потеплело, я сказал: «Пришла наконец моя любимая зимушка-зима!»

Толя Буланчиков, а за ним и все ребята решили, что «нужно провести какое-нибудь оригинальное зимнее мероприятие». Такое, какого еще не было ни в одном отряде! Все стали поглядывать на меня. Вот наказание: люди ко всему привыкают. У нас в классе привыкли, что я всегда что-нибудь придумываю! Но ведь это же мне загадочный «ТСБ» подсказывал...

Я надеялся, что он и теперь что-нибудь да подскажет. Я прибежал в школу раньше всех, бросался к парте, но она была пуста-пустешенька. Только один раз валялся кусок задохшей булки с маслом и колбасой: кто-то из второй смены не доел свой завтрак. А записок никаких не было!

Я снова стал размышлять: «Ну что бы мне мог посоветовать в таком положении этот самый «ТСБ»? Что?» Все ребята с надеждой смотрели на меня, и от этого я уж вовсе ничего не мог сообразить. По десять раз в день залезал я на свой заветный подоконник. Даже поясница заныла, я поглаживал ее, и наша умная Наташа Мазурина сказала, что я от сидения на холодном камне наживу себе очень неприятную болезнь радикулит, которой вот уже двадцать пять лет страдает ее бабушка. Так я жертвовал своим здоровьем ради общего дела! Но никакие «оригинальные, зимние мероприятия» не лезли мне в голову.

— Ты просто не хочешь подумать как следует! — ворчал Толя Буланчиков. — Если бы ты по-настоящему, так, знаешь, по-пионерски захотел, то уж давно бы что-нибудь изобрел!

Ох и чудака этот Буланчиков! Неужели он думает, что мне охота перед всем коллективом подрывать свой высокий авторитет! Но если ничего не придумывается? Виноват я, что ли? А может, я просто привык уже к помощи «ТСБ» и отвык думать собственной головой? Может быть... Но ведь в этом я тоже не виноват.

Мучения мои завершились сегодня утром. Я снова забрался на подоконник — и вдруг меня осенило: «А может, и не нужно вовсе никаких «оригинальных мероприятий»? Снег у нас есть? Есть! Лед есть? Есть! Коньки есть? Есть! И лыжи

есть. И санки тоже... Вот и будем ходить на лыжах, бегать на коньках, кататься на санках! Да еще сражаться в снежки! А «оригинальных мероприятий» совсем и не надо!»

— Я же говорил: если захочешь — все будет в порядке! — воскликнул Толя Буланчиков. — Захотел — и придумал! Кто, брат, ищет, тот всегда найдет!

И все меня поздравляли с моей оригинальной идеей о том, что не нужно нам никаких оригинальных идей. Вот как оно получилось!

12 ДЕКАБРЯ

Еще в прошлом году мы с Витькой заключили «священный договор»: выполнять письменные домашние задания по очереди. Это рационализаторское предложение внес, разумеется, я. План у меня был очень простой: один день я решаю арифметические задачи и примеры, а Витька списывает у меня. Другой день Витька решает, а я списываю. При этом способе получается огромная экономия времени. А за счет сэкономленных таким образом минут и даже часов можно побегать на коньках, погонять футбольный мяч, почитать книжку и просто поваляться на диване.

Мы бы, конечно, хотели точно так же поступать и с «устными» заданиями: один день по всем предметам отвечаю только я, а другой день — Витька. Этот план, однако, был невыполним: учителя бы никогда не оценили его и не позволили провести в жизнь.

Но письменные задания мы целые полгода выполняли так, как договорились. И все шло очень хорошо, просто отлично!

Но вот вчера случилось что-то непонятное. Утром, еще до школы, папа, вынимая из почтового ящика газету, сказал:

— Тебе письмо, Сева. И странное какое-то... Первоклассник его писал, что ли?

И правда, адрес был старательно выведен крупными печатными буквами, как пишут ребята-первоклассники. Но ошибок ни в адресе, ни в имени и фамилии не было. Значит, писал не такой уж первоклассник!

Я никогда еще не получал писем по почте. Вернее сказать, я не получал «личных» писем, где бы на конвертах было написано: «Севе Котлову». А так-то вообще мне писали: и дедушка (мамин папа), и бабушка (папина мама), и сами мама

с папой, когда они в санатории отдыхали. Письма бабушки и дедушки всегда были адресованы маме, и только внутри конверта один из листков начинался словами: «Дорогой Всеволод!» (так ко мне обращался дедушка) или: «Родненький внучек!» (так обращалась бабушка). Мама и папа писали на конверте: «Дмитрию Котлову». И тоже внутри конверта как-то застенчиво пряталось обращение ко мне. Так что можно считать, что «личных» писем я не получал.

А тут на конверте печатными буквами, словно для того, чтобы посылней удивить меня, было выведено: «Севе Котлову (лично)».

Я быстро надорвал конверт. Соседка Виктория Александровна, та самая, муж которой, «агроном по образованию», называл меня иногда Севособоротом, а иногда Севообормотом, ехидно сказала старушке-пенсионерке тете Паше:

— Наш-то кавалер стал уже письма получать!

— А вы уже перестали получать — вот и завидно? — не поднимая головы от кастрюли, ответила тетя Паша.

И мне хотелось расцеловать ее!

Стало быть, я надорвал конверт и увидел, что внутри лежит небольшой белый листок, а на нем такими же печатными буквами написано:

Дорогой Сева! Я ничего не могу объяснить тебе подробно, но только знай: я расторгаю наш «священный договор». Теперь я буду готовить письменные задания сам. Каждый день сам! И ты делай сам. Это необходимо! Ни о чем меня не спрашивай. Я тебе сейчас ничего не могу объяснить. И вообще не разговаривай со мной целых пятнадцать дней с момента получения этого письма. Если только заговоришь, плохо нам обоим придется. Потом все объясню. И почему пишу печатными буквами, тоже объясню. Твой верный друг Витя.

Верный! Он еще смеет так называть себя, этот несчастный Нытик! Нарушил «священный договор» — и хоть бы хны! Теперь придется каждый день корпеть над задачками и примерами. А как раньше было хорошо... Как много было свободного времени!

Так думал я, уничтожая Витькино письмо и выбрасывая его в форточку. Я поклялся не прощать Витьке коварства и жестоко отомстить ему при первом же удобном случае.

В школе я не сказал Нытику ни единого слова. И он все время от меня отворачивался. А когда мы случайно встреча-

лись глазами, его лицо становилось жалобным-жалобным.

«Ничего — подумал я, — еще не так взглянешь, когда попытаешь на себе мою месть!» Но как отомстить?

13 ДЕКАБРЯ

Ура! Я придумал план мести неверному Нытику!

За коварство я отплачу коварством!

Как я уже писал раньше, мы с Витькой жили в одном доме, а письменные задания каждый из нас выполнял через день. Значит, нам нужен был только один задачник по арифметике. У нас и был один задачник: м о й! А Витька свой отнес как-то, в самом начале учебного года, в букинистический магазин, потому что в тот трагический, как теперь оказалось, день у него не хватило денег на кино.

Что же оставалось делать несчастному Нытику сейчас, когда он так предательски и, как пишут в нашем учебнике истории, «односторонне» разорвал «священный договор»?

Ровно в 3 часа 40 минут дня по телефону позвонила младшая Витькина сестра, первоклассница, которую мы звали Кнопкой. Она пропищала в трубку:

— Витя очень просит тебя, Сева, дать ему задачник.

Я услышал, как Витька довольно-таки громким шепотом подсказывал ей:

— Только на полчаса! Всего на полчаса!

— Он просит задачник всего на полчаса, — повторила послушная Кнопка.

— Ха-ха-ха!.. — рассмеялся я в самую трубку. — Скажи своему дорогому братцу Витеньке, что он еще ни разу в жизни не смог решить задачку не только за полчаса, но даже и за полтора. А сегодня задачи очень трудные.

Витька воспитывал Кнопку в почтении к своей неверной персоне. И поэтому младшая сестра очень оскорбилась за старшего брата:

— Сам ты не можешь решить! А наш Витя может!..

— Если будешь грубить старшим, совсем не получишь задачник, — строго предупредил я.

В трубке слышалось какое-то шуршание — это Витька на другом конце провода воспитывал свою сестренку. Он, вероятно, нашептывал ей, чтобы она была повежливее, а то он, бедный, может остаться вообще без задачника. Перевоспитанная Кнопка заговорила совсем по-иному:

— Спасибо тебе, Сева, за учебник! Я приду за ним.

— Не раньше чем через полчаса! — воскликнул я, потому что именно в ту минуту мне и пришел в голову план кровавой, но справедливой мести.

Размышлять было некогда, и потому план показался мне просто великолепным. «Нет, напрасно думает этот «ТСБ», что мои подшипники медленно крутятся, я еще кое-что соображаю! — думал я, потирая руки от удовольствия. — Ага, Витенька, мой бывший дружок-приятель, ты нарушил наш договор, ты воротишь от меня свою унылую физиономию, ты даже по телефону не желаешь со мной разговаривать — так я отомщу тебе за это коварство!»

Я вот что придумал... Скажу Кнопке, что задачник сегодня дать не могу: он, дескать, мне самому очень нужен, а Витьке пошлю готовое решение задач. Знаю я его натуру! Хоть он и стал сознательным, как Наташа Мазурина, но если увидит у себя под носом готовое решение задач да еще взглянет во двор, где ребята будут сооружать ледяную крепость, — не выдержит, всё аккуратненько перепишет в свою тетрадочку.

Перепишет, да не то, что нужно! Потому что я пошлю ему вместо настоящих решений всякую ерундистику, над которой весь класс завтра будет надрывать животы! От хохота, разумеется...

Нам задали на дом две задачки. Одна из них рассказывает о бассейне, который наполняется водой сразу через три трубы. Нужно выяснить, за какое время бассейн наполнится до краев, если открыть вторую трубу через пятнадцать минут после первой, а третью — через пятнадцать минут после второй? Вот что нужно узнать на самом-то деле! Но Витька этого не подозревает, потому что он не читал задачку, даже в глаза ее не видел. А я ему пошлю решения не про трубы и не про бассейн, а про что-нибудь совсем, ну совсем другое!

Но про что именно?

На столе лежала газета, а в ней была фотография: знатная птичница на птицеферме среди белых кур и петухов. Я бросился к своему столу, вырвал из середины тетрадки двойной лист и написал на нем:

«Первый вопрос. Сколько яиц снесет курица в первый день?

Второй вопрос. Сколько яиц она снесет во второй день?

Третий вопрос. Сколько яиц снесут все птицы на ферме за месяц (не считая, конечно, петухов)?»

И какие-то вычисления в цифрах произвел. Вот уж будет потеха, когда Витька вместо бассейна с трубами начнет описывать птицеферму с курами! Все подумают, что он сумасшедший. Ребята будут лежать на полу от смеха. Узнает Витенька, как расторгать «священные договоры».

Вторая задачка, которую нам задали, рассказывала о двух путниках (не о двух спутниках, а о двух путниках!), которые вышли навстречу друг другу из пунктов А и Б. Нужно было узнать, когда и где они, исходя из размера пути и скорости движения, встретятся.

«Какие бы вопросы придумать вместо этого?» — стал размышлять я. Переворочил все газетные листы, но никаких подходящих фотоснимков больше там не нашел. А надо было торопиться: вот-вот зазвонит звонок и явится Витькина Кнопка. Тогда я вспомнил неожиданно про наши знаменитые табуретки. Вопросы несуществующей задачи придумались сразу:

«Первый вопрос. Сколько табуреток нужно поставить одну на другую, чтобы, исходя из размеров комнаты, достичь потолка?»

Второй вопрос. Сколько табуреток нужно поставить одну на другую, чтобы, исходя из размеров дома, достать до крыши?»

Я быстро произвел некоторые расчеты в цифрах, написал решения и, как полагается, окончательный ответ задачи.

Я уверен, что Витька даже и сомневаться не станет в том, что это именно те самые задачки, которые нам задали на дом. Он ведь не очень силен в математике и ему уж очень захочется не опоздать во двор к торжественному моменту закладки ледяной крепости, которую ребята еще вчера решили назвать «Шипкой».

Вскоре раздался один короткий звончок: Витенькина Кнопка еле-еле смогла дотянуться до другой кнопки — до той, которая была над нашим почтовым ящиком.

Я схватил двойной лист и побежал открывать. Кнопка была, как всегда, в своем коричневом форменном платье, а ее передничек был таким отглаженным, что просто не верилось: неужели она сегодня сидела за партой и бегала на переменках по коридорам? Хотя ведь девчонки не бегают — они смирно прогуливаются...

— Витя бы не стал брать у тебя задачник. Но его завтра спросят, — сказала гордая Кнопка.

Я знал, что Нытика завтра спросят: наша математичка проверяла домашние задания по алфавиту. Сегодня она остановилась на Нине Балбековой, значит, завтра — очередь Бородкина, то есть Витькина.

— Я не могу дать задачник...

— Жалко, да? — Кнопка сморщила свой крошечный носик.

Мне стало немного не по себе. Глядя в сторону, на перила, я ответил:

— Нет, мне не жалко. Но просто... У меня его нет... Задачника! Ну, я одолжил его одному приятелю.

— У тебя уже... появились другие приятели? — ревниво спросила Кнопка.

— Да, появились! Но дело не в этом... Передай брату две эти странички. Тут всё есть... Он поймет!

Ох и нелегко же далось мне это вранье!..

Кнопка двумя пальчиками, точно брезгуя, взяла мои листы и побежала вниз. Только с третьего этажа она крикнула: «Спасибо!» И это «спасибо» гулко разнеслось по всему дому. Знала бы Кнопка, за что она благодарила меня!..

Но ничего. Этот урок пойдет на пользу ее старшему братцу! Узнает, как нарушать клятвы и договоры... Вот потеха-то будет завтра, даже представить себе невозможно!

14 ДЕКАБРЯ

Сегодня, ровно в 7 часов 15 минут утра, вместе со звонком будильника во мне вдруг заговорила совесть. Натягивая ботинки, я представлял себе несчастного Нытика и то позорище, которое ждет его сегодня на первом уроке.

Только выйдя на кухню мыться, я заметил, что ботинки мои смотрят в разные стороны, словно отворачиваются друг от друга, как мы с Витиком-Нытиком в последние дни. Все понятно: я от расстройства натянул левый на правую ногу, а правый — на левую. Пришлось сесть на табуретку и переобуться.

— Эх, — вздохнула старая тетя Паша, — рассеянные нынче молодые люди пошли: науки замучили! Для простых-то дел места в голове не осталось.

— Да нет, тетя Паша, науки здесь ни при чем...

И пошел к умывальнику — намыливать лицо и руки.

А мне-то, по всем правилам, надо было намылить шею!

Вчерашняя ненависть к Витьке почти что исчезла. Я даже забыл об одностороннем нарушении Нытиком нашего «священного договора». Я думал лишь об одном: «Что будет сегодня на уроке арифметики? Что будет?..» Я волновался так же или даже еще больше, чем в тот день, когда произошла знаменитая история с Диминым паспортом. Эх, и ничего-то я не понял тогда!.. Все мне говорили: «Сделай выводы из того, что случилось!» А я не сделал никаких выводов — и вот снова натворил дел!

Чем меньше времени оставалось до урока, тем сильнее меня охватывал ужас. «Все подумают, что Витька просто издевается над классом, — размышлял я по пути в школу. — Или что он сумасшедший. Но его ведь могут повести к доктору. Доктор скажет, что он совершенно здоров, и тогда все решат, что он именно издевается. Ему влепят двойку за поведение и будут обсуждать на совете отряда, а может быть, даже на совете дружины. И все из-за меня, из-за моей злости! Тоже еще мститель нашелся! Узнай об этом Наташа Мазурина, она бы сказала: «Кровная месть — наследие проклятого прошлого! И ты, Котлов, находишься во власти этого наследия».

Она была бы права. Но еще больше я находился во власти страха: «Что будет, что будет?!»

Я решил предупредить Нытика до урока, во всем ему признаться. И хоть он сам первый вздумал не разговаривать со мной, отворачиваться от меня, я решил протянуть ему руку и даже попросить извинения, лишь бы загладить свой подлый поступок. Совсем загладить, чтобы и следа не осталось!

А Витька, ничего не подозревая, явился уже после звонка, перед самым уроком. Он вошел в класс за какую-нибудь секунду до учительницы. Я только-только раскрыл рот для раскаяния, как все ребята, громыхнув партами, поднялись: на пороге стояла наша математичка. Она была очень доброй женщиной, но сегодня мне показалось, что у нее злые глаза. Бедный Нытик! Что будет?!

Математичка Софья Романовна раскрыла журнал и произнесла свои обычные слова:

— А вот мы сейчас проверим, как вы самостоятельно потрудились!

Витька знал, что его спросят, — он весь подтянулся, раскрыл тетрадку. И тут я стал молча закрывать эту тетрадку

и совать ему под нос свою собственную, где были правильные вопросы и правильные ответы.

— Ты чего-о? — изумился Витька. — Ведь мы же с тобой...

Он отодвинул мою тетрадку. Отверг ее... Отбросил в сторону спасательный круг, который я ему протягивал! Сам, своими руками отбросил!

Так и есть!

— Начнем-ка мы сегодня с Бородкина, — сказала Софья Романовна, как бы преподнося нам всем неожиданность.

Витька поднялся. Лицо у него было довольное: он хотел блеснуть верностью решений двух трудных задач.

«Вот сейчас он блеснет! — с ужасом думал я. — Да так блеснет, что всех кругом ослепит!» И тут же я принял решение: «Нет, этого не должно случиться! Любой ценой искуплю свою вину и спасу Нытика!»

Я вновь раскрыл свою тетрадь и стал совать ее Витьке в руки.

— Вот здесь!.. Здесь правильно... Читай по моей.

Витька неестественно заморгал ресницами.

— Ты не готов? — насторожилась Софья Романовна.

— Он готов! — громко ответил я.

Математика — точная наука, и Софья Романовна потребовала уточнений:

— Откуда ты, Котлов, можешь знать?

Я продолжал подсовывать Витьке свою тетрадку.

— Отста-ань, я са-ам... — шепотом заныл он.

— Я ведь назвала Бородкина. Так что ты, Котлов, сиди спокойно! — потребовала Софья Романовна.

Легко сказать: сиди спокойно! Я не мог, да, не мог допустить, чтобы Витька прочитал то, что я вчера написал. Любой ценой я должен был помешать или, верней сказать, помочь ему!

— Скажи, что забыл тетрадь дома, — опять зашептал я. Но Витька ничего не понял.

— Я не забы-ыл. Она во-от... Во-от она!

— Возьми лучше мою! Читай по моей. Слышишь, дурак несчастный!

— Сам дура-ак, — зло прошептал в ответ Витька. И раскрыл рот, чтоб сообщить про куриц, которые высиживают яйца, и про пирамиды табуреток, которые достигают потолка и самой крыши.

Тут уж я не выдержал и, забыв, что нахожусь на уроке, просто вырвал у Витьки из рук тетрадь. Весь класс ахнул и замер... В изумленной тишине раздался голос Софьи Романовны. Он был раздраженным, и оттого, что Софья Романовна никогда раньше голос не повышала, ее слова показались мне особенно грозными:

— Котлов, сейчас же покинь класс! Ты мешаешь нам заниматься. Погуляй в коридоре, приди в себя!

Я покинул класс... Но не стал гулять по коридору. Нет, я прислонился ухом к замочной скважине и стал слушать. Вот... вот сейчас Витька прочтет: «Сколько яиц снесет курица в первый день?» — и весь класс взорвется от хохота.

Витик-Нытик начал читать по тетрадке. Я заткнул уши и постоял так минуты две... А когда вынул пальцы из ушей и снова приставил правое ухо к двери, то услышал добрейший голос Софьи Романовны:

— Пока все хорошо, Бородкин. Молодец! Как у тебя со второй задачей?

Оказалось, что и со второй у Бородкина все обстояло благополучно.

Я привык в последнее время к странностям и чудесам, но на этот раз чудо было непостижимым. Как же так? Неужели Витька разгадал мои коварные планы и всё решил сам? Но ведь у него даже нет задачника! А может, он сходил за ним в библиотеку или к кому-нибудь из ребят? Да нет, он строил вчера во дворе вместе со мной ледяную «Шипку».

Мимо прошла нянечка и, покачав головой, сказала:

— Выперли из класса-то? И не стыдно? Увидели бы тебя, нечестивец, родители!

Потом она принесла щетку, стала подметать пол и все никак не могла успокоиться.

— Какие для них условия предоставляют! А они, ироды!..

Я продолжал теряться в догадках... И наверное бы, совсем потерялся, но тут затрезвонил звонок — и школа, которая только что была притихшей и будто пустой, ожила, зашумела, запрыгала и даже запела.

Меня окружили и стали на разные лады упрекать:

— Это уж слишком, Котелок!

— Подсказывал бы тихонько, а то лезет, как агрессор, вырывает тетрадку!..

— Витька и без тебя всё знал. И вообще надо кончать с подсказками! — Это, конечно, изрекла Наташа Мазурина.

— Нет, иногда можно... — возразил поэт Тимка Зубов. — Но когда товарищ погибает. Когда возникает трагическая, аварийная ситуация...

Наташа Мазурина проткнула меня презрительным взглядом! Я прочел в ее глазах знаменитое: «И тебе не стыдно?!»

Вышел из класса и Витька. Я подбежал к нему и, забыв про оскорбительную записку, сказал:

— Прости меня, Витя...

Он очень обрадовался, что я заговорил с ним.

— За что же прощать? Ты просто сперва напутал...

— Нет, я не напутал. Я нарочно послал тебе неправильные решения. Сознательно! Понимаешь?

— Наро-очно? — протянул Витька. — Созна-ательно? — Но, вспомнив что-то важное, спохватился: — Это ты сделал нарочно! А потом ведь исправил... Ты сам все исправил!

— Я исправил?

— Ну да.

— Ничего не пойму!

— Ты же опустил в почтовый ящик записку. Вот эту.

— Я опустил?!

— Ну да-а...

Витька полез в брюки и достал оттуда смятую бумажку. На ней большими печатными буквами было написано:

Вот условия задач, которые нам задали на дом. Реши сам!

Дальше шли уже известные мне слова о бассейне, который наполняется тремя трубами, и о путниках, которые вышли навстречу друг другу из пунктов А и Б.

А в самом конце записки стояла подпись: «С е в а».

Сева? То есть получается, что это написал я. А я ведь этого не писал! В чем тут дело?

— Я сперва и сам удивился немного, — сказал Нытик. — «Почему, думаю, Котелок стал писать печатными буквами?» Но потом вспомнил, что ты уже писал мне однажды такими же точно буквами.

— Я?! Когда? Это ты мне писал печатными буквами, а не я тебе.

— Нет, ты мне! Ты-ты! Ты-ы-ы! — очень решительно и обиженно заныл Витька. — Я ту записку тоже храню!

Он помчался в класс и прибежал оттуда через минуту, победно размахивая белым листком.

Мы оба склонились над ним, и я прочитал вслух:

Дорогой Витя! Я ничего не могу объяснить тебе подробно, но только знай: я расторгаю наш «священный договор». Теперь я буду готовить письменные уроки сам. Каждый день с а м! И ты делай сам. Это необходимо! Ни о чем меня не спрашивай. Я тебе сейчас ничего не могу объяснить. И вообще не разговаривай со мной целых пятнадцать дней с момента получения этого письма. Если только заговоришь, нам обоим плохо придется. Потом всё поймешь. И почему я пишу печатными буквами, тоже поймешь! Твой верный друг Сева.

- Но ведь и я получил... почти такую же точно записку!
- Ты-ы? От кого-о?..
- От тебя! Не притворяйся, пожалуйста. Ты же писал?
- Не ври-и. Я ничего не писа-ал...
- И я не писал.
- Значит, кто-то... — таинственно прошептал Витька.
- ...прислал нам с тобой одну и ту же записку, но подписал ее разными именами! — закончил я.
- Покажи свою, — все еще не веря, потребовал Витька.
- Я разорвал ее.
- Ах, разорва-ал?..
- Ты мне не веришь?! Клянусь... клянусь... — Я никак не мог придумать, чем бы поклясться. — Клянусь... Чтоб мне ни разу в жизни в кино не попасть! До самой моей кончины! «Кончина» звучала в клятве убедительнее, чем «смерть». Витька вздрогнул от такой страшной клятвы.
- Я верю тебе...
- Так ты, значит, поэтому от меня отворачивался?
- И ты тоже из-за этой записки?..
- Ну да!

Ох и здорово нас кто-то провел! Разыграл... и, можно сказать, одурачил! Заставил нарушить «священный договор», а чтобы мы не могли выяснить, что к чему, заставил нас отворачиваться друг от друга. И печатные буквы пустил в ход, потому что сообразил, что я знаю Витькин почерк, как свой собственный, а он знает мой. Хитро придумано! Это уж действительно «великий комбинатор» изобретал! Но кто он? А самое главное, откуда он мог узнать обо всей этой истории с задачками? Ведь о ней не знал никто, кроме меня. Никто на всем белом свете! С ума сойти можно...

Мы с Витькой чесали затылки.

Мимо нас прошел Толя Буланчиков.

— А-а! Друзья встречаются вновь? — сказал он. — Это хорошо: дружба, знаете ли, дороже всего на свете!

Но мы не обратили на Буланчикова никакого внимания. Наконец я пришел в себя и сказал:

— Теперь восстановим наш договор! Ладно?

— Не зна-аю... — протянул Витька. — Мне даже немного, как бы сказать... понравилось, что ли...

— Что тебе там понравилось?

— Ну, самому, как бы это выразиться... задачки решать. И отвечать потом как-то приятнее. Я вот сегодня... И Софья Романовна похвалила. «Молодец», — говорит.

— А раньше она тебя не хвалила?

— Нет. Как-то так получалось, что она меня спрашивала, когда была твоя очередь задачки решать...

— С очередями у тебя всегда непорядок. Ну ладно! Мы об этом еще потолкуем, — сказал я. Потому что это и в самом деле стоило обсудить.

17 ДЕКАБРЯ

Сегодня председатель совета отряда Толя Буланчиков поручил мне зайти домой к Володе Каталкину и помочь ему по арифметике. Володя уже целых две недели не ходит в школу. У него болезнь со странным названием: воспаление среднего уха. Я до сих пор думал, что у всех людей только по два уха — и оба крайние: одно — левое, а другое — правое. Но оказывается, у нас есть еще и третье ухо — среднее. Только мы его не видим. Оно-то как раз у Володьки и болит...

После уроков я отправился к Каталкину. Он живет в старинном одноэтажном домике. А домик стоит в садике за забором. Я, когда вижу такие дома, всегда думаю: здесь вот, наверно, жил до революции какой-нибудь важный барин, князь или граф. И по утрам к подъезду подкатывала тройка, а на козлах сидел бородатый кучер и лихо натягивал вожжи. А лакей вскакивал на запятки. И один такой граф занимал целый дом, сам ничегошеньки не делал и только гонял дворовых с утра до вечера. А сейчас в доме живут, может быть, внуки тех дворовых и крепостных. А граф, наверно, удрал за границу и работает где-нибудь официантом. Мне кажется, что все дворяне, которые за границу удрали, стали официантами...

На доме Володьки Каталкина замысловатые кренделя, которые называются вензелями. И две буквы внутри этих вензелей: «Б» и «К». Это инициалы князя или графа, который проживал когда-то в этом доме.

От забора на дорожку падают ровные полосы: темные и светлые. Шагая по этим полоскам, я добрался до калитки. Но только стал открывать ее, как сразу отскочил от забора и одной ногой провалился в сугроб. Во дворе я увидел огромную серо-белую овчарку. Чем-то я ей не понравился — принялась лаять и самым зверским образом рваться мне навстречу.

Собака была привязана к столбу, но не цепью, а весьма ненадежной веревкой. Вережка натягивалась, как витая струна, и казалось, вот-вот оборвется. А надо сознаться, что я с раннего детства боюсь или, лучше сказать, остерегаюсь собак. И не даром! Когда я был еще в детском саду, меня тяпнула за ногу такая же вот овчарка, и я потом целый месяц ходил на уколы. Живого места на моем животе не осталось!..

«Лучше поищу другую калитку», — подумал я. Обошел вдоль забора... Но никакой другой калитки не оказалось. Тогда я стал звать Володю. Я кричал, а собака в это же самое время лаяла, да еще ветер подвывал ей всюду, так что Володя меня не слышал.

Я еще походил, походил вдоль забора, захотел есть, замерз и поплелся домой. Володька ведь завтра еще не собирается в школу, так что я успею оказать ему свою товарищескую пионерскую помощь. А собаку они, может быть, завтра в комнату заберут или привяжут понадежнее цепью... Позвоню Володе по телефону и попрошу, чтобы ее привязали. Хватит с моего живота уколов!

18 ДЕКАБРЯ

Степан Петрович плохо видит. Но зато он очень хорошо слышит. Когда хлопает парадная дверь и человек еще только входит в коридор, Степан Петрович сразу узнаёт, кто именно пришел. И никогда не ошибается.

Сегодня, когда я вошел к нему в комнату, Степан Петрович спросил:

— Что ты там замешкался, Сева? Я уж минут пять назад

услышал твои шаги по коридору. И почему, думаю, он в комнату не идет?

— Меня соседка ваша попросила помочь. Бак на плиту мы ставили. Она белье кипятит...

— Ах, белье? — Степан Петрович поднял очки на лоб и прищурился. — А я решил, что там, возле двери, собака на веревке бегают...

Я вздрогнул. Собака? Это Степан Петрович сказал не случайно! Откуда он знает о вчерашней собаке? Откуда?! Ведь рядом со мной никого не было. И никто ничего не видел. Откуда же он знает? И даже то, что собака была веревкой, а не цепью привязана, ему тоже известно! Волшебство какое-то... Ни одного дня не проходит без чудес и загадок! Ну и жизнь у меня пошла: ломай и ломай себе голову! А разгадать ничего невозможно...

Хлопнула дверь в коридоре.

— Наш «главпродукт» пришел, — сказал Степан Петрович. Это он так Витьку прозвал.

Нытик влетел в комнату, нагруженный пакетами и кулками. На шапке и воротнике у него еще не растаяли снежинки, а лицо было возбужденное, гордое.

Нытик любил рассказывать о своих хозяйственных достижениях.

— Я купил вам мандарины, Степан Петрович! Их с юга доставили. На самолете!.. Только вчера они, может быть, на солнышке грелись, а сегодня мороза попробовали. Здорово, а?

Я тихонько, без шапки и без пальто, вышел на балкон. Он был покрыт снежным пушистым ковриком. А на перилах тоже отдыхал снег.

«А может, отсюда виден дом Володьки Каталкина? — думал я. — И Степан Петрович сверху всё разглядел? Но тут же спохватился: да ведь он почти ничего не видит! А может, кто-нибудь другой разглядел сверху, с этого балкона, и ему рассказал? Нет, балкон выходил в другой переулок... Здесь тоже было несколько невысоких старинных домиков с кренделями-вензелями над окнами, но того, возле которого бегала на веревке собака, не было.

Я вернулся в комнату. И после белой снежной подстилки долго вытирал ноги о самый обыкновенный матерчатый коврик, который лежал возле балконной двери.

На столе валялись оранжевые корки: Витька весело уплетал мандарины.

— Ты, Сева, выходил на балкон? — спросил Степан Петрович.

— Да... Знаете, захотелось подышать свежим воздухом... День сегодня, знаете, чудесный! Солнечный!

— Мороз и солнце? — Степан Петрович глубоко вдохнул воздух, в котором, казалось, перемешались солнце и мороз и который ворвался в комнату сквозь открытую дверь.

— Ну, я побежал! — дожевывая мандарин, сообщил Витька. — Мне еще надо курицу достать...

Он очень увлекался покупками, хотя ему потом приходилось отчитываться перед строгой соседкой Степана Петровича, которая упорно называла Витьку не «главпродуктом», а «главфруктом». Соседка упрекала Нытика в том, что он недостаточно экономен, «выбрасывает деньги на ветер» и «скоро пустит Степана Петровича по миру».

— Я на рынке торгуюсь, не уступаю! — гордо отвечал Витька. — А скупиться мы не можем. Мы должны покупать все самое лучшее: шефствовать так шефствовать!

Сейчас он собрался бежать за курицей в диетический магазин.

— Сколько яиц снесет курица в первый день? — шепотом спросил я у Витьки.

Он обиженно надул губы:

— Не забуду этого... Никогда-а...

Нытик направился к двери, но Степан Петрович остановил его:

— Хватит на сегодня покупок. Разденься, Витя. И если у тебя есть еще время, почитай мне, пожалуйста, сегодняшние газеты.

Когда я выходил на балкон без пальто и без шапки, мне совсем не было холодно, а тут по телу разбежались мурашки: «Как же так? Витька будет читать газеты? А я? Это же мой шефский участок!»

— Сева сегодня, к сожалению, занят, — пояснил Степан Петрович. — Ему надо навестить Володю Маталкина и помочь там. По арифметике, кажется.

— Не Маталкина, а Каталкина, — запинаясь, поправил я.

И подумал: «Это я сам вчера был Маталкиным, когда смаывался от овчарки».

— Кстати... — Степан Петрович снова поднял очки на лоб и прищурился. — Кстати, собака у этих Каталкиных-Матал-

киных, по моим точным сведениям, только глотку дерет понапрасну...

— Степан Петрович, откуда вы знаете про все про это: и о собаке и о Каталкине? — поинтересовался я тихо.

Своим глуховатым баском он пропел на мотив известной арии из оперы «Пиковая дама»:

— Три буквы, три буквы, три буквы!..

«Какие три буквы? — не сообразил я. Но уже в коридоре понял. — «ТСБ»! Вот какие три буквы!..»

21 ДЕКАБРЯ

Кто же такой «ТСБ»? Я размышляю об этом целые дни, с утра до ночи. И даже по ночам размышляю!

Однажды мне приснился великан в черной маске и длинных черных перчатках до локтей. Он подкладывал в парту самого настоящего крокодила. Зеленого и живого, с пупырчатой кожей, из которой дамские сумки делают... Я хотел убежать, но, как это бывает во сне, не мог двинуться с места. А в ушах звучал преспокойный голос нашей Анны Рудольфовны:

«Как будет по-немецки «крокодил»? Не знаете, Котлов? Я так и знала, что вы не знаете. Запомните, если вам не трудно, что «крокодил» по-немецки — «ТСБ», «ТСБ»...»

От всего этого ужаса я проснулся — и увидел над собой встревоженное и, как всегда, очень странное без очков лицо Димы.

— Ты не заболел? Что с тобой, Котелок?..

Станный все же человек наш Дима: то грозит выкинуть мою раскладушку в коридор, где от дверей холодом дует, то о здоровье моем беспокоится! И всегда он так: то хороший и добрый, а то злится, ко всему придирается!

Ах, если бы он знал, что происходит с его младшим братом, если б он только знал!..

И как странно ведет себя этот «ТСБ»: иногда он помогает мне, подсказывает полезные мысли, а иногда вмешивается в дела, которые его совсем не касаются, и срывает мои лучшие планы. Ведь это он (я теперь уверен, что он!) переложил колючего Борьку-Нигилиста из мухинской парты обратно в мою собственную. Это он послал мне и Витьке те самые записки и добился-таки, что мы целых три дня не разговаривали друг

с другом. И может быть, он доложил Степану Петровичу об истории с собакой, которая «только глотку дерет понапрасну». Все это о н!..

А кто «он»? Не знаю. И думаю об этом все время — до того напряженно думаю, что даже не слышу на уроках, о чем рассказывают учителя. Позавчера, например, учитель истории сказал вдруг:

— Котлов, закончи мою мысль!

Но я не мог закончить его мысль, потому что не слышал, с чего она началась.

В тот же день, после уроков, мы с Витькой собрались на чрезвычайный совет. Мы твердо решили выяснить, кто такой «ТСБ» и почему он вмешивается в нашу жизнь.

— Пусть лучше не помогает нам, но и не портит наших планов — пусть вообще не лезет в чужие дела! — решительно заявил я.

Витька высказал предположение, что здесь орудует не одно лицо, а какое-нибудь тайное общество или союз. Одним словом, какая-нибудь организация, а «ТСБ» — ее сокращенное название.

— Давай попробуем расшифровать! — предложил я.

Мы сели в разных углах комнаты, наморщили лбы и только время от времени вскакивали как сумасшедшие и орали:

— «Тайный Совет Бандитов»!

— «Темное Сообщество Бездельников»!

Но потом вспомнили, что многие предложения «ТСБ» были как раз очень деловыми — при чем же здесь бездельники и бандиты?

Мы стали искать в другом направлении... Расшифровывая загадочные три буквы, мы поочередно выкрикивали:

— «Твердость! Смекалка! Бесстрашие»!

— «Тайный Сигнал Барабанщика»!

— Это вот похо-оже!.. — обрадовался Витька.

— На что похоже?

— На то, что нужно!

— Ни на что это не похоже. Просто бессмыслица: какой-то сигнал, какой-то барабанщик...

— И зачем ему вдруг барабанить? Давай дальше!

— «Трое Смелых Борцов»!

— «Трест Самых Благородных»!

Так могло бы продолжаться до бесконечности: до самых последних «Последних известий» и даже до ночной сводки

погоды. Но когда вспотевший от напряжения Витька, глядя вдаль бессмысленными глазами, выпалил: «Товарищество Свободных Библиотекарей», я сказал:

— Довольно! Мы с тобой уже, как говорится, до точки дошли. Такую ерунду стали пороть, что слушать противно. «ТСБ» — это, вернее всего, никакая не организация, а первые буквы имени, отчества и фамилии. Понял?

— Чьи буквы?

— Если бы я знал ч ь и, так и отгадывать было бы не к чему. Давай соображать. Давай анализировать все, даже самые мелкие факты, как это делал Шерлок Холмс.

— Дава-ай...

— Человек, который подсовывает эти записки, знает обо всех наших делах и обо всех наших планах. Так?

— Та-ак...

— Даже знает, какие именно нам задачки задают на дом. Он так и написал, помнишь: «Нам задали. Не в а м, а «нам»... Значит, он учится в нашем классе! Это ясно?

— Я-ясно...

— Кто у нас в классе на букву «Б»? Бородкин, то есть ты...

— Я-я...

— Ты сразу отпадаешь: тебе никогда в жизни не придумать таких дел, какие нам этот «ТСБ» подсказывает.

— Ну да-а, не придум-умать!.. — заныл Витька.

Но я, не обращая на него внимания, продолжал:

— Дальше идет Балбекова... Она тоже отпадает: во-первых, девчонка, а во-вторых, ее Нинкой зовут. А у нас первая буква «Т». Остается Буланчиков.

— Но ведь он Анато-олий...

Витьке почему-то очень хотелось, чтоб и Буланчиков тоже отпал. Но я убедительно возразил:

— Анатолий?.. А уменьшительное как будет? Толька! Мы его так и зовем. Когда вырастет, его станут Анатолием величать. Значит, остановимся на Буланчикове... Чует мое сердце, что это он нас разыгрывает! Сам подкладывает мне записочки — и сам же потом насмехается: «Гений! Золотая голова! Гордость класса!..»

— Издевается, значит? — посочувствовал мне Витька.

— Вот именно! И он один про Володьку Каталкина знал. Это же он поручил мне навести его. Поручил, а сам, я догадываюсь, коварно и тайно сзади шел, все подсмотрел и потом Степану Петровичу рассказал.

— Что рассказал? — всполошился Витька: я ведь его в историю с собакой не посвятил.

— Да так... ничего особенного. Про собаку...

— Про какую собаку?

— Да там про одну. Я, в общем, испугнул ее... Она стала лаять. Испугалась меня, сорвалась с цепи...

— С цепи сорвалась?!

— Или с веревки. Я точно не помню... И убежала.

— А после вернулась?

— После вернулась.

— Ясно! Собака всегда находит хозяина. А Толька, значит, все это видел и растрепал?

— Ну да...

— Его надо разоблачить! — решительно заявил Нытик.

— Погоди. Надо еще узнать его отчество. Может, не подойдет?

На следующий день утром, еще до уроков, я подскочил к Тольке Буланчикову и прямо в упор взглянул на него. Толька вздрогнул и слегка попятился в сторону. «Ага! Смущается! Совесть заговорила!..» — подумал я и, не отводя глаз, спросил:

— Как зовут твоего отца?

— Моего папу? А что?

— Как зовут твоего отца, я спрашиваю?!

— Сигизмундом Ивановичем...

— Все! Есть! Попался! Значит, ты — Толя Сигизмундович Буланчиков?! Попался!

— Кто? Мой папа?

— Не выкручивайся! Оставь своего папу Сигизмунда в покое! Все ясно: Он — это в т о р а я буква! Значит, ты и есть «ТСБ»? Ха-ха-ха! Все понятно...

Толя побледнел, глаза у него сделались круглыми, и он зашептал:

— Успокойся, Севочка... Ну хорошо, хорошо... Допустим, что я попался! Что я этот самый «БСТ»...

— Не «БСТ», а «ТСБ»!

— Ну «ТСБ»... Допустим... Не волнуйся, пожалуйста...

— Что ты меня успокаиваешь? Попался?!

— Ну допустим... Только ты не волнуйся!

— Сознался, стало быть? Сам сознался! Значит, это ты подкладывал мне в парту ежа? А потом еще насмеялся? И записки всякие...

— Ну допустим. Допустим, что я действительно... так сказать, подкладывал... И ежа, и носорога, и кого хочешь! Только успокойся, Севочка. Успокойся! Не волнуйся, пожалуйста, Котелок...

— Не успокоюсь!

— Тогда пойдем с тобой вниз. На минутку... Там, знаешь, на первом этаже есть такая маленькая и очень уютная комнатка. И милая-милая женщина, в белом-белом халате... Наш школьный доктор... Она...

— Сам иди к доктору! И еще куда-нибудь подальше! — крикнул я.

После перемены Толя вошел в класс вместе с учителем истории. Историк строгий, всегда, мне казалось, погруженный в глубины веков, жалостливо посмотрел на меня и сказал:

— Котлов, может быть, ты хочешь пойти домой? Ты переутомился, мне кажется... А?

Переутомился! Это слово и на перемене шепотом повторяли за моей спиной. А умная и сознательная Наташа Мазурина упрекала, я слышал, Только Буланчикова:

— Мы сами виноваты. И в первую очередь ты как председатель совета отряда. Не проявил чуткости... Навалились на него всем классом: «Давай нам гениальные идеи! Котелок придумает! Сева подскажет!...» Вот и не выдержал...

Все в этот день смотрели на меня очень сочувственно, предлагали проводить на первый этаж, к милой женщине в белом халате. Я один (Витька, как нарочно, заболел вирусным гриппом) пытался объяснить, что вовсе не переутомился, что мне не от чего было переутомляться. Пытался рассказать про истории с «ТСБ», с ежиком Нигилистом и с полевым биноклем, который неизвестно кто прислал мне и неизвестно кто забрал из моей парты... Но меня не дослушивали до конца, как-то слишком быстро со мной соглашались, кивали головами:

— Да, да... Мы понимаем, мы верим... Ты прав, Севочка. Только не волнуйся, пожалуйста. Только успокойся. Хочешь, мы проводим тебя домой, к маме?

— Сами идите домой! Я совершенно здоров!..

Когда я в десятый или в двадцатый раз выкрикнул это, то услышал, как Наташа Мазурина грустно сообщила сзади, за моею спиной:

— Первый признак! Все безумные считают, что они абсолютно здоровы. Надо принимать меры... И действовать быстро, по-пионерски!..

Я не дал им действовать «по-пионерски» — я вырвался и удрал домой. «Завтра вот покажу все записки, в правом уголке которых стоят прямые печатные буквы «ТСБ». Тогда узнают, кто из нас сумасшедший, а кто нормальный!»

22 ДЕКАБРЯ

Наша соседка, Виктория Александровна, очень любит читать книжки про сыщиков и про всякие страшные приключения. Книжки эти почти всегда старые и состоят из отдельных листочков. Виктория Александровна читает их у себя в комнате, и на кухне, над газовой плитой, когда обед варит, и даже в ванной комнате, когда моется. Муж ее, агроном Клячин, часто кричит из коридора:

— Вика, не смей читать в ванне: ты получишь разрыв сердца!

— Я когда-нибудь получу разрыв сердца, — говорит наша соседка, — но не от горячей воды, а от этих захватывающих сюжетов! Мне кажется, что я сама... постоянно общаюсь с отважными Шерлоками Холмсами, беседую с ними и даже пью их горячий грог! Умели же раньше писать!

Я не очень-то верил, что Виктория Александровна хочет общаться с бесстрашными сыщиками, потому что она трусиха. Старые романы до того запугали ее, что она вздрагивает от каждого шороха на кухне, вскрикивает, а по ночам запирает свою дверь сразу на три крючка.

Недавно Виктория Александровна распустила по всему дому слух, что на чердаке, который находится прямо над ее комнатой, «происходит что-то непонятное и тревожное».

— Там кто-то орудует! — заявила Виктория Александровна. — Каждую ночь я слышу вздохи и крики о помощи.

— Почему же вы не бежите на помощь? — удивилась пенсионерка тетя Паша.

— Меня не пускает муж. Он удерживает меня. А то бы я...

— Сам тогда пусть оденется и сходит наверх. Или хоть в милицию позвонит, — не унималась пенсионерка.

Виктория Александровна в конце концов добилась того, что наши соседки перестали развешивать белье на чердаке. А одна, у которой там стоит бочонок с кислой капустой, сказала:

— Пусть сгниет вся капуста! Не пойду... раз там кто-то орудует!

Я посмеивался над этими страхами... Но посмеивался только до сегодняшнего дня. А сегодня, ровно в 3 часа 20 минут, мне стало не до смеха.

Я получил по почте заказное письмо. Адрес и само письмо были вновь напечатаны на машинке. И на той же самой... Я отличу ее шрифт из тысячи! Буква «Л» у нее проскакивает. Вот что было в записке:

Как только стемнеет, поднимись на чердак. Приходи туда один. Доберись до самого дальнего левого угла, и там, под бочонком с капустой, тебя будет ждать письмо. Очень важное! В нем — разгадка всех тайн! ТСБ.

Не знаю уж, как это получилось, но только я сразу отправился на кухню и стал расспрашивать Викторию Александровну о нашем чердаке и о том, какие оттуда по ночам доносятся звуки. Соседка обрадовалась и начала рассказывать мне про таинственный чердак: и про шорохи, и про крики, мольбы... Оказывается, сегодня ночью она видела, как с чердака спустили вниз несколько веревок. Веревки задели ее подоконник и чуть было не свалили вниз банку с маслом, которая стояла за окном.

«Ободренный» этим рассказом, я вернулся в комнату. Мне показалось, что из окон стало дуть и что вообще в комнате как-то прохладно. Я плотно закрыл форточку и проверил отопление — трубы были не горячие, а прямо-таки раскаленные. Тогда я подумал: «Неужели мне страшно? Нет, я не трус! Я не похож на Викторию Александровну! Но кто же все-таки мог спустить с чердака веревки? И зачем?!»

Я вспомнил, что жестокие восточные цари иногда сбрасывали по ночам свои жертвы из окон башен прямо в бушующие потоки. А может быть, эти самые... Ну, которые орудуют на чердаке, спускают свои жертвы вниз на веревках? При помощи лебедки? Техника ведь с тех пор, когда жили восточные цари-деспоты, сильно шагнула вперед.

Я уже десять раз перечитал записку, подписанную все теми же тремя непонятными буквами. Я выучил ее наизусть! «А не захватить ли с собой Витика-Нытика? — думал я. — У них ведь там, на нижних этажах, не слышно, как на чердаке «кто-то орудует», он ничего про это не знает — и не будет бояться». Но брать с собой Нытика я не имел права — в записке было ясно напечатано: «Приходи туда один». Я к

тому же вспомнил, что Нытика угораздило заболеть вирусным гриппом!

«А может, не ходить на чердак? — подумал я. Но тут же спохватился: — Нет, нельзя! Ведь если этот «ТСБ» добрался уже до Степана Петровича, он обязательно сообщит ему, что я струсил, и тогда Степан Петрович будет презирать меня. Еще сильнее, чем из-за горластой овчарки!»

Зимой рано темнеет... Уже в пять часов в окнах зажглись огни. А я нарочно не зажигал свет, чтобы убедить себя, что вечер еще не начался. Я все тянул, тянул... Но без конца тянуть было невозможно: скоро должна была прийти с работы мама. А я еще не выполнил никаких домашних заданий: все о чердаке думал. Ну, а если мама узнает, что я не прикасался к урокам, она меня не то что на чердак — и в коридор-то не выпустит. Пора было решиться...

И я решился!

Я вышел через кухню на черный ход. Дверь я на всякий случай оставил приоткрытой: если что-нибудь произойдет, буду кричать — и пусть бегут мне на помощь! Но это, разумеется, в крайнем случае...

На чердак вела узкая винтовая лестница. Я стал медленно подниматься по ней. Все время я натыкался на старые ведра, которые с грохотом скатывались вниз, и на какие-то разбитые горшки, и на доски. Один раз я чуть было не вскрикнул: прямо под ногой у меня было что-то мягкое и, как мне почудилось, теплое и живое... Я потрогал это «мягкое» рукой... Оказалось, я наступил на рукав от старой телогрейки. Как здесь оказался этот рукав? Может быть, это все, что осталось от смельчака, который дерзнул подняться на чердак до меня? Еще через минуту я с ужасом наткнулся на чей-то сапог. Все ясно: и это «остатки» того же безумца!..

Снизу раздался визгливый голос Виктории Александровны:

— Безобразие! Дверь за собой не могут закрыть!.. Заморозить хотят!

Дверь с шумом захлопнулась — и черный ход стал совсем черным: не было видно ни зги! Страх овладел мною. Сердце заколотилось, как в клетке... Не в грудной, а в тюремной! Но выхода не было: надо было идти вперед или, точнее сказать, вверх. И я быстро пошел: будь что будет!

Под низкими сводами чердака пахло плесенью. В разбитое окно залетали снежинки... На веревке, рукавами вниз,

болталась чья-то белая ночная рубашка. Видно, не во всех квартирах знали о страшных событиях, которые происходили у нас на чердаке, и некоторые хозяйки еще продолжали развешивать там белье.

«Ну, раз женщины не боятся сюда ходить, так можно ли бояться мне, мужчине?!» — подумал я и решительно направился в дальний левый угол, где было особенно мрачно. Я протянул руки вперед, чтобы не наткнуться в темноте на какую-нибудь балку или на низкие деревянные перекрытия.

Неожиданно руки мои обхватили что-то холодное, скользкое. Бочка! Вот она, бочка с кислой капустой, которая протухнет здесь из-за страшных рассказов Виктории Александровны! Именно здесь, под этой самой заброшенной бочкой, и должно находиться письмо. Я нагнулся, пошарил рукой — и сразу нащупал конверт. Я вынул его из-под бочки и хотел тут же вскрыть, но кругом было темно, и я мог как-нибудь случайно вместе с конвертом порвать само письмо, в котором заключалась «разгадка всех тайн».

Я направился к разбитому окну. Возле него было холодно, но я от волнения не замечал ни холода, ни снежинок, которые залетали мне в уши, даже в нос и сразу же таяли. На конверте, уже не печатными буквами и не на пишущей машинке, а самым обыкновенным и очень знакомым мне почерком было написано: «Севе Котлову (лично)».

Я разорвал конверт и прочитал вот что:

А ты, оказывается, не такой уж трус, Котелок! Я-то думал, что ты у нас совсем прохудился! Ну ладно, допустим, что история с собакой была просто случайностью.

Получай же, младший Котелок, награду за свою сегодняшнюю храбрость! Я раскрою все секреты, которые так мучают тебя и чуть было не довели до врача-психиатра... Это уж слишком! Поэтому больше не буду мучить тебя.

Знай, что три таинственные буквы «ТСБ» обозначают вовсе не название какой-нибудь тайной организации и не инициалы твоих товарищей-одноклассников, на которых ты совершенно напрасно орал. «ТСБ» — это значит: «Т в о й с т а р ш и й б р а т». А так как брат у тебя всего-навсего один — значит, это я и есть: Дима!

Когда вы с Витькой ломали себе головы и никак не могли расшифровать три загадочные буквы, вы случайно выкрикнули: «Тайный Сигнал Барабанщика»! Можно, пожалуй, и так ска-

зять... Ведь каждый раз, когда ты сбивался с дороги, я начинал бить в барабан: хотел подать тайный сигнал тревоги.

Это я «вернул» в твою парту ежа... Это я бросил в почтовый ящик Витику-Нытику условия задач, которые вам задали на дом. И я послал вам обоим одинаковые записки с разными подписями. Я, как видишь, пытался скрывать все твои нехорошие, нечестные планы.

Конечно, это я — сосед Степана Петровича, который интересуется астрономией: взял у него бинокль и, не без помощи папы, переслал его тебе вместе с той самой запиской. Ну как, разглядели искусственный спутник? Это я на переменках, когда ты убегал в буфет, подкладывал тебе в парту бумажки с разными предложениями и советами. Я, выходит, не только мешал тебе, но немножко и помогал. Да, я старался, как мог, помочь тебе во всем добром и честном, что ты затевал.

Теперь остается объяснить самое главное: откуда я узнавал заранее обо всех твоих замыслах? Очень просто: из твоего дневника! Ты ведь сам просил меня иногда заглядывать в эту «общую» тетрадку с клеенчатым переплетом. Забыл уже?

Как же я, в самом деле, забыл об этой дурацкой просьбе? И как не додумался до такой простой вещи, что из дневника можно узнать обо мне очень многое? Узнать о том, что я сделал, и даже о том, что хочу сделать завтра, или послезавтра, или вообще в будущем...

Дальше Дима писал:

Ты ведь часто почитываешь мой дневник, а я вот почитывал твой. Только ты не догадался разыграть меня, хоть тебя и называют «великим комбинатором». А я догадался! Очень рад, если этот небольшой розыгрыш пойдет тебе на пользу!

С приветом

ТСБ, то есть твой старший брат Дима.

Тут я вздрогнул: с треугольным чердачным окном, со стороны улицы, поравнялась чья-то голова в шапке-ушанке. И сразу же скрылась. Что это? Неужели Виктория Александровна была права? Я выглянул в окно, и у меня защеботало в носу... К крыше нашего дома была прикреплена самая обыкновенная лебедка. От нее вниз тянулись металлические канаты, на которых, как по рельсам, в люльке преспокойно разъезжал штукатур. Он приводил в порядок облицовку нашего дома. Так вот каких веревок испугалась ночью Виктория Александровна!

Мои страхи сразу рассеялись... Смешно, что я испугался какого-то несчастного рукава от старой телогрейки и рваного сапога! Забыл, что некоторые наши жильцы выбрасывают на «черную лестницу» всякий ненужный хлам и что домоуправ хотел оштрафовать их за это. Как же я забыл? С перепугу, наверно. Эх, младший Котелок! Знал бы об этом Дима!.. Уж он бы тогда не начал свое письмо словами: «А ты, оказывается, не такой уж трус!» Но он об этом не узнает: я не буду больше оставлять свой дневник на столе. Я спрячу его подальше... Хватит с меня розыгрышей! Довольно!..

23 ДЕКАБРЯ

Сегодня я кончаю весь свой дневник. Это, оказывается, очень опасное дело: все могут «прочитать» мои мысли и заранее узнать про мои поступки. Нет, не хочу!

Писать о себе только хорошее, то есть неправду,— это неинтересно. Мама правильно говорит... А описывать все, как есть на самом деле, слишком опасно.

Ведь если этот дневник через много-много лет будут читать мои дети и внуки, они скажут: «Ишь ты, какие номера откалывал в детстве наш папа (или дедушка)!» И начнут подражать, вытворять что-то похожее. Получится не очень педагогично! А если я сделаюсь когда-нибудь знаменитым и мой дневник попадет в музей, то и тогда тоже получится нехорошо. Люди будут изучать эту тетрадку и говорить: «А ведь и у него тоже были недостатки. Прямо как у наших детей... Кто бы мог представить себе!»

Нет, я не буду больше писать дневник! А эту тетрадку разорву или даже сожгу где-нибудь в печке.

Дима, правда, говорит, что есть еще и другой выход: не думать и не делать ничего такого, о чем стыдно было бы писать в дневнике и за что могли бы насмеяться надо мною мои будущие дети и внуки.

— Поборись со своими недостатками! — сказал Дима.

Может, и поборюсь... Но это ведь не так-то легко! А пока я еще не поборо, не победил своих недостатков, обойдусь без дневника. Так я и решил. И пусть «ТСБ», то есть Дима, говорит все, что хочет!..

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

ДОМАШНИЙ СОВЕТ 5

© «Юность» № 2. 1980 г.

ИВАШОВ 53

© «Юность» № 12. 1980 г.

ДНЕВНИК ЖЕНИХА 96

© «Юность» № 12. 1980 г.

ПЬЕСА

ДЕСЯТИКЛАССНИКИ 137

© Журнал «Театр» № 5. 1974 г.

ИЗ БЛОКНОТА 185

ДЛЯ МЛАДШИХ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР

ПОВЕСТИ

КОЛЯ ПИШЕТ ОЛЕ, ОЛЯ ПИШЕТ КОЛЕ 243

ГОВОРIT СЕДЬМОЙ ЭТАЖ!.. 327

НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ СЕВЫ КОТЛОВА . 381

Для старшего возраста

Анатолий Георгиевич Алексин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ

Том 3

ПОВЕСТИ. ПЬЕСА. ИЗ БЛОКНОТА

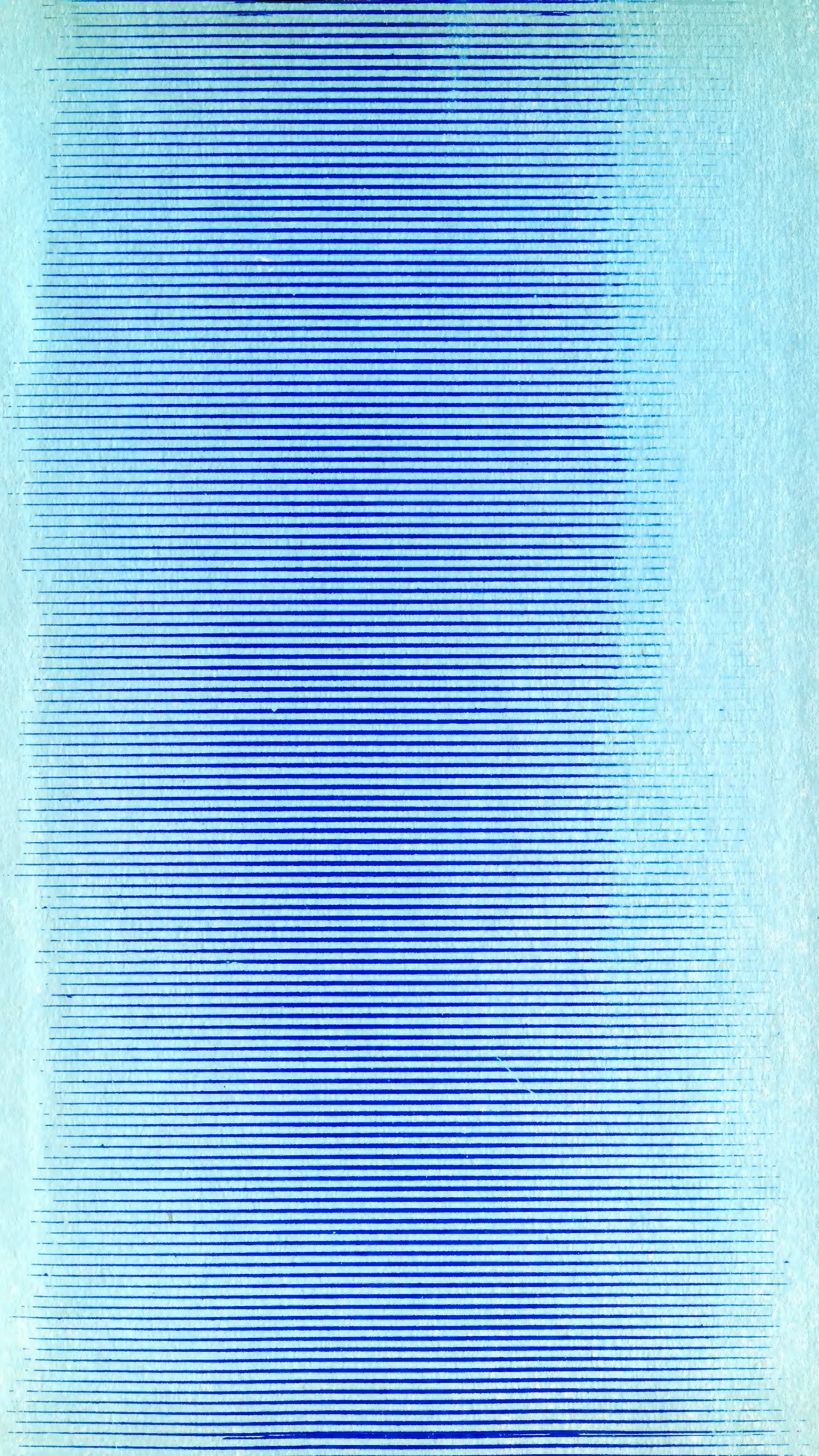
ИБ № 5158

Ответственный редактор *Е. М. Подкопаева*. Художественный редактор *В. А. Горячева*. Технический редактор *Н. Ю. Крапоткина*. Корректоры *Л. И. Дмитриук* и *Е. А. Суксян*. Сдано в набор 02.03.81. Подписано к печати 08.06.81. А07070. Формат 60×84¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт школьн. Печать высокая. Усл. печ. л. 26,97. Усл. кр.-отт. 28,37. Уч.-изд. л. 25,43. Тираж 300 000 (1—150 000) экз.

Заказ № 3236. Цена 1 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. : Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущёвский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»



1р.20к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»